

# Павел II День пиратки Часть 1

*Евгений Витковский*

I

...пророчества стародавних преданий, в которых говорилось, что в день его смерти <...> куры снесут пятиугольные яйца.

Габриэль Гарсия Маркес. Осень патриарха

Президент задумчиво прокатил от правого края стола до левого непонятный, размером с куриное яйцо пятигранный предмет, а двойник предмета, тоже методично переваливаясь, проследовал под предметом в зеркальной глади стола, ибо стол у президента был зеркальным, так же как и пол в кабинете, и не только пол.

Собственно говоря, ничего загадочного в этом предмете не было, просто когда исполнились наконец-то старинные пророчества о том, что глава государства, расположенного северо-западной государства, носящего имя Великого Адмирала, огромный, измученный грыжей, старческим маразмом и докучливыми писателями президент Сакариас Альварадо все-таки умрет, и президент в самом деле умер, и отплыл в вечность, плотно обернутый в саван легенд, а буквально через несколько дней Хорхе Романьос, глава небольшой, но могущественной республики Сальварсан, получил сведения также и о том, что вслед за смертью патриарха начали исполняться разнообразные пророчества, иные более чем столетней давности, и, хотя большая часть этих пророчеств, исполнившихся или неисполнившихся, Романьоса совершенно не интересовала, было тем не менее среди них одно, его крайне позабавившее: какая-то полоумная дура в хрен его знает какие времена предсказала, что в год смерти патриарха куры снесут пятигранные яйца. К яйцам Романьос всегда относился с определенным вниманием, кое-что, кажется, коллекционировал, как говорят, но точно сказать трудно, ибо личная жизнь главы сальварсанского режима всегда была покрыта даже для ближайших подчиненных такой тайной, что начинало казаться, будто личной жизни у президента нет вообще, можно ли считать личной жизнью, скажем, тот необъяснимый час в истории страны, когда президент, как уже было рассказано, катал по зеркальному столу пятигранное яйцо? В несколько дней, горестных и смутных для северо-западной страны Великого Адмирала, вообще-то и без того нашпигованной шпионами Романьоса, а тогда и вовсе ими кишевшей, было установлено, что да, некая курица возле Санта-Мария-дель-Алтарь несла пятигранные яйца на протяжении двенадцати дней, после чего была сожжена разгневанным народом вместе с яйцами и хозяйкой на костре, хозяйка, правда, посмертно была реабилитирована и получила медаль “За отвагу на пожаре”, а курица ничего не получила; потом кто-то вспомнил пророчество, и о сгоревших яйцах очень пожалели, но другая курица, в районе руин бывшей базы Сан-Иеронимо, тоже снесла одно пятигранное яйцо, которое в данный момент конфисковано властями и

изучается как феномен с целью продажи на различных аукционах ввиду чудовищной суммы непогашенных государственных долгов и необходимости активизировать все скрытые финансовые ресурсы страны; еще некоторое количество пятигранных яиц можно при желании приобрести по сходной цене, и что дефицит в данной стране составляют не дорогостоящие пятигранные яйца, а самые обыкновенные, и вообще жрать нечего, и шпионы все как один хотят домой в Сальварсан, потому как привыкли к домашним харчам.

И понять их можно было, шпионов этих: в Сальварсане вот уже тринадцать лет не существовало смертной казни, слова “высшая мера наказания” означали лишение сальварсанского гражданства, а поскольку для получения такового со всеми вытекающими из него привилегиями требовалось, как известно, двенадцать документально подтвержденных поколений предков – коренных уроженцев страны, либо двенадцать поколений предков, не имевших сальварсанского гражданства, но безвыездно живших в Сальварсане, впрочем, президент обычно милостиво смягчал и этот приговор, а именно во благо наказуемого и отчизны запрещал ему выезд из страны, дабы потомки его самоотверженным трудом на благо общества могли завоевать гражданство снова. Только одно исключение по поводу гражданства сделал президент за последние годы, он специальным декретом возвел в ранг почетного гражданина Сальварсана знаменитого русского писателя Алексея Пушечникова. Звание почетного гражданина Сальварсана за всю историю государства, возникшего, как известно, в 1907 году после многолетних “мышьяковых препаратов”, присваивалось официально только дважды, но первый почетный, имя коего давно было забыто, а заменилось в человеческой памяти словосочетанием “брат народа”, давно спал в свинцовом гробу с разможженным черепом, так что единственным человеком, официально носившим титул почетного, был русский нобелевский лауреат-писатель. Звание это давало супротив обычных прав сальварсанского гражданина двойные: простой сальварсанец имел право на двухразовое бесплатное питание по будним дням и на трехразовое – по выходным и праздничным, почетный же – на четырехразовое и шестиразовое соответственно, с выплатой деньгами за все, чего съесть не сможет. Простой сальварсанец мог воспользоваться правом на получение высшего образования в столичном университете или в университете города Эль Боло дель Фуэго, или, в виде компенсации за отказ от такового образования, получить лицензию на отлов и продажу государству по твердой цене двадцати пяти армадильо, исполинских термитоядных броненосцев, составлявших второй основной предмет сальварсанского экспорта. Почетный гражданин, соответственно, имел право получить высшее образование два раза, броненосцев ему полагалось пятьдесят, а за отказ и от этой лицензии полагалась ему также выплата деньгами. Почетный гражданин Сальварсана имел, таким образом, право на две квартиры, шесть автомобилей, тридцать шесть человек домашней прислуги несальварсанского происхождения, два катамарана для катания по озеру Сан-Хорхе и две жены сальварсанского происхождения, с выплатой, естественно, за все непотребленное полновесной сальварсанской валютой, принимаемой с благоговением во всех банках мира. Однако Пушечников, вежливо принявший

почетное звание, до сих пор Сальварсана не посетил, и деньги за несъеденные четыре и шесть раз харчи понемногу откладывались на счету у государства, но президент все-таки не обижался и попыток лишить невежливого сальварсанца его почетных привилегий не делал, лишь однажды, после очень настойчивых расспросов господина Доместико Долметчера, владельца ресторана “Доминик” – как же президент терпит такое неуважение к своим дарам и благодеяниям, – Романьос чуть слышно, по своему обыкновению, склонив голову к левому плечу, пробормотал: “Все равно придет”. Он вообще говорил чуть слышно, за вот уже двадцать лет его официального президентства он повышал голос лишь четырежды, и в народной памяти времена, когда он себе это позволял, оставались как “год первого оглохновения”, “год второго оглохновения” и так далее, в первый раз от его голоса оглохло семь человек, во второй – одиннадцать, а дальше еще больше, те, кто был покаран президентом глухотой, не лишались ни прав, ни гражданства, но они оставались жить в Сальварсане, лишённые одной из естественнейших потребностей своего организма – возможности прислушиваться к чуть слышному голосу президента. Не то голос президента рождал ультразвуковые колебания, губительно действующие на барабанную перепонку, не то страх перед этим рывком рождал нервную глухоту, но, так или иначе, президент никогда не выступал по радио, по-испански говорил чисто, с чуть заметным нажимом на звук “о”, переспрашивать его никогда и никто не осмеливался, слух приближенных Романьоса был из-за этого заострен и тренирован до крайности, а утренний туалет их непременно начинался с доскональнейшего промывания ушей, их чистки и вентиляции.

Никаких специальных званий не даровал себе президент Хорхе Романьос, хотя в прошлом и был кадровым военным, ни в голодные годы своего президентства, ни в сытые не объявил себя даже генералом, формы не надевал, для армии оставался простым верховным главнокомандующим, вольным повышать и понижать в звании до любого уровня кого угодно, но все же один титул он за собой закрепил, – звание “истинного соратника Брата Народа” неукоснительно следовало во всех документах, содержащих упоминание его имени, кроме разве что дипломатических. Дипломатических документов в Сальварсане существовало, впрочем, очень мало, ибо в голодные годы лишь Тайвань протянул Сальварсану руку дружбы, полную очень дешевых бумажных тканей, пищевых суррогатов, синтетических кормов и всяких бесплатных отходов, а в сытые годы Романьос пошел на установление дипломатических отношений лишь с двумя донельзя молодыми государствами, с островом Доминика и с Демократической Гренландией, и только в великом Тайбэе, крабообильном Нууке и старинном Розо скучали в зданиях роскошных посольств смуглокожие сальварсанские дипломаты. Инициатива установления отношений с этими государствами исходила от Сальварсана, когда же, несколько лет тому назад, простодушные Филиппины заявили через своего представителя в соседней великой стране, прилетевшего ради такого случая в Сальварсан и испросившего аудиенции в паласьо Де Льюведере, что власти Манилы желают установить с Сальварсаном полные дипломатические отношения, президент по своему обыкновению устался под ноги собеседнику, в зеркальный пол, и тихо

пробормотал что-то, из чего слух дипломата с трудом выловил: “... а зачем мне это?..” – и оскорбленный тагал вынужден был ретироваться несолоно хлебавши, успев с ужасом заметить, что президент сделал в воздухе некий пасс правой рукой, отчего в зеркале под ногами президентское отражение с полным радушием потрепало по плечу отражение филиппинца, каковую сцену для завтрашних газет и зафиксировала сверкнувшая фотокамера. И в самом деле, в стране, где, по единодушному мнению, уже восторжествовал декларируемый покойным Братом Народа политический строй, именуемый “обществом всеобщего братства”, к чему иметь филиппинское посольство, чего есть такого у Филиппин, чего у нас нет или мы купить не можем? Обратились бы вы в голодные годы, был бы разговор, а теперь вы нам зачем? Обездоленного посла два месяца кормили на убой, потом, очень располневшего, отпустили.

Сытые годы наступили не так давно, тринадцать лет назад наступили эти самые семь тучных лет, окончательно изгладивших всякое воспоминание о семи – на самом деле семи – годах тощих, первых годах президентства Романьоса. Тогда, тринадцать лет тому назад, окончательно устав от премудрых экспортно-импортных операций по прокорму дохнувшего с голодухи народа, все еще ждавшего исполнения обещаний покойного Брата Народа насчет не только всеобщего братства, но и обильной жратвы, выразил президент желание если не половить рыбу в изумительных по непрозрачности водах горного озера Сан-Хорхе, где все равно ничего не водится, кроме пирайи, очень, впрочем, любимой сальварсанцами, то хотя бы с новыми людьми познакомиться, лучше с иностранцами, и вылетел на пятидесяти армейских вертолетах на трехдневные каникулы, решил разыскать потерянную в горах и ущельях хребта Сьерра-Путана экспедицию принстонских энтомологов, ушедшую в эти края еще при прежнем режиме, точнее, в те великие времена, когда двенадцать патриотов Сальварсана, один из них даже его уроженец, как раз ныне покойный Брат Народа, в течение четырех лет удерживали неприступную с десятиmillionным населением провинцию, впоследствии получившую название Санта-Катарина. Покружив день-другой над сельвой, вертолеты, повинувшись малозаметному движению президентского плеча, пошли на посадку в самом центре котловины Педро-ди-Гранде в тот самый исторический миг, когда, казалось бы, уже окончательно заблудшие энтомологи, всех, видимо, достойных бабочек в Сальварсане уже поимевшие, как и президент, тоже коротали часы досуга, и как раз в этот миг закончили бурение скважины, из которой мощным фонтаном ударила очень скоро ставшая всемирно известной сальварсанская нефть «рока натурале», но поскольку скважину пробурили небрежно, по-любительски, – ведь странно было бы, согласитесь, ожидать профессиональных навыков в таком деле от энтомологов, – то не обошлось без несчастья, все пятеро ученых утонули в образовавшемся нефтяном озере, а безуспешно пытавшиеся их спасти гвардейцы из личной охраны Романьоса сумели зато, к счастью, спасти самую бурильную установку. Вскоре в столице появились и скоро снова исчезли несколько очень высоких гринго, на обычных гринго не похожих, говоривших на каком-то щелкающем и харкающем языке, похожем на идиш, но совершенно непонятном даже евреям, видимо, что-то они смерили и что-то исследовали в

Сальварсане, но больше не появлялись, а вместо них возник в столице на правах дипломата, но со специальным разрешением открыть в городе свой ресторан и вообще заниматься предпринимательской деятельностью совсем еще молодой сеньор Доместико Долметчер, официальный и полномочный посол острова Доминика. Вскоре через граниившую с Сальварсаном на севере Страну Летучего Голландца пролегла трасса нефтепровода, уходившего с побережья на морское дно и упирался терминал, принадлежавший родному острову Долметчера – Доминике, который и стал единственным покупателем и потребителем знаменитой сырой сальварсанской нефти, по качеству даже в неочищенном виде превосходившей лучшие сорта авиационного керосина, желающих купить ее на мировом рынке было не перечесть, но представитель Доминики скромно сообщал, что вся нефть уходит в его стране на энергетические нужды частных лиц, что ее и так не хватает, и закупал миллионы баррелей еще и в Кувейте. Когда же в очередной раз представитель Соединенных Штатов с трудом добился аудиенции в паласьо Де Льюведере и привел несколько сотен неопровержимых аргументов в пользу неизбежного исторически неизбежного и взаимовыгодного американо-сальварсанского экономического и политического союза и в качестве последнего аргумента выпалил, что в конце-то концов ведь кончится эта самая нефть, что тогда делать будете, господин президент, – хотя данные геологоразведки со спутников ясно показывали, что запасов нефти хватит Сальварсану лет на восемьсот, но президент еще ниже опустил голову, поиграл пальцами над зеркальной поверхностью стола, на другой стороне которого застыл посланник, и тихо-тихо, но очень отчетливо произнес: “Что же... нам придется расконсервировать озёра самородной ртути в скалах Сьерра-Капанга...” – и шевельнул плечом, давая понять, что аудиенция окончена, а потрясенный американец увидел, как, благодаря искусным пассам президентских рук, их отражения в столе обменялись дружеским рукопожатием, хотя сам президент не вставал с места и вообще никогда никому руки, насколько помнится, не подавал.

Малый рост президента ничуть ему в быту не мешал, он попросту приспособил быт к своему росту, и в кабинетах, и в других комнатах паласьо Де Льюведере стояли низенькие пуфы и скамеечки, а то и просто лежали тайваньские циновки, и столы и вся мебель были чуть ли не вдвое ниже обычных, а сам президент решительно никогда не надевал обуви на каблуках, даже несколько горбился, предоставляя окружающим рассматривать сверху его совершенно голый череп, о котором никто не знал точно, лыс президент от природы или специально бреет голову. Личная жизнь его обросла паутиной столь неправдоподобных легенд, что распутать ее никто давно не пробовал, а столь любопытная для страстных сальварсанцев сексуальная сторона этой жизни даже в легендах отсутствовала, ибо никто и никогда не мог с уверенностью сказать, что такую-то ночь Романьос провел с такой-то королевой красоты, или, скажем, с бразильской кинозвездой, чья оливковая кожа пошатнула бы нравственные устои любого расиста, будь он черным или белым, но как-то связано, видимо, было с президентской личностью то, что отчего-то за последние годы многие женщины просили государственного разрешения на перемену имени, и все подряд

выбирали для себя вычурное и непривычное для сальварсанского слуха имя Анастезия, даже целый монастырь в дальнем пригороде столицы переименовался, их главный праздник 25 декабря отмечался вместе рождеством, монастырь Анастасии Узорешительницы отстраивался, монашек звали теперь анестезийками, произносилось это слово с уважением, потому что не было в городе и даже в стране более искусных врачей и хожалок, когда требовалось излечить или приготовить к сражению драгоценных бойцовых петухов и даже обычных кур. Ходили слухи, что президент собирает коллекции – старинных открыток с видами Сальварсана, молитвенных зеркал государства Глён, серебряных монет старинной чеканки, кажется, птичьих чучел, не то чучел яиц, не то просто яиц, не то, может быть, вообще ничего не собирает и к коллекционированию равнодушен, что что-то, конечно же, имело место, потому что не могло же быть так, чтобы не имело места ничего. Так было теперь, в сытые годы, так было и прежде, в голодные, когда только-только захватившие власть повстанцы Брата Народа, потерявшие из-за глупого несчастного случая своего вождя, сделали самым первым среди наиболее равных над собой вернейшего из соратников Брата Народа, того, кто теперь управлял Республикой Сальварсан, того, кто в первый же год своего правления произвел коммерческое чудо, напивав чуть ли не четырьмя хлебами и одной рыбешкой весь народ, впрочем, хлеб в Сальварсане в пищу не шел по традиции, а рыбы не было вообще никакой, кроме пирайи, ибо ни крупных рек, ни выходов к морю Сальварсан не имел. Но Романьос обнаружил, что народу важно не столько качество пищи, сколько ее количество, приказал разморозить армейские запасы первосортной голландской говядины, хранившиеся в неприкосновенности с тридцатых годов, продегустировал их, заморозил снова и по немалой цене сбыв ее через третьи руки в одну родственную страну на другом конце света, на вырученные деньги закупил в пять раз большее количество мяса неустановимого происхождения у дружественного Тайваня, из кожи на государственных фабриках понаделали колбасы, и количество продукта увеличилось еще в пять раз, конечный же результат этого экономического чуда, вареная колбаса “йо-те-кьеро”, напитала миллионы сальварсанцев вожделенными калориями, о которых в стране вообще-то уже и думать забыли. Сальварсан имел и тогда свои статьи экспорта, скажем, кофе, довольно хороший, но этот довольно хороший “Сальварсан” опять-таки продавался в Европу и Турцию, на вырученные деньги закупался даже не низший сорт у великого восточного соседа, нечего укреплять его экономику, а кошмарный тайваньский суррогат, но зато его было вдосталь, и так далее, по всему миру рыскали тогда расторопные агенты Романьоса, где чего тухлого, где чего бросового, где чего несортного отдается за бесценок, мясо ли полевых вредителей, скот ли, палый от моровых поветрий в Арнемленде, левый ли передний окорок околевшего от неизлечимой рожи в шанхайском зоопарке носорога, остальные окорока сторожа съели, – все эти немислимые для оголодавшего сальварсанца деликатесы шли нарасхват, после тухлых-то крыс аж по целых пять сентаво за пару, а то и за штуку, что при прежнем режиме жрать приходилось, какой же радостью была вареная колбаса за те же пять

сентаво, совсем без тухлятины и даже чуть пахнувшая мясом, а что сделана была колбаса из тех же самых крыс, только не отечественных, а парагвайских, к примеру, где крысы много дешевле, так интересовало ли это кого?

Так минули семь первых лет президентства Романьоса, семь тощих лет, которые, тем не менее, показались нищим тогда сальварсанцам временами полного благополучия, несмотря на очереди в лавках. Когда же тринадцать лет назад наступили семь лет тучных, к тому же не собирающихся оканчиваться раньше двадцать восьмого столетия, по засекреченным подсчетам северных экономистов, но Сальварсану хорошо известным, потому что говорившие на птичьем языке долгоязыые тоже хорошо считали и даже атомную бомбу давно уже изготовили, когда же наступили эти семь тучных лет, популярность Романьоса у населения превзошла все пределы, да и не только в сытой жизни, которую даровал президент своему народу, дело было, нет, популярность эта коренилась еще и в удивительной, ненавязчивой скромности президента, его статуи, ни конные, ни простирающие руку, ни парящие в воздухе не украшали ни площадей, ни скверов ни в столице, ни в городе Эль Боло дель Фуэго, ни в последнем индейском селенье, на стенах не висело ни единого его портрета, лишь редко-редко мелькало его лицо в газетах, да и то на заднем плане общих снимков, скажем, на банкете по поводу десятилетия ресторана “Доминик” и такого же срока процветания доминико-сальварсанской дружбы мог появиться он, задумчиво и неправильно ковыряющий вилкой огромную привозную устрицу, президент не выступал по радио и не произносил речей, вместе с тем он не прятался от народа, имел он приемные часы для посетителей, любой уроженец Сальварсана мог, записавшись всего за неделю, войти в зеркальные чертоги, увидеть маленького яйцеголового человечка в низком кресле за низким столом, изложить свои беды и просьбы, расслышать тихий ответ, или не расслышать, но уж здесь вина того, кто слушал, не достоин, значит, был расслышания, получить просимую шубу, выгон для армадильо, звание повытчика или что другое по своему вкусу, хотя более трех желаний президент обычно не выслушивал, а чуть заметно поводил плечом на висящую за его стеной картину работы неизвестного мастера, к которой президент был очень привязан, изображен на ней был священнослужитель в темном облачении с весьма необычным, видимо, пневматическим музыкальным инструментом – вроде большого бандонеона – в руках. К священнослужителям никакой симпатии при этом ни Романьос, ни его правительство не имели, государственной религии не заводили и ни одну не поощряли, менее же всего, впрочем, поощрялся атеизм, и, что ни месяц, прокатывался по стране грозный слух, что неверующих экстремистов официально оставят без третьей трапезы по праздничным дням, а то и без третьего блюда вообще.

Иммиграции в Сальварсан не существовало, получить гражданство ранее двенадцатого поколения было невозможно, но несальварсанцы допускались в страну охотно, на заработки, для службы у коренных сальварсанцев на фермах и гасиендах, в качестве нянек, шоферов, горничных, садовников, существовал также и туризм, кроме многослойных руин города Эль Боло дель Фуэго, горных и озерных пейзажей, было на что посмотреть в Сальварсане, например, на

лучшую в мире коллекцию так называемых “хрёниров” из государства Тлён, купленную на барахолке в Буэнос-Айресе, когда Аргентина распродала все, что могла, готовясь к антарктической экспансии, однако единственным условием для допуска в страну с самого начала тучных лет объявил Романьос двухмесячный открытый выездной карантин, что на практике означало невозможность покинуть Сальварсан ранее двух месяцев со дня въезда. Все эти два месяца сальварсанское правительство кормило и поило вольных и невольных гостей, но все же не давало им в полном объеме тех благ, которыми истинный сальварсанец пользовался по праву рождения, особо же вызывала зависть государственная выплата за несъеденное и непотребленное, за шестьдесят дней успевали иностранцы насмотреться на тучное Всеобщее Братство и прочие радости, начинали помирать от зависти и до истечения срока в большинстве отказывались покидать страну, пользуясь аргументом “Чего я там не видел, я там за всю жизнь заработаю меньше, чем тут за год”, просили разрешения остаться в стране и шли наниматься, скажем, в шоферы к одному из сторожей президентской кофейной плантации “Ла Палома”. Кофе, к слову сказать, продолжал оставаться в Сальварсане предметом экспорта, но не потому, что был, как в тощие годы, слишком хорош для сальварсанцев, а потому, что был слишком плох объективно: теперь через посредничество “Доминика” для них закупался в Англии исключительно сорт “Святая Елена”, растущий, как известно, только на одноименном острове, сорт этот еще Наполеон хвалил, а теперь сделал любимым напитком соотечественников президент Хорхе Романьос. Хотя пил ли сам Романьос кофе – никто не знал, президент не позволил бы копаться в своей личной жизни, не касалось никого, кофе он пьет, чай, кашасу, текилу, граппу или керосин, что хочет, то и пьет.

От тех времен, когда дюжина бывших “зеленых беретов”, вымуштрованных, говорят, в Пуэрто-Рико, в течение четырех лет удерживала провинцию Санта-Катарина, в прошлом носившую название Дивина-Пастора, откуда и прокатилось по стране всенародное восстание, скинувшее многолетнюю диктатуру годо и гринго, от тех времен берег народ множество легенд, прославлявших подвиги Брата Народа, это в первую очередь, но во вторую и еще более очередь прославлялась в этих легендах доблесть Верного Соратника Брата Народа, и, хотя собственно Брат Народа был скромн при жизни, а после смерти стал еще более скромн, хотя Соратник запретил ставить памятники не только себе, но и Брату, все помнили тот великий день в истории Сальварсана, 31 июля, День Полной Независимости Республики, важнейший национальный праздник, пришедший на смену прежнему празднику, 30-му июля, Дню Независимости, который некогда, еще в тощие годы, Романьос в тихой беседе с корреспондентом газеты “Укбар Таймс” назвал “днем колониальной зависимости и позора”, каковой великий день из-за нелепой случайности, из-за разыгравшейся в тот день двадцать с лишним лет тому назад трагедии, стал праздником двойным, еще и Днем Поминовения Брата Народа, ибо в тот самый день, собираясь принимать парад во главе шести из дюжины, больше в живых не осталось, повстанцев с бритыми головами, Брат Народа, исполнявший давний обет – не снимать каски с головы до тех пор, пока его родина не



добьется свободы, стоя на балконе в прошлом бывшего, в будущем также и будущего президентского дворца, наконец-то снял каску, и подставил бритое, не то лысое изначально, неизвестно и неважно, темя – лучам солнца, космическим частицам, а может быть – даже лунному свету и северному сиянию, реши таковые ознаменовать своим появлением на экваториальном небе День Независимости, тьфу, День Полной Независимости, и через мгновение упал с разбитым черепом и вместе с балконом на брусчатку площади де Армас, ибо крошечное космическое тело, незамеченный преступно халатными обсерваториями метеорит, по-видимому, ледяной, ибо найти его осколки так впоследствии и не удалось, поразил Брата Народа в самую макушку, а осиротевший брат Брата Народа, то есть сам народ, безутешно оплакивал своего героя до тех пор, пока по ступенькам уцелевшей лестницы не спустился на площадь маленький человек, не подобрал каску Брата Народа, не надел ее и не объявил во всеуслышание, хотя очень тихо, что нет места для скорби в сердце ликующего народа, а есть только вечная слава героям и радость победы в последнем бою за полную независимость родины.

Четыре основных страны, с которыми граничил Сальварсан, были: Северо-Западный Сосед, страна имени Великого Адмирала, лишь недавно лишившаяся своего доисторического диктатора и ныне нелегальными каналами поставляющая Сальварсану знаменитые пятигранники; Северо-Восточный Сосед, страна Летучего Голландца, жившая за счет плантаций дурманной лианы, чилипонги; Юго-Западный Сосед, с которым не имелось почти никаких отношений, ибо естественную его границу с Сальварсаном образовывал один из величайших в мире горных кряжей, Сьерра-Путана; наконец, Великий Восточный Сосед, в просторечии Бразилия; все они традиционно не проявляли к Сальварсану ни малейшего интереса с конца прошлого века, когда по порядочному куску болот и ущелий все четверо от него отхватили, а ныне, когда Сальварсан стал одной из богатейших стран мира, попали из-за этого давнего к нему интереса в щекотливое положение, ибо к любой из них могли быть у республики серьезные территориальные претензии, и, продикуй тихий голос Романьоса первым трем соседям какие угодно требования о возврате захваченной земли, их пришлось бы выполнить, счастье всех трех держав было в том, что Сальварсану и нынешней своей территории было более чем достаточно, более чем хватало республике и хлопот с вечным подниманием из руин города Эль Боло дель Фуэго, а Северо-Западный сосед был озабочен своими делами, прежде всего форсированным экспортом расцветшей после смерти диктатора литературной продукции; Юго-Западный Сосед был вообще почти не в счет, ибо для него сообщение с Сальварсаном лежало вокруг мыса Горн; отношения с Северо-Восточным Соседом были относительно приличными, во всяком случае государственный долг этого одичавшего в аристократизме соседа Сальварсану никогда не превышал пяти миллиардов долларов, что в масштабе сальварсанской экономики составляло государственный доход за часы полуденной сиесты в какой-нибудь из дней жаркого, сухого сезона. Великий же Восточный сосед попробовал с высоты своего величия раз или два что-то вякнуть о необходимости не то тесной

дружбы, не то братской любви, но очень скоро к временному поверенному в делах Бразилии на острове Доминика, в прохладный холл посольства в Розо, явился довольно отлично побритый посол-ресторатор Доместико Долметчер и в совершенно секретном порядке предъявил временному поверенному нотариально заверенные копии двадцати трех контрактов, тайно заключенных двадцатью тремя футболистами Бразилии с правительством Сальварсана, по которым все они обязывались по первому требованию принять звания почетных граждан Сальварсана со всеми вытекающими отсюда привилегиями, а пока что состояли уже много лет у Сальварсана на жаловании, что немедленно лишало Бразилию какого бы то ни было серьезного футбола; временный поверенный спешно доложил своему правительству обстоятельства, и больше Бразилия загребущую руку дружбы к сальварсанской нефти не тянула. Наконец, где-то на границах Сальварсана располагался и пятый Сосед, загадочная держава Тлён, возможно, не имевшая места в действительности, во всяком случае, территориальные претензии к Сальварсану в данном случае не имели места, да и по целому ряду сведений государство это располагалось вообще в Малой Азии и никакого отношения к Сальварсану не имело, хотя именно оттуда пришла к Романьосу идея о том, что зеркала прекрасны, ибо увеличивают население, да и вообще все, что увеличивает народ, замечательно.

Переваливающейся походкой северных диктаторов бродили в государственных заповедниках Сальварсана экспортные когтистые армадильо, цвели кофейные деревья на обширных плантациях вокруг всего побережья Плайя Пирайя, окаймляющего озеро Сан-Хорхе, булькали котлы в государственных бесплатных трапезных по всей стране, где по случаю очередного Рыбного Дня готовилось главное и любимейшее национальное блюдо сальварсанцев, уха из пирайи, била чудовищными фонтанами керосиноподобная нефть из скважин в котловине Педро-ди-Гранде, чтобы тугой струей дотянуться до нефтехранилищ родного острова посла-ресторатора Доместико Долметчера, потом деться неведомо куда и вернуться золотым дождем в подвалы государственного банка Сальварсана, макали в моржовый жир тонкие сухарики загнанные на ветви фламбойянов во дворе посольства Демократической Гренландии государственные преступники, по большей части члены семьи прежнего, изгнанного много лет назад президента, кровопийцы, аристократа и пакистанского шпиона, ждали своей очереди, когда их по одному в неделю под видом дипломатической почты, тщательно упакованными, не перевезут самолетами в холодный Нуук, щелкали и лязгали щеколды на железных ящиках, приготовленных для отлова пятисот сегодняшних, назначенных взамен образовательного ценза броненосцев, ибо из любой нежелезной клетки армадильо вырывался в считанные секунды и на много метров уходил в самую твердую почву, готовили какой-то очередной, столь же бесплодный, как и прежние, заговор генералы Сальварсана, с каковыми заговорами и генералами уже много лет справлялся президент: быстро и одинаково производил всех интригующих прямо в генералиссимусы, они же, зная, что генералиссимус в государстве может быть только один, немедля истребляли друг друга способами еще почище ледяных метеоритов, готовил невообразимый соус из хвостовых

плавников бермудской барракуды на кухне своего знаменитого “Доминика” посол-ресторатор Доместико Долметчер и тихо матерился на неведомом языке, ибо желток все время заваривался, одиноко плыл над Сьерра-Путаной маленький, с детский кулак, изжелта-белый шарик, первый предвестник грядущего нашествия на прекрасный и героический город, которое снова обойдется государству во многие миллиарды твердой валюты, каковых, правда, не жалко, ибо скорее вся республика провалится в тартарары, чем позволит возникнуть даже мысли, что Эль Боло дель Фуэго может быть не отстроено заново, а президент Хорхе Романьос, сидя за зеркальным столом в своем зеркальном кабинете, задумчиво катал пятигранное яйцо сперва от правого края письменного стола к левому, потом обратно к правому и снова обратно.

По довольно правдоподобным подсчетам, было Романьосу от сорока до сорока пяти лет, иначе говоря, детство его пришлось на самые черные годы в сальварсанской истории, на сороковые, на годы полной нищеты и колониальной зависимости государства от североамериканской экономики, выкачивавшей из истощенного народа кофе, бананы, броненосцев, все, чем был богат Сальварсан, однако величайшей государственной тайной, известной, впрочем, не только всем сальварсанцам, но и не единожды поведенной президентом Хорхе Романьосом иностранным дипломатам и даже президенту Демократической Гренландии Эльмару Туле во время визита того в Сальварсан, точнее, во время переговоров о массовой поставке в Сальварсан консервированного гренландского доисторического льда, особо чистого, следовательно, для прохладительных напитков, в обмен на массовые поставки в Гренландию необычайно дешевого сальварсанского искусственного льда, ибо свой, экспортный, был пока еще для гренландцев слишком дорог, одной из величайших тайн Сальварсана было то, что его президент не был его уроженцем. Не только не имел он двенадцати поколений документально подтвержденных предков-сальварсанцев, не только сам не был его уроженцем, но даже испанский язык выучил только в конце пятидесятих годов, когда почти мальчишкой еще проходил зверские зеленоберетные тренировки на окраинах Сан-Хуана, когда раз и навсегда решил связать свою жизнь с Латинской Америкой и когда по иронии судьбы вместе с будущим, ныне бывшим, ибо покойным, предводителем мужественных повстанцев Дивина-Пасторы попал в Сальварсан и четыре года держал под дулом карабина десять миллионов человек, покуда прежнему диктатору не стало страшно и не слинял он в какую-то из соседних стран, теперь уже никому даже не интересно, в какую. А что именно было в его жизни до того, как попал он в Сан-Хуан, оставалось такой же загадкой, как длинные пустые периоды в жизни и биографии таких исторических титанов, как Конфуций, Аполлоний Тианский, Шекспир и Христос. Всех этих людей заменил для Сальварсана президент Хорхе Романьос, ибо прокормил, напоил, обул, одел и ублажил он все двадцать два миллиона сальварсанцев, счастливейших и богатейших мулатов мира, которым если и доводилось теперь жаловаться на что-либо, то на непостоянное присутствие в общественном меню засахаренных японских вишен и рагу из рыбы фугу, на укусы moskitov, на чересчур жаркие часы сиесты, на некоторое ожирение, ну,

может быть, еще на то, что иной раз недоваренная пирайя кусала какого-то слишком торопливого сальварсанца за губу прямо из общественного котла, в котором недостаточно искусный повар из числа наемных иностранцев готовил четверговую трапезу, но это уж сам виноват, губу не подставляй.

Конечно, не каждый день был праздничным Днем Пирайи, сальварсанцы мужественно жили и мужественно умирали, чаще всего от ожирения и гиподинамии, однако погибали они, и довольно часто, в руинах древнего пылающего Эль Боло дель Фуэго, основанного в шестнадцатом веке испанцами и регулярно, не реже одного раза в десять лет, целиком разрушаемого уникальным для Западного полушария наплывом шаровых молний, стекающих на него с вершин Сьерра-Путаны, город приходилось отстраивать заново, ибо ни один старожил не соглашался покинуть родное пепелище; каким позором заклеимила местная газета балканский город Скопле, тоже регулярно разрушаемый на другом краю земли, правда, не молниями, а землетрясениями, из которого после очередного толчка эмигрировало-таки чуть не тридцать человек! Из Эль Боло дель Фуэго не уезжал ни один, в полном сознании надвигающейся героической гибели триста тысяч вкушали в городе суп из отборной президентской пирайи, ибо город числился на больничном положении и кормился от правительственной базы, и ждали очередного нашествия молний, зная, что после их смерти на все той же родимой земле город Эль Боло дель Фуэго будет отстроен заново, и через сколько-то лет будет снова испепелен, и пусть в этом огне горит добрая четверть государственного бюджета, город все равно не будет брошен на произвол судьбы, не уступать же балканским аборигенам, которые столь же патриотично и глубокомысленно все вновь и вновь отстраивают Скопле? И все-таки легко ли было президенту, когда-то свергнувшему в Сальварсане династию потомственных, хотя и очень мелких, аристократов, признать свое родство с российской династией Романовых, сознаться в том, что он – правнук императора Александра Первого, того самого, который победил Наполеона? Легко ли было, по сути дела, заявить о правах на чужой престол? Как ни странно – легко. Во-первых, потому, что никаких прав на престол он не заявлял, он просто сообщил жалкому журналисту из пресловутой “Укбар Таймс”, ошивавшемуся пятьдесят восьмой день с тем, чтобы выехать послезавтра на сутки, а потом снова вернуться в Сан-Шапиро на правительственные харчи, подобных которым он в своем Укбаре сроду не нюхивал, рестораны же с сальварсанской кухней по всему миру очень дорогие из принципа поддержания национального престижа, – сообщил, что является законным наследником династии Романовых, при чем тут претензии на престол? А во-вторых, Хорхе Романьосу вообще все было легко, и российская корона и весь остальной мир были нужны ему как тот самый пневматический бандонеон-переросток тому самому духовному лицу на той самой любимой, всегда висящей за спиной в рабочем кабинете и отражающейся в противоположном зеркале картине кисти неизвестного художника. Едва ли даже Доместико Долметчер, готовя к вечернему приему в своем ресторане излюбленные президентом открытые пирожки с пирайевым филе, фирменные, обозначенные в меню как “расстегнутые”, был так уж уверен, что пирожки эти

и в самом деле представляют собою любимое блюдо президента, есть ли у него вообще любимое блюдо и вообще ест ли президент когда-нибудь, или только вилоккой ковыряет в любом предложенном ему ястве, даже и пирог с птицей макуко, даже и печеные яйца аропонги, даже и кислое индейское пиво масато, рецепт которого президент как-то раз сам продиктовал Долметчеру, вдруг и это все президенту нужно в такой же точно степени? Меньше же всего, это точно знал Долметчер, которого кто только не пытался перекупить, но все платили слишком мало, они и представить не могли, сколько и где зарабатывает посол, меньше всего была нужна президенту власть, он не только твердо не держал ее в руках, он ее вообще не держал, это она его держала и за него держалась, свергнуть Верного Соратника Брата Народа мог бы разве что дворцовый переворот, но сам-то народ слишком ясно представлял себе разницу между своей сытой жизнью и нищетой соседних стран, а дворцовые перевороты наталкивались на неискоренимое суеверие, по которому всем было точно известно о том, что вся нефть в земле исчезнет, да и ртуть испарится, как только умрет Романьос, любого заговорщика предал бы его собственный денщик, живой же Романьос мог возвысить голос, мог рявкнуть, чем же страшнее он мог покарать заговорщиков, как не невозможностью слышать его тихий голос, его ласковое обращение: “Брат мой... мне кажется, вам ежедневно полагается специальная порция протертых бобов с арахисовым маслом... вы худеете день ото дня”, – и бобы приходилось есть, хотя можно, казалось бы, и получить вместо них деньгами, но кто осмелится не вкусить той пищи, которую Верный Соратник Брата Народа вкладывает ему прямо в рот, напутствуя кушать, полнеть, полнеть, не рыпаться?

Город за окнами зеркального кабинета стихал, не принятые сегодня посетители тихо и по одному покидали приемную, так и не получив ни аудиенции, ни шубы, ни звания почтмейстера, ни звания брандмейстера, ни разрешения на перенос газовой плиты из левого заднего угла кухни в правый передний, а сам Хорхе Романьос все катал и катал в полной задумчивости пятигранное яйцо по столу своего зеркального кабинета. Яйцо несколько раз падало на пол, но не разбивалось, и не было у президента ни малейшего сомнения, что если бы даже он бил его долго, оно все равно не разбилось бы, и даже если бы великий специалист по битью яиц, хитрый креол с райского острова, посол-ресторатор Доместико Долметчер попробовал разбить его, то тоже не разбил бы, а возможно ли приготовить яичницу, не разбив яиц? Мысль о яичнице наконец-то отвлекла президента от задумчивого катания яйца, он медленно встал, вышел из кабинета и в полном одиночестве направился в свои частные покои, где собирался сам себя покормить, ибо любил только то, что готовил сам, и запивал все, что съедал, чашкой-другой кислого индейского пива масато, которое тоже варил для себя сам по отцовским рецептам и которое нынче, на третий день, уже должно было дойти до кондиции. Он долго шел по длинному коридору с зеркальными стенами, отражающими друг друга бесконечное множество раз, и в их беспредельной глубине, уходя на самое дно, терялся тысячекратно, словно в потомстве, маленький с голой головой человечек в белом саржевом костюмчике, в мягких индейских туфлях без каблучков, которые он шил для себя

сам, человек без комплексов, Истинный Соратник Брата Народа, кормилец и поилец всей сальварсанской нации, правнук всероссийского государя императора Александра Первого, сын хитрой и жадной русской бабы Настасьи президент Хорхе Романьос, в святом православном крещении сорок с лишним лет тому назад получивший имя Ярослава или же Георгия, особенно утомленный сегодня трудовым днем и жарой и, как ни странно, довольно голодный.

## Павел II День пирایی Часть 2

*Евгений Витковский*

II

...есть нечто высшее, чем наш долг национальный, это наш масонский, это наш человеческий долг!

Марк Алданов. Заговор

“... – Да, верный мой Феликс! Да! Дело может принять столь благоприятный оборот, что все, о чем ты говоришь, осуществится, – заметил Илитш. – Этот здешний епископ – он не просто плут, не просто подлец, не просто бестия, он – архиплут, архиподлец, он архибестия, он, наконец, даже архиепископ!.. Всем вам, каждому неимущему середняку-идальго, да и не только каждому идалго, попросту всему черному народу от простого труженика скотного двора до малоимущей работницы пригородного лупанария – всем, всем нужно учиться, учиться и еще раз учиться! А что касается этой макаки в образе человеческом, этого, можно сказать, архимандрила, то все предельно просто: он хочет пить, жрать и ни черта не делать. И от прочих отличается он точно так же, как желтый черт от синего, дорогой мой Феликс, и, боюсь, нынешнее поколение малоимущих идалго не доживет до торжества своего дела, если не возьмется за дубинки... скажем, завтра. Потому что сегодня, конечно, еще рано, но послезавтра может оказаться поздно!..

– Послезавтра тоже в самый раз, – с отсутствующим видом объяснил оруженосец, волоча свои длинные, до земли свисающие с осла ноги по пыльному ламанчскому проселку.

– Нет, верный мой друг! Нет, нет и еще раз нет! Это мало сказать, что ошибка, это архиошибка!

И в этот самый миг вдали показалось странное шествие. Казалось, вся Ламанча движется навстречу двум нашим старым знакомцам, процессию, двигавшуюся прямо на них, составляло не менее трехсот человек, многие были с копьями, дубинами и кистенями, кое-кто в кирасах, словом, вооружены эти люди были довольно плохо, но сразу было видно, что жаждут они все, чтобы плечо поскорее раззуделось, чтобы как можно скорее вел их кто-нибудь порешительнее на какой-нибудь грозный бой, и видно было даже издали, что несут они все на головных уборах кабалистический символ красной звезды – это, несомненно, приверженцы Илитша вышли встречать своего вожда,

демонстрируя приверженность идее свержения власти епископа и его левреток. – Долой плутократию! – воскликнул Илитш и дал шпоры...”

Ламаджанов засомневался и полез в словарь. Ну, так и есть, ну опять, конечно же, напутал, но, слава Аллаху, и заметил тоже сразу. Никаких, конечно не левреток. Это собаки какие-то. Совсем даже, стало быть, клеветов. Со вздохом вспомнил Ламаджанов золотое время, когда писал он за шефа его первый бестселлер “Илидж в неолите”. Там премудрых слов не было, там Илидж выражался просто и без вывертов, главным образом с помощью рычания, битья себя в грудь кулаком и прочих по головам небольшою, но на диво прикладистою дубиною, а Феликс был богатырем с руками до земли, потрясающей волосатости, который крушил всех как мог, – и вообще делов-то было, чтобы свергнуть плохого вождя, потом вывести племя из кольца враждебного окружения, победить всех кругом то есть, открыть потом светлый путь к построению первобытного коммунизма в одно, отдельно взятой пещере, и подковки историко-литературной почти не нужно. “Илиж в 1789” потребовал, конечно, больше усидчивости, но и тут фон собирался из нескольких общеизвестных книг, а занимательности в сюжет Ламаджанов умел вложить сколько угодно. Очень трудно шел самурайский роман, но и там образ Илиасэ и прочее набирались по лоскуточку из разных кинофильмов. Теперь же вот в спешке приходилось сочинять “Илитша в Ламанче”, где обдирать можно было, получается, одного только “Дон-Кихота”, перемешивая его с историческим образом Ильича, как тесто с творогом для ленивых вареников. Не очень, скажем прямо, богато. А издатель шефа, Браун, требовал роман к первому июля, а на дворе нынче март кончается, стало быть, на пятьсот страниц отпускается около ста дней. Пять страниц в день – хорошо, когда про неолит, а в Ламанче особо не развернешься. Ламаджанов со вздохом опустил свои черные пальцы на клавиши машинки. Черные не оттого, что был он негром, а просто ленту в машинке сменил. Старую в сейф положил, как и полагалось. Сейчас Илитш собирался штурмовать некий Красный Пресный Замок, подобие репетиции к штурму Эскориала, который, как уже решил Ламаджанов, будет охранять отряд смертниц-кармелиток. В кино это хорошо получится, а шеф больше об успехе в кино думает, чем в печати, хоть огребает деньги и с того, и с другого.

Мустафа Ламаджанов когда-то, не очень, увы, долго, тоже греб деньги. Но было это в далекие военные годы, когда со всех экранов страны звучала в исполнении знаменитого певца Юлия Карбаса песня композитора Бампера “Тужурка”, текст которой написал он, Ламаджанов, совсем тогда еще молодой. Никто тогда ему татарским происхождением в нос не тыкал, просто деньги платили, а люди хорошую песню пели. Поют, правда, и до сих пор, все какие-нибудь тридцать рублей ежемесячно через охрану авторских прав за нее, за песню эту, ему набегает. Говорят, и Дуберману за его “Таратайку” все еще что-то каплет, а то еще заявила туда в охрану, говорят, бабушка одна и потребовала деньги за песню свою за все годы, и доказала, что песню, и слова и музыку, она лично написала, и все это было опубликовано в журнале “Незабудочка” аж еще в одна тысяча... Неважно, впрочем, но оказалось, что песня эта – “Жил-был у бабушки серенький козлик”. Уж как там от бабули

открутились – неизвестно, но платить, конечно же, пришлось.

А что ему, Ламаджанову, тридцать рублей теперь. Ходит он за ними ныне раз в году за всеми сразу, а потом вечером девицам дарит, которых шеф по первому требованию присылает. Хотелось бы пойти да напиться на эти деньги, именно на эти, в Дом литераторов, но туда-то как раз и нельзя. Исключен он, Мустафа Шакирович Ламаджанов, из этого самого Союза Советских Социалистических Писателей. Он теперь не социалистический писатель, не реалист, вообще черт его знает кто, не татарин даже. Он теперь негр. Хотя и есть у него теперь все, чего душа и другие части тела требуют. Все, кроме книжечки Члена. Пустячок, а обидно.

После войны он был писателем, притом столь знаменитым своей “Тужуркой”, что даже когда всю родную деревню из-под Бахчисарая отправили в лагерь, никто про его национальность даже не вспомнил. Писал он какие-то доменно-мартеновские сценарии под своей фамилией, хотел получить Сталинскую премию. Не дали. Потом писал такие же доменные романы, уже не под своей фамилией, а для трех последовательно съевших друг друга литературных генералов; так денег хоть чуть-чуть побольше получалось, но все равно и денег маловато, и скучно уж очень, да и хозяйева хамили, обсчитывали непрестанно. Тут еще жены мереть стали, как мухи, три за двенадцать лет, не захотел больше жениться Мустафа, надоели ему доменные писания с целью прибархления очередной молодой хозяйки, плюнул он на все, взял в зубы тридцать ежемесячных за “Тужурку” – и стал писателем-диссидентом. Поначалу, после первой повести, которую в каких-то там “Транях” напечатали, даже и неприятностей никаких не было. Потом еще кое-что писал, в основном рассказы, ни на что длинное не тянул, хотелось поскорее, чтобы признали.

И признали. На открытом процессе в Колонном зале Дома Союзов признали виновным по статье такой-то и еще совсем по другой, признали в неуважении к родной истории и очернительстве оной, в оскорблении личности вождей, в том, что нет у него ничего святого за душой, кроме пропаганды в ихнюю пользу. Вместе с полоумным Фейховым, который всего-то один рассказ в три четверти странички на Западе тиснул, упекли в Мордовию на семь лет. И на Западе шум был – как раз такой, как мечталось. Но не выслали, это они позже высылать в обмен на всякий дефицит догадались, а посадили, и сидеть пришлось. Правда, в лагере тяжело было только первое время, потом повезло: комендант, жуткий алкоголик, через динамик все время крутил на всю зону именно ту самую “Тужурку”, служила она ему, кажется, вместо соленого огурца на закуску. А когда узнал, что автор песни у него на попечении – так пожалел его и послабления стал делать. Просидел так Ламаджанов на строгом ослабленном режиме около четырех лет, вызвали за зону, посадили в машину и повезли. Долго везли, даже поспал с открытыми глазами. И потом еще спал на табурете в пустой комнате, где полдня сидел.

Дальше вошел шеф. Сто шестьдесят в нем уже тогда было, при небольшом-то росточке. И погоны уже нынешние были, страшные. Вошел, сел за стол, из портсигара бутерброд с красной икрой достал и съел. Он вообще долго без еды обойтись никогда не мог, – это Ламаджанов потом заметил. Другой бутерброд



Мустафе протянул, тоже молча. Мустафа съел. Третий раз за четыре года икру ел, два раза в посылках сестра предпоследней жены присылала, разрешение где-то выхлопотала ему, раз уж он там две недели в какой-то бригаде журналистом был, – так и написала, что, мол, только за это. И то хлеб. Икра, точнее.

Разговор дальнейший что вспоминать-то. Съел его, Мустафу, хозяин, съел, как бутерброд. Спросил, как ему, Мустафе, тут насчет еды, культурного отдыха, свободы творчества, творческих командировок и женского пола. Мустафа ответил, что насчет еды – вот, бутербродами с икрой кормят, насчет культурного отдыха – так целый день свои собственные произведения слушаю и заново проникаюсь ими, душа отдыхает, свобода творчества такова, что есть полная свобода ни хрена не писать, каковою и пользуюсь, насчет командировок – то вот как раз командирован и у вас по икре стажируюсь, правда, насчет женского пола один мужской, и хорошо хоть, что возраст не тот, никто не покушается, только предлагают. И немедленно из другого шефского портсигара получил другой бутерброд, с черной икрой и даже с маслом, первый без масла был, как бы диетический. Дальше хозяин спросил, не хочется ли еще. Ламаджанов, памятуя, что если хочется, то прокурор добавит, деликатно воздержался. Хозяин назвал его дураком и сунул третий, опять с черной. И спросил, за сколько месяцев возьмется Ламаджанов написать роман на заданную тему, страниц в четыреста. Мустафа сказал, что в три управится, и с тех пор пропал, как швед под Полтавой, как тот самый швед, что теперь, глядишь, должен был бы вручить хозяину динамитную премию за ту самую серию романов, которые Ламаджанов стряпал для него со скоростью от двух до четырех в год. Выходила серия, конечно, не под именем хозяина, а под грубым еврейским псевдонимом, но на Западе умные люди понимали, что пишет их кто-то из советского руководства. А писал их ныне вольный негр Мустафа Ламаджанов.

Просто так, без помиловки и без другой волокиты, стал заключенный диссидент и бывший писатель хозяином двухкомнатной квартиры в высотном доме и числился теперь по документам референтом какого-то ящика. Черного, надо полагать. Спрашивать не полагается, лазить в этот ящик не полагается тем более, как в биографию начальства. Кто полезет, тем займутся.

Зачем-то понадобился всесильному человеку этот самый всемирно теперь известный Евсей Бенц, автор популярнейшей в странах Запада и в самиздате “Ильичиады”, серии полных юмора и динамики романов, в которых, при более или менее повторяющемся сюжете, появляясь в разные исторические эпохи в новых нарядах, опираясь на одного только неизменного оруженосца Феликса и на народ, совершал Ильич везде и всюду революции, приводившие к победе неимущего большинства над имущим кое-что меньшинством. Романы переводились, инсценировались, экранизировались, поначалу вызвали, кстати, приступ бешенства у министра культуры Паисия Собачникова, но ему раз и навсегда было дано авторитетное заключение экспертизы из ведомства Заобского: вся эта серия – похабная западная фальшивка. Браун зарабатывает лишние пятьсот процентов, выдавая стряпню своего убогого негра – их труд в США самый дешевый – за произведения советского диссидента, якобы еврея.

То небольшое начальство, которое временами могло впадать еще в более или менее вменяемое состояние, пребывая если не совсем в здравом уме, то не более чем наполовину в маразме, с удовольствием почитывало “Ильичевку”, – запутавшись в собственных липовых биографиях, находило оно, что и такая биография вождя тоже имеет право быть. Кое-кто, впрочем, из тех, что впали в маразм поглубже, уже принимали, например, “Ильича в неолите” за подлинный документальный роман. Однако за перепечатку и распространение сих опусов ведомство Заобского и Шелковникова давало устойчивые три года, приравняв Евсея Бенца к Абдулу Абдурахманову и Алексею Пушечникову.

Ламаджанов почти не выходил из дома, хотя никто его свободы передвижения не ограничивал. Все написанное, не только черновики и не только использованную копирку, но даже избитые ленты от машинки складывал он в специально взгроможденный в его квартиру сейф; туда же, понятно, попадала и беловая рукопись с именем Евсея Бенца на титульном листе. По окончании очередного романа Мустафа звонил какому-то “Дмитрию Владимировичу”, который появлялся немедленно, в сопровождении двух битюгов в штатском, несущих здоровенный контейнер с новой машинкой, – к которой неделю приходилось привыкать, как ни гадко, – финской бумагой, франкфуртскими белилами и всем прочим, чего простые писатели годами не видывают; потом они вносили еще один сейф, пустой, а полный уносили и исчезали, даже не поздравив с творческими успехами. Ламаджанов же садился писать очередного “Ильича”. Никому не было дела до того, отчего и зачем находит бывший писатель удовольствие в этом круглосуточном, прерываемом только стаканами икарийского муската, кропанию бесконечных “Ильичей”. Секрет же был в том, что от самой военных времен “Тужурки” до диссидентских рассказов хотел Мустафа только одного: чтобы ничем не заниматься, кроме литературы, чтобы платили за нее по-настоящему хорошо, то есть чтобы просто хватало, а слава – Бог с ней, славы совсем не надо. Всегда платили ему в прежние годы, увы, очень мало, а теперь вот была даже и некоторая свобода творчества, а уж денег-то было более чем достаточно, даже не денег, а непосредственных житейских благ в натуральном виде, – книг, мускатов, баб, чего еще надо. Разве только шеф иной раз за мелкие накладки укорял. Однако же ни разу даже не пригрозил уволить, видать, стал Ламаджанов незаменимым и потому обречен был навеки пребывать на ныне занимаемом месте. Он, впрочем, на другое и не хотел.

“Ильича в Ламанче” писал он только третий день, но уже испытывал определенные трудности: не очень благодарную ниву он себе выбрал. Где, спрашивается, отыскать в “Дон-Кихоте” картину развращенных придворных нравов? Предстояло высасывать этот обязательный “изюмный” элемент из пальца. Но Мустафе это было не впервые.

“– Вы, падренька, глубоко неправы, – отрезал Илитш, – неимущее духовенство совокупно со всеми...” – стучал Ламаджанов на машинке, – от руки он никогда не писал, надеялся как настоящий писатель так вот и умереть за пишущей машинкой, – и внезапно услышал звонок в дверь: двойной, своеобразный. Не в традициях начальства было предупреждать о своем визите, но верный его Феликс, тьфу, Дмитрий Владимирович, звоня вместо шефа в дверь

Ламаджанова, деликатно предупреждал хозяина квартиры о том, что не мешало бы хоть подштанники надеть. Ламаджанов был одет и чисто выбрит, поэтому отворил дверь с сознанием полной своей праведности. Многочисленная охрана шефа неприметно заполняла всю лестничную площадку, а сам необъятный генерал как раз в это время вытискивался из лифта. Шеф, отирая со лба неподдельный пот, одновременно занавешивал лицо от случайных соглядатаев; так прямо под чадрую стоя и протянул писателю руку, – то ли для рукопожатия, то ли для поцелуя. Обретя именно рукопожатие, – Ламаджанов не унижался, – шеф напрямик прошел в квартиру и уселся в просторное, ради него сюда, видимо, в проем между окнами поставленное кресло. Затем шеф вздохнул, взглянул в потолок и извлек из кармана толстенький квадратный томик в мягком переплете; Ламаджанов узнал русское издание Брауна, обычную обложку работы Михея Кожемякина ко всей серии “Ильичей” Евсея Бенца. Шеф молча передал книжку Ламаджанову, оказался это “Ильич в Виндабоне”, позапрошлый шедевр на позднем древнеримском материале.

– Мудрено местами, – с места в карьер проговорил генерал, доставая из портсигара бутерброд и таковой целиком сглатывая, отдавать его Ламаджанову было бы глупо, – но в целом неплохо. Особенно где он летописца парфянского принимает, и тот говорит ему, что он, Ильич, capitoлийский мечтатель, что не воспрянет мир голодных и рабов. А тот ему – что воспрянет. И с броневичком ты ловко выкрутился, в кино прекрасно выйдет, режиссер уже хвалил. Словом, нормально. В сейф положишь и вернешь, как следующий кончишь... Про что следующий?

– “Ильич в Ламанче”. Как Дон-Кихот. Материал богатый.

– Во, во. Это хорошо, в Ламанче когда. Пассионария, дура старая, пусть несчастной любовью в Ильича, кстати, влюбится. Самое же главное – ты мне Феликса, Феликса побольше давай, актер хороший на его роль, зрители пупы надрывают. Ну и все. В чем нуждаешься?

Ламаджанов помедлил и произнес:

– Да вот... не ошибаюсь ли только. Вот... мышка у меня в кухне завелась...

Шеф расхохотался:

– Ишь! Мышь! Штучка! Ладно, вечером жди, штучку новую привезут... – Шеф внезапно, как всегда, посерьезнел. – Кроме того, до осени, увы, запрещаю тебе выходить из дому. Если мои придут, кого в лицо знаешь, и скажут – езжай с ними и не пугайся, всю писанину бери с собой, пиши дальше. Шторы держи закрытыми, чужих не пускай, хотя чужих до тебя ребятки и так допустить бы не должны. Допиши ламачню эту и отдохни, сам скажу, что дальше писать. Может, все другое теперь будет.

Шелковников сглотнул еще бутерброд и встал. Вместо прощания треснул бывшего писателя по шее: высшая степень одобрения по его понятиям. Мустафа Ламаджанов был все-таки очень умным человеком.

Черные машины Шелковникова кружным маршрутом, беспрестанно меняясь местами, понеслись по Москве. Сегодня у генерала было очень много дел, не такие приятные, как вот это сделанное, но куда более важные. Весенняя Москва кисла в гриппу, сидя на бюллетене, с трепетом следила по радио за перечнем

трудовых побед и прогнозом погоды на завтра, а также внимала сообщениям о скоропостижных, после долгой и тяжелой болезни последовавших кончинах очередных верных продолжателей, уж совсем редко – соратников, эти почти вымерли; Москва деловито сверлила для них кремлевскую стену и изредка копала под ней беспредельно почетные могилы; чаще, правда, рыла она эти ямы на закрытом ныне для посетителей Новодевичьем, где, как оказывается, в прежние годы были допущены перегибы и большие ошибки как в смысле погребений, так и в смысле надгробий; к примеру, рассказывали, сын Горького Максим, которого нетрезвый скульптор Шадр изваял на надгробии совершенно пьяным, так прямо ночью пьяный по кладбищу и бродил, не он, конечно, а статуя его пьяная, ну да можно нешто такое иностранцам, к примеру, показать? Москва печалилась также о том, что из магазинов исчез сыр, раньше его навалом было, и вдруг удивлялась тому, к примеру, что масла, которого больше трех месяцев уже не было в продаже, теперь вдруг аж по полкило любому в одни руки дают, хорошо вдруг с маслом стало, из Новой Гренландии, что ли, завозят, из дружеской, улучшились, стало быть, наши отношения с теми, которые масло делают, но ухудшились с теми, которые делают сыр, но это уж одно без другого невозможно, большая это политика, горчица вон подорожала, зато есть, а вон белье постельное не подорожало, так и нет его, последние пододеяльники штопаем, уж скорей бы цену повышали и новые бы купить, хоть и подороже, на сигареты вон цена повысилась, зато теперь дорогие есть, – так думала Москва, неожиданно предоставилась ей поблажка, на короткий срок появились в продаже финские разновидности дорогих западных сигарет по цене даже несколько ниже спекулятивной, на ковры тоже цена повысилась, немалая татарская часть Москвы огорчилась, но в ответ подняла цену на калымные услуги, чем лишила остальную часть населения всей почти, впрочем, чисто декоративной прибавки к зарплате, тоже прокатившейся, но отчего-то куда менее ощутимой, чем, скажем, очередное повышение цены на водку; на эту радость деньги мы все одно отыщем, что ж это за безобразие, когда коньяк и водка подорожали одинаково, на равную сумму, на два рубля: кто коньяк пил, тому и незаметно, а кто исконную, тому нешто легко? – подняли бы на коньяк хотя бы на четыре, тогда не так обидно бы; и на шоколад цена тоже поднялась, не на любой, впрочем, вот на сорт “Вдохновение” не поднялась, жаль только, что его как раньше в продаже не было, так и теперь нет; на мебель, говорят, цены поднять должны и на золото тоже, на него, правда, только что уже поднимали, хотя новобрачным по первому разу, говорят, со скидкой и зубы золотые тоже по старой цене, жаль только, что их нигде даже первобрачным не ставят; слушала Москва “Голос Америки” и все такое другое, что глушили, но неполноценно как-то глушили, все равно все слышно было тем, кто услышать хотел, а “Голос” этот все, гад, как раз шпарил с утра до ночи сравнительные графики насчет цен, – яйцо, мол, куриное у них в сто раз дешевле, а “жигули” в тыщу раз, а вот, говорил “Голос”, как будет в России Романов, так и яйца станут почти такими же дешевыми, как в Америке, а “жигули” даром никто брать не захочет, лишь бы пустили какого-то Павла в Кремль, на экскурсию что ли в Грановитую палату, ну, не в Оружейную же, ребенку ясно, там оружие, нельзя

его туда пускать, иди знай, какие у него там умыслы, словом, как царь будет, так, мол, налетать надо будет, потому как подешевеет. Вдруг бы и мясо тогда стало, а то вон за суповым набором стой три часа в очереди да еще всего один в одни руки и тухлым пахнет. Словом, чем только ни жила Москва, чем только ни жила, хотя и жила в основном повышением цен, но большая часть ее ждала повышения цен, меньшая цены сама повышала, а все, что от большей и меньшей части выпадало в остаток, день и ночь размышляло, на что бы ему цены тоже повысить – и, бывало, повышало. Жила в Москве, кроме того, светской жизнью обеспеченная женщина Софья Романова, по театрам уже один раз ходила, проект перестройки столицы по себе удобному варианту составляла и домой в Свердловск совсем не спешила, тут кучу еще всего обсмотреть надо было, чтобы не напортачить после коронации, ибо воцариться решила она именно на Москве, в Ленинград съездила и прокляла его, там климат плохой оказался, очень сырой, она там простуду схватила, три дня потом в номере лежала и даже за деньгами от Виктора на почту пойти не могла; жил в номере по коридору от нее наискосок непонятный старичок с совиным лицом, которому Софья, видимо, очень импонировала как женщина, но куда уж там в его-то годы, он все для нее за свежими газетами бегал, а сам Рампаль радовался, что работы мало, только за Софьей глядеть и того не более, он за эти месяцы весьма отдохнул, только один раз очень испугался, когда на Калининском проспекте наблюдаемая Софья зашла в магазин “Сирень”, а он нос к носу столкнулся с незабвенной Татьяной, – она, совершенно пьяная, висела под мышкой у давешнего литовского гиганта, сиявшего влюбленными глазами; такой был страшный литовец, что потом, уже в гостинице, оборотень порадовался, что не имел с собой будильника, иначе непременно лебедем бы перекинулся от одного литовского вида, а на людях все-таки опасно, центр ихней столицы, как-никак. Бродил по этой столице окончательно одичавший Эберхард Гаузер, тяжелейшее алкогольное помрачение которого лишь усиливало знаменитую его же способность к гипнозу представителей власти в Москве, и семерых пьяных никто не трогал, не замечал даже, и по первой просьбе приносил им спиртное на очередные задворки, где блуждающие семеро ночевали. Месяц назад у Гаузера кончились советские деньги, тогда он спокойно прошел в американское посольство, там, кстати, тоже не прося разрешения, взял сколько хотел; никакие милиционеры его не заметили, они зеленую лошадь видели, о подобных видениях начальству не докладывают, в секрете держат умные люди такие видения. Жил тихой и размеренной жизнью дед Эдуард, ежесубботне-ежевоскресно катаясь на птичий, только приезжал за ним туда один лишь второй внук, Тимон, а старший, Ромео, все время болтался где-то и очень повзрослел за последнее время. И очень мало кто в этой живущей размеренной жизнью столице понимал – все это напоследки, скоро так уже не будет. В московских верхах плелось одновременно два заговора, оба с монархистским уклоном, но в разные стороны. В центре одной паутины сидел престарелый адмирал Докуков, которому маршал Ивистал ее передоверил, покуда таманцев-кантемировцев как надо передрессирует, – в центре же другой половины был не человек даже, а судьба во плоти, в очень толстой, правда, плоти, но именно

судьба обитала в ней, ибо второй заговор исходил не из амбиций, а из точно известного будущего, – так умные люди на Западе уже сто лет делают. Его-то машины сейчас и кружили по Садовому кольцу, выделявая десятки километров пути вместо того, чтобы отъехать от Кудринской площади на суший пустырь и высадить генерала где надо: у входа в бывшие Госикаршампанподвалы. Впрочем, спешки тоже не было – есть в России давняя традиция не садиться за стол прежде хозяина.

Эти сводчатые подвалы выстроены были еще во времена, когда старец Федор Кузьмич носил имя государя Александра Первого, но Москва, помнится, уже погорела. Для чего их копали – сказать теперь трудно, видать, кто-то из ранних Свибловых, Елисей, к примеру, отец четырех братьев, а то, глядишь, даже его отец, упрямый двоеперстек Пимий Демидович, собирался тут не то шампанские вина для дорогой продажи хранить, не то еще один монетный двор на своем серебряном сырье завести для мелких расходов при наездах в Москву; был, правда, дикий, легендарный слух, бредовый, конечно, что этот самый Свиблов собирался тут хранить, да и хранил вроде бы в опилках и в соломе многие десятки тысяч, и миллионы даже, куриных яиц, вовсе неведомо для чего, – и, конечно, полным бредом выглядела еще одна легенда: о том, что в предвидении грядущего изобретения автомобилей строил тут сей великий человек для своих отдаленных потомков исполинский гараж. Хотя, конечно, предикторы бывали во все времена, но разве мог хоть кто и когда предвидеть то, что теперь есть?

Подвалы имели высокие крещатые потолки, перемежались туннелями и лестницами, словом, представляли собой настоящий лабиринт, в коем до революции безраздельно царил Хитровка, в двадцатые годы находились тут самые настоящие Госикарвиншампанликерподвалы, а в тридцатые годы – лучше уж не вспоминать, что тут было, неэффективно это было все и средневеково, главное, жутко дорогостояще, а если с дальним прицелом смотреть на политику, то для престижа государства и вообще во всех отношениях вредно. Чего, впрочем, ждать было от этих самых с дореволюционным стажем, которые потом за каким-то ничтожным исключением все в ту же мясорубку и попали, – для себя, выходит, старались. Нет уж. У нас теперь все будет умнее, научнее, рентабельнее, сообразнее, на реальное будущее прицельнее и намного, намного строже, конечно. И подвалы, такие удобные для правительства во время войны как бомбоубежища, больше с тех пор кровавыми реками не омывались. Простояли они пустыми тридцать лет, а теперь, не без участия толстого генерала, их отмыли, благоустроили, сделали в них многочисленные маскированные выходы, подвели санитарные удобства, телевидение, и стало в подвалах уютно.

Шелковников вышел из “волги” в очень малозаметном переулке, в районе ныне здравствующей московской синагоги, отворил своим ключиком дверь ветхой квартиры номер 66, имевшей как бы отдельный выход во двор, пустил за собою одного только Сухоплещенко и двинулся в километровый переход к конечной подземной цели. Майор тем временем прошел квартиру насквозь, вышел из дверцы прямо рядом с колоннами синагоги и отправился непосредственно в Фуркасовский, где с самого утра сидел небольшой, тридцать четыре года как

испуганный собственным возвышением человек с огромной пачкой запечатанных красным сургучом папок в чемодане. Дожидаясь решения своей участи, человек все шевелил и шевелил пальцами полусжатых кулачков. Сидеть ему тут было еще и сидеть, чересчур уж на скользкую тропу толкнула его судьба. Но сейчас его одинокое сидение как раз и шел разделить без лестии преданный обоим своим хозяевам майор.

Шелковников тем временем втиснулся в полный грязного белья шкаф, дернул за определенную пару кальсон и мягко провалился вниз метра на два. Там он встал на ноги, отворил пинком ноги деревянную, с прорезью сердечком, как в нужнике, дверь, за которой обнаружился плохонький эскалатор, а тот совершенно бесшумно отвез генерала куда-то вниз, в полную тьму, сменившуюся лиловатым полумраком, едва лишь ступил Шелковников на нижнюю площадку. Дальше была еще одна дверь, ее генерал тоже отпер – обратной стороной ключа, – а дальше шел длинный и кривой коридор, выложенный зеленым кафелем. Коридор кончался тупиком, но в него генерал не пошел, он нажал на одну из плиток, вытащил из потолка легкую железную лестницу, по которой и вскарабкался, протиснувшись с большим трудом в тесный для него овальный люк. Там очутился он в небольшой комнате, где некто очень необычным жестом приветствовал его. Некто облачен был в самый настоящий капюшон и рясу лилового цвета, в тон освещению, лицо наглухо скрыто от посторонних взоров, – было оно Шелковникову вовсе нелюбопытно при этом. Некто помог генералу встать, просушил его потное и жирное лицо ароматическими полотенцами, помог ему снять мундир, каковой бережно сложил и запрятал в стенной шкаф. Затем из другого шкафа извлечена была совершенно иная униформа, очень неожиданная: широчайший балахон без капюшона, спереди черный, сзади белый, с огромными стрелковыми мишенями на груди и на спине; соответственно на груди располагалась белая мишень, сзади – черная; кажется, исторически это было связано с необходимостью отстрела неверных членов ордена, но теперь смысл утратило. Сколько мог припомнить Шелковников, по крайней мере при нем никого тут не отстреливали. Теперь все было проще и гуманнее. Генерал облачился в балахон, надел и похожий на маску сварщика стоячий шлем с прорезью для глаз и с воронкой на месте рта. Некто в лиловом саморучно препоясал его парашютной стропой, чем одевание и завершилось. Некто извлек из сундучка дополнительные предметы – маленький костяной бокал на витой ножке, золотой мастерок, золотой кирпич и широкий красный фартук. Все это возложил на черный плоский поднос, отворил неприметную дверь в кафеле и пошел по совсем уж кривому коридору, за каждым коленом которого света становилось все меньше. Шелковников шел за провожатым, мимо своей воли раздражаясь – вот уже в который раз – по поводу ничего, казалось бы, не значащей детали: провожатый, идя впереди него, вихлял задом. Но дальше раздражения генерал-полковник не шел, – хватало дел и без этой задницы. Метров через триста кривой коридор уперся в глухую стену; здесь некто кокетливо препоясал генерала красным фартуком, отдал ему поднос и отвернулся к боковой стене.

Генерал достал ключ-пятигранку, не глядя, ткнул им в стену. Генерал прошел в образовавшийся проем, а тот, словно болотная гладь, проглотившая брошенный булыжник, снова затянулся. Генерал достиг цели своего пешего путешествия.

Шелковников очутился в полутемном зале. Зал был круглый, стены его на высоте двух примерно человеческих ростов расширялись и снова сужались к потолку, ошибиться было невозможно – зал имел форму пивной бочки. Свет исходил только из-под стоявшего в самом центре стола в форме буквы “Х”. Дверей по периметру зала, подобных той, в которую прошел генерал, было еще тринадцать, на относительно равном расстоянии друг от друга, но с разрывом, в котором помещался большой экран, сейчас, как и почти всегда, темный. Генерал знал, что за экраном есть еще одна дверь, но куда она ведет – запрещалось знать даже членам совершающей тут свои бдения ложи. Думалось генералу, что по крайней мере одиннадцать человек из числа присутствующих этого не знают. Генерал с немалым опозданием явился сегодня на заседание своей масонской ложи, известной в международных реестрах истинных масонов-старообрядцев под кодовым знаком “Х-VII”. Хотя генерал занимал в здешней иерархии одно из высших мест, такого опоздания ложа, конечно, одобрить не могла, и ожидал Шелковникова, надо полагать, немедленный выговор от председателя.

Двенадцать членов ложи, одетых в такие же черно-белые балахоны и маски, разместились возле икс-образного стола, оставляя свободными те его стороны, что были обращены к экрану. Генерал сразу заметил, что пустует не одно кресло, а два; всего кресел было четырнадцать, тринадцать для членов ложи и одно – для гостя. Генерал вполне точно знал, кто этим гостем сегодня окажется, – официально, конечно, газеты не сообщали, но по своей линии о визите в Москву представителя доминикской фирмы “Зомби и сын” Шелковников был давно поставлен в известность. Зато даже и отдельно не мог представить себе генерал ответа на главный вопрос: кто таков, откуда взялся, каким образом занял нынешнее положение, как бы вообще-то от него отделаться – главный человек ложи, именовавшийся в ложе “Х-VII” Председателем. В прежние годы Шелковников приложил немало усилий, чтобы раскопать биографию этого человека, и достиг важных успехов, он знал, что имя этого хрена, ныне проставленное в пенсионном удостоверении и, вне всяких сомнений, совершенно подлинное – Владимир Герцевич Горобец, в прошлом освобожденный парторг завода имени Владимира Ильича, в еще более дальнем прошлом – рабочий того же завода, а в совсем уже дальнем прошлом, довоенном, неожиданно оказывался этот человек председателем общества памяти Ульманиса, махрово-профашистской организации, существовавшей в тридцатые годы в Латвии. Несомненно, послевоенным сотрудникам заинтересованных ведомств это должно было стать известным, от десяти до двадцати пяти лет Горобец, ясное дело, обязан бы оттрубить был. Однако выходило по документам, что не просто не сидел Горобец ни часу, выходило, что кто-то другой за него сидел, чуть ли не по доброй воле себя Горобцом признавший, кто именно, уточнять было уже недосуг. Никогда не состоял Горобец в браке, сбережений имел на книжке рублей двести, еще имел на Тульской улице квартиру однокомнатную и в ней допотопный телевизор,



“Темп-2”. Еще у него была крошечная дачка в Перхушкове: все. Тем не менее занимал он пост Председателя ложи “X-VII”, иначе говоря, занимал высшее место в иерархии советских масонов, и никакого над ним начальства, кроме неведомой “высочайшей ложи”, уже не имелось. Слово этого человека было для Шелковникова по древнему правилу законом, и вот уже много лет, с тех пор, как занял генерал в ложе место одного из наиболее удачливых советских чиновников, уцелевшего при всех режимах и тоже, кстати, армянина, с тех пор, как была препоясана его объемистая талия красным фартуком, с тех самых пор не имел Шелковников оснований ни спорить с Горобцом, ни роптать на его решения и приказания, они были на редкость разумны, говорили о широчайшей образованности и информированности Председателя, носившего, кстати, забавное имя брат Стольник, означавшее отнюдь не придворную древнерусскую должность, а сотенную бумажку. Имя Шелковникова, брат Червонец, тоже означало всего лишь десятку, – хотя генерал, конечно, не признавал над собою десятикратного превосходства Горобца, но, воздавая должное, соглашался считать, что ежели ему, генералу, – цена десятка, то Горобцу, надо полагать, надо назначить цену рублей в пятнадцать.

Имена прочих одиннадцати верховных братьев, как масонские, так и подлинные, были, конечно, Шелковникову известны, но в большинстве случаев он так и не мог понять, каким образом добрались эти люди до столь высокой ступени в иерархии, – разве что предположить, что пускали сюда не за взятки, не за умение искусно подсидеть конкурента, а... по уму. Это было, с одной стороны, нелепо, так вообще не должно случаться нигде и никогда, но с другой – безмерно льстило Шелковникову, ибо получалось, что тогда и он умный тоже. Он, конечно, сослужил ложе немалую пользу: под корень извел в СССР сбирца масонов-“новообрядцев”, неканонических, близких к еврокоммунизму лож сардинского обряда, не признававших основной масонской иерархии, которой, слава кому надо, полмира благополучно подчиняется и скоро другие полмира тоже подчинятся. Не сердился Шелковников и на то, что двое из членов ложи носили в своем масонском имени как бы более высокий “номинал”, одного звали брат Империял, за именем этим стоял свой брат армянин, популярный генерал-композитор Фердинанд Мелкумян, куривший общие с Шелковниковым сигареты с виргинским табаком, жулик был этот композитор такой, что тягаться с ним Георгию Давыдовичу вообще бы не с руки, – а брат Четвертной состоял вовсе директором какого-то областного книготорга, человеком представлялся серым и молчаливым, на собраниях ложи он сидел как на парткоме, словно отбывая повинность, и почти ничего, кроме пустяков, не говорил.

Никто из других членов ложи не стоял, кстати, даже и близко к правительству, хотя генералу было ведомо, что многие члены правительства состоят в нижней ложе, где членов братства “тринадцать по тринадцать”, – входил в их число, к примеру, нынешний министр обороны Л.У. Везлеев, но, слава кому надо, никакого отношения ни к масонам, ни к другим тайным организациям не имел первый заместитель Везлеева, злейший личный шелковниковский враг; потому, пожалуй, и был он вовсе беззащитен, что нам его дивизии – фигня, ибо есть у

нас против них заветный золотой кирпич. Кто-то из правительства, даже из ныне здравствующего, правда, в прежние годы, входил и сюда, в “тринадцать”, но был выведен отсюда под ручку за старческий маразм, и никто, именно по причинам такового маразма, на это не обиделся.

Председатель, похоже, решил отложить дисциплинарную кару брата Червонца до иных времен, дождался, чтобы тот опустился в отведенное ему кресло и разместил перед собою принесенные предметы, потом встал и резко ударил председательским молотком по центру стола.

– Кто стучит? – возгласил он.

– Мы стучим! – хором ответствовали двенадцать других, тоже вставши.

– Отчетливо ли?

– Да еще как!

– Достукаемся?

– Достукаемся!

– На седьмом ли небе трубушка трубит, бдению нашему начаться ли велит?

– Велит!

– Из подведомственных крепких психбольниц выводить ли нам определенных лиц?

– Выводить!

– Всем известно, что наглее всех людей толсторожий да пархатый иудей.

Оттого из нас не каждый ли готов посодействовать погибели жидов?

– Каждый готов! Всегда готов!

– Замечайте же малейшие следы – пусть масонами считаются жида! Для того из нас пребудет верен всяк духу мученицы, Веры Чибиряк!

– Чибиряк! Чибиряк!

– Чибиряшечка!

– Всем жидам придет погибель!

– Моя душечка!

На экране на мгновение появился портрет великомученицы, традиционно считавшейся покровительницей ложи “X-VII”. Все братья про себя в эту минуту припоминали обстоятельства ее трагической гибели, когда ее в расцвете лет, старую, больную, с трудом держащуюся на ногах, ибо здоровье ее подорвалось на борьбе за чистоту жертвенной крови русского народа, вывели в девятнадцатом году трое пейсатых евреев из киевской чеки во двор, и из жидовских револьверов зверски расстреляли. Шелковников чувствовал, что пятно этого ненужного перегиба отчасти лежит и на нем, как на возглавляющем организацию, ставшую непосредственной приемницей чеки; в душе он всякий раз – и на этот раз тоже – давал клятву, что больше такое не повторится, нечего ценные кадры базарить. Впрочем, тем трем евреям, кажется, очень скоро по шапке дали. Но, наверное, не очень профессионально дали. Мало дали, словом. Но светлый образ с экрана исчез, и председатель грохнул молотком еще раз. Каждый из членов ложи, размахивая мастерком, передал ему свой кирпич. Из них брат Стольник сложил на середине стола некое подобие домика. Церемония закончилась тем, что каждый из масонов повторил тот жест, коим приветствовал недавно Шелковникова некто в лиловом: вознес руку над

головой и сделал вид, что посыпает темя не то солью, не то пеплом. Затем все сели.

Председатель перевел дух – ему шел восьмидесятый год – и провозгласил: – Итак, братия, мы снова в сборе, и сегодня нам предстоит узнать нечто важное, решить нечто важное, совершить нечто важное. – Закончив официальную формулу, достал из складок балахона бумажные листочки и очки, пристроил их непонятным образом на свой газосварочный шлем и продолжил: – Во-первых, сообщаю почтенным братьям, что направленный заседанием от пятьдесят третьего рыбня текущего года запрос об ожидающейся смерти лица, чья деятельность не поддается нашему контролю, был передан предиктору в городе Капштадте его личным секретарем, братом Грошом. Сообщаю ответ предиктора Класа дю Тойта: предиктор Геррит ван Леннеп скончается в ночь на двадцать первое ражня две тысячи сорок третьего года от переедания, до последних дней жизни сохранив способность к предикции и, соответственно, занимаемый им ныне пост. Далее. Предиктор Клас дю Тойт настоятельно советует членам ложи “X-VII” не совершать вывернутый половой акт, или, если переводить более точно, не совершать половой акт в обратную сторону. Далее. Предиктор Клас дю Тойт шлет нашей ложе свой пламенный масонский привет. Информация первого пункта исчерпана.

Председатель снова грохнул молотком.

– Пункт второй, – продолжил он, сняв очки, – сегодня наше собрание почтил своим присутствием известный брат Цехин. Являясь единственным масоном в стране своего проживания, он, таким образом, является председателем верховной ложи данной страны. Брат Цехин принесет нам дары; он, по нашему общему согласию, имеет право присутствовать среди нас во время заседания. Сообщаю, что, по древним традициям своей ложи, брат Цехин не закрывает лица.

Председатель нажал на клавишу в столе, и в четырнадцатую дверь, служившую для приема гостей, вошел человек в обычном черно-белом одеянии, однако без мишеней. Очень странно было видеть его лицо, не скрытое маской; он был темнокож, хотя и не походил на негра, с крупным носом, с прямыми, закрывающими уши волосами; он сутулился, вместо традиционного фартука отличала его высокий сан надетая на левую руку красная перчатка. Кроме того, он был, пожалуй, моложе любого из членов ложи брата Стольника – от тридцати до сорока лет, а то и меньше. “Чего только не наворотила эта бестия в международной политике!” – между делом подумал Шелковников, такие люди ему не импонировали, но без их услуг обойтись порой бывало невозможно. Брат Цехин подошел к пустому креслу и, не опускаясь в него, возложил на вершину золотого домика страннейший дар: небольшой, размером с куриное яйцо, пятигранник, похожий на вымпел незабвенного лунохода. Потом брат Цехин заговорил по-русски, с немилосердным акцентом и перестановками ударений, однако же в общем смысле фраз не ошибаясь, из чего явствовало, что он отбарабанивает заученные слова, ни бельмеса в них не понимая.

Предварительно он, конечно, посолил свое темя, – брат Червонец вспомнил, что человек этот – знаменитый кулинар, и отметил, что солит он свое темя

душевнее и профессиональнее, нежели остальные. Генералу тут же захотелось есть, но сейчас по уставу ложи этого не полагалось. Интересно, какая получилась бы у этого типа кюфта? Чтобы с шафраном...

– Братья моей страны приветствуют вас. Поздравляю вас с сегодняшним днем, в моей стране он является рыбным и, таким образом, соответствует национальному празднику среднего значения. Мне известно, что у вас рыбным днем празднуется четверг, так что заранее поздравляю вас со следующим четвергом. Сообщаю также, что уполномочен заявить от лица неназванного лица, что поскольку день двадцать первого недодержня, обозначенный предикторами Абрикосовым и дю Тойтом как абсолютно вероятный день коронации вашего императора, совпадает с очередным рыбным днем в моей стране, то по поручению непоименованного выше почтенного лица я буду счастлив прибыть в вашу страну снова, с очередными дарами, и сварить для императора президентский рыбный суп, который из уважения к императору в этот день будет именоваться императорским рыбным супом!

Брат Цехин сел, и его темное лицо слилось с прохладным воздухом. Председатель снова заговорил.

– Пункт третий. Слово для информации имеет уважаемый брат Червонец. Шелковников, не вставая, приступил к докладу. Толстое сердце его забилося чуть быстрее, чем обычно, – пусть членам родной ложи, пусть умнейшим людям страны, но все-таки живым людям раскрывал он сейчас тайну своего наиболее эффективного оружия.

– Братья, – начал он, – братья! Всем вам известно, каким тяжким ярмом придавили наше общее дело многие случайные люди, втершиеся в аппарат управления страной, как мешают они неизбежному делу нашей победы, и сколь велика необходимость устранить их сейчас же, прибегая при этом лишь к гуманным и человечным методам, как необходимо перевести их в число нижнего большинства, но избегая при этом малейшего пролития крови и, конечно, огласки. – Хотя все это были прописные истины, генерал для важности помолчал и продолжил: – Также и пребывающие в старческом маразме бывшие братья наши, которых в иное время мы, возможно, проводили бы на заслуженный и почетный отдых, ныне также мешают нам. Кроме того, еще немалое количество трусливых и корыстных личностей попросту болтаются у нас под ногами, они не могут быть полезны нашему делу, и, разумеется, в дальнейшем должно также гуманно присоединить таковых к нижнему большинству человечества. Словом, все эти люди, не осознающие истинной цели масонских устремлений, должны быть устранены. И я, испросив благословения у брата Стольника, нашел для этого некий способ, который, соответствуя всем требованиям советской гуманности, позволит нам очень быстро справиться с задачей искоренения нежелательных элементов социалистического общества, братья мои.

Шелковников нажал кнопку на столе. Экран засветился, на нем возникло цветное изображение очень серой комнаты, в которой на трехногом табурете сидел дрожащий и серый человек, возле ног его стоял большой кожаный чемодан, а за спиной его дымил сигаретой невозмутимый Сухоплещенко.

– Перед вами, братья мои, – продолжал генерал, – недостойный Валентин Гаврилович Цыбаков, в прошлом ничтожный сельский лекарь, оказавший в послевоенные годы некоторую услугу нашему государству и оттого сделавший значительную карьеру в области медицины, по крайней мере до настоящего момента он все еще возглавляет специальный, весьма важный для наших масонских планов институт. Изначальная идея института, впрочем, принадлежит не ему, но это к делу не относится. Короче, используя многолетние исследования сухумского обезьянника, неопровержимо свидетельствующие о возможности получения искусственного инфаркта у малых шимпанзе бонобо, к примеру, путем демонстрации самцу полового акта его самки с другим самцом, я предположил, что подобные же искусственные инфаркты легко могут быть вызваны и у людей, причем всего лишь при использовании их личных дел и внимательного изучения последних. В дальнейшем же, после получения требуемого инфарктного результата, их уже без нашего вмешательства ждет легкий и непременно летальный исход, в силу того, что инфарктированные лица будут лечиться не у простых врачей, а в правительственных клиниках. Это предположение было блестяще подтверждено опытами в институте, который до сегодняшнего дня был возглавляем недостойным лекарем Цыбаковым. Как было установлено, обычно инфарктируемому лицу достаточно предъявить некий выведенный на основе его личного дела индивидуальный документ, дабы полноценный инфаркт миокарда возник в следующие же минуты. Лишь приблизительно в двух с половиной случаях из ста объект оказывается неинфарктабелен, ввиду крайней ли тупости, ввиду старческого ли маразма, но эта пренебрежимо малая величина сейчас не может нас остановить. По большей части организмы инфарктируемых оказываются необыкновенно ломки и поддаются на инфаркт в случаях куда менее серьезных, чем описанный пример с самцом-шимпанзе, порою постороннему глазу причины инфаркта кажутся необъяснимыми. В частности, сравнительно часто причиной инфаркта оказываются не трагические сообщения, а положительные эмоции – получение большого наследства, ордена, ученой степени, таких эмоций, как восстановление в партии и многое другое. Документ или действие, вызывающие требуемую летальную реакцию, мы назвали “индивидуальной инфарктной фабулой”.

Шелковников помолчал для важности и закончил:

– Чемодан у ног недостойного Цыбакова содержит в себе все готовые на сегодняшний день инфарктные фабулы, не затрагивающие, специально оговариваюсь, личности никого из присутствующих. Иначе говоря, если братья согласны, мы, как мне кажется, окончательно готовы... к рыбному дню.

Шелковников против воли посмотрел на креола. Тот никак не реагировал – вероятно, не понимал по-русски.

– Теперь, братья мои, я выдаю вам головою чересчур информированного недостойного Цыбакова. Решите, братья мои, его незначительную судьбу. Предупреждая возможный вопрос, сообщаю, что для дальнейшей научной работы он совершенно не требуется, менее информированные сотрудники того же института прекрасно выполняют работу по частям, будучи в полном

неведении о конечной цели работы. Выведение же инфарктной фабулы как таковой передоверено секретному компьютеру, причем на выходе мы имеем фабулу в распечатанном виде, полностью пригодную для использования.

Цыбаков на экране продолжал дрожать. Сухоплещенко продолжал курить, и из-под согнутой его руки с сигаретой совсем не был виден подстегнутый у плеча маленький служебный револьвер.

Председатель выждал немного и сказал:

– Брат Червонец оповестил нас, и ложа благодарит его. Мне не вполне ясно лишь, зачем он беспокоил наше внимание судьбой ничтожного недостойного, но, коль скоро вопрос поставлен на обсуждение, решите, братья, судьбу этого скудельного сосуда.

Брат Полтинник, знаменитый в прошлом спортивный комментатор, высказался немедленно и в стиле прежней профессии:

– Туды его... Чего пудохаться...

Председатель глянул на него неодобрительно. Полтинник заткнулся, – не в первый раз он лез с неуместными репликами, и, хотя был известен как очень умный человек, уморивший безнаказанно целых пять жен, из них четырех иностранок с немалыми состояниями, но все же он заслуживал порицания. Осторожный и либеральный брат Пятиалтынный, директор маленького московского рынка, также решил высказаться:

– Это точно, что не может понадобится? А вдруг? Может, посидит где-нибудь?

– Можно и так, – равнодушно ответил Шелковников, – но не понадобится.

Подтверждено предиктором Абрикосовым.

– Тогда... – председатель поднял свой золотой молоток, но, заметив предупреждающий жест брата Цехина, опустил его на прежнее место. – Уважаемый гость?

Гость быстро-быстро произнес фразу, кажется, по-испански. Стало быть, ошибся генерал, и креол отлично понимал весь разговор, шедший по-русски. В следующий миг оказалось, что это было не единственным заблуждением Шелковникова. Горобец ответил гостю, тоже быстро и тоже по-испански, – а ведь судя по его личному делу, да и по многим фактам, ни единого иностранного языка он не знал. Цехин и Стольник обменялись еще несколькими репликами, и председатель уже по-русски обратился к собранию:

– Глубокоуважаемый гость, глава верховной ложи своего государства, ложи, повторяю, ни в коей мере не затронутой еврокоммунистической ересью новообрядства, просит в качестве ответного дара поднести ему не шубу из минусинских соболей, как принято в нашей ложе, ибо в его тропической стране шуба есть предмет бесполезный, моль к тому же страшная и никакой нафталин не помогает. В качестве нашего ответного дара он просит поднести ему брэнную плоть недостойного Цыбакова вместе с душой в их нынешнем комплектном состоянии, никак не раздельно. В дальнейшем он намерен подарить недостойного Цыбакова таким же комплектом господину президенту некоей страны, имя которого по известным причинам не может быть произнесено на заседании нашей ложи, – ибо к тем, кто не просветлен

озарением масонства, мы прибавляем эпитет “недостойный”, а президент этот является человеком в высшей степени достойным, хотя на все предложения вступить в ложу только поводит левым плечом, каковой жест все еще не получил у нас надежного истолкования. Согласно существующим правилам, отказать гостю в его просьбе мы не можем.

Грохнул молоток, экран погас. Неприятно было генералу, что исполнитель его замыслов останется в живых, однако же всяк сверчок знай свой шесток, с председателями не спорят, а то вон мишени у тебя сзади и спереди. Заседание, кажется, было исчерпано. Председатель стукнул молотком еще раз, разобрал золотой домик на столе, вернул кирпичи владельцам. Потом собственноручно достал из-под стола кувшин с прозрачной жидкостью, разлил ее в четырнадцать кошачьих бокалов.

– Примем смело, ибо истина – на дне, что вовеки недоступно жидовне!  
Одобрительно следит за нами зрак незабвенной нашей Веры Чибиряк!

– Чибиряк! Чибиряк!

– Чибиряшечка!

– Мы про все поговорили!

– Моя душечка!

Посолив темя, выпили, – был это, как обычно, самогон с каплей бальзама “Слеза альбигойца”, доставляемого Горобцу из каких-то заморских лабораторий, – вонючее было зелье. Поодиночке разошлись братья-масоны, каждый в свою дверь, лиловый провожатый снова вихлял задом, снова это было Шелковникову неприятно, но снова он об этом начисто забыл, как только провожатый сгинул с глаз долой и в лицо ударил сырой мартовский воздух. Усталый генерал сел в ожидавшуюся машину и велел ехать домой, в Мозжинку. Жил он круглый год на даче, на городской квартире месяцами не бывал. Туда же, на дачу, Сухоплещенко должен был доставить бесценный цыбаковский чемодан. Два червя грызли сердце генерала: один был тот, что инфарктная фабула на злейшего шелковниковского врага оказалась невозможна и невыводима по толстокожести маршала и по отсутствию для него задушевных ценностей. А второй червь был еще серьезней: сегодня, чуть ли не впервые, обращаясь к членам своей ложи, генерал солгал. Солгал именно тогда, когда говорил о том, что заготовленные инфарктные фабулы к присутствующим отношения не имеют. В чемодане одна фабула на присутствующего все-таки имелась. Это была специально им заказанная фабула на самого себя. Касательно этого наглухо запечатанного документа имелся у него некий заранее продуманный план, ради исполнения которого он, презрев своякову долму, мчался сейчас к себе на дачу.

Пробежав, насколько позволяла тучность, в кабинет, рывком распахнул услужливо поставленный на письменный стол чемодан из бегемотовой кожи. Да, конечно же, как и велено было, сверху лежала тонкая, запечатанная зеленым воском папка с надписью мрачными прямыми буквами: “Г.Д. ШЕЛКОВНИКОВ. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА БЕЗОПАСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ”. Лишь одно мгновение боролся генерал с соблазном заглянуть в бездну. Любовь к жизни победила. Он взял папку и пошел на

другую половину дачи.

Елена Эдуардовна Шелковникова предавалась в данный момент ингаляции. Тончайший аромат камфарно-арганового масла, в большом количестве привозимого ею из регулярных вояжей на Тайвань к тамошним несравненным косметологам, щекотал горло и легкие, без этих ингаляций генеральша в ужасном московском климате вообще бы жить не смогла. Елена слышала, как вдали хлопнула дверь за возвратившимся мужем, но, хотя искренне любила его и охраняла во многих жизненных коллизиях, о чем он не всегда подозревал, дышать все же не перестала, ибо за здоровьем в ее уже не юные годы приходилось следить сугубо, лишись она его – и все наполеоновские, точней скажем, бернадотовские планы ее мужа могут посыпаться; будущее неизбежно, монархия скоро восторжествует, об этом Елена знала из собственных источников информации и в них ничуть не сомневалась, – но вот какова будет в этом будущем роль ее супруга, ее собственная роль? Да и об отце, и о сестре с семьей думать приходилось. Вообще, ей часто казалось, что она думает одна за всех. Порою так оно и было. Зря, что ли, купила она этот самый публичный дом в Парамарибо и все доходы с него в укромное место на черный день складывала? Управлять этим чернокожим борделем на таком расстоянии было нелегко, она подозревала, что креол-управляющий немало ворует, но особенно часто наведываться в Суринам не могла, только после каждого тамошнего государственного переворота приезжала и удостоверивалась, что все идет более или менее гладко. В последний раз прикупила еще две опиумных курильни, доходу они пока что приносили на удивление мало, надо бы слетать да проверить, что там творится, да куда ж лететь, когда муж, большой этот ребенок, в России власть менять собрался, а это не Суринам, старому борделю здесь не уцелеть, а пока новый отладится и доходы начнет давать – нужен глаз да глаз. И за бардаком здешним, и за мужем. Романтик он и масон. Кажется, даже понятия не имеет, у кого верховная ложа всего его масонского толка на жалованьи состоит, хотя это и не меняет ничего. Да и вообще, что он видит на белом свете, он же из-за службы и за границу даже почти носа не кажет, а что поймешь в мировой политике, в борделях тамошних, когда круглый год тут штаны просиживаешь? Георгий – котенок слепой, как дело до большой политики доходит. А человек все же прекрасный, и главное, что ей, Елене, не перечит. И не пробовал никогда, слава Богу. Понятия не имела Елена, что бы она стала делать, если бы это вдруг случилось. Но вся жизнь тогда посыпалась бы. Да нет, не перечит он ей никогда, милый, толстый, слепой котенок, – знает, что ему без нее и шагу не ступить. И без ее связей.

В коридоре послышалась мягкая, но все же носорожья поступь этого самого котенка. Елена оторвалась от ингалятора и отворила дверь, супруги нежно чмокнулись. Георгий не стал садиться и протянул жене запечатанную папку. – Лена... – сказал генерал, – ЭТО наконец-то готово. Возьми, прочти, уничтожь и прими меры. Здесь, как ты помнишь, жизнь и смерть твоего толстого Кощея, которому ты должна помочь и дальше быть бессмертным. Я пойду к себе. Я в тебя верю.

Голос генерала дрогнул, но Елена притянула мужа к себе и еще раз нежно



чмокнула. Он не должен был волноваться. Она на крайний случай предусматривала очень много разных вариантов. Генерал мысленно перекрестился и ушел. Елена недогнувшей рукой сломала сургуч на папке. Внутри оказался небольшой ведомственный бланк, Елена не обратила даже внимания, какой именно. А на нем – всего одна фраза. Генеральша пробежала фразу глазами. Не может этого быть. Чтобы такой пустяк мог довести Георгия до инфаркта? Ну, он этого, конечно, не знает, ну и что? Ведь все для его же блага. На листке стояло: “Настоящим уведомляем Вас, уважаемый Георгий Давыдович, что Ваша супруга, Елена Эдуардовна Шелковникова, урожденная Корягина, с 1963 года завербована русским отделом английской разведки “Ми-6”, с ежегодным жалованьем в размере...”

Елена, не колеблясь, предала листок огню. Ну и что с того, что была это чистая правда?

## Павел II День пиратки Часть 3

*Евгений Витковский*

III

Смерть не все возьмет – только свое возьмет.  
Борис Шергин. Любовь сильнее смерти

Соломону было совсем, совсем плохо.

Плохо, как никогда. Все сразу повалилось на бедную его, на лысую и старую еврейскую голову, рухнуло на негнибаемо толстую, – хоть и не такую апоплексическую, как поговаривали злые языки, – шею, придавило спину, и даже как-то стало в поясницу постреливать. А с поясницей у Соломона всю жизнь как раз все в порядке было. И мысли какие-то ненужные в голову лезть стали, стишки какие-то поганые, как будто никогда и нигде не слышанные, – тогда, выходит, собственного, что ли, сочинения? – но от такого своего сочинения пушкинисту лучше бы уж сразу под поезд; просто, значит, запамятовал, откуда же они взялись?

Ничего не знают Мойры  
О печалях тети Двойры.

Какие могут быть печали у тети Двойры, если она еще в сорок шестом перебралась в Израиль? И гроб дяди Натана с собой увезла, чтобы в святой земле похоронить, какие еще печали... Чепуха, чепуха...

Он только что прошел пешком здоровенный кусок: от берега Томи до вокзала. Хоть остудился чуточку, впрочем, может быть, что и простудился. Март в Томске – самая настоящая зима, весною еще и не пахнет. Но лучше бы не видеть ему этого города никогда, не заводить с племянницей той приснопамятной беседы вообще. Смешанное чувство шевельнулось в душе пушкиниста при воспоминании о Софье: знала она тогда, или же не знала?

Наверное, знала. Но пожалела его, старика. И, кроме того, в тайне своего происхождения она-то не виновата никак, она-то наверняка только верхний покров с тайны сдернула, а под ним-то, туда, пониже, такое вот откопалось, что и вины на ней нет даже первородной, а одни сплошные заслуги выходят первородные, значит. Бедная девочка, красивая и несчастная, довольно о ней, не виновата она. Точка.

Неприятность, завершившая его более чем двухмесячные копания в томских архивах, только ставила точку после длинной цепи неприятностей последнего времени. Первая беда свалилась неожиданно, еще в конце прошлого года: какой-то доморощенный московский пушкинист, самого имени которого Соломон и не слышал прежде никогда, опубликовал в самом толстом московском журнале длиннущее сочинение о последних днях жизни Пушкина, притом без ссылки на Соломона Керзона, на ведущего, как-никак, пушкиниста России. И в составе этого гадкого творения привел три письма Ланского к Златовратскому-Крестовоздвиженскому, срам сказать, в новых переводах с французского, ибо, мол, прежние были выполнены небрежно, изобиловали погрешностями и даже прямыми искажениями. А прежние-то переводы были опубликованы как раз Соломоном. А подлинники находились в личном Соломоновом архиве. И не в том было дело, что письма у него похитили, а в том, что письма изначально были написаны по-русски, но при публикации, чтобы сбить с толку очень уж дотошных конкурентов, угораздила Соломона нелегкая поставить под письмами приписки: “Подлинник по-французски”. С одной стороны, ведь это же самая наинаглейшая фальсификация! С другой – иди уличи теперь этого фальсификатора, если уж сам аферу устроил. Зачем, главное? Мысленно Соломон кусал локти. И отмахивался от прицепившейся тети Двойры.

А потом еще передали, что изменник родины, эмигрант Фейхов, напечатал где-то ТАМ статью: “Пушкин как литературный негр”. И еще одну: “Чьим негром был Пушкин?” Или это одна статья была, просто заголовок двойной? Нет, не вспомнить. А потом и вовсе какая-то непонятная неприятность приключилась. Во “Временнике Пушкинского дома”, который Соломон купил уже в Томске, прочел он коротенькую информашку о том, что две досужих старушеницы прочитали, наконец-то, им же, Соломоном, выходит, на свою же голову разысканный еще в шестидесятые годы дневник троюродной племянницы генерала Ланского, что замужем была за каким-то очень знатным датским офицером и дневник вела, понятное дело, по-датски. Из-за скверного, к тому же готического почерка, тем более неведомого Соломону датского языка, – да и вообще знает ли кто этот язык?.. – Соломон на этот документ тогда внимания не обратил, а вот выходит, что документ этот не просто важный, а драгоценный, черт бы его взял. Так что вот теперь две старых перечницы его же, Соломона, находкой, получается, по нему же и вдарили. “Временник” сообщал, что данные “датского” дневника в корне опровергают сложившуюся в современной науке точку зрения на проблему взаимоотношений Пушкина и Ланского! Соломонову, значит, точку зрения опровергают, ибо кто ж, кроме него, эту самую точку зрения в науке складывал?.. Не по силам такая тема всяким пигмеям. Да что ж, черт подери, они там выкопали?.. Вдруг да не поняли что-нибудь? Вдруг, к

примеру, обнаружили кровное родство кого-нибудь с кем-нибудь и сдуру решили, что ежели, скажем, была у Ланского еврейская кровь, – а в этом Соломон давно был уверен, не исполнял бы иначе Петр Петрович обязанностей Петербургского генерал-губернатора, – так это прямо уж сразу опровержение всех теорий? Это было бы как раз подтверждением всех его самых революционных теорий! Черт возьми, что они там такое выкопали? Выучить, что ли, евреем преклонных годов этот самый датский язык за то, что на нем про Пушкина кто-то написал чего-то, да все и опровергнуть? Проклятая теть Двойра...

Но самым тяжким ударом, понятно, была собственная томская находка: запись о церковном браке Анастасии Скоробогатовой. И запись о рождении ее сына, Алексея Романова. Нутром и сердцем Соломон понимал, что этот самый старец томский, который имя давно покойного императора прикарманил, просто покрыл венцом чей-то грех. Не было в сердце Керзона никакой злобы на этого старца, – в его руках имелись неопровержимые доказательства того, что, коль скоро Пушкин на одном балу танцевал с сестрой Анастасии, то более чем вероятно, что на другом балу он скорее всего вполне даже мог танцевать и с самой Анастасией! А после балов, да и во время их, мало ли чем в те далекие и бесстыдные времена люди занимались! Да ведь мог даже и не на балу с ней танцевать, а в маскараде!.. А там свет тушили и разные другие вещи выделывали. Так что вот, ежели в маскараде, да именно с самой Анастасией... Надо, непременно надо раздобыть список всех приглашенных на тот маскарад! Дальше чего же проще: всех перебрать, ведь не иначе как кто-нибудь да подсмотрел, как Пушкин... Что он там с ней делал-то, а?.. Запомнилось как-то, ну да неважно, лишь бы теть Двойра к черту пошла... Да вот как только все это объявить, когда сам же на весь мир раструбил и всех убедил, что не занимался Пушкин никакими гадостями никогда! А даты-то, даты вот как раз все сходятся, меньше чем через девять месяцев родился Алексей Романов после гибели Пушкина, ну и, стало быть, стало быть... Бедная девочка Софа, бедная девочка, как жестоко она ошибается, думая, что ее прапрадедушка – какой-то там ничтожный, какой-то там задрипанный царь. И ведь казнится, небось! Ее прапрадедушке, настоящему, все цари и все императоры всех времен и народов недостойны даже пятки вылизывать! Соломон был в этом уверен совершенно твердо. Но факты! Где их взять? Ну хоть малейшую зацепку, ну хоть бы намек на такого человека, который дал бы неопровержимое свидетельство этой, еще одной, но самой, конечно же, чистой и возвышенной любви величайшего поэта, ну хоть бы кто-нибудь, кто стоял при этом со свечкой! Ну ведь мог же кто-нибудь?.. ну, что ли, войти по ошибке, ну, хоть на миг увидеть то, что ни пятнышком не осквернило бы память поэта, ну, неужто горничная какая-нибудь, окажись она свидетельницей, не залюбовалась бы?.. Ведь все так просто, так по-человечески, так красиво. И он, Соломон, сразу оказался бы тогда с Пушкиным в косвенном, но все же достаточно близком родстве, – вот только доказать бы, пусть тогда все эти литературные обтерханцы пикнуть посмеют, покажет он им тогда письма по-французски! А так – все спишется на этого самого липового Романова. Что он мог-то в шестьдесят лет?

Последняя мысль чуть отрезвила лихорадочный мозг Соломона, он вспомнил себя в шестьдесят. Пожалуй, если бы не каждодневная работа над Пушкиным по двенадцать, по шестнадцать, а иной раз и по двадцать два часа в сутки, работа, забиравшая все его силы, – он вполне тогда бы еще мог. Даже и теперь бы мог, хотя все-таки не мог, не имел права, и все по той же причине. А, какая разница. Не мог тут быть никакой Романов замешан, да и вообще этот самый Федор Кузьмич – не Романов, это ясно доказал?.. кто? Да Романов же и доказал! Великий князь Николай Михайлович, двоюродный брат Александра Третьего, каких еще доказательств надо? Вспомнив об этом Романове, Соломон снова помрачнел, всплыло в памяти, что именно младший брат этого Романова-историка, великий князь Михаил Михайлович, тоже, стало быть, двоюродный брат того же распроклятого Александра Третьего, совершил одно из самых подлых дел в русской истории: женился, сволочь, да еще морганатическим неприличным браком, на графине Софье Меренберг, на родной внучке Пушкина. Нет предела коварству этих Романовых, просто нет слов, нет слов! Но насчет Алексея – даты все-таки сходятся, и сомнений нет никаких. Стало быть, теперь только взяться за дело, только свидетеля, свидетеля найти, этим теперь только вот и заниматься, это будет настоящая победа! Ведь и не обязательно это может быть горничная, мало ли кто мог туда зайти случайно, ошибочно, или нет, даже и не случайно и не ошибочно, ведь бывают же люди, Соломон где-то про них читал, которые специально за подобными сценами подглядывают. Ведь наверняка же кто-нибудь да подглядывал! Наверняка! Не может быть, чтобы не подглядывал! Не могла этого судьба допустить, чтобы никто не подглядывал! История допустить не могла!..

Была и еще одна неприятность, этой, скоробогатовской, сопутствующая. Читая с тоски в заклопленном номере университетской гостиницы не совсем для него профильную книгу о судьбах “довешанных и недовешанных” декабристов, написанную единственным специалистом по тому времени, которого Керзон за человека считал – потому что тот в пушкинистику не лез и потому что два раза о Соломоне теплые слова сказал, один раз в “Социалистической индустрии”, другой раз в “Алтайском нефтянике” – так вот, читая эту довольно свежую книгу, набрел Керзон между строк опять же на имя Анастасии Скоробогатовой. Сыграла эта женщина, оказывается, “известную роль в жизни Александра Первого”. То, что годы жизни этой, так сказать, несостоявшейся императрицы незадачливому декабологу отлично известны, для Соломона само собой разумелось. Выходило, что и тут без него, без Соломона, все уже открыто. Тогда почему ж декаболог все сразу не обнародовал? Из порядочности? Или из непорядочности? Оттого, что не хотел Соломону дорогу перебежать? Или оттого, что хотел любой ценой скрыть факт родственных отношений виднейшего советского пушкиниста с самим Пушкиным? Ему-то, декабологу, ясно же ведь, что дело тут чисто, что не без Пушкина! Шутка ли – найти целую линию потомков Пушкина и ни слова о ней не сказать? Такой, казалось бы, порядочный человек... Впрочем, хороша порядочность, ведь три докторских диссертации написал за других, покуда свою защитил, на тему “Генезис русскоязычной поэзии XIX века”, нет бы ему взять тему, которую ему Соломон

давно подсказывал – “Пушкин в декабре”. Соломон разозлился еще больше. Так вот выкуси! Сам теперь на эту тему напишу!..

А ведь, черт подери, декаболог этот, ни дна ему, ни покрывки, спец этот, при его-то въедливости, и свидетеля того самого, теперь такого необходимого, уже наверняка к рукам прибрал, и материалы хрен-то у него вырвешь. А где шанс, что подсматривал еще кто-нибудь? Соломон уже не просто уверовал в подсматривавшего, он принял его как самообеспеченную данность и все другие варианты отмел. Где-нибудь да хранятся мемуары!.. Впрочем – откуда это известно, что всего лишь кто-то один подсматривал? Тоже мне, дело Дрейфуса! Нет! Не бывать сраму, не сломиться авторитету. Наверняка кто-нибудь и второй тоже подсматривал. И вот этого-то второго уже никто у Соломона не отнимет, это будет только его открытие, личное и триумфальное!

И все же грызло Керзона – мало ли материалов еще оказалось в руках хитрого декаболога, виделся с ним Соломон лет пять тому назад, во время последнего налета в истощенные московские архивы, разговаривал более-менее по душам, и был потрясен – на сколько же тем запретили декабологу писать ответственные товарищи из органов. Запрещено было, к примеру, писать о том, что во время вскрытия могилы Гоголя гроб его оказался пустым, а сам он лежал в гробу на боку и без головы. За сообщение о том, что пустым оказался гроб Дубельта-младшего, что на дочке Пушкина был женат, и за предположение, что тот в монастырь ушел, декаболога чуть ученого звания не лишили. Про пустой гроб Фотия и говорить нечего, а вот в самом-то деле, как было ему сообщить о том, что и в гробу Булгарина никого по вскрытии, кроме Греча, не видать оказалось? Кошмар. И про пустой гроб Александра Первого, помнится, говорил, хотя, впрочем, это большого значения не имело: пустой гроб сам по себе, душегуб-царь сам по себе. Пустые могилы так и маячили перед мысленным взором Соломона. А ведь между строк что-то пробормотал декаболог и вовсе кощунственное: гроб Пушкина, тот, что не по мерке был сделан, тоже нынче пустой! Везде-то он, гад, бывает, все-то он знает раньше всех.

Возмутительность подобного отношения к памяти Пушкина вдруг довела душу Соломона до кипения, и произошло это на самых последних грязных подходах к томскому вокзалу. И подействовало на Соломона, как ушат ледяной воды. Хватит! Вырвать этого шарлатана и грабителя из сердца, растоптать этот горький подорожник на святой ниве пушкинистики! То есть на обочине этой нивы! То есть не подорожник, а горький куст полыни! Волчью сыть, травяной мешок! Завистник чертов! Стоило узнать о его, Соломона, прямых с Пушкиным родственных связях – и такое... Анафема! Анафема!

Терзаемый весьма чернышевским вопросом, сел наконец-то Керзон в свой вагон и поехал домой. Душевное расстройство несколько поулеглось: теперь нужно было работать, работать, еще раз работать, весь Петербург тогдашний перетряхнуть, и не только Петербург, ведь и приезжие могли найтись, которые подглядывать за всяческой красотой любили. И уж, конечно, где-нибудь да валяется мемуар... на датском, что ли, языке, повествующий о том, как они там и просто так, и по-человечному тоже, невинно даже, можно если не сказать, то написать...

Убаюканный сознанием новообретенной жизненной задачи, Соломон заснул, и приснилось ему как раз то, чему он теперь хотел найти свидетеля. Лучше, конечно, двух или трех. Во сне он сам попадал на роль именно свидетеля, и держал над курчавой головой великого поэта – очень занятого, оттого не оборачивающегося – здоровенный пасхальный семисвечник. И семисвечник этот пытались у него во сне вырвать многие люди, все как один – знакомые пушкинисты, некоторые даже давно покойные. Тогда Соломон размахнулся семисвечником и чуть не слетел со своей узкой нижней полки в плацкартном вагоне. Он спал не раздеваясь. Было темно, никто ничего не заметил, но старый пушкинист все-таки очень покраснел. Никогда ему ничего такого не снилось. Но не отступать же! Бедная, бедная Софонька!..

Вагон перецепляли, кажется, на станции Тайга, и в Новосибирске тоже стояли очень долго, входили и выходили какие-то попутчики, – Соломон их в упор не видел. Разве это были люди? Это были не люди, а тени. Что они понимали в Пушкине? Но обрывки разговоров до его сознания все-таки долетали, попробуй на одном Пушкине сосредоточиться, когда в плацкартном едешь. Странные какие-то это были разговоры. Ну, о повышении цен это нормально все, там насчет кофточек и йода, а вот почему так часто про царя, да еще снова про какого-то ненавистного Романова? На кой черт им Романов сдался, забыть, что ли, не могут? Говорили бы про Пушкина, ну, так нет же, все глупости одни на уме у народа, водка да футбол, да царь еще какой-то. Цену на него, что ли, повысили? Впрочем, что молчат про Пушкина – понять можно. Пушкин-то не подорожает! Он уже дороже чем есть стать не может, он и так всего на свете дороже! Соломон потрянул головой, достал из дорожного пакетика удачно купленное еще в томской гостинице крутое яйцо и съел его. Соли с собой не оказалось, но не одалживать же у быдла всякого, которое все про царя да про царя? Сойдет и без соли. А за тонкой стенкой до бесконечности все тянулись и тянулись надоедливые, лишние разговоры, которые Соломон, по общительности своего плацкартного билета, вынужден был все-таки слушать.

–...И вижу я, поднавлился он ко мне окончательно. Однако, думаю, и прилипчивый же! Купи да купи! А по мне хоть и за семь рублей, а у меня все мои, не краденые. Не хочу брать, и все тут! Он же меня тогда сразу возьми да как и отоварь будто бревном по башке: говорит, мол, царь скоро будет у нас, штрафовать будут, кто без царских орденов, и без очереди не моги!.. Я и заплатил. А теперь мучусь, он же вестимо краденый, так вот, как царь будет, не повредит ли, а документ к нему даже не знаю какой нужен-то!.. – Ишь! Будет царю дело до орденов твоих! Передай соль-то, передай...

– Ну, переобул я его рублей на сорок...

– А масло будет студенческое, но не такое, как сейчас, а еще студенческой. Жарить совсем нельзя, а есть только в противогазе, зато противогаз бесплатный давать будут...

– А еще из сверхточных источников: зайди покойничек с тrefы, так было бы ему еще куда как хуже!..

– Малафеев тогда ему подножку, и того с поля, а только нашим хрена с два, все одно уже не светило ничего...

- И молоковозы подорожают, не знаю, как там насчет рыбозовозов...
- Твою, говорит, за ногу...
- И Полубарский тогда и говорит ей, голубо так на нее глядя: хочешь один раз автограф – один раз дай, а она возьми да и согласись, может, она и без автографа бы. Его, кстати, за это теперь совсем заткнули, ясное же дело, не все у него нормально, раз такой кобель скребучий...
- Откармливают их там таинственными подземными грибами, и человек святой при них, из крещеных выкрестов, такой святой, говорят, что прям особенный, сидеть на месте не может, все перевозносится...
- И как при царе-то с леспромхозами все решится – и в соображение взять не могу, разукрупнят разве чтобы программа значит продовольственная...
- Но потом и противогаз подорожает, пусть только сперва как следует коронуется, генеральный сам непременно и короновать будет...
- Скребет и скребет, скребет и скребет, скребет и скребет, скребет и скребет, им-то фигня, а ему писец...
- И песец подорожает...

Время в поезде текло как-то неощутимо. Никто не обращал внимания на старого еврея, окаменевшего возле окна, шевелящего губами и не лежащего даже на ночь, хотя на глазах у всех уплатившего рубль за постель. Ехать до Свердловска было две ночи, и ни на одну Соломон не сомкнул глаз. Сны смотрел прямо так, всухую, с открытыми, а сны-подлецы сменяли друг друга как телепередачи, были один другого бессмысленнее и вгоняли пушкиниста в холодный пот прежде всего постоянным присутствием Александра Сергеевича и абсурдностью ситуаций, в которые сам великий поэт, а также его памятники и бюсты там попадали. И с могилами тоже были сны. Гробы, гробы. Все-то путают с этими гробами. Нету в них столько удобств, как в крематории. Тут Соломону стал сниться крематорий, а потом – длинный подземный колумбарий; бросался в глаза ряд урн с надписями, Соломон нехотя стал их читать: “Бенкендорф”, “Булгарин”, “Сенковский”, “Фотий”... Но вот поднял Соломон глаза и увидел, что выше расположен другой ряд урн, с надписями тоже, а обозначено на всех одно и то же: “Пушкин”, “Пушкин”, “Пушкин”... В ужасе Соломон захотел проснуться, но не смог, и увидел, что стоит он на почте, получает посылку из Израиля, открывает ее – и обнаруживает ни много ни мало, тот самый гроб дяди Натана. Гроб, конечно, пустым оказывается, как теперь модно, но потом видит Соломон, что гроб хоть и пустой, а все же не совсем. Оказывается, сидит в гробу полоумный Степан с первого этажа, совершенно живой, сидит он там и донос пишет. А потом, гад, поднимает голову на Соломона и злорадно так усмехается – мол, попался наконец-то, и очень страшно становится Соломону. А Степан медленно-медленно так руку поднимает, кулак разжимает – и показывает ему, будто икону черту, доминошную косточку “шесть-шесть”. И говорит: “Рассыпья!” В ужасе чувствует Соломон, что начинает рассыпаться. И просыпается, так за всю ночь и не сомкнув глаз.

Время, наконец, доползло до назначенного предела, и сторбленный, кутающийся в истертый смушковый воротник Соломон вытряхнулся на перрон

свердловского вокзала. До дома было не так уж далеко, всего километра два, в нормальный день он бы их пешком прошел. А тут в горести почувствовал, что сил нет как нет, и сел в такси. Очередь пришлось отстоять порядочную, ибо даже при нынешней цене на такси народ продолжал все-таки пользоваться этим буржуазным видом транспорта. “Ничего, ничего”, – злобно подумал Соломон, вспоминая краем уха слышанную в поезде сплетню, что и на такси скоро цену опять повысят, и ого-го как повысят! А с другой стороны – чего плохого в такси-то, вот ведь и Александр Сергеевич на извозчике иногда ездил, чтобы поближе к народу быть, беседовал с петербургскими лихачами, об этом совершенно точные сведения есть и у Златовратского-Крестовоздвиженского, и у Клейнштейна, и у Чичернова...

Поднялся к себе, открыл дверь, окинул беглым взором простоявшую два месяца без хозяина квартиру и убедился, что не ограбили, – по крайней мере, явных следов грабежа не было. Могли, конечно, стащить что-нибудь из важных пушкинских документов, но это сразу не проверишь, очень уж их много накопилось. Впрочем, зачем из квартиры что-то воровать, вон, грабители прямо по опубликованному шпарят безнаказанно. Не успел Керзон раздеться, как зазвонил телефон. Звонил Берцов: звериным нюхом почуял, видать, неудачи конкурента. Только его с вечными хвостовскими заботами и не хватало сейчас Соломону. И со зла на весь мир бросил Соломон в трубку горькие, лживые и несправедливые слова, – лишь бы ему не одному на белом свете тошно было: – Да, да, очень удачная поездка получилась. Уж такие письма Пушкина нашел, что теперь и вовсе от твоего Хвостова камня на камне не останется, так что, считай, вся жизнь твоя, Ленька, Хвостову под хвост, пиши пропало... Он ведь куда как прозорлив был, родной наш Александр Сергеевич, все, все расписал про Хвостова, все как есть! Все на самом деле он писал, и про крав, и про елботы, и про Екатеринин гоф, вовсе это не подделка, настоящий это Хвостов! – и злобно бросил трубку. Потом почувствовал угрызения совести, но перезванивать не стал, прекрасно знал, что все елботы – выдумка смеху ради, но... пусть хоть до вечера дурак помучится.

В горле пересохло. Соломон с трудом дошел до кухни и хотел чайник поставить, ибо сырой воды не пил никогда и ни при каких обстоятельствах, даже в Москве, где другие пушкинисты ее, кажется, пьют. Правда, понятное дело, что и здоровье их не столь ценно. Долго-долго искал Соломон спички, чтобы газ зажечь, и понял наконец, что спичек в доме нет. Просить у соседней счел ниже своего достоинства, да и нет никого сейчас, все либо на работе, либо, гады, сидят в закуте возле котельной и в домино со Степаном режутся; к Степану после давешнего сна стал Соломон испытывать что-то вроде небольшого страха, ну как и впрямь возьмет он этот самый дубль “шесть-шесть”, неприятно это себе представлять, тем более, что дубль этот называют доминошники “гитлер”. Опять влез пушкинист в пальто и, ни о чем не думая, как бы под наркозом, побрел на угол за спичками.

Спичек на углу, однако же, не оказалось: баба в табачном киоске на его просьбу ответила сатанинским смехом, – их в Свердловске уже давно в свободной продаже не было, все теперь, говорят, с родной Бийской фабрики куда-то за



границу идет, а импортные иди достань, испорчены у нас отношения с теми, которые спички делают. Так что иди, пахан, либо в винный, там в порядке общей очереди две коробки на нос, либо в универмаг, там с шампунем “Мухтар” для собак и с “шипром” и еще с чем-то в подарочном наборе целых десять коробок дают. Соломон ничего не понял: какие собаки? Но снова, как под наркозом, побрел куда-то в указанном направлении, не чувствуя, что идет он все медленнее и что воздуха вокруг становится все меньше. Знал он сейчас только одну цель в жизни: купить спички.

Добрел пушкинист до винного, узнал, что спички есть, на рыло две коробки дают, даже три, если к ним плитку шоколада “Сказки Пушкина” возьмешь, а будешь ли, дед, третьим?.. Соломон даже головой не мотнул, сил не было, и встал в очередь, в которой тоже, конечно, были разговоры, но все на одну тему: хватит или не хватит, потому что цену повысили, шесть с копейками уже непереносимо, скорей бы царь был, хотя пять с копейками тоже не сахар, но все же легче. Соломон ничего этого не слышал, поле зрения сужалось, слух почти уже отказал старику, воздух отчего-то исчез совсем, снова вспыхнуло в сознании произнесенное громовым голосом артиста Царева:

Ничего не знают Мойры  
О печалях...

И тогда воздух исчез окончательно, остался лишь узкий и тесный коридор, по которому помчался Соломон навстречу брезжущему вдали свету, а там, как сейчас совершенно точно знал Соломон Керзон, его уже ожидал Пушкин с целым рядом не очень, пожалуй, приятных вопросов, на которые придется отвечать без всяких экивоков и ссылок на французские оригиналы.

Врач “скорой помощи” долго и нудно ругалась с директором магазина, что два покойника за три месяца в одной и той же очереди – это все-таки перебор явный, тут, впрочем, несомненный паралич сердца, но докладную она напишет, не нужна ей никакая “Сибирская”, своего спирта хоть залейся и он чище гораздо, и пусть директор пойдет и свечку поставит, что этот покойник – еврей, а тот – в нетрезвом виде был, ну, ладно, пусть опять торговлю открывают, ладно, ладно, если третий покойник тут же будет, то она за последствия не отвечает, процент умираемости на нее, чай, ложится, а не на директора... Бурча и ругаясь, врачи погрузили бранные останки Соломона в нутро ветхой своей машины и отбыли к моргу, где пушкинисту предстояло дня три пролежать в холодильнике до востребования родственниками. Единственным родственником, которого сумели отыскать, оказался муж племянницы покойного, уважаемый человек В. П. Глущенко, тревожить которого сейчас было никак нельзя, он вчера ответственных товарищей в центр проводил, а покойнику ничего не сделается, он в холодильнике.

Родственников у пенсионера, таким образом, пока что не имелось, и чуть-чуть не докатился цвет российской пушкинистики до похорон за казенный счет, однако же не зря, оказывается, проповедовал Соломон Пушкина, принеся в жертву даже священный субботний отдых. Благодарные члены семинара

забрали его из морга к вечеру того же дня, прибрали и положили в клубе фабрики имени Пушкина, – у директора клуба даже и разрешения никто спрашивать не стал, просто аннексировали малый зал под что хотели: хочешь, жалуйся, даром, что в штатском. Плакат и музыку оформили через военкомат, покойник был как-никак боевым капитаном в отставке, что еврей был – так даже хорошо, раз уж теперь покойник, а приятный был все же человек, сколько сплетен забавных рассказывал, прямо вспомнить одно удовольствие. И как венец всех мероприятий – уже от своей конторы, от других бы не оформили – дали семинаристы некролог в местную газету. Именно поэтому появился некролог в печати до нелепости быстро, утром следующего дня, из некролога свердловчане узнали о скоропостижной кончине члена партии с такого-то года, и еще члена социалистических писателей с какого-то другого года, и о соболезнованиях непонятно какой семье, и тому подобное. В числе свердловчан, потрясенных этой горестной вестью, – а было таковых, прямо скажем, очень мало, – имелся член партии с другого года, более раннего, однако не член писателей, но тоже видный литературовед – Леонид Робертович Берцов. Человек этот был хил плотью, но неистов духом.

И вместо того, чтобы пойти в этот самый клуб, – а главным образом из-за того, чье имя клуб носил, имени этого Берцов без рвотных содроганий слышать не мог, – чтобы попрощаться с другом-врагом, полез престарелый хвостововед на антресоли, выудил оттуда бережно запакованную в опилки и в старый портфель втиснутую бутылку керосину, с прибавками некоторых особо активных и горючих веществ. И если менты еще не опечатали выморочную квартиру Соломона, то все дальнейшее должно было сойти гладко, ибо ключ к Соломоновой квартире Берцов подобрал давно, именно на такой вот счастливый случай, да и просто на всякий пожарный случай. Когда-то он мечтал из керзоновского архива просто выкрасть все материалы по Хвостову. Потом Соломон, как-то раздухарившись за чаем, хвастанул, что никому и никогда не понять ничего ни в его архивах, ни в картотеках, – так, мол, мудрено это все у него устроено, – не по алфавиту, не по годам, а как-то там исходя из числовых значений букв, а уж какие там он буквы использовал, это он и на смертном одре никому не расскажет. Так решил отомстить Соломон своим неблагодарным современникам и потомкам. В прошлом старый Берцов был сапером, воевал, впрочем, недолго, тяжелое ранение получил совершенно неважно куда, но опыт работы с зажигательными смесями все-таки имел. Квартира, на его счастье, оказалась пока что еще не опечатанной, но участковый мог явиться в любую минуту, и нужно было спешить.

От пола до потолка шли книги, сами стеллажи тоже были деревянные. “Вот хорошо-то”, – подумал хвостововед. Он совершенно не желал, чтобы его многолетняя работа и вообще вся жизнь из-за двух слов какого-то там негра с пейсами шли кому бы то ни было “под хвост”. Угрызений перед памятью Соломона Керзона он тоже не испытывал: напечатал покойник до фи́га, а что не напечатал, то, стало быть, и не должно печататься вообще. Берцов прошел на кухню; там, на краю газовой плиты, обнаружил он тот самый чайник, ради разведения огня под коим пустился покойный пушкинист в свой последний

путь. Ученый друг залил в чайник часть горючей смеси и стал аккуратно поливать Соломоновы книги и бумаги. Остаток разлил по полу, еще специально влил по стакану жидкости в каждый ящик письменного стола. Искушение поискать хвостовские бумаги Берцов подавил в самом начале. Вообще человеком он был твердым и решительным, все, что решал – исполнял, во что верил – в то верил безоговорочно и безоглядно, угрызения совести были неведомы ему даже в тридцатые годы, – поэтому он, кстати, даже и не сидел ни разу. По крайней мере он считал, что поэтому.

Считанные секунды понадобились ему, чтобы приладить к Соломонову телефону хитроумное приспособление: звонок, все рано чей – и запланированная искра прыгнет в чайник с остатками горючей смеси, а там уж и вся квартира запылает, как факел. И тут Берцов бросился наутек вниз по лестнице, не ровен час позвонит кто-нибудь, чтобы спросить о времени гражданской панихиды, – тогда и похорон не понадобится, но уже ему, звезде хвостововедения. «Пушкин твой у агента третьего отделения выяснял, зачем ему имя-фамилия» – злобно думал Берцов, представляя профиль Собаньской из черновики Пушкина.

Из ближайшего автомата, отстранив трубку как можно дальше от уха, Берцов позвонил. Потом нажал на рычаг и спокойно пошел домой, дело было сделано. Теперь, пожалуй, можно и нужно было идти прощаться с покойным. Через час, прифарфорившись по мере умения, направляясь к известному каждому свердловчанину дому культуры им. А. С. Пушкина, – куда, впрочем, могли еще и не пустить, – не удержался, сделал крюк и прошел мимо Соломонова дома. У ворот стояли две пожарные машины и одна милицейская, – видать, милиция виновного подобрала. Берцов совсем успокоился и пошел в клуб. Его туда пустили. Хоронить Соломона должны были завтра, видать, с немалыми почестями. Берцов решил, что и на похороны тоже пойдет. Он больше не чувствовал никакой обиды на покойного, в душе его была тишина. Теперь нужно было браться за переработку состава тома “Библиотеки поэта”. Час настал.

В эти самые минуты тишина была и в другой душе. Принадлежала душа молодому милиционеру, старшине-участковому Алексею Трофимовичу Щаповатому. Всего третий месяц занимал он свой ответственный пост в местном дэ пэлиис стейшн, отделении милиции то есть, а вот уже сумел поймать одного виновного прямо у себя на участке. Для продвижения по службе успешная ловля виновных была нужна ему позарез. Список возможных преступлений на своем участке он давно уже прикинул, – но происходило все время не то, чего он ждал, и никто не хотел с ним фолоу ми ту дэ пэлиис стейшн ту клиэр ап дыс куэсчн. К примеру, казалось Алеше, что будет у него на участке групповое изнасилование, он к нему и готовился. А случилось вместо этого то, что из магазина № 53 происходило массовое хищение линолеума, который, кстати, вообще не собирался идти в продажу, так что молодцеватые ребятки из УБХСС немедленно Алешу оттирала. А фронтити. Потом ждал он, что нетрезвый частник собьет старуху. А вместо этого совершенно трезвый третий секретарь обкома въезжал в витрину. Тут уж ай эм сори, ю мэй драйв он, само

собой разумеется. Ждал он, к примеру, наглого ограбления инкассатора ну прямо среди бела дня. А вместо этого какая-то богатырского сложения и весьма на его вкус привлекательная женщина – это на прошлой неделе было – набивала морду ему самому ранним-ранним утром, притом совершенно неизвестно за что, так, похоже, из общей нелюбви к милиции, да еще не просто била, а приговаривала: “По сусалам! По мордасам!” Стрелять в нее было не из чего, а сопротивляться небезопасно, зашибет еще безнаказанно. И опять ай эм сори... А ведь человек Алеша был не простой, он был человек олимпиадный: прошлым летом стерег в Москве какую-то важного правительственного значения тумбу, пьяных дружинников по подъездам раскладывал, чтобы враги не опознали, если наткнутся. Потом назад в Свердловск возвратили, но воспоминаний осталось на всю жизнь. Йес, бат оунли уыз дэ пээмишн ов дэ инспектар о дэ коот. Последняя фраза была, впрочем, не из той оперы: страницы насчет “в медвытрезвителе” и “в случае ареста” были из его разговорника беспощадно вырезаны, не по рангу это ему было. Только кусок от “ареста” по-английски остался, но запретный плод сладок, это все Алеша как раз вызубрил, остальное в памяти угасло как-то, а это – нет. Увы, вот преступления нераскрываемого все никак не выходило и никак. Куандо эста авьерта эль маусолео?

И никак. В прошлую субботу показалось Алеше отчего-то, что будет на его участке пожар, в результате преступного поджога. Хотя уже по опыту знал, что воспоследует из такого предчувствия какая-нибудь пошлая драка, да поломанный нунчак на месте преступления, – но приготовился все-таки, составил список по своему участку, записал всех ответственных за противопожарную безопасность. Итс элауд, его участок, что хочет, то выясняет. И тут – во вторник уже всего лишь только! – на тебе, настоящий пожар. Алеша помчался по вызову, словно красный петух по соломе. Пожарные прикатили, правда, еще раньше: после того, как у них вся пожарная часть выгорела и сами они еле живые остались – вон какие шустрые стали. Выгорела всего одна квартира, хозяин только что умер и наследников нету, кажется; ну, как водится, еще и перекрытиям урон и у соседей банки с вареньем полопались, иска гражданского будет сколько-то, но немного. Так что злостный поджог налицо, виновного потом найдем, а пока что есть ответственный. Поглядел Алеша Щаповатый в свои списки – и чуть не взвыл от восторга, потому что очень не любил он всяких бурят-казахов, счета у него с ними личные были. Рожа казахская, нагулянная на русском сале, конечно же, немедленно была разыскана, – тем более, что Хуан затушил пожар практически в одиночку еще до приезда пожарных, как раз выходил из подъезда с обгоревшей метлой, когда его арестовали. Мало того, что на двух ставках советской кровью питается, так еще, гадюка, уже три года как ответственный за противопожарную безопасность. Упоенный Щаповатый сдал дворника конвоирам, а что для него, в высокий этот момент его короткой и бедной триумфами жизни, были вопли дворниковой сожительницы, неприятно непривлекательной бабы, которая ему, как-никак официальному лицу, чуть в морду ребенком не швырнула, а сдачи ей, увы, не дашь, она чуть не на восьмом месяце, и третье дите под ногами крутится, и все косоглазые, гады, во размножаются, скоты, мало того, что стоит

у них торчмя день и ночь с русского сала, да не просто стоит, а все на баб на русских! А у Алеши в последние месяцы были, кроме служебных неудач, еще и сексуальные, лечиться пришлось тайком, от этого его злость только усугублялась. Ничего, в ближайшие часы эта желтая харя узнает на себе, какая большая, какая благоустроенная следственная тюрьма, легендарный екатеринбургский централ, построенный тем же Малаховым, что воздвиг в Ленинграде Исаакиевский собор, где сидели и товарищ Свердлов, и личный адъютант Гитлера, СИЗО номер один, в городе Свердловске, главное, в каком тюрьма районе хорошем, чуть не в самом центре города, хоть подследственному это, пожалуй, даже и все равно. Пусть посидит, гнида, все меньше детей настрогает. Там ему самому детей заделают, вон, хрупкий какой, гнида. Со злорадным удовлетворением возвратился комсомолец Щаповатый на свое служебное место и стал думать: что такое может приключиться на его участке на следующей неделе. И намечталось ему почему-то, что не произойдет здесь вообще ничего. Пожалуй, это могло предвещать что угодно, вплоть до убийства, отягченного частичным расчленением трупа, но он всегда привык исходить из начальной версии и пошел в служебный туалет прикидывать: как долечил он то, что лечил, и готов ли к тому, чтобы внеслужебно отдохнуть, или нет.

Получилось не очень утешительно, выходило, что не совсем он еще этот отдых заслужил. Но сил терпеть никаких не было, Алеша пошел звонить из автомата, – по другому телефону с таким делом он звонить никогда бы не рискнул.

У автомата пришлось ждать. Кто-то большой и бородатый голосил в тугой, видимо, микрофон трубки:

– Рувим – Осип – Моисей – Аарон – Натан – Осип – виза... Пусть бросают свой улыпан. Пусть подадут на въезд, как раз по срокам очередь подойдет, вернутся, большое дело тогда заведем... Да не будет никакой процентной нормы... Черты оседлости тоже... Да передавали же, ты радио слушаешь или вообще никогда?... Соломон, Лев...

Наконец, тип закончил. Алеша вошел в автомат и дрожащим пальцем набрал заветный номер. Никто не ответил. Может быть, так оно и лучше. Надо сначала выздороветь. Отчего это бабы липнут к косоглазым?

Очень скоро Лхамжавын Гомбоев получил свои два года строгого режима, а на следующий день Люся родила ему очередного наследника. Со зла поклялась, что в ЗАГСе запишет его Маоцзыдуном, но там ее послали лечиться и без спросу записали Денисом – сказали, имя сейчас самое модное. А ей-то что до моды с уже тремя? И кто за ним, за дураком этим, в лагере теперь присмотрит? Он ведь, глупыш, думает, что он китайский шпион. А в самом-то деле он работает на подпольный центр маньчжурского правительства в изгнании. Пекин о нем понятия не имеет. Но дворником Люсю, конечно же, оформили очень быстро, где их теперь раздобудешь, нету дурней метлой махать. И донесения Степана потекли прежним каналом в прежнее место, – хотя, конечно, конспирация теперь стала уже не та, разве будет уважающая себя шпионка работать напрямую? Да и неинтересные это стали теперь донесения, с тех пор, как лысый жидовин загнулся. Вообще без жидов на свете неинтересно, на кого еще пакости разные спишешь? На муссонов еще, говорят, можно, но они ж разве вправду

есть? На жидов лучше. Это Люся усвоила.

И когда только Маньчжурия наведет во всем этом порядок?

## Павел II День пирایی Часть 4

*Евгений Витковский*

### IV

Она никогда не брала деньгами, а только вещами.

Таллеман де Рео. Занимательные истории

И с желудком тоже вовсе не все в порядке было.

Все тебе в порядке не будет: начальство вместо нормальной четвертой алкогольной формы норовит прописать шестую. Это значит бутылка чистой в день, а оно уже лишнее, с этого не похмелье наутро, а черт знает что, как опохмелишься, так получается сразу седьмая алкогольная форма, а за это сразу же выговор, а за что? И как Танька терпит? Но она-то железная, да и моложе, как мужика увидит, сразу трезвеет, – научиться бы. Платят неплохо. Но то плохо, что раз в месяц все деньги сразу, попробуй рассчитать, когда из казенного питья все время перелезаешь в свое: уследишь разве? В контакты по службе вступай с кем велют, а как вступишь не с кем велют, так тебе выговор за \*\*\*\*ство, даже если не в рабочее время, и вычеты. А ей поспать бы. И придатки тут тебе, и печень, и пломбы ставить надо, а за какие радости, спрашивается, кроме как если мужик хороший выдастся? А когда он последний раз, хороший-то, выдавался – она уж и не упомнит. Вот был тот, Жан который, что все норовил попугая подарить и требовал, чтобы курить бросила. Красивый был, только его террористы пять лет тому назад угнали. Боливийцы иной раз бывают ничего, из южноамериканцев они лучшие мужики, хотя они же и самые дикие. Теперь мулата какого-то на среду прописали, фиг его там знает, только бы мытый был. И желудок вот к тому же.

Кураги бы или чернослива хорошего. Вымыть, даже кипятком запарить, и сразу полкило натошак: сытно и для здоровья. Тоня порылась в кошельке и обнаружила, что денег там нет совсем. Очень удивилась, куда все подевалось, ведь рублей пятнадцать должно бы еще остаться. И прямо под ногами, в окурках, заметила угол трешки. Вытряхнула, значит, в бодуне. Пришлось смести мусор к середине комнаты и перебрать. Оказалось там больше, чем ожидалось, а именно – шесть трешек и до черта меди с позапрошлых разов. Рублей двадцать, так что и черносливу можно, и бутылку для себя, и еще чего-нибудь. Оделась, в коридоре споткнулась о стремянку, ни за что ни про что обматерила испанца, – потом самой стыдно стало, – и пошла на Палашевский рынок. Там оказался не то обеденный перерыв, не то санитарный хрен, пришлось ехать на Центральный на тридцать первом троллейбусе. Чернослив там точно должен быть, его советские люди вообще норовят в магазине купить, но она тебе не советские люди, у нее желудок и работа в алкогольной форме. Допиться бы до белой горячки, чтобы уволили. Да только вот Жан с попугаем

все-таки был. Фигли же?

Мало хорошего было в ее по сей день чистой биографии, а все-таки биография еще была, чин-то имела Тоня всего только лейтенантский. Это когда второй комплект звездочек на погонах к линьке готовится – вот тогда прощай, биография, дают тебе новую, как хрусталь, чистую, с ней живи, государство само решает, какую тебе иметь полагается. Но она, Антонина, сошка мелкая. Так ей и жить с натуральной, никому, кстати, не интересной. Родилась Тоня вскоре после войны в довольно захолустном и тогда, и теперь городе Ростове Великом, где много чего есть в смысле древних церквей, но мало чего есть в смысле чего жрать. Говорят в этом городе на “о”. Собственно, это и все, что на сегодняшний день в Тониной памяти от родного города уцелело. Прочее само по себе отсеялось. Скучно там было и плохо. Как теперь ни плохо, а тогда еще хуже было. Разве только придатки не болели. Церковки там торчали из-за белых стен кремля и творожники казались праздничным блюдом. Тьфу. Кончила она школу и, даже невинности не потерявши, над чем потом сама смеялась, поехала в Москву поступать во ВГИК. Очень хотелось быть как там Доронина, или как там Мордюкова, или сама Целиковская. На экзамене вдохновенно прочла “Стихи о советском паспорте”, спела знаменитую песню военных лет:

И тогда, не стесняясь ничуть,  
наконец я признаться смогу,  
что тужурку твою расстегнуть  
мне труднее, чем сдаться врагу!

Вроде бы у нее тогда контральто было, теперь вот прокурилось, а тогда она и не курила даже. Не помогло. Не приняли, конечно, куда там с невинностью соваться. Только что она, дурочка метр семьдесят четыре, тогда в этом понимала? Вышла из ВГИКа и пошла куда глаза глядят, и вот возле северного входа ВДНХ обнаружила объявление о наборе в школу женщин-милиционеров. Пощупала Тоня какой-то из своих бицепсов, вспомнила, что в ней как-никак метр семьдесят четыре, и поехала по адресу. И поступила без всякой “Тужурки”. Кстати, с тех пор ее возненавидела.

Проучилась она в той школе больше года, анкета была все так же чище первого снега, впрочем, от невинности, к счастью, избавил кто-то, сразу легче жить стало. Но перспектива в жизни маячила небогатая: предстояло стеречь всяких проституток-воровок, развешивать по мордасам и тому подобное. Ни фига себе ВГИК. Силушкой Бог не обидел, впрочем, за себя-то бояться нечего, – ну, да ведь за это и в школу взяли. Да радости-то? И вдруг появился у них в школе после занятий человек в штатском, как потом выяснилось, полковник из смежного ведомства, – теперь-то давно уж генерал-майор, но выше пойдет вряд ли, разве только на пенсию проводят со следующим чином. И предложил ей и еще, кажется, трем девкам – видать, хорошо просмотрев личные дела и медицинские карты, – некоторые, ранее не маячившие, перспективы. Для разговора приглашал в кабинет директора, а директора выгнал, погуляй, мол; Тоне сразу ясно стало, какое ведомство ею интересуется. Чего, значит, вам тут

хорошего, девоньки, светит? А какой вкус у коньяка “Мартель” – пробовали? А “Филипп Морис” курили? А с презервативом японским усатым в крапинку фиолетовую общались когда?..

Не знаем, не курили, не общались. А за чем тогда дело стало? Складывая общежитские манатки, девонька, я, считай, все уже уладил, получишь комнату на Молчановке, квартиру пока не можем, у нас самих с этим туго, но надейся. И всей-то работы будет... Честными и прямыми русскими словами, избегая слишком уж медицински-грубой матерщины, объяснил Тоне, как, наверное, и остальным девушкам, но она с ними больше не виделась, что дело их простое: поддавать, давать, передавать, а когда велят – сдавать, выдавать, то есть. В случае болезни – 100% бюллетня. И лучшее лечение, конечно: ее здоровье государству – чистая валюта, а валюту вот как раз придется всю сдавать цент в цент, а взамен – сертификатами, – тогда еще были... Вправду ведь были. Тоня полковнику понравилась. Из Тони мигом сделали по документам фиктивную вдову, оказалась она зачем-то Барыковой, не понравилась сочинителям биографий ее старинная татарская фамилия. Вот и все перемены в биографии, имя прежнее осталось. А Юрий Иванович Сапрыкин, его так и полковником звали и теперь зовут, Тоню всамделишно оценил, в тот же вечер ей, кстати, должное воздал и как женщине, и потом еще разок-другой. А потом началась работа на Молчановке. Иностранцы и те, что как бы.

Первое время даже показалось ей, что в своем роде это все тоже вроде ВГИКа – деятельность как бы актерская, романтика, и шпионов ловить интересно, а давать им еще интересней, про это в романах ничего не рассказано. Девчонка тогда она еще совсем была, дура инфантильная. Однако же хватило инфантильности ненадолго. Скоро полное отчаяние наступило. Поняла, что всю жизнь так и будет пить и давать, выдавать, потом снова пить и так далее. Попробовала даже, чтобы из ГБ выйти, напиться до белой горячки. Ничего не вышло. Сунули на два месяца в Покровское-Стрешнево, напихали таблетками и накачали уколами до опупения – и назад, на Молчановку. Под зад коленом. Куда из него, из ГБ, выйдешь? Замуж? Ну, было, конечно, ну, влюблялась, не раз, не два, и всегда-то в женатых, в тех, что постарше. Зря, что ли, выговоры за \*\*\*\*ство в рабочее время получала, другой раз за неделю три раза? Да разве подкаблучников от семьи оторвешь? В Мишку Синельского поначалу сильно втюрилась, в сослуживца. Сильно втрескалась, пока не уяснила, что к чему. И ленинградец какой-то на курорте даже предложение делал. Да нет, все одно пропадать. И радости от замужества – ши, что ли, готовить? И стала Тоня в глубоком, глубоком своем одиночестве доходить до полного отчаяния. Впрочем, желание допиваться до белой горячки как раз тогда и исчезло почему-то, не от надежды, а от безнадежности – не то к добру, не то к худу. Одного теперь только хотела, как от психушки оправилась: пожить одной. Тихо. Спокойно. Хоть бы в той же комнате, где испанский коммунист за стенкой и где Белла Яновна в кухне белье скалкой в баке размешивает. В покое, словом, чтоб оставили. Только ничего этого не будет, невозможно это. Ничего-то, Тонечка, ты не умеешь. Куда пойдешь? Сорок уже скоро. В домработницы? В уборщицы? В продавщицы? Все одно, куда ни пойти. А в секретарши? Так ведь



опять давать надо будет, а денег и на трусы не заработаешь. Хотя, может быть, если бы из ГБ выйти и пить бросить, то и денег меньше потребуется. Вот если бы выйти, так и пить бы бросила, и даже курить. Нет, пустые, Тонечка, твои мечты. И семьи никакой нормальной на свете этом быть не может, – вон, ни одной и нету вокруг, все только грызутся с утра до вечера. Единственно что может еще быть, так дожить бы до пенсии, и делу конец. Любила себя Тоня настолько, чтобы шею в петлю не совать, хотя отвращение к жизни все-таки росло с каждым днем. Оттого и пила она, пожалуй, сильно больше положенного, оттого и зла была на всех и вся, и в квартире, и на службе, и на улице. И власть эту самую ненавидела, видимо, даже больше, чем те, кто деятельно боролись с нею по долгу службы или даже те, кто противились ей по соображениям чисто идейного порядка. Первых она видела немало, про вторых только слышала, неинтересны ей были и те и другие в равной мере. Ненавидела эту власть просто как личного врага, искалечившего ее жизнь, отнявшего молодость и собирающегося отнять все, что осталось. И ненавистью этой не делилась ни с кем не со страху, что попрут в края очень дальние, а по какой-то озлобленной скупости. Чтоб ни крупинки ненависти не пропало – всю, всю держала она при себе. Ибо понимание того, кому именно она служит, с годами сложилось у нее самое что ни на есть четкое. Какие там негры по службе, какие французы, какие индусы – давно было Тоне плевать. Работа есть работа, а таблетки казенные. И то хорошо, что ни одного аборта за всю жизнь не сделала – успевай только за полчаса, заранее, сглотать таблетку. Она успевала.

Долго ли, коротко ли, но кило чернослива на Центральном рынке была не проблема. У какого-то кацо, не то генацвале, а вероятнее всего – аксакала, потому что усы уж очень отвислые, купила кило, заодно еще кулек чищенных грецких орехов, и домой поехала на том же тридцать первом. Дома помыла под горячей водой, успела, слава Богу, а то к двенадцати отключить обещали, и жадно стала есть, сплевывая косточки прямо на пол. Все равно грязный и все равно окурки. И вдруг показалось ей, что в беспорядке ее профессионально-холостяцкой квартиры явился какой-то дополнительный беспорядок, изначально непредусмотренный. Ибо взгляд человека, который ест, особенно вкусное, устремлен обычно в пространство и блуждает, где может. И раскрепощенный вкушением среднеазиатского чернослива Тонин взгляд так вот блуждал, блуждал и вдруг зафиксировался на предмете, которому вообще-то полагалось бы уже некоторое время назад ускользнуть в разверстную пасть мусоропровода. Предмет был в Тонином жилье столь неуместен, что сердце лейтенанта поехало прямо в желудок, с которым теперь посредством чернослива должно было стать все в порядке, – и показалось обеспохмелевшей Тоне, что желудок у нее, кажись, вот-вот наладится сам по себе. Короче говоря, Тонино внимание привлекла ею же самую скомканная и брошенная на кресло без ручек газета – обертка от чернослива. Никогда она таких газет не видала, не читала, хотя и слыхала о них на службе.

Лист газеты был не очень большой, примерно как “Литроссия”, только название газеты набрано было черным. “Литроссию” по долгу службы приходилось выписывать – на свои! – ибо там, внутри, кроме вопросов пола и

прочего, регулярно печатались “мутации” Сидора Валового, а они в той организации, где работала Тоня, приравнивались к политзанятиям. Правда, они как бы в стихах были, Тоня стихов читать не могла и не умела, но “Литроссию” выписывала, чтобы лишних выговоров не иметь, хватит и тех, что есть. Но на этом листе черным по белому стояло: “НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО”. Нью-Йорк, значит, год издания офигительный, они там еще до революции антисоветскую пропаганду начали. И выходит, гадина, шесть раз в неделю на многих страницах, – во черносливу-то назаворачивать!..

Тоня расправила мятую газету и впиалась в нее – очень уж любопытно стало. Вообще читала она мало и неохотно, “Аввакума Захова” вот прочла три тома, а потом надоело, что у героя в каждом романе ровно две бабы, ни одной больше, ни одной меньше, а потом еще и трахнул Аввакум свою сеструху-разведчицу из братской ГДР, так и вовсе Тоня к Аввакуму остыла: вкус хоть какой-то иметь надо. Вопрос о том, как попала эта газета на Центральный, Тоня временно отложила: за аксакала, конечно, взяты придется, но не вышло бы себе дороже, на него заявишь, а тебя же, не моргнешь еще, заставят с ним в контакт вступать. Стала читать. Смысл передовицы, славно так озаглавленной “Шалишь, Совдепия!”, сводился к тому, что Ливерий Везлеев со своей камарильей шалит, стало быть, и западным странам пограживает. Подпись: Ст. Хр. Статья была глупая, но все равно захватывала самим фактом, – вот, оказывается, что такое “запретный плод”, даже он на Центральном рынке есть. Еще на той же странице была реклама нью-йоркской фирмы, производящей слуховые аппараты, говорящей в присутствии заказчика по-русски, а также изготавливающей надгробные памятники из лабрадора заказчика. И еще про четырех лабрадоров была статья, которых купил в Канаде советский прихвостень, председатель президиума верховного совета СРГ Эльмар Туле, чтобы своим советским хозяевам подарить, там, мол, все лабрадоров держат покрупнее. Еще была реклама набора желудочных трав, раз и навсегда изгоняющих газы из желудка заказчика, и стихи какого-то еврея с русской фамилией, и чье-то заявление для печати, и сведения из глубоких источников, не предназначенные для печати, насчет того, что третья волна уж никогда, никогда не заменит первую волну, хотя у нее тоже есть лауреат и еще кто-то без еврейской фамилии, но с гражданством, – а также по поводу того, что Муаммар Каддафи написал книгу «Как нам переобустроить Аркаим»... В этом месте раздалось в комнате Тони сдержанное, но совершенно неожиданное и почти столь же неуместное, как “Новое Русское Слово”, рычание. Она обернулась – и обалдела во второй раз за сегодняшнее утро. К ней явился гость. Гость был ей знаком, но откуда он взялся и, главное, зачем взялся? Посредине комнаты, разметя хвостом окурки и черносливные косточки, расчистив таким образом место и прямой, как палка, на таковое расчищенное место хвост уложив, сидел здоровенный рыжий с проседью пес, мордой лайка, телом овчарка. Сидел, свесив набок язык, обнажив желтые, сточенные, но все еще страшные зубы; сидел, смотрел на Тоню и всем своим видом говорил ей многое, по большей части совершенно понятное. Тоня быстро скомкала газету и бросила ее в угол: пес был официальным лицом, на два чина старше нее по званию. Некоторое время оба сидели молча, пес был

телепатом высшей в СССР спортивной категории для тех случаев, когда это требовалось по инструкции или было ему выгодно, и скоро Тоня знала уже все, что полагалось. До прихода поезда оставался один час сорок шесть минут, того человека, которого нужно было встретить, звали так-то и так-то, делать с ним надо было то-то и то-то, и приказ обсуждению не подлежал. Потом пес деликатно вышел в коридор и спрятался за стремянку: Тоне нужно было переодеться. Пес указал Тоне на факт, что приедут двое, но получалось так, что и встречать, и привечать придется только одного. Тот, которого встречать не надо, показался ей чем-то знакомым, – пес на долю мгновения предъявил его портрет. Портрет второго, которого встречать-привечать, был совершенно неведом, но отчего-то заставил Тоню вздрогнуть, чему она очень-очень удивилась: ей ли, при ее работе и опыте, вздрагивать. Загнала она этот вздрог поскорее в подсознание и надела свежие датские колготки.

Пес пришел сюда, ведомый чувством, много уже лет как вполне забытым: отчаянием. И – как всегда – пес обманывал себя, ибо видел своим низким чутьем реальное будущее не хуже, чем предикторы ван Леннеп и дю Тойт вместе взятые, а на самом деле хитрил с этим самым будущим не хуже, чем безымянная до времени женщина-предиктор, повстречавшаяся сношарю Никите на Верблюдо-горе. Он желал и долг служебный исполнить, ибо таковой почитал священным, и не погрешить перед будущим собачьего рода, да уж заодно и человеческого. Отчаяние он в себе разжег сейчас искусственно, притом по долгу службы.

Перемахнув ранним и промозглым утром через частокол сношаревой усадьбы, вдоль раскисающего прямо на глазах берега Смородины, потрусил Володя в Москву исполнять служебный долг, докладывать, что выследил и шпионателепортанта, и двух членов недобитой царской семьи, и кучу их сородичей и пособников, которых брать надо как можно скорей, – и всю деревню эту лучше заарестовать на всякий случай, потому как претендовать могут, одной они там все породы, и притом весьма опасной для существующего общественно-политического расклада. Даже решил дать совет: не перемещать эту самую деревню никуда, а обнести колючим забором, вышки поставить и гавкать на тех, которые рыпаться будут. Также имел сообщить, что заготовил в брянских лесах изрядное поголовье служебно-бродячих и просит выслать за ними отряды опытных вербовщиков с собою во главе. Предикция, впрочем, указывала, что последнее – чистое издевательство над начальством, служить эти лесные эс-бе по доброй воле хрена с два пойдут. Да и некому им скоро уже служить будет. Однако долг велел доложить, он доложить и собирался.

Несмотря на почти сутки форы, которые дал он пособникам империализма, наследнику престола и его клевету-телепортанту, не тревожился на счет их ускользания Володя нимало, – изучив характер Джеймса, он знал, что поедет тот в Москву кругалем, через всякие Киржачи и Кашины, что угрожает он на это не менее как четыре дня, а то и полную неделю, а ему, вольному служебному бродячему старику, прямая дорога из брянских лесов в московские каменные джунгли никем не заказана, – кроме собачников, а уж их мы как-нибудь того. К тому же с дорогой повезло, километров триста он проехал в каком-то нерабочем

тамбуре, только перед Калугой из него выскочил, почуял недоброе: драка в этом тамбуре должна была разразиться с кровопролитием, а на хрена ему, старому волку, тьфу, псу, идти в свидетели? Случилась там драка или нет – совершенно неважно, но не прошло и четырех дней с выбега из теплой сношаревой избы, как замаячили на горизонте какие-то кубы и параллелепипеды, и углы, и бетонные плиты, и градирни, другая промышленно-ядовитая пакость, а потом и красненькие буквы “М” стали попадаться, а уж от Юго-Западной дотуда, докуда ему сейчас добежать надо было, оставалось совсем немного километров. Пес прибежал в Москву.

Собственно, полагалось ему сейчас прямым ходом влететь в кабинет к майору Арабаджеву и все как есть доложить. Но день выдался суббота, а то ли она у майора выходная, то ли черная, когда он и впрямь сидит в кабинете, злой, как помойный котяра, и на людей лает, – на собак попробовал бы, – иди знай. Тогда, если суббота выходная, полагалось бежать к нему домой и тем же ходом доложиться. Но то ли дрыхнет по раннему времени майор, то ли какую-то радиоактивную гадость из-под тающего льда укатил таскать по заповедные водохранилища – иди знай. Обежав оба адреса, установил пес, что суббота не черная, майор не лает, и как раз укатил неизвестно куда. В этом случае полагалось докладываться начальнику начальника, точнее, его заместителю, в общем, полковнику Аракеяну. Но того на службе тоже не случилось, домой же к нему уж и вовсе никогда носа показывать не дозволялось, ибо там попугаи с твердыми клювами, никакой собаке не безопасно, во-вторых, тесть очень высокопоставленный, его тревожить не велено, – на самого-то полковника плевать, стоит в будущее одним глазком зыркнуть, а вот на тестя не плевать никак, очень это важный тесть в смысле грядущих событий. Следующее по рангу начальство по домашнему адресу обрелось, но с позавчерашнего дня в себя не приходило и ждать тут нечего. Углов нечаянно выпил на новоселье у подчиненного, подполковника Заева, бутылку французских духов “Черная магия”, и за его здоровье боялись теперь, а подчиненный, кстати, в том случае, если начальство копыта откинет, собирался семье будущего покойного вчинить в таком разе иск в размере стоимости всей бутылки и уж заодно всего при новоселье истребленного и потребленного. Все это было Володе до фени, ему бы доложить кому, – а кому? По прямой над Угловым располагался человек, чрезвычайно популярный у подчиненных, тот самый разбитной генерал-майор Сапрыкин, чудовищный бабник с весьма скромными к таковому занятию данными, проживал неизвестно где, к тому же нюхом понимал, что тревожить генерала опасно, даже если вдруг на какой-нибудь госдаче он вдруг и отыщется, потому как в сауне, да не один. Выше располагался толстый человек в страшных погонах, слишком высоко этот человек располагался, чтобы ему, псу какому-то, его без предварительного согласования тревожить, еще влепят выговор да в чине понизят, а ему, капитану эс-бе Володе, до пенсии всего ничего. По рангу пенсия была бы ему в нынешнем положении очень недурная, получил бы он право жить на родине, в Сокольниках, при шашлычной “Гвоздика”, где разумный посетитель тебе уже кусок хлеба в качестве угощения не предложит, знает, что ты его жрать не будешь, даже в жире моченным, а

культурно снимает с шампура что-нибудь от своей собственной доли и подает тебе с уважением к собачьей жизни. А ежели понизят, то будешь ты жить – хорошо, если на родине – при кафе-мороженом, и что ты там кушать на старости лет будешь – даже представлять противно, в самом-то лучшем случае стаканчики вафельные, ну, а в худшем... Присел Володя в подвернувшемся тесном дворике на Малой Лубянке, повел выцветшим носом и принял решение. И принял на себя ответственность. И скоренько потрусил по Бульварному кольцу, прячась от милиционеров, коих глубоко презирал, в один из уцелевших от прежних времен переулочков, в ту самую квартиру, с которой начал свой небезуспешный поиск больше чем полгода назад. Теперь уже важно было не просто доложить, ответственность взята на свою собачью шею. Важно приказать. А там видно будет. Им видно будет. Мне уже видно.

Тоня получила от пса недвусмысленное сообщение о том, что поездом пятнадцать-одиннадцать в третьем вагоне пассажирского поезда “Владимир-Волынский – Москва” прибывают два человека, которых она, Тоня, обязана встретить, завлечь к себе в дом и ни в коем случае не упускать до тех пор, пока начальство не переловит из-под мартовского льда всю гадость, какая там найдется, или другое начальство не возвратится из эмпиреев кулинарной мечты, или третье не освободится от духовитых чар черной магии, или четвертое не утомится бесплодными своими посяганиями, или пятое не снизойдет. Пес странным образом дал указания встретить двоих, но далеко идущие инструкции насчет завлечения и удержания касались почему-то только одного. Куда денется второй – пес сообщить не соизволил. Но он, в конце концов, старше по званию, и это всегда послужит недурной защитой, если что не так, сам пусть несет ответственность. Но так или иначе, одного, того, которого назвал по имени, пес просто приказал удержать при себе хотя бы до понедельника. А сам пес тем временем вспомнил, что бесконечно, просто истерически хочет жрать. И побежал на задворки одного из новоарбатских кафе, где, как он знал, нередко валяется многое такое, за чем в провинции, в той же Старой Грешне, установилась бы немедленная очередь совсем не из бродячих собак, а из обыкновенных советских граждан. Пробеги тысячу километров с пустым желудком, нагуляешь, гав, аппетит.

...Нехорошими дорожными запахами напитавшийся владими́ро-волы́нский поезд медленно катился к Москве, пользуясь случаем постоять и там и сям, и особенно в чистом поле. Вез он в своем нутре гораздо меньше пассажиров, чем мог вместить, – не сезон, да и не поезд, и медленно идет, и приходит неудобно. Покружив вокруг Москвы, втиснулись в него Павел и Джеймс в Сухиничах. Павел и слова-то такого раньше не слышал. И вот уже почти готовы были прибыть в Москву. Будущий император приближался к своей столице совершенно разбитым бесконечными пересадками, измотанный поездными ароматами, – после чистого-то воздуха у сношаря, – и менее всего готовый к принятию бремени всероссийской власти. А Джеймс к тому же его потихоньку поил, как бы держал под наркозом, много не давал, но следил, чтобы и мало тоже не было. Да еще ко всему император неделю не мылся и его подташнивало от того, чего большинство населения вообще не слышит: от собственного

запаха. Стало быть, не одна только русская кровь пульсирует в жилах Павла. А поезд уже прошел Апрелевку.

Джеймс на этот раз ни от каких литературских сортиров не зависел. Явку ему сообщил Джексон уже с неделю тому назад, денег все еще оставалось порядочно, у сношаря шли только на коньяк, а это какие ж расходы. Никто, как знал он из бюллетеня ван Леннепа, не помешает им достичь Москвы и своей цели в Москве, где некая, еще не вполне известная ему “верхушка” сейчас, по собственному выражению Джеймса, “обивает Павлу трон жакардами-бархатами”. Этим-то господам, впрочем, как раз ничего о приезде императора в будущую его столицу и не должен бы сообщать. Иначе – лишний риск. Впрочем, какой же риск, если ван Леннеп все ясно сказал?.. Разведчик ехал в Москву с легким сердцем и спокойной душой. Нехорошо было только то, что, привыкнув к ежедневным бабам у сношаря, оказался вот уже неделю этого земного блага лишен. Но утешался тем, что сие временно.

Они сошли с поезда под дебаркадером киевского вокзала; ввиду небойкого времени прибытия дозволялось владими́ро-волы́нскому доходяге прибыть на привилегированный второй путь. Павел вдохнул железнодорожный, шпалами и еще Бог знает чем на всех вокзалах одинаково пахнувший воздух, стараясь на всю жизнь запечатлеть этот миг своего вступления в столицу, и замечтался на четверть мгновения, потому что мысленно, особенно на трехсотграммовом, в коньячном исчислении, подпитии, давно уже писал он свои мемуары “Путь на Москву”. И этой четверти мгновения хватило на то, чтобы упустить важнейшее и, пронеси Господи, непоправимое даже: кисть правой руки Джеймса, до того спокойно лежавшая на императорском предплечье, дико напряглась, дрогнула, оторвалась – и исчезла. Прогремел резкий, короткий, потревоживший на какое-то время носильщиков звон – но им ли удивляться, ну, еще кто-то сервиз кокнул. Так или иначе, бессменный спутник Павла, приبلудный Вергилий-телепортант, уроженец Ямайки и чей-то там незаконный сын, а также и чей-то законный наследник, кстати, если некстати вспомнить его почтенную матушку, – которую, конечно, совершенно с ней не знакомый Павел тут же и вспомнил в традиционнорусском сочетании, – исчез. Мимо спешили небогато укутанные пассажиры с небогатыми своими торбами, узлами, ремешками обстегнутыми чемоданами, – а Павел, совершенно один, стоял в этой толпе и понятия не имел: что делать, куда идти, зачем он тут вообще. Павел был испуган и растерян, совсем как малый ребенок в чащобе, – и все это, конечно, отражалось на его лице, отнюдь не императорском в эти мгновения, да и во все остальные, если честно говорить, почти таком же. Такой вот брошенный на вокзале ребенок. Фер-то кё? Роман Денисович где? И вещи где? Где всё?

Впрочем, дальше произошло что-то странное. Высокая, почти молодая женщина, попросту, пожалуй, даже красивая, вдруг бросилась к нему из толпы с распростертыми объятиями, с неожиданно чистым, из глубины далеко не всякой женской души способным вырваться криком:

– Павлинька! Павлинька!

И, не спрося разрешения, заключила его в объятия. Женщина была выше Павла на добрых полголовы, – хотя с некоторых деревенских времен меньше всего

смущало его в отношениях с женщинами различие в росте, – но да что же это вообще такое? Это по плану или нет? Очень нематеринские объятия женщины разомкнулись, она отступила на шаг и немного покраснела. Похоже, она тоже была смущена встречей. Джеймс обучил Павла – нет, не телепатии, тут кишка тонка оказалась у императора – а простейшей эмпатии, то бишь способности чувствовать на близком расстоянии простейшие эмоции тех, с кем доводилось иметь дело. Павел вслушался и уловил только учащенный стук сердца, то ли радостью вызванный, то ли еще чем-нибудь. И тогда снизошло на императора пусть хоть кратковременное, но все же явное спокойствие. Наверное, все-таки по плану. Наверное, его сейчас этой женщине с рук на руки передали. Не почетным же караулом его встречать должны, в самом деле? Хотя отчего б не почетным... А спутник объявится. Не такой он человек, чтоб с чужими вещами сматываться, без инструкции, кстати.

Очень бессвязно осознавая происходящее, Павел позволил усадить себя в ожидавшееся возле вокзала такси. Деньги на него Тоня обнаружила самым неожиданным образом: разметая хвостом окурки, вымел из них эс-бе новенькую, еще с зарплаты, даже пополам не сложенную десятку. Поначалу Тоня обняла Павла исключительно по приказу капитана эс-бе, а потом вдруг застеснялась, весь путь к машине прошла, боясь даже коснуться императора. В такси она уселась на переднее сиденье, чтобы дорогу показывать, хотя ехать-то от Киевского на Молчановку – всего ничего. Она сидела вполборота, фигуру ее Павел толком рассмотреть не мог, хотя его, привычного, фигура эта уже интересовала. К тому же ростом и лицом походила Антонина Евграфовна на незабвенную Марью-Настасью, но повадкой, обращением была куда приятнее. На долю мгновения предположил Павел, что, быть может, это сам Роман Денисович, спутник и вечный друг, взял да и превратился в эту женщину, чем черт не шутит, был ведь разговор о том, что в Америке это умеют. И тут же отмел это предположение как несостоятельное, ибо никогда никаких особо теплых чувств Джеймс не излучал, ну разве что когда писал свое отречение от престола, так это все скорей по пьянке было, надо полагать, – а сейчас Павел ясно слышал малопонятное, явно позитивное чувство, которого не знал никогда, в котором ясно прослушивался только учащенный стук сердца, словом, неведомое какое-то чувство, скорее приятное. На мгновение еще подумалось: а вдруг все-таки под арест везут? Но стыдно от этой мысли стало. Антонина Евграфовна рассказала ему тем временем, что ей поручено о нем, о Павле Федоровиче, позаботиться ближайšie два-три дня, “пока все не устроится”. Словом, он пусть ни о чем не беспокоится, она все сама и так сделает. Отчего-то и на этот раз не захотелось Павлу ставить ее слова под сомнение. Зато захотелось вдвоем с этой приятной женщиной, ну... для начала – выпить. И услышал звук отхлопнутой дверцы, это Тоня по-кавалерски приглашала выйти его из машины. Павел окончательно отложил все заботы в сторону и временно поверился судьбе, Тоне, лифту, со скрипом вознесшемуся на пятый этаж.

Квартира, в которую Павел был приведен, оказалась коммунальной, и этот факт успокоил его еще больше. Уж, конечно, ежели и живут где нынче монархисты подпольные, то безусловно в коммунальных квартирах. Смутно вспомнилось

ему что-то читанное где-то, не то, может быть, рассказанное отцом насчет того, что после революции “бывших” уплотняли, – ну, а кому быть монархистами, как не потомкам “бывших”? “А я монархист?” – подумал Павел, входя в еле прибранную Тонькину комнату, подумал как-то по-идиотски, и так же по-идиотски дал себе ответ: “Нет, я монарх”. И тупо сел в кресло без ручек, потому что Антонина Евграфовна попросила подождать минутку, пока она чуть приберет и на стол кое-что соберет, чтобы перекусить с дороги. “Вы извините”, – повторяла она, раз за разом все более краснея. Павел этого не замечал, ему было тепло – и от того, что добрался он из поезда до нормального человеческого жилья, и от присутствия этой заботливой женщины. Тепло. Не более того.

А Тоню тем временем отчего-то кидало и в жар, и в холод. Комнату она, сколько ни старалась, прибрала не особенно, подправила одеяло, подушки, занавески, чтобы не бросались в глаза грязные окна и подоконники с наваленным на них барахлом, наскоро протерла стол и стала рыскать: что бы такое на него постелить? Единственную хорошую скатерть окаянный Марик загваздал ликером, ее в чистку все отдать собиралась и не собралась, денег не было, другая совсем старенькая и тоже грязная, – тогда от отчаяния постелила Тоня на стол чистую простыню. А поверх бросила черную кружевную шаль, которую как-то сдуру в комиссионке купила, разложила финские салфетки, красные, оставшиеся от олимпиады, достала две бутылки представительского коньяка, искала, что еще в буфете представительского осталось, и нашла, увы, только две банки шпрот. Выставила обе, потом еще давешний чернослив и рыночные орехи; по привычке мелькнула у нее мысль о том, что угостить мужчину грецкими – отличная стимуляция: они очень возбуждают, благодарность может ей за это отвалиться, – а на фиг ей была сейчас эта благодарность, когда сердце билось и в висках словно кувалда, неведомо почему. И получилось, что стол выглядел у Тони как бы вполне прилично. Незадача случилась в одном: рюмок у нее всего одна осталась, прочие Марик побил, а ставить вместо рюмки для себя майонезную баночку Тоне было стыдно. Поставила Тоня перед Павлом последнюю свою рюмку, прибавила чистую тарелочку и включила телевизор. Казенный, цветной, с экраном чуть ли не в метр, и телевизор помог, он отвлек внимание Павла куда в большей степени, чем Тоня того ожидала, откуда ей было знать, что он этого предмета уже больше полугода не видел. Тоня налила Павлу полную рюмку, положила на тарелочку шпрот, все придвинула – мол, угощайтесь. Павел посмотрел на нее вопросительно:

– А вы?

– Я... не буду, – сказала Тоня и еще больше покраснела, хотя, кажется, больше уже и некуда было. Дождалась, чтобы гость опрокинул первую, налила ему вторую, предложила закусывать, а потом сказала, чтобы подождал ее немного, – мол, пойдет в порядок себя привести. Павел закусывал, внимал бряцанию каких-то телевизионных гусель и молчаливо выразил согласие: иди, мол, приводи, мол, я закусывать буду, мол, не стесняйся.

А мысли Тони в плохо вымытой голове становились все бессвязнее, одна



другой глупее, наподобие того, что как же пить-то на брудершафт, ежели рюмка всего одна, – словом, Тоня помчалась в ванную. Она понимала, что с ней творится что-то совсем неладное, что ведет она себя совершенно не послужному, что все время краснеет и сердце лупит как шальное, – наконец, в ванной, заложившись коммунальным крючком, осознала, что она, Антонина, дура полная, коза недоенная, без всякой инструкции, – как, впрочем, всегда и бывает, – по уши влюбилась. Ох, влюбилась! И жутко, ну прямо до нестерпимости, хочет Павлу понравиться. И надо скорее Павлу понравиться. И надо скорее привести себя в порядок, не в секс-форму с полотенчиком вокруг головы, а на самом деле в порядок. В тот порядок, в тот вид, когда женщина может показаться мужчине красивой. Пусть хотя бы ненадолго показаться, но хотя бы. А времени у нее было очень мало, оставлять гостя надолго одного она боялась и тем более ни на секунду не забывала о том отчаянном положении, в которое попала, поскольку Павел – это тот человек, за которым, как сказал эс-бе, придут. Придут не позже чем завтра. Так что если повезет урвать сегодняшний день, ну, кусочек завтрашнего, то дальше-то что? Станным образом на то, что дальше, Тоне было совершенно наплевать. Она влюбилась. Наскоро прихватила она где и что смогла – знаменитый балахон, остатки косметики, тушь какую-то, и наконец-то, среди чужих корыт и полотенец, поглядела Тоня на себя в коммунальное овальное, в крапчатых потеках зеркало над раковиной, и такой показалась себе некрасивой, что... Господи, прости ты меня, старую \*\*\*\*\*, все отыми, что можно отнять у меня, но на день, но на час, но на полчаса сделай меня, Господи, красивой! Тоня красилась застарелой тушью, мешая слюни со слезами, с ресниц текло, она утиралась, веки краснели, получалось все хуже и хуже. И волосы к тому же грязные. Тоня быстро ополоснула их холодной водой, – сдержало-таки свое обещание домоуправление, горячую в двенадцать ноль-ноль отключило, – стала сушить их полотенцем, потом на кухне над газом приспособилась их прогреть. И вдруг, неведомо отчего, успокоилась. На вопрос, бившийся в голове – ну что же это такое, ну как же это так, ну что же делать? – неведомо откуда пришел однозначный, жестокий, холодный ответ, но, как всякий оглашенный приговор, он все же был лучше хаоса и неизвестности: а вот так вот Тонечка, вот так тебе повезло. Может, на сутки, может, на меньше. И ничего тут сделать нельзя. Три петли у тебя на шее нынче захлестнуты: первая – это та организация, где ты на службе и где раз в месяц бабки получаешь, вторая – это время, цейтнот, в котором ты сейчас, со своим головомытьем чем дальше, тем хуже увязаешь, а третья – это то, что ты, Тонечка, взяла да и влюбилась. Не ОПЯТЬ влюбилась. Никогда ты, дура, ТАК не влюблялась. Если это “влюбилась” называется, то все, что прежде было, вообще в человеческом языке названия не имеет. Только в свинском.

И, досушивая над газом все еще грязные волосы, внезапно решила Антонина: а не буду я никаких таблеток принимать. Американских то есть. Не буду. Вдруг – забеременею? Вот хоть что-то останется? Куда его, Павла, теперь отправят? Хоть бы в лагерь, тогда можно назад в милицию на проштрафе каком-нибудь рвануть, попасть в охрану, а тогда и видеться можно будет, хоть издалека? А

вдруг больше никогда? Господи, не делай ты меня даже красивой, сделай, чтобы я была беременна! Я ж не знаю даже, как подступиться к нему, я же слова грубого при нем сказать не могу, я же стоять и то не могу!.. Цыпленок желтый, мокрый, тощий, совершенно беззащитный, вот ты кто, Тоня!..

Но наконец-то пришлось идти обратно в комнату. По телевизору брякали гусли, но какие-то другие, видимо, африканские, потому что брякал на них негр, и еще он пел что-то пишеводом, очень буйно пел. Павел, видимо, несколько отдохнул, судя по уменьшению уровня жидкости в бутылке, выпил самостоятельно рюмочек пять. И очередную, как только Тоня вошла, поднял в ее сторону, – ваше, мол, здоровье, – и лихо опустошил. Тоня кивнула и присела к столу, совсем далеко от Павла. И, поскольку делать было пока что совсем нечего, стала вместе с ним смотреть телевизор. Что там по нему показывали – видно было, надо думать, одному Павлу, потому что ни единого слова, ни слабого звука не доносилось до обезумевшего сознания Тони, она видела только одинокую шпротку на конце вилки Павла, видела оттопыренные уши и курносый нос, видела Павла всего по частям, никак не в целом. И хороша она была в эти мгновения невероятно, что наметанный глаз Павла отметил. Но и шпротку Павел съел, и очередную налил.

После гусель объявились трудовые победы с кислой прослойкой зловещих происков канадской военщины, готовящей, как трубит весь мир, агрессию против независимой и авто не то кефальной, не то номной, не то матической и еще социалистической – кого еще там нелегкая на голову послала, и потом еще четверть репортажа с каких-то неведомых состязаний по размахиванию палкой, почему-то очень коротких, сразу кого-то чем-то увенчали, и еще какое-то дерьмо, кажется, тоже показали. Павел съел уже две банки шпрот, похоже, не наелся, и очень боялась Тоня, что он еще попросит, у нее больше не было. Но Павел больше не просил, а все такими же маленькими рюмочками допивал бутылку и внимательно глядел телевизор. Тоня ему понравилась, спору нет, но он же телевизора полгода не смотрел, понять, что ли, нельзя?

Очередные гусли добрякали, а потом вдруг донеслось с экрана нечто такое, что коснулось даже и сознания Тони. Ибо телевизионный диктор со сплюснутым по вине настройки носом сообщил, что сейчас по прямой трансляции предлагается вниманию зрителей вечер – прямо из зала с большими колоннами, – посвященный пятидесятилетию советского поэта и мутатора Сидора Валового. Тоня внутренне охнула, но выключить телевизор не имела права, да и решимости. И сделала единственное, что смогла: подстроила телевизор по яркости и по вертикали. А на экране тем временем нечто уже происходило, кто-то что-то торжественно открыл, литературный президиум заблестал лысынями и погонами, какой-то главный редактор произнес прочувствованную речь о том, как нужны советскому народу мутации, особенно мутации Сидора Валового, в чем попросил подтверждения у почтенного председателя, ветхого старичка лет не то восьмидесяти девяти, не то, что намного вероятнее, девяноста восьми, героя той, и другой, и третьей особо секретной войны, адмирала каких-то, едва ли не подземных войск, товарища Докукова, – с ударением на первом слоге, – а старичок все кивал, кивал, прихлопывал себя по лысине, приглашая, судя по

всему, всех присутствующих эту самую лысину облобызать; и тогда появился из-за кулис под бурные овации публики, отчего-то состоящей в основном из одинаковых девиц не очень свежего вида, пятидесятилетний, округло-бурый лицом, румяный до неприличия Сидор Маркипанович Валовой, возник во весь экран, и стало видно, что промеж бровей сияет у него священный знак, именуемый тилак: пятно такое желтое, отчасти даже оранжевое. В руке Валовой нес объемистый тюбик, и прежде чем сказать хоть единое слово, стал обходить президиум и всем присутствующим с помощью большого пальца рисовать меж бровей тот же символ. Никто не воспротивился, все терпели, так, видимо, и полагалось по сценарию, а престарелый Докуков радостно закивал головой, стал подставлять и лысину, и щеки, чтобы Валовой мог и туда пятно-другое присадить; но член-редактор, тот, что на трибуне стоял, оказался, видимо, старше Валового по званию, увернулся от процедуры помечания краской и властным жестом прервал процедуру: слово вам, дорогой Сидор Маркипанович, говорите со своим народом, мутируйте, он, народ, слушает, он весь – сплошное ухо.

– Я – не поэт... – начал Валовой низким и противным голосом, стоя посреди сцены и все еще тиская в пальцах тюбик с краской. – Я – отверстие... Я – отдушина... Я – разверстая скважина... Орган я, не более того, всего лишь член тела...

Тоня отлично помнила простую причину, по которой зал был до отказа полон женского пола всяких возрастов. По Москве шел непрерывный, подтверждаемый сотнями примеров слух, что стихи, то бишь мутации Валового, способствуют рассасыванию беременности на не очень даже ранних стадиях таковой. Словно из другого мира доносились до Тони слова Валового, которым Павел внимательно подставлял ухо, надо полагать, давно при нем никто вслух не бредил:

–...Был я простым, недостойным, непросвещенным советским поэтом, ни в какой мере не сподобился я тогда еще стать скважиной мирового дыхания. Всего только и знала меня моя Родина, как чемпиона по пожарному многоборью. Знал ли я тогда, какие пожары будут вспыхивать во мне и гаснуть в оговоренные сроки? И знал ли я тогда, что я – Мессия? Что каждый из нас может стать мессией, если колупнет свою душу и станет отверстием, отдушиной, скважиной, органом, если даст волю струиться через себя откровениям древних индийских коммунистов... буревестников...

Тоня заметила, что бутылка кончилась, открыла вторую и налила Павлу полную рюмку. Он машинально потянулся за ней и чуть коснулся пальцами Тониной руки, – ее снова ударило током. Чем дальше, тем хуже, это было ясно. Неужто досидят они до конца вечера этого идиота, тихо попрощаются, и пойдет она ночевать на раскладушку к Белле Яновне? Неужели не судьба? Господи! Ничего, ну совсем ничего была Тоня не в силах начать сама.

–...Мысль посетить Индию явилась мне просто так, озарением, как мне тогда казалось, случайно, а теперь вижу я в этом глубокие, мессианские предначертания судьбы! Я не зря тогда полетел в Дели, не зря, нет! Буквально за час оформил я все документы – и солнечным индийским утром пошел по

горам и долам Индии! Ведь не знал я, куда иду, куда спешу, куда ведет меня неведомая сила, куда ведет сердце-вещун! И долго брел я, питаюсь дикими травами и молоком горных козлов, пока в долине Лахудр не набрел на маленький домик, в котором, как узнал я потом, живет почтенный гражданин Индии, знаменитый художник, нынче здесь, к несчастью, отсутствующий, Блудислав Никанорович, сын величайшего и всеми нами почитаемого Никанора...

– Можно я вас просто Тоней буду называть? – вдруг брякнул Павел без всякого предисловия. Тоня, ничего сказать не в силах, кивнула. Павел поглядел на нее еще с минутку, тем самым фамильным взором, мутным и одновременно ласковым, который баб на высоком берегу реки Смородины завораживал уже не одно десятилетие, и добавил: – А не сварганите ли вы мне еще и чайку?

Тоня помчалась на кухню, слава Богу, опять пустую, свистнула у соседки из подвесного шкафчика заварку и сахар, заварила в чужом чайнике невозможно крепкого чаю, принесла чай в комнату уже в чашке. А чашка, хранившаяся в глубине личного Тонькиного кухонного столика, чтобы мужики спяну не побиили, Марики всякие, была огромная, красная в мелкий горошек, и блюдце было такое же. Чай получился, кажется, хороший.

–...И мало того, что стал я тогда скважиной, мессией для всей России, это не так уж важно для страны, где столько мессий, что и не счесть их по всем пальцам истинно русского народа. Мало этого, Блудислав Никанорович удостоил меня отдельной чести и написал тогда мой портрет, который впоследствии был с моего согласия подарен премьерше-министрше...

Павел залпом осушил чашку, потом глянул на Тоню все тем же взором, взял бутылку коньяку – и вылил в чашку, сколько поместилось.

– Чтобы лучше спалось! – провозгласил он, и, к ужасу и какому-то даже пугливому восторгу Тони, понявшей, что гость от этого с копыт не свалится, – всю чашку выжрал.

– ...как итог многолетнего переливания! Мутации! Вы все можете читать их и слушать, но вы должны помнить, что слова в них – не слова, а нечто высшее, нежели слова, чего понять нельзя, не вникнув в решения и свет двадцать шестого...

Павел встал, пошатываясь, подошел к Тоне и запустил ей пятерню в затылок. Наклонил, прижал к себе, прошептал что-то, чего слышно не было из-за полившихся с экрана мутаций, да и неважно было, – так и остался Павел стоять. Тоня оцепенела. Мысли в голове были совершенно не подходящие к моменту: что продуктов-то в доме нету, что кроме чернослива, ничего, даже хлеба, а его кормить с утра, и подчинение в ней сложилось Павлу такое, что, кажется, вот сейчас, в самый главный момент, так и то бы за продуктами для него в гастроном побежала, наверное, открыт еще на Смоленской...

–...И это мзда за жизнь, в которой ты воспользовался правильной уздой...

А Павел уже чувствовал и скользкость ее зубов, и влажность языка, и нестерпимое, как свежий горчичник, желание, и рвал на Тоне лифчик, не слушая ее лепета насчет того, что у нее “последний остался” – хотя ей, конечно, плевать было на лифчик, и она сама, смеясь сквозь слезы, помогла Павлу его

доразорвать, и помогала дальше, помогала всем, чем могла, а когда он тяжелым шепотом выплеснул ей прямо в ухо: “Тебе сегодня можно?” – так даже и не поняла, о чем речь, а потом только и нашлась, что шепнуть: “Можно”, ибо ей было уже ни до чего, и даже Сидор, так и недомутировавший до конца, не слышен был ей, даже не раздражал, даже не боялась она того, что подействуют по своему прямому назначению Сидоровы мутации – она вообще выпала на какое-то время из бытия. Хоть и не пила ни грамма. Все Павел выпил. Павлинька. Милый, единственный. И “завтра” никакого нет и не будет.

А в сознании сильно охмелевшего и вполне довольного жизнью Павла, прежде засыпа, зажглась только одна мысль, такая же тупая, как и все его нынешнее поведение: “А знает ли она, что я император?” Но вслух вопроса не задал. Сил не было. Уснул.

– В пространстве, времени и прочих измереньях пульсируй, стой, сходишь и расходишь! – вдохновенно мутировал над ними толстый Сидор, и никто ему не внимал, несмотря на невыключаемость телевизора. И Сидор был над ним не властен, хотя и полагал, что нет в мире ничего ему не подвластного. Откуда он такой ублюдина взялся-то?

## Павел II День пирایی Часть 5

*Евгений Витковский*

V

Но Клавдий спит еще в объятиях Гертруды,  
Еще покоятся его тирански уды.  
Александр Сумароков. Гамлет

В Китае раньше за такое деревянной пилой пополам распиливали, кажется, даже не поперек туловища, а вдоль. А в Турции на кол сажали. Много всяких казней за это напридумано. За дезертирство.

Именно эта мысль озарила внутренность красивой седеющей головы Найпла, но, увы, уже после того, как он неожиданно для самого себя телепортировался с перрона Киевского вокзала. Вышло словно бы даже против воли. Однако даже эта небогатая мысль из головы сразу как-то самовышиблась, так страшно ударился разведчик лбом обо что-то – там, куда телепортировался. Неизвестно обо что. Кожа на лбу лопнула, глаза залило кровью. Но, как всегда после телепортации, прежде всех иных чувств возвратилось обоняние. В прошлый раз, после позорного бегства из Татьяниной квартиры, запахло пылью, плесенью, холодом, дымом. А сейчас не пахло вообще ничем. Более того, воздух вокруг Джеймса был явно кондиционированным, что зародило в душе разведчика очень скверные подозрения. Все еще не отерши глаз, Джеймс ощутил, что сидит в мягком, просторном, очень теплом кресле. Выпрямляясь, верней, выворачиваясь из обязательной для телепортации позы человеческого зародыша, Джеймс обнаружил, что и оба чемоданчика целы, и он сам повредился не слишком. Чемоданчики были зажаты под коленями. Было очень

неудобно, хотя угодил он весьма прицельно во что-то индивидуальное и комфортабельное, а потому опасное: то ли в кабину одноместного самолета, то ли в очень высокопоставленный персональный сортир.

И неужели все это приключилось лишь потому, что увидел он на перроне свою старую пассию, гебешницу Тоньку? Ну, почуял он, что встречает она не кого-то, а именно его и Павла, но императора-то он какое право имел бросать? Накладки, накладки... Со вздохом вспомнил Найпл о грустной судьбе профессионального телепортанта Слейтона, которого Форбс донимал поручениями чуть ли не ежедневно; потом подсчитал Слейтон, что за год ему и двухсот часов проспять не дали, обозлился – и передал самого себя на стол к Форбсу, да так и остался там лежать в виде длинной бумажной ленты. Уж кто только из магов не пытался вернуть Слейтону первоначальное обличье – нет, не получается, вот и лежит он в виде симпатичного рулончика в сейфе у Бустаманте, – надо полагать, отсыпается. Вот что можно натворить от переутомления. Мысль Джеймса вернулась к тому, что от переутомления, не то от избыточного отдыха, натворил он сам. Но никто ведь не говорил, что их в Москве могут сцапать. Напротив, ван Леннеп чуть ли не поклялся, что в Москве их ждет самый радушный прием.

Усилим воли Джеймс остановил кровь, а ту, что залила лицо, стер тыльной стороной ладони. Помнится, когда-то Джефферса чуть из разведшколы не вышибли за то, что вытер кровь рукавом. Впрочем, отчего это нынче Джефферс припомнился? Он уже пятнадцать лет работает себе в Ливии богатым и знатным террористом. Вот уж кто на теплом месте. Да... Но и Джеймс тоже ощущал, что сидит в тепле. Короче, утерся и открыл глаза. И похлопал ими, им не веря.

Он несомненно сидел в танке. Однако перед ним, вместо приборного щитка и прочей обычной танковой начинки, прицела, что ли, чего там бывает еще, вместо всего этого располагался большой экран, а под ним – с десяток тумблеров и движков. Это был не боевой танк. Это был жилой танк, если такое вообще возможно. Иначе говоря, Джеймс угодил в такое место, из которого нужно лиять еще быстрее, чем из дома, по которому лупят чугунной грушей. Такого места и вообще-то не должно существовать, не дошел же еще жилищный кризис в Совпедии до перекования танков на квартиры! Зная привычки здешней державы, Джеймс предположил бы скорее, что тут квартиры в танки переделывать станут. Самое же неприятное было то, что экран перед ним сейчас светился, с него участливо и подобострастно смотрело лицо в майорских погонах. Видимо, треснувшись о пульт, Джеймс что-то включил. И чуял, что надо бы скорей выключить, а как – не знал. И смотаться сразу тоже не мог, с силами еще не собрался.

И дежуривший на другом конце телеканала майор-двuruшник Сухоплещенко тоже был весьма потрясен. Ведь он, простите за неудобную откровенность, никогда так и не смог разглядеть лица маршала Дуликова. При личных встречах маршал всегда стоял спиной, а по телеканалу обратную связь держал вырубленной, экран перед Сухоплещенко зиял чернотой. А тут на тебе: маршал среди бела дня вызывает из своего танка на Плющихе, из того, что на задворках Академии, в который и заходит-то раз в месяц, он больше тот свой дачный Т-34,

бывший “Л. Радищев”, предпочитает. В душе майора уже много месяцев жило отвердевающее решение продать более опасного из хозяев менее опасному. Но тут вдруг ему честь оказали, лицо показали. Неужто маршал удалил-таки родинку, теперь сорвал бинты, истекает кровью, нуждается в помощи? Впрочем, через миг экран погас, а Сухопещенко наклонился к микрофону и спросил предельно участливо:

– Есть ли указания, товарищ маршал? Врача не нужно?

Из динамика донеслась невнятно буркнутая абракадабра, которую майор не понял, но решил считать матерщиной. У маршала это предположительно могло означать потребность в одиночестве. Не то маршал любил одиночество, не то матерщину, но и того, и другого привносил в свою жизнь очень много. Хочет сидеть в своем танке, рожа окровавленная, так пусть и сидит. И родился в эти мгновения в мозгу Сухопещенко план, еще очень смутный, но такой, как выяснилось в дальнейшем, что в судьбе России сыграл он не меньшую роль, чем насморк Наполеона во время битвы под Ватерлоо – в судьбе Франции.

Джеймс тем временем огляделся. Внутренность танка, хоть и оборудованная на одного постояльца, была ему, человеку массивному, тесновата. Кроме телеэкрана, имелся бар, а в нем нашлась бутылка любимого джина “бифитер”. Выбираться нужно было как можно скорей: император, видимо, все-таки арестован, но не все еще потеряно, скорей прочь отсюда, скорей на конспиративную квартиру, оттуда связаться с монархистами в верхах, может быть, все еще и образуется. Джеймс улегся в кресле и стал расслабляться. На его счастье, маршал Ивистал дрессировал в данный момент Таманскую дивизию где-то в тьмутараканских болотах, он, в отличие от своего толстого конкурента и от прямого наследника российского престола, лично взять Москву без боя не рассчитывал, да и не по душе были ему дипломатические элегантности. Джеймс допил “бифитер”, отвратительно теплый и ничем не разбавленный, зажал чемоданчик под коленями, сжался в позу человеческого зародыша и куда-то, будь что будет, телепортировался. Его слабых силенок могло хватить едва ли на сотню футов. Хозяин танка, конечно же, заметит, что кто-то сидел на его кресле, кто-то бился лбом в его телевизор, кто-то пил его “бифитер”, но хрен с ним. Снова зазвенел в воздухе кокнутый сервиз, снова всколыхнулся кондиционированный воздух, занимая опустевшее пространство. А Джеймс уже перенесся. Недалеко.

И ему повезло. На этот раз воздух вокруг него тяжело, грубо, совершенно однозначно вонял меркаптаном. Иначе говоря, застоявшейся мочой. В душе Джеймс возрадовался, что наконец-то попал в подходящее место, в общественный туалет, потому что в Советском Союзе они должны пахнуть и пахнут так и только так, – единственно плохо, если в женский, но уж как-нибудь. Но, когда открыл глаза, понял, что снова ошибся. Он находился в кабине лифта, и лифт опускался. Джеймсу повезло куда больше, чем можно бы ожидать. “А лифт женский бывает?..” – пронеслась в голове разведчика идиотская мысль, но тут же исчезла, ибо двери разъехались, и в лифт вперлась некая старушка с полусотней хлебных батонов в трех авоськах через плечо. Джеймс не без труда раздвинул хлеба и вышел на улицу. На углу прочитал

название улицы: “Плющиха”. Джеймс прикинул в уме план города, наскоро втиснулся в городской транспорт и с преступно малой скоростью помчался в Воротниковский переулок, где в глубине двора, отделанного мемориальными досками, его ждала горячая ванна, пища, выпивка, все, что душе шпионской угодно перед поисками пропавшего императора.

Поднявшись по очень меркаптановой лестнице, дабы не лезть в лифт и его не нюхать, Джеймс позвонил двадцать один раз в дверь старой московской квартиры, на которой тускло поблескивала табличка с совершенно неразбирабельной фамилией. За дверью долго звучала какая-то идилическая, почти сельская тишина, затем кто-то маленький, видимо, проплывший к цепочке по воздуху, приотворил дверь и отвратительно знакомым голосом спросил:

– Вам кого?

Фотографическая память немедленно извлекла из запасников и предъявила Джеймсу эту сморщенную хамитскую харю, – именно этот человек в самом начале странствия по российским просторам не пустил его в Дом литераторов. Джеймс тут же понял, что теперь выговор, кажется, схлопочет не он, а сам хамит, вот кто положил деньги в литературный сортир, вот кто не допустил к ним разведчика! Он помедлил и произнес фразу, заимствованную, кажется, из какого-то масонского ритуала:

– Не здесь ли мощный гений бил ключом?

Хамит явно все вспомнил и все понял. Печально снял он цепочку, отворил дверь и так же печально ответил:

– А я при чем?

Но, похоже, он очень хорошо знал, что как раз он-то тут очень и очень при чем. Джеймсу давно не приходилось сталкиваться с масонами, но он довольно много помнил из учебного курса и вполне мог поддерживать разговор на условном языке Великого Востока. Удивило его то, что хозяин, оказывается, просто шел по коридору ногами, а не парил в воздухе, как показалось сперва; впрочем, ни малейшего звука его шаги не рождали. Никакого. Сильно пахло мышами, а скорей не мышами, потому что именно таков был, надо полагать, природный запах хозяина. Довольно просторная квартира была чудовищно захламлена и завалена штабелями старых, очень темных досок. Джеймс понял, что это иконы, – хозяин, в ожидании давно уже столь желанной реставрации Дома Романовых, безусловно, складировал в своем жилище некие дорогостоящие вечные ценности.

– Наконец-то мы одни, – произнес хамит, уже, оказывается, уютно устроившись за резным письменным столом. – Присаживайтесь. Говорите свободно: прослушивание поручено преданным друзьям. Денег сегодня не просите, они у меня на службе, а во всем прочем я к вашим услугам.

“Ну да, деньги в сортире”, – подумал Джеймс.

– Нужно действовать немедленно. Император попал в их руки.

Хамит никак не прореагировал. Тогда Джеймс прибавил:

– И скорее выпить дайте.

Хамит беззвучно подплыл к буфету, выудил оттуда три бутылки, видимо,



чтобы у гостя был выбор, но достал лишь одну рюмку, притом ликерную, сам явно пить не собирался. Помедлив, он вдруг спросил изменившимся голосом:

– Скажите... При царе как... с пенсиями будет?.. Мне скоро...

– Хорошо будет. С пенсиями. Всем дадут, – буркнул Джеймс и ухватил керамическую бутылку с черной этикеткой; понюхал – понравилось. Рюмка тут была ни к чему, он по весу понял, что в бутылке даже полного стакана жидкости нет, и выплеснул содержимое бутылки в себя прямо из горлышка. Хамит печально следил за донышком бутылки.

– Бальзам уссурийский, – полушепотом произнес он.

– Очень приятно, а меня зовут Роман Денисович, – буркнул Джеймс, уже теплея душой, ибо давно он не пил ничего оригинального, а так хоть какое-то утешение в жизни промелькнуло; волей-неволей Джексон заражал комплексом интереса к оригинальной выпивке всех, с кем вступал в многолетнюю связь. – И могли бы меня в тот раз и пропустить. Для меня же в сортире старались.

– Ничего не поделаешь, – опять-таки шепотом ответил хамит, – служба – это служба. Вы бы на моем месте тоже... вас не пропустили. Меня зовут Прохор Бенедиктович.

“Хрен его знает, может, сам себя и не пропустил бы”, – подумал Джеймс и тут же понял, что момент выбран был очень точно, как раз сейчас Джексон был занят поисками императорского опекуна. Видимо, в Колорадо что-то уже знали. Но, слава Богу, рецепт уссурийского бальзама Джексону не был нужен, он считал эту выпивку рядовой, теперь он интересовался только самой наиредчайшей. Появлялась возможность поговорить через Джексона прямо с Форбсом. Джеймс окосел много сильнее обычного, маршальский “бифитер” еще не окончательно истаял в его мозгу, а теперь хамитский бальзам воссоединился с ним и совместное их пылание напоминало тысячу солнц. Джеймс без запинки отрапортовал, что не понимает причин своей телепортации с перрона, что ничего он не пугался и на подобные случаи, с его точки зрения, инструкции распространяться не могут, что он готов понести наказание, но просит разъяснений.

“Вашу предстоящую телепортацию с перрона Киевского вокзала в Москве предсказывал бюллетень предиктора ван Леннепа за прошлую пятницу. В согласии с данным бюллетенем таковую телепортацию осуществил господин Бустаманте”.

Джеймс быстренько отхлебнул из другого горлышка, сперва за здоровье Голландии, потом за здоровье Италии.

“Принимайте последующие инструкции”, – следом Форбс бросил куда-то в сторону: “Полковник, прошу вас”, – видимо, полковнику для чистоты связи тоже дали мощно выпить, и тут посыпались на Джеймса бесконечные, сотнями и тысячами нанизанные одна на другую инструкции Мэрчента, к которым, как всегда, прибавить можно было только неукоснительное их выполнение. К концу разговора у Джеймса вопросов не осталось вовсе, лишь булькало в желудке содержимое четырех различных бутылок, слившихся в невероятный коктейль. Хамит беззвучно сидел в своем кресле, отчаянно трезвый, и смотрел в чашечку остывшего растворимого кофе.

«Документы для вас в сортир клал не хозяин, дров не наломайте и это вообще не ваше дело».

– Спать, – тяжело уронил Джеймс, отключаясь от связи. Через минуту он уже спал – сидя и не раздеваясь. Прохор тихонько прибирал пустые бутылки, а так и оставшуюся чистой рюмку поставил перед собой и аккуратно накапал тридцать капель сердечного лекарства. Выпил его так же беззвучно, а потом поглядел на часы. Скоро телевизор собирался выдать прямую трансляцию творческого вечера Сидора Валового, бывшего личного друга Прохора Бенедиктовича. Однажды Прохор даже пошел на то, что через свой шпионский канал исполнил величайшее желание друга: Сидору страстно хотелось знать, кем он был в предыдущем воплощении, не Буддой ли, не Фридрихом Энгельсом ли, словом, кем именно. Прикрывшись необходимостью собрать данные о клиентуре дома литераторов, послал Прохор запрос в штат Колорадо и от кого-то из тамошних магов получил совершенно ясный ответ: “Был он Сидором, Сидором и остался. Не зондировать, не разрабатывать”. Не вербовать, стало быть. Истина оказалась неудобосказуемой, Сидор оказался новым земнородным воплощением дьякона Сидора, казненного в Москве в день воцарения на престоле первого из Романовых, Михаила, а прежде того – кратковременного псковского царька, более известного в истории под именем Лжедмитрия Третьего. Прохор об этом Сидору сдуру рассказал, и всякие отношения между ними прекратились, даже встречаясь у Прохора на службе, Сидор с ним не здоровался. Но глубокая обида Сидора не стала у Прохора взаимной: не вытеснила из Прохорова сердца пронзительной любви к мутациям Валового. И очень ему было жаль старого друга: как-то он, при такой своей обоснованной любви к монархическому строю и к Романовым, с ними уживется? Словом, не довелось Прохору посмотреть вожделенную передачу: телевизор стоял в той же комнате, в которой спал Джеймс, а будить разведчика хозяин не смел.

Так закончился в Москве нерабочий субботний день. Воскресенье же началось как обычно, для всех по-разному, а именно – кто когда проснулся. И раньше всех проснулась в то утро Антонина Евграфовна Барыкова-Штан, лейтенант и пр., и др. Было без четверти пять, и единственный приличный лифчик ее, как было ясно с первого взгляда, вчера приказал долго жить. А вторая, глупая и неприятная, мысль была о том, что сегодня, кажется, пятое апреля, если только в марте не тридцать шесть дней. А сколько дней в марте? Так и не смогла вспомнить. А третья мысль была о том, чтобы Павлинька еще поспал, надо ему завтрак успеть приготовить. И только потом появилась четвертая, страшная мысль: что за Павлинькой сегодня ПРИДУТ.

А он спал на животе, только слегка завалясь на левый бок, но голову оборотя вправо, туда, где только что была она, Тоня. Маленький, белокожий, безволосый почти по всему телу, с залысинами на лбу, курносый, наверное, некрасивый, и надо было теперь только одно: никому его не отдать, даже если он шпион хоть сто раз; ну, а если не получится, то украсть у судьбы день, полдня, полчаса, мгновение – и еще мгновение вместе с ним.

Тоня набросила балахон, тоже немного порванный вчера, – и плевать, – и вылетела в коридор. Несмотря на более чем раннее время, даже не утро еще, а

ночь, жизнь в коммуналке уже началась: что-то очень шипящее жарила на сковородке коммунальная владычица, монументальная старуха Белла Яновна, сильно за последние годы похудевшая, что-то у нее внутри болело и необратимо портило ей характер. На появление Тони старуха не прореагировала никак, жарила себе и жарила. Тонька подошла и придирчиво оглядела предмет обжаривания, – это был магазинный люля-кебаб в количестве для Павлинькина завтрака, к счастью, достаточном, и даже еще ей, Тоне, останется. Жарила его Яновна не для себя, ей уже нельзя было, жарила она деверю-испанцу и пасынку его, ублюдку, что, небось, уже ни свет ни заря в шашки дуются; один по старости пенсионер, другой по дурости, а она все жарит. Тоня властно взяла со стола Яновны нож-тесак и пошуровала кебабины. Яновна посмотрела на нее дико и собралась не то оплеуху дать, не то милицию вызвать, не то “скорую”, ежели соседка “того”.

– Брысь, – коротко сказала Тоня тем единственным тоном, который советским людям, особенно если у них пятый пункт и деверь на шее, понятен сразу. Яновна в единый миг тоже все поняла – и бесследно исчезла в своей конуре. Поле битвы и духовитый трофей остались за Тонькой. Но для завтрака было маловато; шпротами он вчера объелся, так что харчи предстояло выискивать уж и вовсе резервные, не гнушаясь самыми беспощадными экспроприациями. Тоня пошла к телефону, выждала полсотни звонков, потом услышала невыспанное “але”, – даже “але” без акцента выговорить не может, – и по-деловому бросила в трубку:

– Буди свою дуру, пусть икру принесет, у нее банка внизу. И все остальное пусть отдает, чтоб сама принесла через пять минут! Все пусть несет, что есть! – Тоня даже ничем угрожать не стала, просто бросила трубку. Богатырь Винцас отлично помнил избиение, учиненное ему капитаном Синельским, и вообще спорить с женщинами не любил, а Тоню даже побаивался, к тому же она его сексуально совершенно не привлекала. Через пять минут в дверь позвонили, Татьяну, конечно, поднять не удалось, но Винцас собственноручно принес и банку икры, и вещь окончательно неожиданную, видимо, из собственной заначки – большой ромб изумительного литовского сыра “рамбинас”, а также литровую бутылку с чем-то прозрачным, видимо, с чистым спиртом, – вкусы летчика Тоня знала, – Тоня сгребла все на пороге в охапку и захлопнула дверь перед носом литовца. Тот постоял секунду, перекрестился, не складывая пальцев, широким католическим крестом и побрел на четвертый этаж. Уже пять месяцев, как он был снят с международных рейсов и уныло мотался то в Вильнюс, то в Свердловск.

Из кухонного столика другой соседки, безропотной Клавы, конфисковала Тоня все, что там нашлось: три бутылочки ядовито-зеленой фруктовой воды “Тархун”, с помощью которой устроители позорной олимпиады думали потрясти мир, мол, и у нас не хуже вашей пепси-коки. Оказалось все-таки хуже, не дотянул давно покойный Миша Лагидзе до мировых образцов, но на внутреннем рынке водичка пошла нарасхват. А поскольку Винцас принес спирт, то, как Тоня знала по опыту, из этих двух напитков можно смешать вещь очень вкусную. Так что с Клавы оброк – или ясак, черт его знает, – был взыскан

вполне достаточный. Значит, люля-кебаб, икра, сыр. Сливочное масло отыскалось тоже, знала Тонька, куда его в своем столике прячет Дуся-санитарка, позади ножей и вилок; у нее же разжилась Тоня чайной заваркой и батоном рижского хлеба. Кажется, всего бы уже достаточно, но Тоня остановиться была не в силах, она, словно коршун, продолжала кружить и кружить по кухне, изыскивая и изымая все мыслимые запасы у всех соседей подряд, в том числе у тех, с которыми не ладила, нимало не задумываясь об имеющих назреть в ближайшем будущем скандалах. В коридоре замаячила тень онемевшей Яновны. Тоня кинула на нее испепеляющий взгляд, но так и замерла с поднятым ножом: старуха стояла ни жива ни мертва, держа в протянутой руке большой, пупыристый лимон. Глаза ее были полны слез.

– Понимаю, понимаю... – забормотала старуха, и Тоня осознала, что Яновна и впрямь все понимает, – сама молодая была. Погоди, я еще поищу, и восемь уже скоро, я в арбатский схожу, еще чего прикуплю...

Тоня уронила нож: верная примета, что мужик скоро придет, – неужто уже ЗА НИМ? – схватила Яновнин лимон и заключила старуху в объятия. Постояли и поплакали с полминутки, дольше нельзя было. Яновна ушла искать скрытые ресурсы, а Тоня вернулась в комнату и занялась сервировкой. Простыню на стол постелила еще одну, – хотя даже и простыня-то на этот раз была, оказывается, последняя. Всего-то у тебя, Тонечка, так мало, и все-то у тебя последнее. Так-то. Такое твое счастье. К семи утра стол был накрыт, люля-кебаб дожарен и оставлен на сковородке, так, чтобы разогреть в две минуты, а Тоня занялась приведением в порядок своей внешности. На это и ушло все оставшееся до пробуждения Павла время. Ибо не зря падал нож, не зря терзало Тоню предчувствие, что никакого времени скоро не будет. Ровно в восемь в дверь раздался долгий и резкий звонок. Тоня схватилась рукой за сердце и пошла открывать.

Их было за дверью семеро, шестеро в форме, конвоиры, – видимо, братья решили даже без понятий, – и все незнакомые. Седьмого Тоня знала, никогда всерьез не принимала, уж менее всего ожидала, что именно это ничтожество, самый младший уголовный заместитель подполковник Заев, однажды оборвет первую и последнюю в ее жизни ниточку счастья. Плотный, небольшой, лет пятидесяти, прямо с собственного новоселья, прекрасный семьянин, спортсмен, в прошлом даже какой-то чемпион по самбо, не глядя на побелевшую Тоню, прошагал полковник прямо к ней в комнату, а вся его военная шобла – за ним. В дальнем конце коридора, заломив руки под самыми глазами, застыла, как статуя, страдающая Яновна. Тоня замерла у порога собственной комнаты, одной рукой держась за косяк, другой – за сердце. Трое пришедших выстроились вдоль одной стены коридора, трое – вдоль другой, все, как изваяния, неподвижные. И сам Заев, остановившись на мгновение посреди комнаты Тони, тоже замер. Безразличен был Заеву этот самый хмырь, которого ему с верхов с утра пораньше велели арестовать и доставить к генералу. Впрочем, он не уверен был, что приказали именно арестовать. Велели доставить. Ну да какая разница, когда из-за этой выпитой начальством “Черной магии” жена такой скандал учинила?

– Гражданин Романов, – рявкнул Заев, – вы арестованы. Прошу следовать за нами.

Голый, почти не укрытый Павел зашевелился. Потом присел и приоткрыл глаза, увидел всю сцену. И встретился глаза в глаза с совершенно обезумевшей Тоней. И за какую-то минимальную долю мгновения, ничего еще не осознав как следует, понял, что, если жизнь сейчас и разобьется вдребезги, то кому-то это будет стоить очень дорого. Роман Денисович все-таки был очень неплохим преподавателем.

– Гражданин Романов, – еще грубее произнес Заев, – прошу одеваться. Поедете с нами.

Голый Павел вылез из-под одеяла и подобрался на постели, словно готовясь к прыжку. Но Заев не унизился и позы не переменил, – ему ли было бояться таких вот безволосых хлюпиков. “Черной магии” все равно не вернешь. И вдруг Павел издал дикий крик:

– Йя-а-а-а! – и как булыжник из пращи прыгнул на Заева. Причем тут же отпрыгнул назад, на кровать, – охрана и шевельнуться не успела. Заев, тоже никак не успевший прореагировать на прыжок и крик, вдруг стал медленно наклоняться вперед, удивленно глядя куда-то вниз, и тяжело рухнул на колени. В широко распахнувшихся его, сильно прояснившихся глазах читалось искреннее удивление.

– Ну ты не прав, – сказал он вдруг переменившимся и каким-то дружеским тоном, – самбо – гораздо сильнее каратэ. Самбист каратиста всегда... – подполковник замолчал, сложился окончательно и упал на бок. Из горла его хлынула кровь, сразу залившая одинокий, посреди комнаты брошенный ботинок Павла. Заев успел прохрипеть только еще одно слово: – ...убьет! – дернулся и затих. Никто не бросился к нему, и немая сцена, в которой Заев теперь стал чем-то вроде убитого гладиатора, а голый Павел напоминал кого-то из позднеримских божков, продолжалась еще несколько секунд; охрана, видимо, соображала, кто теперь у них старший по званию, Тоня и Яновна просто окаменели от ужаса, Павел вовсе окостенел, ибо одно дело – собраться убить человека, другое – понять, что ты его уже убил. Не то длилась эта сцена секунду, не то несколько минут – никто не понял. Но из коридора раздались шаги, и на сцену выступило новое действующее лицо. Прежде всего Тоню поразила бледность этого лица, бледность этого негибачего жгучего брюнета, одно появление которого всегда прекращало любую панику, один взгляд которого был равен приговору трибунала и вселял в подчиненных одновременно ужас и успокоение, – кроме тех, кому доставался один ужас, без успокоения, как сейчас Тоне. Но Аракелян сам был блее мела. Немедленно оценив, что именно произошло в этой комнате, железный полковник остановился на безопасном от Павла расстоянии и глухим, тихим голосом произнес:

– Прошу всех оставаться на своих местах. Ничего не случилось. Прошу всех ожидать и не двигаться с места. Добрый день, Павел Федорович, пожалуйста, оденьтесь, вы можете простудиться, входная дверь открыта, тут сквозняк. Тоня, ничего не понимающая, вдруг ощутила в себе крохотный, тлеющий

огонек надежды. На что? Но из того, как резко переменялся Аракелян, как демонстративно не обратил внимания на труп своего коллеги, валяющийся в луже крови, поняла она, что, может быть, все законы на свете сейчас рухнут и все пойдет иначе – и вдруг, тогда, может быть, может быть – что может быть? – она и сама не знала. Павел, все такой же совершенно голый, не внял совету Аракеяна одеться, хотя и встал с постели, и с интересом разглядывал то труп подполковника, то живого полковника.

– Прошу ждать, – просительно повторил Аракелян и вдруг уже привычным своим тоном рявкнул конвою: – Смир-на!

В коммунальный коридор с лестницы вдруг повалил еще народ, бесцеремонный, все понимающий. На Павла старались не смотреть, вставали в коридоре у каждой коммунальной двери, чтобы лишние люди не вздумали носа наружу показать; двое замерли справа и слева от окаменевшей Яновны. Останки Заева пока не трогали. Но вот грохнула на лестничной площадке дверь лифта, потом хряснула филенка обычно лишь наполовину открываемой двери в квартиру, зазвучали в коридоре командорские носорожьи шаги – и на без того уже переполненную сцену явилось еще одно действующее лицо: в полных генерал-полковничьих погонах, при всех орденах; при таком параде из присутствующих его и не видел почти никто. А голый Павел все так же стоял и с детским удивлением рассматривал все вокруг, без единой мысли в голове. Но, правда, даже ни о чем и не думая, он помнил о своем императорском достоинстве.

Шелковников протопал на середину комнаты, мельком глянул на труп и кивнул Аракеяну: мол, убрать пададь, не до того сейчас. Полковник и сухощавый майор, вынырнувший из-за спины генерала, собственноручно подхватили жертву императорского каратэ и унесли куда-то, только лужа крови на память осталась.

– Всем покинуть помещение, – сказал Шелковников, и всех сдуло ветром. С наружной стороны дверь затворил Аракелян, для чего Тоню пришлось переставить в коридор, словно вазу.

Шелковников придирчиво оглядел Павла. Потом медленно, насколько позволяла толщина, опустился на одно колено прямо в лужу заевской крови.

– Здравия желаю, государь, – почти шепотом, но совершенно отчетливо произнес он, склоняя голову. И Павел бессознательно протянул ему руку для поцелуя. Генерал не дотянулся, потом все-таки тяжело схватил Павла за кисть и, лоя равновесие, потянул на себя. Павел плюхнулся на пол, и оба они оказались на коленях друг перед другом.

– Государь, вы в безопасности, – продолжал генерал, – вы среди друзей. Мы надежно скроем вас. Позвольте помочь вам одеться.

Павел с ужасом представил себе этого носорога в качестве камердинера и отпрянул. Он все еще не произнес с самого просыпа ни слова, кроме того вопля, который издал, отправляя Заева на тот свет. Генерал догадался, о чем думает Павел, и предупредительно сообщил:

– Семья покойного будет получать его жалованье в виде пенсии. Несмотря на то, что он преступно извратил приказ. Если вы, государь, желаете

распорядиться иначе...

– Без разницы, – грубо бросил Павел, встал и пошел одеваться, в первую очередь отер заевскую кровь с ноги. – Поспать не дают, тоже мне. Я уже десять дней выспаться не могу, неужели не ясно?

Шелковников, чувствуя всю безмерность собственной бестактности, стоял на коленях, а в душе его поднималось половодье спокойствия. Он видел совершенно точно исполнившимся предсказание Абрикосова: в час встречи с императором его, генераловы, ноги будут по колено в крови. А он-то боялся! А оно вот так-то. Как все же жаль, что у Валериана insult, причем астральный, и он уже три недели разговаривает на совершенно неведомом языке! Но хуже всего было то, что, опустившись на колени, без посторонней помощи генерал встать уже не мог. А пустить в комнату кого бы то ни было, пока император хотя бы трусы не наденет, было так же невозможно, как просить у императора помочь встать. Но чуткий Павел понял, подошел, помог, пожал руку.

– Для вас приготовлены апартаменты. Надеюсь, на первое время удовлетворительные, – склонив голову набок, сообщил генерал.

– Ее, – Павел мотнул головой на дверь, и генерал понял, что “ее” – это Тоню, – тоже туда поселите. Там видно будет. Может, хоть представились бы... для приличия?

Генерал замешкался. Сообщать императору свое нынешнее звание – какой смысл? Но быстро нашелся.

– Дворянин Георгий Шелковников, – сообщил он.

– А-а... – безразлично протянул Павел, застегивая ширинку. И тут дверь отворилась без спроса. Император и генерал одновременно посмотрели на нее и сперва не увидели никого. Потом поняли, что на пороге сидит неподобающе ликующий, стучащий хвостом по полу рыжий с изрядной проседью пес.

– Все в порядке, – предупредил генерал вопрос Павла, – это верный, отличившийся соратник. Все в порядке. Майор!

Сухоплещенко и Арабаджев выросли на пороге одновременно. Шелковников посмотрел на своего почти-адъютанта с удивлением:

– Подполковник, вас не звали, – и тот исчез. – Майор! Обеспечьте довольствие капитана. Он заслужил отдых и награду.

Арабаджев, прекрасно понявший в чем дело, без спросу стащил со стола сковородку с остывшим люля-кебабом и побежал на кухню, мимо каменной Яновны. Володя потрусил за ним, ликуя, – он баранину любил, и сто лет уже ее не видел. Пенсия была, можно сказать, в кармане, – хорошо!

Конвой в коридоре преобразился, это был уже не конвой, а почетный караул, хотя вовсе никто в нем и не понимал, что происходит. Все еще белый, как извесь, Аракелян, стоял рядом с Тоней и что-то одними губами подсказывал генералу. Тот наконец понял.

– Подполковник! – новосотворенный подполковник Сухоплещенко вырос из-под земли, затем генерал обратился к Павлу: – Шампанское здесь или в апартаментах?

– Пустяки, – бросил Павел, – неважно. Без нее... не поеду. Тоня, оденься, поедем к себе.

И Тоня потеряла сознание.

Но прежде, нежели ее привели в себя, на пороге квартиры объявился еще один посетитель – высокий, красивый, седеющий, еще более бледный, чем железный полковник. И весь его вид говорил: “А что вы тут делаете, добрые люди?” Ибо Джеймс опоздал почти на час, ибо ни хамит, ни будильник не смогли разбудить его, когда было надо. Впрочем, его роль в реставрации Романовых, кажется, подошла к концу. Павел дружески потрепал его по плечу:

– Поехали с нами, Рома. Все о’кей.

Так все и отбыли с Тонькиной квартиры, даже Яновна, – ее, как свидетельницу, пока что увезли в Староконюшенный, в особняк, который был уже целиком подготовлен к приему будущего венценосца. Остался один Аракелян. У него были другие заботы, другая работа, грязная. И не самое грязное было то, что чуть ли не собственноручно пришлось замывать пол в комнате Тони, – хотя пришлось и это сделать, – а ждало его другое дело, страшное и скандальное, целиком обрушившееся на аракеляновскую голову, притом из самого неудобного места – со службы. Положив в карман ставшую теперь уже бесхозной банку икры со стола, полковник отбыл к себе на работу, оттуда же предстояло ехать в институт имени Сербского. Ну ладно, появления императора он хотя бы ждал заранее, на Заева, хоть на живого, хоть на мертвого, было вообще наплевать, но кто же мог ждать подлости именно от самого верного, самого безропотного сослуживца-псевдона начальника? А теперь – западные корреспонденты, а теперь – партбюро, а теперь все на его голову, потому что именно он, Аракелян, считался ответственным за эту сволочь! Но, чтобы понять тревогу и ужас Аракеяна, нужно вернуться немного назад, в то мгновение, когда оклемался у себя на дому уважаемый человек, Глеб Леонидович Углов. Суток с тех пор не прошло.

Тяжкий это был оклем: все ж таки “Черную магию” можно бы и не пить. Но уж вот такие желания у нас бывают. А Заев сам виноват, а что, не знал, что с ним, Угловым, с прямым его начальником, выкидонства бывают? Так чего ж на виду флакон поставил?.. Вот и взял, вот и выпил. И чего они хорошего в этих духах находят... Бр-р. Выговор Заеву за это влечь. Углов с трудом сел на постели. В глазах мутилось, на работу тем не менее уже давно было пора ехать, хотя никакой там работы не предвиделось, – ну разве телепатеи придут срочные, ну тогда валеки в руки, тюк, и понеслась...

Шофер, слава Богу, казенный. Углова везли, а он смотрел в окно машины, и было ему странно в мире. Отчего это Гагарин сейчас прыгнет со своего пьедестала, а никому не страшно, все так и ходят под ним, а ведь задавит... Отчего это Димитров всем такое... показывает? Даже и говорить неудобно, что такой жест означает! Отчего это с утра нынче все такие нецеломудренные? Это все черной магии штучки! Искоренить ее давно пора, чтоб у всех на душе ясность была, и без ассоциаций чтобы! Тимирязев стоит, и вот прямо на бульваре, на людях, хоть гальян-то у него прямо за спиной! И Маркс пива просит, а ему не несут... Пива на работе надо будет принять, может, магии поубавится. А этого, первого самиздатчика, чего прямо напротив держат? Над головой Углова складывались какие-то сияния, наподобие полярных, что-то



мерцало и потрескивало. Однако, хоть и с очень большой натугой, добрался все-таки до своей знаменитой очень засекреченной бункерной лаборатории. И там обнаружил, что текст очередной телепаты для резидента в Гибралтаре уже лежит у него на столе. Взял Углов валик и пошел к Муртазову.

В бункере было полутемно, разоружившийся перед лицом советской мощи татарин лежал, как всегда, на звуки не реагируя, глаз не открывая. Лицо его, совсем плоское и морщинистое, ничего не выражало. Может быть, он даже спал. Какая разница. Углов занес валик и обрушил его на лоб телепата. Но не рассчитал силы удара, не удержался на ногах, попал валиком по спинке, валик переломился, полковник ударился лбом о железный край кровати. На мгновение сомлел, но скоро взял себя в руки. Он сидел на полу и судорожно сжимал обломок валика. Комнату заливал ярко-фиолетовый, никогда прежде не виданный свет. Телепат даже веком не повел. Но вокруг головы телепата, приподнятой на трех подушках, для удобства удара, сиял и переливался ослепительно яркий золотой круг.словно ободочек на тарелке. Нимб.

И кто-то высокий, прекрасный, крылатый склонился к челу татарина и провел по нему ладонью – ласкающе, благословляюще. Впрочем, тут же исчез, так что, наверное, померещился. Но нимб не исчезал. А фиолетовый свет разгорался в бункере все ярче, и какие-то слова на непонятном языке звучали в воздухе, смысл их был и неведом, и безразличен Углову, он знал, что все то, что было до сих пор, кончилось, а началось все то, что должно было именно сегодня начаться и что будет в дальнейшем. Полковник выпрямился, стоя на коленях, отбросил кусок валика и отбил земной поклон.

– Святой Зия! – взревел полковник, но его никто не слышал, на то бункер и строят как бункер, чтобы в нем звукоизоляция была. В религиозном пылу полковник позабыл, что телепат привязан к постели.

– Помилуй мну! – заорал полковник на языке своего озарения, впопыхах принятом за церковный, и снова бухнулся лбом об пол. Но понял, что недостоен. Что тридцать лет стуча валиками по лбу татарина, не имеет он права быть прощен в одночасье. Тогда негнушными пальцами полез полковник во внутренний карман, полез за партбилетом. Вытащил и его, и паспорт, и удостоверение, а потом, помогая пальцам зубами, изодрал все документы в клочки. Подумал, что надо бы сорвать и погоны, но одет был, как положено, в штатское. Жаль. Вместо этого полковник снял с себя ботинки, бухнулся еще разок лбом о каменный пол и выбрался из бункера. Босой, вышел он из подвального помещения, вращая безумными глазами, и всюду, куда обращался их взор, видел он лиловое сияние. Видел он благосклонное лицо святого Зии, который простит его, Глеба, если он отстрадает сам те тридцать три страдания, которые причинил святому. Босой полковник беспрепятственно покинул служебное здание, вышел на Кузнецкий мост и пошел вниз.

– Близится, близится, – кричал он, хотя его никто не слушал, все и так знали, что что-то явно близится, а что – никто не знает. – Грядет святой Зия! Кидайте партбилеты, взносов не платите! Поклонитесь святому Зие! Святой Зия! Святой Зия!

На повороте к Неглинной что-то в голове полковника – пожалуй, впервые в его

жизни, – стало рифмоваться, и он начал вопить:

– Друзья, друзья, друзья! Грядет святой Зия! Верные друзья! Пресвятой Зия! Плыла, качалась лодочка, текла, кончалась водочка... Зия! Зия!..

На повороте возле памятника Калинину вокруг безумного полковника стали собираться люди. Исступление его заражало нестойких духом прохожих, они не понимали, что именно выкликает этот немолодой и босой, с почти вылезшими из орбит глазами тип – но они чувствовали: надлежит все бросить и шагать за ним. И они шагали, сперва три человека, потом двадцать, потом пятьдесят, а падкие на созерцание подобных шестивий западные корреспонденты успели примчаться на своих иудинских “фольксвагенах” и уже чирикали кинокамерами, – а Углов все жестикулировал и кричал, ибо лиловый свет заливал весь его мир от Москвы до самых до распрозанюханных окраин, а в самом зените горело лицо святого Зии, окруженное нимбом. Углов судорожно гладил подбородок, проверяя, достаточно ли уже длинна у него борода, отрастив которую он пойдет по святой Руси проповедовать понимание святого Зии. К несчастью, очень уж часто выкликал он лозунг насчет растаптывания партбилетов, а то, глядишь, до самого Можайского шоссе дошел бы. Не дошел. Только перешел мост и двинулся по Дорогомилровке – а народищу за ним шло уже человек сто пятьдесят, не менее – подъехал небольшой и неторопливый отряд раковых шеечек, быстренько распахал примкнувших, а самого босого, даже не простуженного полковника, полностью рехнувшегося на святом Зие, упаковали в рубашечку, завязали рукава на спине, вкатили подкожно уж чего сыскали, – а сыскали вовсе неуместный для данного случая жидкий анальгин, – и увезли прямо туда, куда обычно в таких случаях везут. Углов, впрочем, продолжал видеть все того же святого Зию и проповедовать. Вкатили внутримышечно еще чего-то – ну, уснул полковник. А что делать с ним, все равно никто не знал.

Среди ночи наконец добрались до генерала Сапрыкина, который сказал, что за поведением полковника Углова лично-ответственно обязан надзирать полковник Аракелян Игорь Мовсесович, но чтобы на него не сильно жали, потому как у него, мол, связи большие. Жали-то не сильно, но в три часа ночи с постели подняли. А наутро и так свояк велел ждать важнейших событий по совсем другой линии, а тесть колотить в стену стал, мол, чтобы тихо было, у него Розалиндины вылупляются, оба, а синий Пушиша всю кинзу склевал, все десять пучков, ведь черт его знает, при всем этом, может быть, ты теперь уже и не полковник даже, а пожизненный повар императора, не дай Господи свояку долма припомнится и он ее расхвалит венценосцу, так на всю жизнь и будут тебе одна сплошные виоградные листья в уксусе!.. А тут еще Углов соскребнулся на религиозной почве, отвечай за него теперь, уж кончалась бы скорее эта власть проклятая, пусть Георгий со своим императором правит, а я лучше готовить буду, за долму я еще отвечаю, больше ни за что не отвечаю, пропадите вы все пропадом!..

Итак, отправив Георгия с императором туда, куда им хотелось, поехал Аракелян посмотреть на безумного псевдона начальника. Смотреть оказалось не на что: грязный, как свинья, спал начальник под барбитуратами в отдельной

палате, и все равно по губам его читался неутомимый беззвучный крик: “Святой Зия! Святой Зия!” Аракелян плюнул, расписался, что больного освидетельствовал, и вышел на тающее от весеннего тепла шоссе. В двух шагах от его машины имело место “происшествие”, один частник стукнул другого, существенно помял тому крыло и рассадил левую фару. Номер у того, который побил, начинался буквами “МНУ”. У того, которого побили – буквами “МНИ”. Сами, стало быть, хотели...

Аракелян сел за руль и поехал в Москву, в будущее. В будущем, знал он, ждет его кухня. И пусть уж лучше она. Надоело ему быть ответственным и тем более железным. Ему вдруг захотелось есть. Так захотелось, что он бы сейчас даже собственной долмы съел, которую вообще-то, из-за излишней к ней привязанности свояка, остро ненавидел. Но сейчас съел бы.

“Ты этого хотел, Жорж Данден”, – всплыло в памяти из какой-то телепередачи. Аракелян бессильно пожал плечами и чуть не съехал в кювет.

## авел II День пирایی Часть 6

*Евгений Витковский*

VI

Дайте только срок, собаки, не уйдете от меня: надеюсь на Христа, яко будете у меня в руках! выдавлю из вас сок-от!

Протопоп Аввакум. Из толкований на книги Притчей и Премудрости Соломона

Ну хоть бы по одному в неделю. А то уже по два. Так ведь скоро и совсем никого не останется. Хотя рано или поздно все эти гонки на лафетах должны были начаться; им ведь теперь всем вместе далеко за тысячу лет, наверное. Но зачем же они все подряд, почти сразу, будто в честь какого праздника? Западное радио говорило, кажись, что все в нем родного отца потеряли... Нет, это когда Хруслов, тогда отца родного, а шофера говорили, что наоборот, падла была непросветная, кошек с лапшой ел... За что? Этот ведь совсем молодой был, неужели в семьдесят девять лет еще и пожить нельзя человеку? Другие говорят, яд принял, а на фига яд в семьдесят девять? Говорят, в депрессии.

Вот и я в депрессии. Семьсот дней, меньше не могу. Бросил бы, а иди брось в пятьдесят два, жена четвертый месяц в отпуске, то есть в командировке, то есть нет. Денег от пуза, а чувства на них разве купишь, а с белоголовкой тоже завязывать надо, на спирт переходить, – в нее, говорят, гадость какую-то мешают, а спирт – он как детская слеза. А намешивают, говорят, чтоб настроение плохое было. Вот я пью, и у меня плохое. Понял бы кто мою душу, я б за то все деньги отдал, все одно девать некуда, на пенсию не пойду, а с печенью плохо, до ордена к семидесяти пяти хрен доживу, а шофера все падлы. Не жизнь, а прямо названия нет на русском, а я, кроме русского и матерного, других не учил.

Времени было без чего-то семь утра. В силу этого факта опохмелиться Виктор Пантелеймонович боялся. По второму разу боялся, по первому уже сто,

конечно, сделал, без этого и радио себе не включишь. Вот Хруслов умер на прошлой неделе, говорили, что как раз на его место, на идеологию, теперь Куропятников должен был. А он вот и сам. И Поцхверашвили, а до него Блудун, генерал армии, а все за один апрель, который еще не кончился. Точно, к майским еще кто-то помрет, праздник все же. Очень огорчали одинокого Глущенко все эти смерти, о которых узнавал он по утрам, еще с похмелюги; в неделю мерло по одному, по два члена сверху, а из пониже – так не перечесть. Хорошо еще, что хоть главный жив, говорят, так и будет жить, и пока он жив, никого не уволят. Даже ввиду смерти. Все велел на своем месте оставить, чтобы без никаких перемен. И его, Виктора Пантелеймоновича, значит, тоже с базы не скинут, пока главный копыта не откинет. И выпью-ка я за его здоровье.

Он потянулся за белой головкой, хотя она была уже початая, так что, конечно, без головки, – хотя и пить ее теперь нельзя. Давно уж по утрам он пил только из горлышка, все равно все стаканы и чашки побиты, а Софья вот-вот вернется, все телеграммы дает, что едет, а сама – фиг. Разлюбить бы ее и даже \*\*\*\*-ей не водить, без надобности они теперь, раньше выпил сто и все как надо, а теперь сто выпил и больше уже ничего не надо... Одно слово, \*\*\*\*-и. Так что за здоровье.

А давно ли такие времена были, когда по месяцу мог не пить. По службе он быстро дошел до поста, но жена разбилась в самолете, тогда пошел в запой и выше уже никак, даже за пьянство один без занесения получил, другой с занесением того гляди дадут. Жизнь была – тогда, когда-то... И Севка тогда еще от рук не отбился. Но директор женился еще раз, и вот началась другая жизнь, подкаблучная, счастье и удовольствие. А вот Севка скоро сел...

Накануне вот радио послушал, понятно, вражеское. Ничего, правда, не понял, но говорят, осенью коронация неизбежна. Чья? Неужто главный будет в закон короноваться, или весь центральный комитет коллегиально коронуют, или только бюро, а главный корону от его имени и взденет на себя? Да как же он, бедняга, парады-то по холодище принимать будет в короне, может, хоть с ушами корону сделают, чтоб завязочки под подбородком? Да ну его с короной, скукота в жизни, вот и придумывают, как бы повытрющиваться, а лучше бы водку не портили. Вот возьму да выпишу с базы спирт для промывки.

Виктор Пантелеймонович сел на постели, запрокинул сильно опустевшую бутылку к потолку, большими глотками, зажмурившись, высадил оставшиеся граммы. Он знал, что через минуту-другую почувствует себя совсем молодцом, поэтому отбросил бутылку в угол и еще какое-то время отдыхал, зажмурившись. А когда глаза открыл, то им не поверил, а когда поверил, то понял, то лучше бы их не открывать сейчас, и вообще никогда, только бы этого не видеть.

Этого, неожиданно высокого, тонкогубого, худого, прямого, как палка, отчаянно похожего на мать; этого, оставшегося когда-то словно бы на память и на радость, а потом и поныне – на позор всей жизни Виктора Глущенко. Этого, отбухавшего – Виктор Пантелеймонович быстро прикинул в уме – почти полные одиннадцать лет из назначенных тринадцати где-то в болотах Западной Сибири. Этого, глубоко ненавистного и странного, с угольями вместо зрачков,

но все же родного, в окошко не выбросишь. Этого, молчащего, застывшего на пороге комнаты, и без всякого выражения на него, на отца, глядящего.

– Не дозвонишься тебе, – ровным, высоким голосом произнес гость, – и ни в дверь, ни по телефону, однохренственно. Пришлось вот открыть.

Не дожидаясь приглашения, Всеволод Викторович Глущенко проследовал, – не прошел, ни в коем случае не прошел, а только проследовал, если не прошествовал! – к низкому столику, на коем стояла у Виктора Пантелеймоновича запасная поллитра и что-то из вчерашней закуски. Там гость опустил в кресло, а потом в дверях появилось еще что-то... вот именно не кто-то, а что-то. Хотя существо это было явно человеческого рода, было оно при этом молодое, однако бесполое; женщина это или мужчина – никак пьяный взор Виктора не мог распознать, да и не пытался. И вообще, только что принявший цельную банку и узревший явившегося без малейшего предупреждения сына, Виктор Пантелеймонович меньше всего склонен был раздумывать: кого там или что там сынуля с собой приволок.

– Рекомендую, – ткнул в сторону второго вошедшего Всеволод, ткнул не пальцем, а каким-то предметом, который Виктор не рассмотрел, – твой приемный, Дуся. Это по-ихнему Дуся, голубец, его кликуха, чтобы тебе понятней было, потому Дуся, что – подруга. А официально Гелий Станиславович, если соображаешь, что это значит. Старая шалашовка, но, возможно, нам еще придется лизать ей ботинки и другие места. Тебе придется, я постараюсь не лизать. Давай кружки.

Последняя фраза адресовалась явно Гелию. Тот извлек из принесенного под мышкой грязного, без ручки, чемодана две облупленные кружки. Тем временем Всеволод одним ногтем содрал с бутылки крышечку, налил почти полную своему спутнику, а себе даже не капнул.

– Пей, задрыга жизни, пей, Дуся, – речитативом сказал Гелий самому себе и высадил кружку, не поморщившись. Потом покосился на столик, ухватил плавленный сырок и сожрал. – Наше вам с кисточкой, – произнес Гелий уж совсем голосом какой-то опереточной шлюхи из числа персонажей телефильмов на тему становления власти Советов и откинулся в кресле. На вид ему могло быть и тринадцать лет, и тридцать, и любое, что между этими числами; застывшая на лице блудливая улыбка тем более подчеркивалась откровенной, грубо-зазывающей красотой этого лица. Виктор Пантелеймонович с ужасом, сквозь быстро наплывающий и столь же быстро распадающийся хмель осознавал, что если из правого кресла смотрит на него стеклянными, постаревшими глазами первая его жена, конькобежка-чемпионка, то из левого кресла точно так же глядит нагло помолодевшая, постигшая сексуальный смысл жизни, согласно своей вечной мечте начавшая превращаться в мужчину, впрочем, на полдороге в этом занятии остановившаяся, вторая его драгоценная супруга, Софья Федоровна. От этого было не просто страшновато-неприятно, как от прихода сына. От этого было просто нестерпимо страшно, ибо внезапно вспомнил директор глухую и пьяную, раза два доносившуюся до него сплетню, что, мол, супруга его, Софья Федоровна, когда еще в девицах ходила, сдала государству незаконного сына, прижитого от вот уже нынче больше чем сорок

дней как покойного Станислава Казимировича. Что покойного, в том нет сомнения, ибо как раз вчера Глущенко опохмелялся после этих сороковин, – его, как друга, пригласили. Знал бы – не пошел бы. Своей водки что ли мало. Умер Станислав Казимирович... вместе с правительством... Умер... Я-то что все никак не умираю? Хорошо бы сейчас, вот как раз момент очень подходящий... – Самое время, – сказал Всеволод, поглядев на ходики, – стоявшие, конечно, но по странному совпадению показывавшие что-то похожее на действительно имеющие место восемь утра, – поспать бы тебе, подруга. Родитель, выкатись из постели, покуда ты нам соберешь, что я скажу, глубокоуважаемый царевич поспит часок-другой. Все же мы не с концерта. Мы, родитель, с курорта. Да вылазь ты быстро, сука, кому говорят?

Совершенно окостеневший Виктор Пантелеймонович понял наконец какой предмет держит в руках его законный отпрыск. Это было длинное, сантиметров пятнадцать, сапожное шило с костяной ручкой, а острие смотрело сейчас прямо на Глущенко-старшего. Трясаясь больше от похмельюги, чем от страха, – страх уже мало что мог добавить, – он вылез из постели. Всеволод критически окинул его взором, – как-никак не менял белья Виктор Пантелеймонович уже месяц. Но, видимо, Гелий и впрямь хотел спать, и прежде, чем сын успел распечь отца за недостаточно гигиеничное гостеприимство, пасынок уже свернулся под одеялом с головой. Последнее чуток успокоило Виктора Пантелеймоновича: в лицо своей второй жене ему было смотреть еще страшней, чем первой, погибшей. Всеволод, по-прежнему поигрывая шилом, налил отцу полкружки водки, отдал шилом полсырка и брезгливо придвинул.

– Выжри, родитель, иначе соображать не будешь. Ты мне нужен с чистыми мозгами. Отрекся и отрекся, хрен с тобой; мне с тебя не любовь нужна, любовь не по моей части. Любовь по его части. – Всеволод показал шилом на одеяло. – Мне с тебя нужны... Да пей ты, сволочь, наконец, пей!

Виктор Пантелеймонович послушно выпил.

– Нет, лаве тоже нужны, но у тебя хватает. Отдашь не все, а сколько сможешь. Три штуки отдашь и покуда все, если будешь себя хорошо вести, больше не возьму, пока не нужно. Нужны мне с тебя ясные ответы на вопросы. Словом, соображать ты должен, а не стучать зубами. Закуси!

Виктор Пантелеймонович послушно закусил.

– Так вот, родитель, – все тем же не меняющим интонации голосом произнес Всеволод. – Если ты уже в силах соображать, для начала поведай мне, где твоя супружница. Да, жена, да, матушка нашей милой подруги Дуси. То есть давно ли забрали.

Виктор Пантелеймонович силился понять, но был не в силах.

– Не трепись, что не брали. Сам вижу, без бабы живешь. Или бросила?.. Тогда – где она. И главное – где ее брат.

– Не знаю... – пролепетал Глущенко чистую правду.

– Положим, – Всеволод налил отцу еще. – Сейчас, положим, не знаешь. Но к одиннадцати, ларь чтоб открылся, я очень надеюсь, ты будешь это знать, все мне чистосердечно изложишь, притом правду, одну только правду и ничего, кроме правды, как шапире. Еще выложишь упомянутые лавышки и можешь

считать наш визит законченным. В противном случае мы оба претендуем в твоём доме на жилплощадь и по закону поселяемся тут. Выбирай. Да пей!

Виктор Пантелеймонович, отчего-то потрясенный тем, что до сих пор не слышал ни одного матерного слова, так же послушно выпил. Похмелье прошло, начиналось нормальное утреннее состояние, которое при известном искусстве не сулило никаких неприятных ощущений до самого обеда. И тут же вспомнил шило в руке сына, вспомнил страшную историю его посадки и подумал, каким же страшным должно было оказаться продолжение этой истории, если Всеволод вот так сейчас прямо перед ним сидит, десять с привеском отбухав, не ест, не пьёт, по всему видно, что не только пить не хочет, а и наливает ему и Гелию как-то без уважения... к тому, что наливает. Это ж какой ужас надо пережить, чтобы не пить, когда есть что пить, да еще с утра, до одиннадцати?

– Вот тебе еще смазка для тугого соображения. Имей в виду, что глубоко и абсолютно никем не уважаемый царевич Гелий желает высказать своей мамаше, твоей нынешней жене, примерно те же слова любви и послушания, что я сейчас тебе. С той лишь разницей, что твое, родитель, положение гораздо лучше, ибо твоему сыну хватит лаве на мелкие расходы и некоторых сведений. А вот ему от мамы нужно и гораздо больше и гораздо меньше. Лаве ему не надо, он на них напьется и губной помады купит. Ему нужна материнская любовь. Так что сравни.

Виктор Пантелеймонович послушно начал сравнивать и понял, что в сложившейся ситуации он и впрямь может хоть ненадолго, но отсрочить неприятности, пережить эти три часа нечаянного свидания с молодым поколением, которое за такую небольшую мзду, – хотя ясно, что потом выжмут еще, да и не раз, – соглашается убраться. Но Софья им зачем? Для любви, что ли? Похабное лицо Гелия всплыло у него перед глазами, с ним слилось лицо жены, и понял директор автохозяйства, что больше всего на свете хочет быть пенсионером. Одиноким и холостым. И сиротой. И чистосердечно, как райкому, рассказал сыну о том, что жена в отъезде, в Москве, что сажать ее никто не сажал, да как будто и не за что, хотя он человек понимающий, но, право, кажется, не за что. Что брат ее, с тех пор, как тесть умер осенью в прошлом году, носа к ним не кажет, даже, говорят, вообще из Свердловска уехал. И что Софья в Москве уже давно, но вот-вот вернется, – тут Глушенко испугался и себя поправил – мол, у нее “скоро” означает “к лету”, а то и к осени. Что адрес может дать только “довостребовательный”, на который деньги переводит, а больше ничего не знает. Что денег он сыну может дать больше, потому что как раз была премия. Что отречения от сына не было и вовсе, просто иначе с работы поперли бы, а где бы он еще смог сыну к выходу столько денег скопить? Что всегда свято верил, что его родной мальчик вынесет все, что на него несправедливо свалилось, вернется в отчий дом и начнет новую жизнь...

Директора автобазы потянуло в слезы.

Всеволод снова плеснул отцу – на доньшко. Он точно знал, кому, когда и сколько надо. Также он точно знал – кто чистосердечно колется, кто чернуху лепит. И печально было то, что отец пошел натурально в сознанку, и выходило, что до Романовых добраться будет много сложнее, чем ожидалось. Жаль. Но и

только. Ради своей мечты Всеволод Глущенко готов был отсидеть еще червонец, лишь бы только знать, что мечта будет приведена в исполнение. Тогда можно. Гелий-шалашовка начал храпеть и несколько мешал размышлять, но тормозить царевича Всеволод не стал. И так тот все время обижен, что пахан совершенно равнодушен к нему как к женщине, несмотря на столько времени, проведенного вместе. Мысль о том, что он, Гелий, может быть нужен еще за чем-нибудь, просто не приходила в тупую его, красивую, почти детскую, но совершенно при этом \*\*\*\*скую голову. Пусть уж лучше поспит.

Сколько вариантов ни перебирал Всеволод Викторович Глущенко за десять лет кантовки на пересылках и на зонах, этот все-таки получался самым лучшим. Сначала думал он, что как только получит ноги с зоны домой, так сразу и пришьет первого мента, какой нарисует. Потом заматерел, вышел в зубры на зоне неподалеку от западносибирского городишка Большая Тувта, дни до звонка считать перестал и понял, что такая месть – себе дороже, ну, пустят на луну, и все. Понял, что уж хлебать, так за цинку. Мало пришить одного мента, мало даже сто ментов пришить, мало даже по гаду на каждый день его срока, в котором тринадцать лет. Нет, всех, всех, всю мелодию, сколько ее в стране советской есть. Всеволод, осознав это, сразу как-то повзрослел, болеть перестал, стал вроде как зампахана всей зоны, а уж когда другого зама за то, что давил ливер без спросу, поломал об колено левой, а потом пахан у Всеволода на правой сам концы отдал – тут вдруг никакого начальства в лагере над Всеволодом не стало, кроме кума, а это что ж за начальство. Жить стало легче и проще, но мечта осталась, и приближения к ней не намечалось ни на шаг. Статей у Всеволода был букет, скостили в конце только четверть, да и то, мягко говоря, по личной просьбе, о чем речь ниже, – а поставил себя молодой пахан так, что если уж он шел в галюнь, то к его приходу там не только было чисто, а разве что хризантемы не цвели. И только теперь, малость пожив как свободный человек, понял Всеволод – чего именно он хочет. Никого, в частности, не хочет он убивать. А хочет он всем советским ментам дать хлебнуть из его, так сказать, миски. Смерть для них – дешевка, надо сперва оприходовать их по зонам, а вот уж там... а вот уж тогда... только медленно...

Другого человека такие мысли довели бы до психушки без обратного билета. Всеволода они довели до родимого дома, который, к слову сказать, был для него не более приятен, чем легендарная психушка доктора Сербского. Трясущийся отец жевал вторую половинку плавленого сырка, но Всеволод про отца уже не думал. Он вообще думал только об одном: о милиции, о том, как отомстить ей за десять с половиной лет, истраченных на Тувлаге. Все прочее на белом свете, говоря по большому счету, его вообще никак не волновало. Соль в его жизни была одна, и ею, серую, грубо размолотую большетувтинскую солью собирался он запылить жизнь своих врагов. Всеволод не пил и не курил, старался держать диету и режим. Он себя берег, потому что в жизни его была цель, – вот точно так же до недавнего времени берег себя двоюродный дед ныне храпящего Гелия, С. А. Керзон, но цели у них с В. В. Глущенко были больно розны, лишь настойчивость одинаковая; однако Соломон свой жизненный план осуществил, хотя и недоперевыполнил, а Всеволод еще только ухватился за тонкую ниточку.



В детстве он был пионером, но, еще не вышедши из этого возраста, под влиянием разных книг чудесного писателя Аркадия Гайдара, стал романтиком. Мать он помнил не очень, ему всего восемь лет было, когда она погибла. Долго жили они вдвоем, покуда в шестьдесят седьмом не надумал отец жениться по второму разу. И привел в дом Софью. Было ей всего двадцать три, а сыну Виктора Глущенко как раз стукнуло пятнадцать. Первый год Софья не замечала пасынка вовсе, на второй поглядывать стала и доставать по-всяческому, в начале же семидесятого, когда парень уже на втором курсе медицинского учился, вдруг затеяла его воспитывать, – довольно поздно, впрочем, если сравнивать со сверстниками. Отец, ясное дело, ничего не видел, всю конспирацию мачеха брала на себя, а Всеволод был романтиком. Он и теперь Гайдара любил, только на другой манер.

Длилась треугольная идиллия недолго. Виктор нещадно пил, ничто иное при его-то работе и невозможно, если живешь ты в государстве, столица которого больше двух веков двоится; пил он к тому же большей частью на работе, да и вообще дома не особенно время проводил. Мужские способности Глущенко-младшего требовательная Софья расценила как стоящие выше средних, поэтому и спрос с него был соответственный. В июне, когда он сдавал экзамены за второй курс медицинского, – так и не увиденный в те времена Всеволодом Павел, кстати, совершенно приемному племяннику не интересный, тогда же сдавал экзамены за четвертый курс педагогического, – Софья убедила Всеволода в том, что найти ей домашнего врача его святой долг, ибо какие же могут быть сомнения в его соучастии, – у нее, впрочем, были, но она помалкивала, – ну он и нашел. Когда поздно вечером врач убрался восвояси, ослабевшая Софья, опираясь на прежний опыт, порешила испить хлористого кальция: а его-то в домашней аптечке и не оказалось. И тогда беспощадное “значит, сходи в аптеку” швырнуло Всеволода навстречу его совсем иной, совсем неожиданной судьбе. Несмотря на два курса медицинских познаний, – на самом-то деле толком он отчего-то успел выучить только латынь, – он не имел ни малейшего представления о действительной необходимости этого самого кальция, но предположил, что без лекарства любимая женщина как пить дать погибнет, и помчался в аптеку, конечно, давно уже закрытую, а до единственной в те времена ночной-дежурной было не меньше чем полгорода. Далеко за полночь, прижимая в кармане наконец-то обретенные две младенчиковые бутылочки с делениями, полные вожделенного лекарства, уставший, не вполне еще успевший протрезветь от ста граммов чистого, без которых психологически не мог бы ассистировать, – сделал Всеволод отчаянную попытку поймать если не такси, то хотя бы покладистого левака, денег у него оставалось очень мало. В ответ на безнадежное махание рукой остановился перед ним патрульный “москвич”, вылезло из него двое дружелюбно на первых порах настроенных блюстителей закона, спросило документы, в них не поглядело и велело ехать с ними: “Ты пойми, отделение пустое, плана нет – а тебе не все равно, где ночевать?” Всеволоду было не все равно, он стал сопротивляться и получил по шее, получил еще раз, получил еще много-много раз, потерял сознание и очнулся к утру. Мрачный лейтенант

предъявил ему акт с десятью свидетельскими подписями, что, мол, Глущенко В. В., проживающий там-то, избил трех милиционеров в нетрезвом виде, – добавил, чтоб не смел голоса подавать, и отпустил. В карманах, понятно, было пусто, так что топтать домой предстояло пешком.

Не дотопал.

Почти возле самого дома нагнал его “москвич” – и снова потребовал документы. Собственно, даже вообще ничего не потребовал, а просто проглотил Всеволода. Ночью в самом центре Свердловска, ударом шила в глаз, был убит некий старшина милиции. Милиция располагала точными сведениями, что этого старшину убил он, Глущенко В. В. И теперь Глущенко В.В. ничто, кроме вышки, не светило: дело ясное, если троих избил, одного убил, да еще в разных концах города. Адвоката отцу пришлось найти хорошего, так что дали только тринадцать. Особого, учитывая молодость и чистосердечное; адвокат убедил, что без такового ку-ку, оказалось – не лажа, аж прокурор погрузился. Потом отец отрекся – и все кончилось, ни передач, по-лагерному – бердан, ни, естественно, писем.

А затем была еще столько-то времени незабвенная свердловская следственная тюрьма, та, что посередине города и где адъютант Гитлера сидел, затем еще какие-то пересылки, жуткий лагерь под Иркутском, из которого, к счастью, очень быстро перевели в Тувлаг, – там числилось еще хуже, но оказалось намного легче: красивая там была природа, милостей от нее, понятно, ждать не приходилось, но она как-то уравнивала зеков с теми, кто их вохрил. Всеволод, поистериковав первые месяцы, к своему никем не празднованному двадцатилетию стал совершенно каменным, ледяным, железным – никому нет дела до меня, ну, так мне нет дела до всех. Я выйду. Я со всех получу. Мне и тридцати трех не будет, когда выйду! Рано зарыли! Рано! Вся до-срочная жизнь была вспомнена и перевспомнена еженощно. Ничего не мог забыть Всеволод Глущенко – ни плохого, ни хорошего. Только вот из хорошего... что-то один Гайдар вспоминался. На отрекшегося отца сын зла не таил, понимал, что такое папаня. Не таил зла на Софью уж и подавно, жалел ее даже, как-то она там, без хлористого кальция. Почти с первых дней отсидки Всеволод никому не заикался, что сидит за чужое, то есть “проходит”, зачем говорить, толку никакого, а авторитет пойдет на фиг. “Бугор” по кликухе “Шило”, севший за пришитого мента на срок почти под завязку, решительно ничего не боялся: попробовали сделать ему темную, а он возьми да измордуй всех семерых, восемь ребер им да поломай! Стали уважать. Это в двадцать три! Двадцать пять!.. Тем более, что феню какую-то неизвестную знает, с нее лепила в лагере чуть не в обморок кидается – “леталис” там, “церебралис”, “пенис”. Всеволод влился в одну мысль и в одно стремление, прочее все отменил, а просто тихо и без трепыханий ждал звонка.

Среди поработанных Всеволодом лагерных мужиков оказался туберкулезный латыш, радиомеханик, способный собрать коротковолновый приемник чуть ли не из трех напильников. Всеволод распорядился соорудить для себя настоящее радио, чтобы Запад слушать, и выделил латышу на первые расходы три пятикилограммовых посылки, чужих, конечно, но он каптеру шило показал.

Латыш, кашляя и отхаркиваясь, дал ему послушать “Свободу”, “Немецкую волну”, “Голос Америки”, “Кол Исроэл”. После этого лагерный лепила ходил за доходягой латышом двадцать пять часов на дню и шкуркой отвечал за его здоровье, потому как Всеволод шепнул ему что-то непонятное насчет “орно” и “леталис” и даже шила не показал. Глушилки до Большой Тувты не доставали, так что ежедневно, словав спартанский ужин, садился Всеволод в углу барака к дикому сооружению, которое латыш обмахивал ветошью, надевал наушники и слушал все, на что мощности хватало, даже Албанию, если на других станциях очень уж скучно было. Об ужине, кстати: он у Всеволода был и впрямь спартанский, но получше, чем у кума; с семьдесят шестого питался молодой пахан только из посылок, из принципа, мстя за то, что сам он их не получает, а кто бы посмел не отдать ему свое повидло, печенье, икру, шоколад – ведь это означало для отдавшего три, пять, десять дней полной безопасности и перед шоблой, и перед вохрой, и даже перед кумом? Ну, а насчет радио, так более всего привык Всеволод к “Свободе”, хотя и находил принцип подачи “Последних известий” на этой радиостанции несколько тенденциозным. Неполитических, не-обличительных передач Всеволод не слушал до тех пор, пока не понял, что на русском языке цензура зарубежная позволяет вести только тем или иным боком обличительные, политические. Стал слушать подряд.

Полгода тому назад началась по радио романовская вакханалия, а сидеть Всеволоду оставалось еще четверть срока, и никаким досрочным освобождениям при его-то статьях, при всем положении на зоне, он не подлежал. Но однажды, поздним декабрьским вечером, в двадцатый раз слушая брехню о том, какая светлая судьба ждет Россию, стоит ей лишь признать ошибочность истолкования подлинных целей Октябрьского переворота, – а цели эти сводились, понятно, к свержению узурпаторов и вручению вожжей правления рабочему классу во главе с подлинными его представителями, законными наследниками российского престола – стоит лишь признать царем законного наследника, Павла Федоровича Романова, уроженца Екатеринбург-Свердловска... При этих словах раздался в мозгу тридцатилетнего пахана по кличке Шило словно бы хрустальный звон. Он вспомнил давно забытую фамилию своей страстной мачехи. И вспомнил, что был у нее брат Павел, которого она терпеть не могла. И вспомнил, что кроме брата... кроме брата... был у нее еще и сданный государству, незаконный, добрачный сын. И с удивлением, восторгом, радостью понял, что этот сын, успешно трахаемая всеми желающими шоколадная дырка по кличке Дуся, она же Гелий Романов, шестнадцатилетнее малолетнее, оттого малосрочное дерьмо, храпит не далее как на другом конце барака. Всеволод Глущенко знал покорных ему зеков не только в лицо, он и личные дела помнил наизусть, иначе сам не выжил бы. Вполовину срезанный срок Гелия кончался в марте. Всеволод немедленно принял решение выйти тогда же. Он нимало не относился к числу поклонников Гелия, – а было их много, потому что из лагерных петушков был он и моложе других, и смазливей, – но знал его хорошо и какие-то подачки ему бросал. Софья некогда назвала ему имя своего “сданного сына”, к счастью – нынче редкое. Теперь этот сын сидел в одном бараке с Всеволодом. Никогда не

опознал бы Глущенко этого самого Гелия, но, во-первых, вообще в жизни не встречал человека с таким именем, а во-вторых – сходство. Сходство! Кровь прилила к базальтовому лицу Всеволода, и на миг, в первый и последний раз в жизни, ощутил он к лицу почти что мужского пола что-то вроде желанья, – и немедленно обматерил себя в душе: он путал мать с сыном. А желание, обращенное к матери, выдохлось уже много лет назад. Тогда хрена ли?

Куму за выход на свободу при такой статье, когда с отягчающими обстоятельствами человек мента пришел, кому другому пришлось бы выложить на стол тысячу николашек-рыжиков, если не десять тысяч. Всеволод ничего не выложил, а просто шило показал. Всеволод и Гелий вышли вчистую под завывание западносибирской вьюги и трясущимся местным самолетиком долетели до Тобольска. Слава Богу, Гелий не рыпался и раздражал Всеволода только бесконечными покушениями на его целомудрие. Но тоже не очень, боялся шила. У Всеволода, как всегда, мысль была только одна. У Гелия тоже мысль была всего одна, но совсем иная: кому бы дать. Однако же Всеволод это ему запретил: мол, пока сам не разрешу, зашей свою “люську” суровыми нитками. Гелий вел себя тихо, соблюдал целомудрие, хотя внешностью вызывал у попутчиков легкое потрясение: безвозрастный, исключительно красивый, несмотря на редко посаженные зубы, курчавый, весь какой-то виноградный, Гелий нравился даже тем мужчинам, которые сроду ничего подобного от себя не ожидали, даже тем женщинам, которые прекрасно понимали, что это за мальчик-девочка. В самолете какой-то неуч-попутчик Всеволода спросил: “Это с вами юноша или девушка?” Всеволод, даже не взбеленившись внутренне и шила не обнажая, на неуча поглядел. Все.

Из лагеря не взял Всеволод даже ложки. Обычай все оставлять, брать с собой ложку, если она у тебя есть, он уважал, но ложку отдал совсем зеленому, совсем погибающему косоглазому дурню, привезенному в Тувлаг за неделю до освобождения Всеволода. Дурачок такой китайский, да еще из родного Свердловска, малосрочник, и за что таких шлют? Гелию тоже с собой ничего брать не разрешил. Так надумал.

Дальше Всеволод все знал точно, – если правда, что у Софьи брат будет императором, – а об этом ему в наушники все уши Запад прожужжал, – то у него на руках не меньше, чем марьяж, отдавши короля, на даму взятку точно получишь, если, конечно, ход свой. Но для полного марьяжа нужен был еще и родной отец: Софья отперлась бы от сходства, а вот папаня вряд ли, – тот самый король, с которого ходят. И либо Софье, либо ее брату, если они и впрямь воцарятся, придется кое-что ему, Всеволоду, подбросить, – а уж он от родственника лишнего, от Гелия, если все будет без лажи, уберечь сумеет, рук не марая. А и нужно Всеволоду – поквитаться с кое-кем. С милицией, всего-то, есть о чем базарить, а?

Отец наконец-то домусолил свой сырок и перестал трястись. Жестом Всеволод показал: на выход. Отец послушно оделся. Всеволод встал и легонько кольнул сквозь одеяло храпящего царевича, тот хотел разразиться бранью, но дальше звука “ё” ничего произнести не рискнул – шило уж больно знакомое.

– Не удумай, задрюга, линять. Даже встать с кровати не удумай. – Для

убедительности еще раз кольнул, царевич смолчал. – Так что, родитель, пошли. Передумал я. Три снимешь для меня. И еще себе возьмешь, сколько захочешь. Поедешь в Москву с нами.

Виктор немедленно и послушно отвел сына в сберкассу с самым большим вкладом, – было еще штук двадцать, но там везде поменее, – сколько-то снял под вопли кассирш – заранее не заказали! план горит! – и оформил аккредитив для себя на четыре восемьсот, после чего на книжке осталось три семьдесят. По возвращении домой Виктор сразу бросился к бутылке, даже раньше, чем сын успел ткнуть в нее шилом: мол, пей. Всеволод подошел к спящему подопечному.

– Вставай, гадюка.

Гелий не пошевелился, и Всеволод немедленно понял, что худшие его подозрения оправдываются: если бы время их отсутствия царевич в самом деле проспал, то вскочил бы сейчас на его голос как ошпаренный. Тогда точно рассчитанным движением Всеволод всадил, будто шприц, свое шило в заднюю часть царевича, что и возымело действие.

– Самообшмон или как? – спросил Всеволод, не повышая голоса.

– Да нет у него ни фига... – попытался оправдываться царевич, отчаянно растирая место укола, хныча, но, тем не менее, зазывно вращая глазами. Но понял, что номер не пляшет. Он сполз с постели и вытащил из-под нее большой, увязанный узлом плед – все, что нашлось достойного в доме Глущенко.

Всеволод наклонился и выкинул из пледа бюст Маяковского.

– Вот и хорошо, – успокоительно произнес молодой пахан, – вот и вещи укладывать не надо. Вот и поехали.

Вечером все трое уже сидели в купе. Четвертое место тоже принадлежало им, седоухий проводник, что разместил некогда Павла и Джеймса в предпоследнем купе, пришел за билетами и потребовал трешку за белье, с большим сомнением глядя на компанию – от нее за версту разило уголовщиной. Трясущийся пожилой дурак, прямой и сухой тип со стеклянными глазами, развязный сопляк, а вместо вещей – чемодан без ручки и узел клетчатый, словно ограбили кого-то – нет, не жди с такой публики тринадцать рублей вместо трех...

– Котик, дай в ротик! – вдруг, не выдержав, взвился Гелий и полез в объятия к проводнику. Тот с проклятием вырвался и захлопнул за собой дверь. За бельем пришлось идти Виктору; белье проводник дал, а трешку швырнул директору автохозяйства в лицо, по опыту знал, что с таких лучше ничего не брать, – а чаю они до самой Москвы так и не видали. Впрочем, Виктор постоянно таскался за водкой в вагон-ресторан, для себя и для Гелия, больше одной за раз ему ни за какие взятки не давали, у самих было мало, – коньяк же организм Виктора не принимал на дух. А Всеволод не пил ничего, кроме воды из умывальника в туалете. И не ел тоже ничего. Он и хотел бы поесть – но сознание того, что близок его звездный час, отключило в нем все физические потребности начисто. Будь это необходимо, он смог бы, наверное, обойтись без кислорода, дышал бы там вообще азотом, или гелием... Тьфу. Всеволодом двигала идея. Царевич почти всю дорогу спал; сперва он попробовал пить вровень с Виктором, однако же оказалась кишка тонка, от стакана водки, которого директору автохозяйства

было мало даже для поправки, Дуся мгновенно вырубался. А Виктор пытался вырубиться, но не мог, бутылка кончалась раньше, нужно было плестись за следующей. А из следующей Дуся опять норовил что-то выжрать, опять не хватало...

В Москве Всеволод не был прежде никогда, но со слов подчиненных ему в недавнем прошлом тувтинских специалистов знал, что делать: немедленно с вокзала взял такси и поехал в Банный переулок, где с утра пораньше уже, как водится, толкалась и перешептывалась московская биржа жилплощади. Всеволод прислонил Гелия к Виктору: чтобы не убежали, специально с ранья ни тому, ни другому не дал ни капли. И пошел потолкаться. Жажущих снять было очень много, и все покладистые, неприхотливые и ненаглые, а жаждущих сдать было мало, и все с претензиями, со специальными условиями: только одинокому военнослужащему не старше сорока девяти и не ниже полковника, – только безногому инвалиду гражданской войны, в крайнем случае с одной ногой, не больше, – только молодой женщине без ребенка, – только интеллигентному пенсионеру, непременно знатоку крылатых слов и выражений, – только студенту не старше двадцати и не ниже ста восьмидесяти, – и не короче двадцати, хрюкнул кто-то рядом, – только с пятым пунктом, только с распиской, только без прописки, только под залог гаража...

– Трехкомнатная на два года, деньги вперед, – вдруг произнес кто-то безнадежным голосом под самым ухом Всеволода, и тот обернулся. Перед ним стоял во всем джинсовом, красный как рак, совсем еще молодой, жутко о себе возомнивший ввиду бойкого знания английского языка внешторговец, каждая веснушка которого беззвучно вопила о предстоящем отъезде в капстрану Нижняя Зомбия на указанный срок, вопила о том, что квартиру не на кого оставить и деньги к тому же нужны позарез. – Двести в месяц, – добавил внешторговец, из красного становясь от наглости белым. Всеволод перемножил в уме, для него деньги цены не имели, но он понял, что наличных трех тысяч ему не хватит, и вспомнил родительский аккредитив.

– Плачу аккредитивом, – тихо и твердо произнес он и подхватил внешторговца, падающего в обморок от счастья.

К вечеру расплатились, расписались и водворились. Рыдающий от утая Виктор, – не аккредитива жалко, а жизни! – был уложен в постель; почти протрезвевший, все ж таки организм молодой, шалашовка Гелий отпущен был временно на все четыре стороны погулять, ибо Всеволод точно знал ту единственную сторону, в которую Гелий пойдет и где его искать, когда надо будет, да и вообще с крючка ему не слезть; сам же Всеволод отправился на поиски Софьи Романовой, а лучше Павла Романова. Ничего, кроме довыстребовательного адреса, по которому можно было начать розыски Софьи, а также сообщений западного радио о том, что наследник престола уже в Москве или под Москвой и ведет переговоры с советским правительством об окончательном соглашении, – советского опровержения на это гнусное сочинение почему-то не было, московское радио вообще передавало одного “Манфреда” Чайковского и прочую погребальную музыку; ничем, кроме похорон вождей, советские органы не занимались, и со страхом ждали со дня на

день кончины самого главного в государстве специалиста по поддержанию видимости движения туда, куда его, это государство, раз и навсегда послали предшественники, – ничего, ничего больше не было в руках Всеволода. Но терпения было ему не занимать, им двигала идея. Он без злобы рассматривал стоящих вдоль оцепления по Садовому кольцу милиционеров и представлял их себе в лагере под Большой Тувтой, на утреннем разводе.

Гелий тем временем зябко плелся по весенней Москве к давно ему памятному дому недалеко от Смоленской площади. Он был там еще до глупой своей посадки, был не раз, потому что когда из детдома сбежал, то кантовался в Москве больше года, и кто, как не хозяин этой хаты, Аким Чингизович Парагваев, в просторечии Рашель, заплатил тогда за его, Дусинога адвоката, заплатил почти что ни за что, – Гелий и переспал-то с ним всего четыре раза? Судьба и Шило сделали Гелию неожиданный подарок: снятая на два года квартира на Садовом кольце, в доме напротив американского посольства, оказалась буквально в двух шагах от Смоленской. Свернув с площади в тихий переулочек, а из него – в еще более тихий тупичок, царевич оказался перед здоровенной, одноподъездной, кооперативной башней.

– В семьдесят третью, – буркнул Гелий старухе, сидевшей в глубине подъезда возле письменного стола, что-то вязавшей и, ясное дело, сомневавшейся, можно ли пустить в дом кого бы то ни было. Гелий с натуралками, иначе говоря, с “настоящими” женщинами вообще разговаривать не любил, хотя сам он тоже числил себя женщиной, но был не “натуралкой”, а “подругой”. Так что ограничивался бурканьем. Ему с ними просто было не о чем разговаривать. Покуда лифт поднимал его на высокий этаж, вспомнились Гелию молодые годы, когда его, юную и цветущую, перебивали друг у друга и Рашель, и Влада, и Мада, и Анжелика, и Жакилина, и кормили икрой, и поили коньяком, и если бы не проклятая, с первых детдомовских лет прижитая привычка щипача не упускать полного кармана, не сел бы он никогда за мелкое воровство, сел бы, как полагается, за “люську”, а то и за нее не сел бы... И вытащил-то занюханые двадцать девять рублей, а впаяли, как за мульён... Хорошо хоть вот подосвободился пока что, только вот Шило на крючок взял, и хрен с него слезешь, хоть бы трахал, а то и того нет, так хоть вечерок по-людски пожить – и то радость. Сердце Гелия забилося учащенно, когда он звонил в дверь семьдесят третьей.

Дверь открылась сразу, на пороге появился некто зализанный на пробор, очень пьяный, и вопрос задал совсем уж неуместный после того, как дверь была открыта:

– Кто там?

– Я здесь, – кокетливо ответил Гелий, и вдруг вспомнил кликуху отворившего,

– Милада! Сколько лет, сколько...

Отворивший взгляделся в Гелия и просиял:

– Дуся? Подруга? Давно ли?

Обнялись и поцеловались – по инерции взасос, но сами же смутились, оба были женщинами, делать им друг с другом было нечего.

– А я плов сделала – ты прям кончишь...

В большой комнате, с начисто отрезанным верхним светом, при двух тусклых бра, сидя толпилось человек десять. Лиц не было видно вовсе, но особый, мускусный дух привычно говорил Гелию – все свои. Иди там разбери, парное тут количество, непарное, прикадриться всегда найдется к кому, даже если тут семь мужчин на семь подруг, – Гелий прекрасно сознавал цену своим внешним данным, уж если кто любит молодых, высоких, смуглых, с исключительной кожей, – то это все ему, Дусе, в карман, в жизненный актив и куда еще там захотят. Деньгами он за любовь почти никогда не брал; в лагере лучше было взять харчами, спиртом, всего лучше планом, – а на воле Гелий что-то уже давно не был. С хамским “Вот и я!” он прошел к столу, на котором дымился только что поданный на огромном фаянсовом кузнецовском блюде плов, с исключительно профессиональными черными звездочками барбариса, – и налил себе чего под руку попало. Попалась очень сладкая, безалкогольная водичка. Ругнулся. Нашел водку, тоже выпил. Стало хорошо, несмотря на полумрак, на задымленность. Тут только Гелий понял, что в гостинной хотя и все свои, но не так чтобы окончательно уж все.

Под одним из бра на диване сидел человек с гитарой, лет на вид сорока и явно не “свой”. Это был не “бард”, а “менестрель”, что в тонкой фразеологии любителей пения под гитару и означало человека, который песни поет, но сам их не сочиняет. Где-то его, “менестреля” за это и вовсе не считали человеком, но здесь, в полумраке парагваевской гостинной, это превращало его как раз в человека высшего сорта, пусть и не “своего” по половой ориентации. Артист был знаменитой любой звезды блатного мира, он лет пятнадцать уже пел в основном “по вызову” в компаниях у друзей, а чаще вовсе не у друзей, а у тех, кто был способен выложить за вечер пения в гостях две-три средних зарплаты советского человека. Артист был болен, он жил на дорогих лекарствах и трех пачках болгарского “Солнца” в день; впрочем, в парагваевской гостинной, кроме немалого гонорара вперед, ему выдали еще и блок “Голуза”, который гость немедленно упрятал в футляр от гитары. Он пел на износ, лишь по привычке добавляя к четырем основным аккордам переходные, пел с душой и со слезой, пел неповторимым, мягким, как замша, баритоном, вкладывая в игру и пение столько собственно блатного искусства, сколько в силах выдержать искусство подлинное. Он был знаменит, некрасив и болен, жить ему оставалось разве что несколько месяцев. Весь гонорар за вечер завтра предстояло отдать за лекарства, а вечером снова петь, чтобы послезавтра утром было чем за лекарства заплатить. Многие песни приходилось повторять, если они уж очень западали в душу публике. “Корнет Парамонов”, петый всей Россией чуть ли не в тридцатые годы, по-настоящему прославился именно в его исполнении, но “корнет”, видимо, уже поднадоел, сейчас звучало другое:

– Гонит ветер опять листья мокрые в спину... Нелегко тебе ждаться, одинокий мужчина!..

– Да! Одинокий! Мужчина... И одинокая подруга... старая хризантема...

Певец остекленевшими глазами не смотрел уже никуда, песня оканчивалась, потом он выпивал полрюмки и глухо говорил:

– А на этот раз эта песня... посвящается... для Толика... да, для Толика... – И



вновь начинал: “Кто к тебе постучал этой ночью не в двери...” – песня кончалась, и непременно кто-то навзрыд подпевал в финале: “Одинокий мужчина!” – и заваливался в темноту за один из диванов, чтобы не быть больше, видимо, столь пронзительно одиноким. Артист давал передохнуть пальцам и украдкой смотрел на часы: минут через сорок он имел право тихо слинять.

– Где Рашель, дорогая? – с полной плова пастью проговорил Гелий, пользуясь паузой в пении.

– Не бойся, дорогая, не взяли, – ответил пьяный полухозяин, явно непарный в здешней компании. При свете бра, под которым он почти лежал в кресле напротив артиста, обнаруживалось, что лет автору плова уже не то под тридцать, не то за сорок, так что, вспомнил Гелий, его прежнее самопрозвище “Старая, увядшая хризантема, еще сохранившая свой аромат” – нынче было ему очень впору, по крайней мере в первых двух словах. – Нынче наша дорогая подруга отбыла в Элисту-сити на кинофестивлюй-с. Новый свой супербоевик повезла, “Калмык всегда калмык”, он ведь у нас сам из ближней Азии, так его туда все тянет и тянет... Ты барбарису, барбарису, а то не ощутишь, не кончишь! Барбарису!..

Гелий отдавал должное барбарису, он вообще ел горячее первый раз с выхода из Тувлага, по телу приятно текло тепло от “Московской”, с меньшим, чем в Сибири, количеством депрессантов, вообще было хорошо и недоставало только любви. И это дело надо было поправить, прямо сию же минуту, без любви нельзя.

Из темноты на него смотрели огромные глаза. Сперва Гелий даже не понял, есть ли там что-нибудь, кроме глаз. Огромные, черные, чуть карие и поблескивающие, если взглядеться, они сливались с окружающим полумраком и буквально пожирали Гелия, – в свою очередь, пожирающего невообразимое количество действительно выдающегося Миладиного плова. Не то чтобы Гелию-Дусе стало не до плова. Он отложил эти глаза в жизненный актив – до утоления голода. Наедался он, впрочем, быстро – и уже видел, что, кроме глаз, имеет там, на софе, место примыкающий к ним парень лет на вид двадцати, несколько восточный, очень хорошенький, но явный мужчина, и еще там, на софе, имеет место свободное место, на которое он, Дуся, дожавши плов, сейчас же и пересядет. Впрочем... Хрен с ним, с пловом. Пора пересидать. И пересел. И, ни слова не говоря, вложил левую свою, большую, но классически красивую руку в маленькую и жаркую ладонь этого самого с глазами. Плов Милада и в другой раз тоже хороший сделает. Неважно.

Артист уложил гитару в тот же футляр, что и “Голуаз”, и куда-то испарился. А на другом конце комнаты раздался нарастающий шумок.

– Ну и что?.. А и скажу всем... Думаешь, я свою теорию из этого самого высосал?.. Хрен тебе в палец... У меня программа для человечества, может, путь к спасению, а ты мне лапшу на уши вешаешь... А и скажу... И в облачении скажу, не стыдно мне, пусть тебя самого завидки берут! Я тебе не натуралка, я сам переоденусь, сволочь, не трожь меня! Отскребись сей же час! Вот возьму и все скажу!

Вконец упившийся Милада вырвался из рук тех, кто его, видимо, благо разумно

удерживал, и исчез в соседней комнате: с ней у Гелия были связаны какие-то воспоминания, но все они сейчас были царевичу малоинтересны: молчаливая ласка этого неведомого, который с глазами, вся до последней йоты перепадавшая его левой кисти, искупала долгие годы зоны. Ему, Гелию, ничего больше не требовалось. Он выпил, он поел, его хотели, его грозили полюбить. Еще чего? Помирать можно...

Милада очень скоро выплыл из соседней комнаты. Действительно, одеяние заместителя хозяина дома несколько поражало воображение: он был облачен в длинную, до полу, лиловую рясу с широким, пока что на лицо опущенным капюшоном, и подпоясан был чем-то широким и прозрачным, в чем Гелий с удивлением опознал парашютную стропу.

– Отскребитесь! – хрипло визжал Милада, забираясь на стол. При этом выяснилось, что он бос и что пальцы ног у него хорошо напедикюрены. Лиловой тушей возвысился он над столом, над блюдом с собственным пловом, над прочей жратвой и выпивкой, которых оставалось на столе немало, – видать, не за тем тут люди собирались. Что-то пророческое засветилось на толстой роже Милады, когда он откинул капюшон и приблизил ее к лиловому, под цвет рясы, бра. “Фамилия его Половецкий”, – вспомнил Гелий.

– Подруги! Подруги! Сестры и... женщины! И мужчины! – значительно более низким, но совсем охрипшим голосом заговорил Милада, весь содрогаясь от сознания важности начинаемой речи; он воздел руки к потолку, потолок был низкий и руки в него уперлись, отчего зрелище сильно потеряло запланированную патетичность. – Сеструхи! Я возвещаю вам истину, бя, кто не хочет, может не слушать и пусть идет трахаться с натуралками! А я, бя, истину буду говорить, мы, бя, все тут и повсюду, мы – пере... про... возвестники человеческого будущего! Будущего, бя! Наша, бя, планета, перенаселена до охрененной матери! А как, бя, самым простым, естественным и приятным способом избавить ее, планету, от перенаселения? Это ж, бя, яснее ясного – всем идти... в подруги! – Милада сильно икнул. – Вон, обезьяны-то, обезьяны, говорят, совсем своих натуралок не трахают, и минет строчат лучше нашей сестры, – из темноты донеслось: “А ты пробовал?” – но Милада не услышал, снова икнул и продолжил: – Вон, говорят, в Индии стипендию специальную устанавливают, кто в подруги идет. А Великая Влада, думаете, не наша была? Она, говорят, даже после смерти факаться вставала, пока они там вдвоем лежали. А эти... – Милада сглотнул слюну и сопли и, скорей от перепоя, чем от отсутствия образования, с трудом выговорил: – Эти... Герцен с Огаревым... они, бывало, как под колокол заберутся, так и факаются. Вот, говорят, скоро царь будет, так он первым делом сто двадцать первую отменит, он сам из наших, говорят, награждать орденами будут, кто в прежние годы за наше дело боролся, кто подругой докажется с до... до... Доконтрреволюционным стажем! Бю... Бюсты ставить будут... в скверике у театров...

Милада покачнулся, запутался в рясе и грузно осел в блюдо с пловом. Его речь никого не тронула. Подобную похабщину прямым текстом, как знал Гелий из прежних времен, не только тут не одобряли, а мылили за нее шею, главным

образом “чтобы хата не накрылась”, но псевдохозяин Милада все-таки всех кормил на свои деньги, благо они непонятно откуда у него всегда были, и давал кров тем, кто его не имел: ну, у кого родители против того, чтобы сынули к себе мальчиков водили, или же другие какие родители у кого, которые и слов-то таких не знают, или кто вообще без квартиры, или кто вообще в общежитии, или кто вообще без дома, или кто вообще без паспорта. Но все тут всегда происходило пристойно, в крайнем случае – в ванной, в туалете, за спинкой дивана. Групповуха здесь была невозможна. Ну, по крайней мере, почти невозможна. Народа за время речи Милады стало как-то поменьше. Отогревшийся едой, питьем и целомудренно нарастающей лаской со стороны того, который с глазами, понял Гелий чутьем, что, значит, время уже за двенадцать. К этому времени обычно разбирались на пары и расходились, кто куда мог. Оставались только непарные увядшие хризантемы, вроде Милады. Милада же, похоже, немного протрезвев, больше не проповедовал. Однако из блюда на столе так и не встал, а, напротив, горстями выгребал из-под себя куски захлабовавшей баранины, облепленные барбарисом и рисом, и яростно чавкал, глотая их. Потом медленно поднял взор, обшарил комнату, увидел тесно прижавшихся друг к другу Гелия и его глазастого напарника и удивился: – А что же мой плов-то презираете? Кто вам еще такого барбарису даст? Или не уважаете? Ах я бедная, увядшая, старая хризантема... – Но еще сохранившая аромат барбариса... – не удержался напарник Гелия, нежно покусывая ему мочку уха.

## Павел II День пиратки Часть 7

*Евгений Витковский*

### VII

Душа моя, Павел!  
Держись моих правил:  
Люби то-то, то-то,  
Не делай того-то...

А. С. Пушкин. Кн. Павлу Вяземскому

Колонны здания шли вдоль всего фасада по Староконюшенному. Дальше было закругление наподобие беседки, а за ним был другой фасад, и по нему колонны тоже были вдоль Мертвого переулочка, до самого конца. Купца Вардовского, первого владельца дома, выгнала отсюда революция. Потом тут был ЗАГС, в котором совершили гражданское венчание пьяный поэт с не понимавшей по-русски танцовщицей, а кроме того писатель, позднее пригласивший дьявола в Москву, с понаехавшей в Москву из Турции вовсе не турчанкой. Потом тут было одно посольство, потом другое, потом здесь однажды переночевал Черчилль. И опять тут было чье-то посольство. Но с тем государством, которого было посольство, испортились отношения, кажется, – оно производило не то, что нам было нужно на данный тогдашний момент, – и его решили отдать под детский

сад.

По счастью, дело затянулось, и ведомство Ильи Заобского наложило на особняк тяжелую дружескую руку. В таких случаях Моссовет, по сравнительной ничтожности своего положения, терял к предмету интерес. Дом стоял пустым, но вот уже почти месяц, как водворился в будке перед входом угрюмый посольский милиционер, в котором, правда, чересчур зоркий собрат из будки напротив распознал переодетого и потерял к нему интерес, сам-то он раньше первого мая из зимней формы вылезти не чаял, а было уже довольно тепло. По вечерам в доме зажигались окна, розовато отсвечивали новые ламбрекены, иной раз вдоль неосновного фасада даже по четыре-пять черных “волг” выстраивалось. Но никакой этикетки возле входа насчет “ботшафта” или там “амбасады” или “элчин сайдын яам” не появилось, и никакой мажордом с хорошо поставленным голосом никогда не выкликал с радиоточки: “Машину посла социалистической Эфиопии! Машину посла социалистической Гренландии!” А сейчас в машины с чуть ли не частными номерами садились люди с незримыми и неприметными лицами. Словом, наблюдать за бывшим посольством было неинтересно и незачем, да и некому, кроме милиционера возле канадского посольства, а тот любил только порнографические журналы и ночное звездное небо.

Официально в этом здании оказалась прописана всего одна-единственная старая женщина по имени Мария Казимировна, которой бесконечно неприятно было покидать насиженное место на Кузнецком мосту, однако же тот ее прежний, тоже с колоннами, хотя и не отдельный дом снесли вместе с целым кварталом, и приходилось благодарить, что не на пенсию выкинули, тогда бы Мария Казимировна руки могла на себя наложить от самоненужности, лишившись возможности разглядывать вереницу лиц и типов, проходивших через вверенную ей территорию, – слава Богу, не забыли, пожалели, спасибо полковнику, который все организовал по-быстрому, Марию Казимировну перевели вот сюда на образовавшуюся вакансию, хотя при этом в ужасных выражениях, – прежде полковник так никогда не выражался! – велели держать язык в совершенно невозможном месте. А то она не знает, где работает. А то у нее не сорок один год партийного стажа. А то она блинчики плохо жарит.

Но блинчики на новом месте, оказывается, в обязанности не входили. Поселили Казимировну в очень уютной комнатке с окном во двор, только перевезли, как удостоил ее полковник личным посещением, и ни много ни мало, велел исполнять требования тех, кто будет здесь жить на самом деле, – и показал их фотографии. С одной смотрел неведомый молодой человек с залысинами, курносый; с другой – прекрасно Казимировне известная Тоня с Арбата, которая в прежней квартире на Кузнецком неоднократно бывала, полковник на нее всегда вполголоса орал, ей даже блинчики никогда не полагались. Но времена, видать, переменились; полковник продиктовал Казимировне кучу телефонов различных резервных баз-распределителей, на случай, если Тоня и Павел Федорович захотят, предположим, компота из папайи, а его под рукой не будет. От имени-отчества Казимировна вздрогнула: точно так же звали в тридцатых годах ее соседа по лестничной клетке, который тогда почти уже лишил ее

невинности, но оказался врагом народа. Готовить ей, впрочем, быть может, и не придется, но только если Тоня скажет помочь. “Скажет” – это хуже, чем “велит”, лучше, или даже нечто вроде “попросит”, – этого Казимировна не поняла. Вообще, пусть поменьше выходит из комнаты. Нет, экрана внутреннего обзора тут нет. Нет, тут будут и другие люди, но это все обслуга в прямом подчинении у Тони. Ее, Казимировнино дело – снабжение. Ясно?

Самое же удивительное началось через несколько часов. Казимировна обнаружила, что один человек у нее если не в подчинении, то в компаньонках все-таки оказался. Это была мрачноватая еврейская старуха, въехавшая в комнатку напротив Казимировниной по коридору и на следующий день явившаяся к ней с заявлением, что Антонина сама выходить не будет, не хочет – дело их молодое, медовый у них. Стало быть, предстояло получать распоряжения и заказы через эту самую Беллу Яновну, которая, впрочем, оказалась очень душевной женщиной и ровесницей к тому же, и уж совсем было трогательно, когда выяснилось, что обе они – из Бреста, и, кажется, Казимир Ковальский даже у Яна Цукермана что-то шил! Хотя у Беллы Яновны не было сорока одного года партийного стажа и даже, оказывается, права покидать особняк, но поговорить старым женщинам нашлось о чем, скоро они отыскали общих знакомых, а к концу недели неожиданно и одновременно вспомнили друг друга совсем маленькими девочками в скверике у самой Пушкинской! Казимировна плюнула на правила, и они с Яновной запили блинчики хорошим чаем и хлопнули по рюмочке.

Распоряжений за первые три дня Белла Яновна не принесла от Антонины никаких, не то они там всухомятку питались, не то вообще Святым Духом. Потом были весьма скромные заказы на говяжью вырезку, на осетрину, на что-то еще по мелочи, но все это – Казимировна по запаху догадалась, а Яновна подтвердила – Антонина сама же на кухне и пожарила, не считаясь с нынешним своим положением. (Откуда было знать старухам, что с первого же дня в особняке Тоню охватил жуткий страх: вдруг Павла отравят?) А потом вдруг пришел такой заказ, что обе старухи как сели в комнате у Казимировны, так сразу же еще по рюмочке и хлопнули. Антонина требовала к завтрашнему утру две тысячи восемьсот диетических яиц по 1 р. 30 коп., или, в крайнем случае, пять тысяч шестьсот диетических яиц по 1 р. 05 коп. В распределителе такое потребовать было невозможно, раскопала Казимировна телефон соответственной базы, села в “рафик” с мрачным Абдуллой, все получила и привезла в Староконюшенный. Поставила на кухне и оставила до утра, хотя чуть не умерла от любопытства гораздо раньше.

Наутро Антонина удостоила старух приглашением, но почему-то не к себе и не на кухню, а в огромную мраморную ванную комнату, куда яйца, к подозрительному трепету Казимировны, уже оказались перенесены. На Антонине был холщовый фартук для прислуги, и такие же она выдала старухам. – Одни не управитесь, пока Пашенька спит, я вам помогу, а потом еще кого помогать пришло. – Тоня элегантно, словно демонстрируя какую-то новую парижскую моду, кокнула яйцо об край ванны, поймала содержимое на ладонь: белок стек в ванну, желток остался у Тони в ладони. – И вот так! – Тоня

перехватила желток в другую руку, первую вытерла о фартук, потом повторила операцию. С пятого, кажется, перекида в руках у нее остался совсем чистый, нелопнувший желток в одной лишь природной своей тончайшей пленке. Этот желток Тоня с торжествующим видом кинула в огромную лохань позади ванной, которую старухи, по огромности помещения, сперва не заметили.

– Это сколько ж добра утечет... – сама себе сказала Яновна, провожая взглядом утекающий в незаткнутое отверстие ванной белок.

– Белла Яновна, а вам надо? – вдруг очень ласково и с явным еврейским акцентом произнесла Тоня. Старуха смутилась.

Часам к одиннадцати пококали уже больше половины яиц. Казимировна благодарил Того, Которого нету, за то, что на базе ей дали все-таки по рубль тридцать, – по рубль пять как-никак вдвое мельче, работы было бы до вечера. Но чем дальше, тем хуже, руки заскорузли от белка; объявилась и дополнительная беда, одно яйцо из каждых двух-трех сотен, хоть и числилось диетическим, но было все-таки тухлым, беспредельно вонючим. Оттого в ванной надолго повис нехороший запах. Тоня поднялась, сказала, что горничную на помощь пришлет, и чтобы к часу дня, как все пококают, ее позвали.

Дококали, хотя с трудом.

А в час появилась с несказанным искусством покрашенная Тонька (“Ну двадцать шесть!” – одними губами проговорила Яновна), велела ванну вымыть и помещение проветрить. Потом самолично замуровала сточное отверстие и впятером, – это еще Абдуллу позвать пришлось, – они лохань подняли и опрокинули в ванну. Получилось желтковое озеро, не особенно глубокое, сантиметров всего пятнадцать – очень уж большая ванна была в бывшем посольстве.

– В следующий раз яиц чтобы четыре тысячи, – объявила Тоня и всех выставила вон. Однако, уже входя в Казимировнину комнату, успели заметить старухи, как из другого крыла здания появилась в коридоре и, пошатываясь, направилась в сторону ванной комнаты небольшая мужская фигура в долгополом халате.

– Он! – жарко шепнула Яновна, как только дверь брякнула у нее за спиной. Она все же была много лучше информирована, чем Казимировна, хотя, признаться, и она тоже решительно ничего не знала и не понимала.

Через два, а то четыре часа, как раз когда на посту возле противоположного канадского посольства сменялись милиционеры, – как раз успел пожилой любитель журналов и звезд шепнуть сменяющему его молодому любителю хоккея и класть бабу на стол: “Черножопый вона! Наконец-то! Все! Амбасада будет!” – к основному подъезду бывшего посольства подкатила неприлично длинная черная машина неведомой заграничной марки, причем отчего-то с миролюбивым номером тихого московского частника, и вылез из нее совсем без шапки довольно высокий, длинноносый и сутулый креол с прямыми волосами почти до плеч. Дверь бывшего и, надо думать, будущего посольства отворилась перед ним без вопроса и так же быстро за ним закрылась, и угрюмый в будке с опозданием козырнул пустоте, чем уж окончательно выдал свою переодетость.

В крошечном вестибюле перед лестницей креол скинул пальто кому-то на руки; оказалось, впрочем, что не на руки, а на лапы, ибо это было чучело медведя с подносом для визитных карточек, но медведь пальто на поднос поймал и даже не упал, остался с одежкой стоять на своем месте. Затем креол достал из глубокого внутреннего кармана крошечное блюдце, положил на него две бумажки: одну – картонную с золотым обрезом, другую – ресторанный салфетку, искарябанную плохим пером и мятую. Он пригладил волосы, взял в обе руки блюдце с бумажками и пошел наверх, ни у кого не спрашивая, – впрочем, спросить можно было бы только у медведя, а он стоял чучелом тут еще при государе Николае Александровиче, вот с тех пор и молчал. Креол шагал так, словно в собственном ресторане президенту относил рюмку коньяку; притом нигде не заблудился, не то бывал в этом доме раньше, или вызубрил план дома заранее. Он шел в угловую гостиную. Там в кресле полулежал будущий император.

Павел, совсем уже отмытый от желтков и облаченный в шелковый полудомашний костюм, устроился под огромной, от прежнего посольства принятой в наследство, пальмой-латанией. Пальма ему не нравилась, но распоряжений, – к примеру, чтобы ее выкинули к едрене фене, – он отдавать пока не решался, он понимал, что ежели начнет распоряжаться по пустякам, то рискует все свое царствование так и пустить на пустяки. Павел постиг, что в дальнейшем вся его работа будет одинаковая – распоряжаться, отдавать приказы, решать все и за всех. Так что там размениваться на какие-то пальмы? Что-то необратимо изменилось внутри Павла: так бывает с советским обывателем, когда раз и навсегда покупает он себе цветной телевизор и существование перед черно-белым становится для него невозможным. Слева на журнальном столике стоял завтрак, на который Павлу и глядеть-то было тошно, среди прочих компонентов поставила Тоня, видать, по недогадливости, на поднос маленькую взбитую яичницу. Павлу в эти дни есть не хотелось вовсе. Уж на что, казалось бы, стал привычен к женщинам его организм, а вот поди ж ты, возле Тони его пищевой рефлекс как бы атрофировался, не еды Павел хотел, а другого, все того же, все того же. И когда от непрерывного более чем трехдневного уступания таковому желанию стали у Павла убывать силы, он решил испробовать сношареву механику, о которой проболталась ему, понятно, Марья-Настасья. Впечатление от желткового купания было пока что небольшое: не то чтоб сил прибавилось, но странно покрепчал он от курячьей этой бани, односторонне, увы, покрепчал, потому что аппетит отбило начисто. Нельзя же так все-таки, не в сношари он согласился пойти к России, а в цари!.. Исполдволь одолевали Павла мысли о грядущих государственных делах, – то ли еще когда рак свистнет грядущих, то ли со дня на день, не объяснил ему этого никто из тех, что его сперва арестовал, а потом салютовал. Правда, еще в машине, когда в особняк этот ехали, толстый дворянин категорически умолял Павла, чтобы он никого у себя не принимал без его недостойного соизволения. Сказал, что государь Павел будет пока что жить в доме, считающемся временным представительством южноамериканской прогрессивной республики. И что дела о воцарении можно будет обсудить только еще недели через две, когда главный

дуба даст; так вот и сказал, и Павла передернуло – откуда такое можно знать, не подготовив заранее, так сказать... Павел, только что убив человека, стал еще большим, чем прежде, противником убийства и смертной казни. Пока пусть государь Павел отдыхает, требует, чего хочет, все исполнено будет, только из особняка пусть ни в коем случае не выходит. Да, Федулов будет жить во флигеле. Да, Тоня будет все время рядом. Да, государь, простите, но ведь мы вас все же несколько позднее ждали, увы, мы пока еще вынуждены скрывать вас от вашего преданного народа, увы, увы, слишком много еще у него с вами врагов. У вас и у всего истинно русского народа, хочу я сказать. А этот старый маразматик умрет, умрет непременно. Да как же ему не умереть-то? Все ж умирают, разве нет?

Павел совершенно перестал пить, и курить тоже бросил. В голове у него была куча мыслей, и все то про Тоню, то про Россию. Джеймс из флигеля пока не показывался, но вряд ли потому, что его не выпускали, скорее пошел в запой с устатку и трезвому государю на глаза показаться боится. А если не пьет, то, известное дело, спит и видит, что пьет. А интересно, у какой-то такой республики за пазухой их тут всех припрятали? Название медицинское, вроде как нембутал, что ли?.. Жаль, географию плохо выучил, да ведь и историю тоже, только в объеме курса, а там одни народные движения, сам видел, какие бывают у народа движения, видел на Брянщине, – Павел очень гордился тем, что пожил в народе и пообщался с ним. Нет, точно, нельзя эти самые яичные ванны принимать регулярно, так про народ можно забыть, про вторую его половину, то есть про мужскую. Впрочем, а отчего сношарь не купается в яичном белке? Может, тогда про мужскую половину населения думы-то как раз и навеваются? От такой идеи Павлу стало совсем мутно, понял он, что завтракать не будет, потянуло к кнопке звонка, по которому, как уже было известно, войдет бесцветная горничная и унесет этот самый ненавистный поднос. Но не успел Павел позвонить, как кто-то уже мягко вошел, мягко затворил дверь, но завтрак не забрал, а, напротив, что-то сам протянул Павлу на маленьком блюдечке, похожем на кофейное. Павел, не глядя на вошедшего, взял с блюдца две бумажки. На одной, которая вовсе даже и не бумажка была, а кусок такого толстого, такого негнущегося картона, что показалось Павлу, будто квадратик этот вырезан из надгробного мрамора, – а по краям этот квадратик был еще и позолочен. На квадратике была надпись на трех языках, первого Павел не понимал, только отметил, что буквы латинские; второго языка он не знал тоже, буквы были похожи на русские, но язык это был не русский, ниже была надпись на простом русском, а внизу шел еще какой-то орнамент, все палочки, палочки – может быть, это была надпись на четвертом языке, но уж на совсем неведомом. Русский же текст сообщал следующее:

**ДОМСТИКО ДОЛМЕТЧЕР**

чрезвычайный и полномочный посол

**ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОМИНИКА**

**в РЕСПУБЛИКЕ САЛЬВАРСАН**

а также

временный поверенный в делах



## РЕСПУБЛИКИ САЛЬВАРСАН

в Союзе Советских Социалистических Республик  
Социалистической Федеративной Республике  
Югославия,  
Корейской Народно-Демократической Республике

А на второй, скомканной, непривычным к писанию почерком нацарапано было: “В.И.В.! Окажите, умоляю, подателю сей недостойной записки возможно более радушный прием. Дворянин Георгий Ш.”

Павел с сомнением повертел бумажки и понял, что, кажется, первый раз в жизни придется вести официальные переговоры на международном уровне. Впрочем, этот посол одного неведомого государства в другом, тоже неведомом, представлял, кажется, интересы неведомого первого в Советском Союзе, а значит – в России, и, помнится, именно это неведомое первое государство с медицинским названием как раз и было хозяином отведенного Павлу особняка. Неужто подселаться будет? Самому тесно...

– Прости – устало сказал Павел и положил бумажки на поднос. Повисла тишина: гость, видимо, растерялся, но только на миг. Потом зазвучал его высокий голос, очень богато модулированный; гость говорил на совершенно правильном русском языке, но едва ли не в каждом слове делал неправильное ударение.

– Позвольте отрекомендоваться, – сказал он, а Павел все еще не догадался поднять голову, – Доместико Долметчер, чрезвычайный и полномочный посол Республики Доминика в Социалистической Республике Гренландия! – тут Павел голову поднял и понял, что этот негр, – не то креол, хрен его знает, – вручил свою визитную карточку сам, что не лакей это никакой, нынче век самостоятельности, с неграми тоже придется считаться. Павел не моргнул глазом, встал и протянул руку человеку с темной, почти черной кожей; через секунду он уже вынес мысленно себе благодарность с занесением в личное дело – за то, что обычная мысль белого человека, прикасающегося к коже не-белого, “не испачкаться бы”, в его мозгу промелькнула уже после рукопожатия. Посол склонил голову, отставил блюдечко в сторону, затем он и Павел опустились в кресла.

– Прошу откусать, – вдруг брякнул Павел, указывая на нетронутый завтрак. Долметчер внимательно осмотрел поднос; откуда было Павлу знать, что предъявляет нехитрую Тонькину стряпню кулинару среди дипломатов?

Долметчер взял тоненький ломтик хлеба, ко рту его не поднес, и заговорил:

– Благодарю вас, ваше величество, – он переврал сразу три ударения, – но сегодня национальный день моей второй родины, республики Сальварсан, День Пирайи, когда основным и почетным гражданам, а также лицам, состоящим в таковой республике на дипломатической службе и, следовательно, уравненных в правах с основным населением, полагается начинать трапезу с национального сальварсанского блюда, а именно супа из пирайи, чаудера, если воспользоваться английским названием, ухи, если воспользоваться названием русским.

Павел ничего не понимал, но слушал с интересом. Даже временно забыл про желтки и Тоню.

– Таковой обычай, по известным вам, разумеется, предсказаниям предикторов ван Леннепа, дю Тойта и Абрикосова, важен для нашей беседы. День вашей коронации будет совпадать с очередным Днем Пирайи, еженедельным, как вам, конечно, известно, праздником, отмечаемым по четвергам в Сальварсане. Мне, как официальному представителю Сальварсана на вашей коронации, поручено сварить для вас и ваших гостей Президентский суп из пирайи, который специально в вашу честь будет в этот день именоваться Императорским супом из пирайи. Кроме того, еще прежде такого будущего Дня Пирайи, я от лица президента Хорхе Романьоса, – креол чуть склонил голову, произнося это имя, – уполномочен заявить вам, что республика Сальварсан готова де-факто и де-юре признать Русскую Империю и установить с ней не только дружеские, но и дипломатические отношения в полном объеме. И в конце моего заявления должен сказать следующее. Президент жалуется вам с сегодняшнего дня звание почетного гражданина Сальварсана и просит осведомиться, не откажется ли ваше величество принять и третий подарок, уже лично от нашего президента, с которым вы, как это общеизвестно, состоите в близком кровном родстве. Президент Романьос просит вас принять от него чисто личный подарок.

Креол замолчал, вопросительно глядя на Павла. “Это что ж, как в армии, где спрашивают, кто хочет смотреть “Лебединое озеро”, и кто захочет, тому пять нарядов вне очереди?..” – тупо подумал Павел, но царственно-медленно склонил голову, выражая императорское согласие. Креол продолжил.

– Президент Хорхе Романьос просит вас принять от него в дар выделяемую им из личных средств чисто символическую сумму, с просьбой употребить ее на совершенно конкретное дело. Президент Романьос не сомневается, что одним из первых действий вашего правительства будет решение вопроса о спорных территориях, ведь значительная часть исконно русских земель коварно отторгнута в настоящее время давно утратившими свою силу несправедливыми договорами. В первую очередь, конечно, будет оспорена незаконная сделка незаконного правительства вашего двоюродного прадеда, согласно которой в аренду, – кстати, на сегодняшний день давно просроченную, – была сдана древняя русская земля Аляска. Даруемая сумма составляет исходную стоимость в золоте плюс проценты и сложные проценты, которые должны быть переданы правительству Северо-Американских Соединенных Штатов вместе с требованием немедленного возвращения Аляски. Образует Аляска отдельное, особо дружественное России и Сальварсану государство, или же возвратится в состав Русской Империи, это уже компетенция лично вашего величества. Для простоты расчета президент поместил в банк Тиммермана требуемые средства в полноценных золотых слитках, и позвольте, ваше величество, вручить вам ключ, номер и пароль к сейфу.

Посол закончил речь и протянул Павлу черный конверт с чем-то внутри, и в этом чем-то, кроме бумаги, действительно прощупывался ключ. Ни хрена себе. Павел решил, что лучше всего будет кивнуть, не благодаря. Все-таки Романьос – дядя, сын сношаря. Как император, он кивнет. А как племянник...

– Передайте нашему высокопочтенному дяде, – начал Павел глухо, – лучшие пожелания здоровья и долгих лет жизни, трудовых успехов... – Павел запутался

и замолчал. Креола это не смутило, он счел аудиенцию законченной. Он встал, склонился в неожиданно низком поклоне и исчез. Павел даже попрощаться не успел. Или же ему и не требовалось прощаться?.. Он одурело смотрел на черный конверт. Придется, значит, портить отношения со Штатами. А как же обязательства перед Романом Денисовичем?.. Фиг с ними, я пока не коронован, а там разберусь как-нибудь. Павел ушел в спальню. Там он обнаружил, что Тоня примеряет ослепительно розовый, не иначе как парижский, пеньюар. Павел посмотрел на нее взором, лишенным малейшего интереса к пеньюару, взором семейно-ласковым, мутно-голубым, и протянул руку. Тоня быстро спасла парижский туалет, первый в ее жизни, ей такие прежде при всех валютных привычках даже и не снились (лифчики она теперь требовала тоже только из Парижа, от Сильвэна). Может быть, и зря – Павел очень полюбил рвать на ней все что попало, и жалеть ли было всякую чепуху, ежели Павлинке приятно? – Я не очень сильно заорал?.. – спросил Павел через какое-то время.

– Это было лучшее из того, что я от тебя слышала, – прошептала Тоня. А в половине пятого вдруг зазвонил телефон у изголовья, и знакомый голос всегдашнего Сухоплещенко сообщил, что через час они “заедут в гости”. Все вместе. Павел с сожалением глянул на задремавшую было Тоню и стал наряжаться по-парадному, в замшу.

Только успел одеться и выглянул в окно ротонды – увидел, что уже подъезжают. Сперва один черный ЗИЛ с зетемненными стеклами, потом другой. Потом подъехал еще зачем-то большой фургон с надписью “Доставка мебели населению”, и еще вереница “волг”, исключительно черных, и поэтому белый мебельный фургон среди них смотрелся очень погрёбально. Павел опустил в кресло и решил ни в коем случае с него не подниматься. Обслуга, конечно, попряталась по комнатам, да и Тоня, завидя шелковниковский ЗИЛ, тоже убралась подальше. Павел готовился принять весьма представительную группу... ходяков, что ли?

Первым объявился привычный бледный кавказский полковник, на лице которого словно раз и навсегда запечатлелся ужас, будто предстал ему только что двуглавый начальник, либо же дьявол во плоти. Полковник козырнул и стал отбивать вторую, обычно не открываемую створку двери. Павел знал, что толстый дворянин с трудом, но все же пролезает и так: неужто придет кто-то, кто еще толще? С обратной стороны двери полковнику кто-то помогал, и дверь, хрястнув, разверзлась. Дворянин Шелковников не замедлил объявиться; быстро, насколько позволила толщина, поклонился, а потом пропустил вперед себя длинного и сухого старика с мешками под глазами; лицо его показалось Павлу знакомым. Старик не козырнул, не поклонился, но почтительно замер у стены – не то потому, что благоговел, не то потому, что вообще не сгибался. Но благоговел он наверняка и – с неудовольствием отметил Павел – отнюдь не перед императором. Пока что не перед императором. И тогда Павел понял, что перед ним попросту нынешний министр обороны, маршал Ливерий Устинович Везлеев. “Армия, значит, со мной”, – подумал Павел вполне равнодушно. Однако кого они там еще приволокли?

За долгие месяцы общения Джеймс внушил Павлу ясную мысль, что русский

царь вставать ни перед кем не должен, разве что перед Папой Римским, перед другим императором, перед вселенским патриархом, – перед своим уже ни к чему, да и вообще не упразднить ли на Москве патриарший престол, лишний он, – ну, еще можно перед генеральным амбал-пашой Объединенных Наций, – а это что за титул такой, к лешему его! Но сейчас в дверь протиснулось нечто такое странное, что Павел едва не встал просто от любопытства. Гостем оказалась здоровенная деревянная кровать, ее ногами вперед тянули с лестницы в гостиную человек шесть, не меньше. Не кровать это была, впрочем, а отвратительное творение, которое и Павел в свое время для себя чуть не приобрел, это была “угловая тахта”, изобретение советское, раскладное, чудовищно неудобное. Тахта развернулась боком и опустилась на пол прямо перед Павлом. На ней, на белой простыне, без подушки, под стареньким верблюжьим одеялом, – даже без пододеяльника, – лежал человек в очках с толстыми стеклами; лицо его было еще бледней, чем лицо белого как мел кавказского полковника. Потом в приемной появился еще кто-то, кто неизменно при толстом дворянине околачивался, – лиц Павел старался, впрочем, не запоминать. Потом появился еще кто-то незаменимый, и его немедленно протолкнули вперед. Это оказалась женщина с седым пучком волос на затылке, не старая, но как бы среднего рода, а не женского – это Павел нутром почувствовал. Женщина была при этом вовсе собою недурна, стройна, Павел даже начал к ней присматриваться, но в это время человек, лежавший на тахте, медленно повернул к императору лицо и тихим-тихим голосом произнес фразу, состоявшую как бы из одного очень длинного слова, на совершенно неведомом языке. “Еще один язык зубрить...” – с тоской подумал Павел. Человек в очках смолк и перевел глаза на женщину. Заговорила, впрочем, не она, а дворянин Шелковников:

– Ваше величество, – впервые он обращался так к Павлу при посторонних, – с вами пожелал беседовать лучший друг... России и монархии, наш незаменимый ясновидящий предсказатель, господин полковник Валериан Абрикосов. Дни его сочтены, по собственному его, как обычно, бесспорному утверждению. Визит к вам он уже не может отложить. Поэтому свои наставления, свое в некотором роде завещание и напутствие вам, он хотел бы произнести немедленно. Господин полковник Абрикосов ясно видит будущее и уже не раз спасал нашу великую родину в години тягчайших испытаний.

Дворянин смолк, немедленно заговорила седая женщина:

– Полковник Абрикосов приветствует вас, товарищ ваше величество, умирая по вине и проискам злобных халдеев.

Павел непонимающе уставился на Шелковникова, “товарищем” его уже давно никто не называл и слово это звучало как-то нехорошо. Толстяк тем не менее тут же разъяснил:

– Халдеи – это евреи, не совсем так, но приблизительно. К сожалению, по вине поименованного полковником народа он лишился недавно дара русской речи и сохранил способность изъясняться только на... – дальше он выговорить не мог, но женщина подхватила: – Авестийском, неправильно именуемом как язык зенд. Кроме того, полковник предупреждает всех присутствующих, что,

возможно, и дар говорения на языке древней Авесты будет отнят у него в любую минуту, как и сохранявшийся еще недавно для него хурритский язык. Еще некоторое время он, возможно, мог бы продолжать беседу на палеоинуитском языке, но здесь я, увы, не смогу быть переводчиком, я не специалист по этому языку.

– А кто специалист? – резко спросил Павел и понял, что сказал что-то не к месту. Видимо, специалиста не было под рукой. Или он был, но не под той рукой, которой можно было до него дотянуться. Или даже не имелось вообще ничего – ни специалиста, ни руки. Человек на кровати, которому, видимо, огромных усилий стоило каждое слово-фраза, что-то еще сказал.

– Полковник Абрикосов просит дать ему возможность говорить, ибо время его на исходе.

Умолкли все, кроме доходяги на тахте. Очередное слово отняло у него чуть ли не десять минут и, видимо, последние силы. Перевод звучал вдвое дольше, седая женщина переводила без запинки, некоторые слова передавая описательно, а некоторые как-то вовсе непонятно. Павел, например, никогда не слышал слова “лаисса”, а тут оно попадалось в каждой фразе до трех-четырёх раз, и неясно было – ритуальный это возглас, ругательство, какой-то припев или, быть может, заклинание. Павел совершенно не чувствовал необходимости выслушивать длинные тирады какого-то очкастого полковника, то ли дворянина еще, то ли нет, хоть бы доложили. Но и дворянин Шелковников, и старик-министр стояли перед бледным доходягой по стойке “смирно”, притом, похоже, было это для них не впервой. Павел решил потерпеть пока что.

– И сам знаю, что не сходны мои речи с писаными законами, тяжело и скорбно, лаисса, мне проговаривать все, что сейчас будет мною проговорено. Однако что же мне, лаисса, делать. Силы своей не имею, лаисса. Сила, действующая во мне, не дает покою ни днем, ни ночью, водит меня, лаисса, в прямом и обратном направлении, лаисса. Давно не рождался я на земле и не скоро буду рожден вновь. Обобрали меня, лаисса, халдеи. Помню как сейчас, напутствовал я в моем последнем рождении князя Дмитрия Ивановича, – Аверьянов-сын было тогда мое наименование, – не послушался меня князь и вышло у него поле Куликово, гадость какая. Христианство получилось у него, лаисса, князь не проявил достаточной заботы о введении в России единой веры, не позаботился князь-лаисса о благе нашей великой единой и неделимой родины! Как было бы хорошо еще тогда ввести в России единую веру! Веру в нашего самого лучшего друга, любимого защитника и изготовителя! Он ведь такой, которого созерцанием невозможно насытиться, и незачем, лаисса, до бесконечности указывать, что на верхней черепной части у него имеются костяные выросты! Ну и что следует из того факта, что в районе копчика имеется у него незначительных размеров хвост, ведь он же такой упоительный, точнее восхитительный, он с кисточкой на конце! И маленькие копыта у него тоже исключительно изящные. Ведь это не истинное его имя – Сата-Тана, простонародное и невежественное обращение – Сатана, ведь по-настоящему его просто зовут Сата! А на самом деле даже не Сата, а – Сага! Сага! И даже не Сага, а Гаса! И даже не Гаса, а Заза! Даже не Заза, а База...

“Автобаза...” – подумал Павел, с далекой печалью вспоминая пьющего зятя. Надо будет ему много водки подарить, разной.

– Даже не Папа, а Мама! Мама! Мама! – вдохновенно закончила женщина перевод; часть поименного каскада Павел пропустил мимо ушей. Человек на кровати снова заговорил, не открывая глаз и очень торопливо. Потом снова зазвучал перевод.

– Самое же главное, товарищ величество, заключается в том, чтобы изготовить из всех халдеев России мыло. Непосредственно хозяйственные сорта мыла, однако же, не позволит вам неправильно понятая человекообразность, и они сами не позволят, лаисса, защищены, безногие пресмыкающиеся, живущие под поваленными деревьями, лаисса, очень хорошо. Вы, товарищ величество, продавайте халдеев за границу и на вырученные деньги закупайте, лаисса, за границей душистые сорта мыла, и тогда вы одной... стрелой получаете возможность застрелить двух или даже трех полевых зайцев: во-первых, самому варить мыло не понадобится, во-вторых, за границей ни куска мыла не останется, и хотя они, лаисса, без мыла войдут, куда захотят, и все-таки производственный процесс вы им осложните. И, в-третьих, – мыло скоро понадобится в России для многочисленных умываний... простите, омовений. Это я еще разъясню, когда перейду к вопросу о необходимых радениях. Радейте, товарищ величество, о благе отчизны, о мыле, и просто побольше радейте. И боритесь с халдеями. Халдеи! Халдеи! Сколько они младенцев, принадлежащих к национальной русской религии, извели на приготовление праздничных лепешек, выпекаемых без помощи закваски. Лаисса! Ведь даже халдей с большой бородой, который придумал оканчивающуюся теперь эпоху, лишил всех своих дочерей невинности! Ведь нет же ни одной халдейской семьи, где отец бы не дефлорировал свою дочь! Ничего! Грядет общество всеобщей тоталитарной демократии! Самое же главное, товарищ величество, следите за тайнами языка. Если это не вполне получится... Я точно знаю, что получится не вполне... Нет, я лишен этого знания злодеями из... ойротского эгрегора, лаисса... Пусть будет вашим наставником хотя бы бог Индра, чье имя, как ясно даже мелкому лесному млекопитающему с иголками, означает ИНДивидуальное РАЗвитие, или хотя бы Шива, чье имя, как вам понятно, открывает перед вами ШИРочайшие ВАзможности, – но ни в коем случае не Брама, моления которого повергнут вас в БРАтоубийственный МАразм, и конечно уж не Вишну, поклонение которому зациклит вас ВИдением Шарообразного НУтра! И еще, товарищ величество! Знайте, что государству очень плохо не иметь своего штатного и уважаемого предсказателя. Не везло России, доставались ей в предсказатели по большей части одни лишь халдеи, даже самый первый из них, пусть имя его неизвестно, фамилию носил совершенно халдейскую – Кудесник. Князь, конечно, изготовил из такового предсказателя мыло, хотя тот и говорил чистую правду. Так что, товарищ величество, среди предсказателей в крайнем случае следует терпеть даже халдеев, но только среди них. Предсказатель Брюс ведь не был же халдеем, и российское государство при нем достигло небывалого расцвета. Ваш прямой предок, Павел номер один, услышал, что некий предсказатель Абель... простите, Авель, сообщает о дате его предстоящей

смерти, заточил ясновидящего в тюрьму и тем самым повысил во много раз сбываемость пророчества!

Павел перестал понимать что бы то ни было, и в толк не мог взять – какого черта он все-таки слушает эту многоумную белиберду. Но человек, того гляди, загнется, или же перейдет на вовсе никому неведомый язык – черт с ним, пусть говорит.

– В ближайшем будущем, товарищ величество, вам следует ожидать следующих событий. Предмет, подобный увеличенному во много раз летающему киту, взлетит весьма высоко и спасет совершенно не нужную вам половину вас. Таковой предмет должен быть по возможности обогрет и обласкан, а половину следует от себя беспощадно отрезать и экспортировать в области средней Европы с прибавлением в качестве возвращенного приданого кильки... да, кильки.

Павел не выдержал.

– Я не понимаю!

Дворянин Шелковников посмотрел на него с печалью и укоризной.

– Увы, почти все, что говорит полковник ясновидения Абрикосов, как правило, совершенно непонятно, зато потом бывает ясно, что все было понятно. Надо слушать, ваше величество.

Женщина, ничуть не обидясь, продолжала с полуслова:

– С килькой впридачу. На... – выражение совершенно непереводаемо, но приблизительно означает органы коитуса у северных водоплавающих млекопитающих – вам, товарищ величество, эта килька? Отдайте ее, ничего в ней нет хорошего.

“Так уж прямо и нет, – подумал Павел, – чем не закуска”. Но тут же понял, что ему эта закуска и впрямь теперь не по рангу и от нее действительно лучше отказаться.

– Затем, товарищ величество, вам будет необходимо прислушаться к здравому голосу двоюродного брата вашего отца и начать незамедлительное востребование всех незаконно... умыкнутых территорий нашей могучей, единой и неделимой родины. Помимо уже указанной вам территории, рассмотрите возможность скорейшего предъявления территориальных претензий на Финляндию, далее Урарту, Польшу, Маньчжурию, Гавайи, Мальту, Папуа – Новую Гвинею; впрочем, советники подготовят вам список в ближайшее время. В целях же разрешения внутренних проблем рекомендую вам наискорейшим образом принять на штатную службу вашего родственника, который через краткое время начнет ходить у вас под окном, ибо сейчас он уже напал на ваш верный след и очень скоро захочет получить у вас аудиенцию, от которой не уклоняйтесь, иначе лишитесь возможности в несколько более удаленном будущем списать все переломы... прошу прощения, перегибы, которые ваш родственник совершит на том посту, который вы предложите ему занять. Войска под Москвой, лаисса, могут концентрироваться, у нас, лаисса... не северо-восточное государство в Африке, где главу правительства так уж просто застрелить на параде. Кроме того, рекомендую, лаисса, немедленно начать постановку максимального количества монументов, увековечивающих память

тех, чья память до сих пор не увековечивалась, это увлечет народ и косвенным образом решит все основные проблемы удержания сильной власти. И племянника своего не ругайте и разрешите ему свадьбу по его доброй воле, он так сделан, лаисса, от природы. Я бы всех по именам назвал, но что-то с памятью моей стало после всех этих неудач в гагаузском эгрегоре...

“Какой племянник? С чего бы не дать ему жениться? Даже если он у меня есть?..” – Павел вспомнил, что все правнуки сношаря ему, Павлу, приходится троюродными племянниками. Однако ж сколько родственников развелось, как только в императоры взяли, ох. Седая женщина все еще продолжала переводить: – И не бойтесь того, кто приснится вам в головном уборе с козырьком. Побеседуйте с ним, он укажет путь.

“Еще буду я со всякими, которые в кепочках, ручкаться!..”

– И дайте пенсии непригодным к службе...

Женщина умолкла. Доходяга на тахте пробормотал что-то, быстро смолк.

– Сойду я тогда с седьмого неба, как Данила сын Филиппа, воссяду и судить буду, новое небо под землей устрою, чтобы почести себе собрать, лаисса-лаисса. Главное – побольше радеть!

Человек на тахте открыл глаза и окинул комнату почти погасшим взором. Вдруг взгляд его остановился на чем-то за левым плечом Павла, зрачки сузились, глаза расширились и полезли из орбит. На почти русском языке человек завопил не своим голосом:

– Поссай!.. Поссай Россию!.. – потом что-то забормотал, похоже, уже на никому неведомом языке, потому что женщина переводить не стала. Потом доходяга выпрямился и потерял сознание – а может, умер, – кто его знает. Павел обернулся. За плечом у него виднелась в отдалении только толстая старуха, бывшая Тонькина соседка по коммунальной квартире, которую ему сюда подселили с первого дня и про которую Тоня говорила, что она для Павла на утро памятного дня даже специально лимончик припасла. Чего нашел в ней плохого этот дохлый? И вдруг рассердился.

– Унести! – твердо сказал он, бросил на отключившегося ясновидателя безразличный взгляд, других даже подобным не удостоил, встал и твердой походкой двинулся в свою комнату. Весьма растерянный Шелковников явно не знал – что делать, но почти сразу же бросился вслед за Павлом.

– Государь, – успел сказать он императору, который уже взялся за дверную ручку, – многие годы этот человек никогда нас...

– Дайте пройти, ваше высокопревосходительство, – сказал Павел ядовито и тут же понял, что наградил Шелковникова генеральским званием. Понял, что ругаться с этим толстым сейчас нельзя, понял, что тот не понял, что его произвели в генералы, и пояснил, – дайте пройти, генерал. У меня... мигрень, дорогуша.

Оглушив Шелковникова сразу тремя неожиданными титулами, Павел скрылся за дверью. Генерал же, наконец-то подлинный российский генерал – аншеф, что ли? – побежал назад, к издыхающему полковнику. Авось тот еще что-либо интересное скажет. Как, к примеру, масонские дела повернуть нужно в разрезе имперских интересов?..



В гостиной Абрикосова он уже не застал. По требованию умеющего оставаться незаметным врача отходящий “полковник ясновидения” был немедленно унесен вместе со своей угловой тахтой, потому что умирать любил в домашней обстановке. Ливерий понимающе кивнул генералу – теперь и в самом деле генералу! – дворянину Шелковникову, с трудом переступая негнущимися ногами, удалился в свое гнусное министерство. Посреди гостиной же стоял почему-то не белый, как все последнее время, а довольно-таки багровый Аракелян, и перед ним – гордая, заложившая руки за спину Антонина.

– Товарищ генерал, она дала мне пощечину! – срывающимся голосом проговорил полковник.

– А это за Беллу Яновну, – твердо ответила Тонька, – она здесь в своем доме, и нечего мне выговоры делать, не обязана я ее под замком держать, времена теперь другие! – Шелковников догадался, что Аракелян, забывшись, по старой памяти решил сделать Тоньке втык за неправильное чередование, и т.д., и т.д., – сейчас, наверное, за допущение лица еврейской национальности к лицемерию Абрикосова. Ох, и послал Бог чуткого свояка! Пусть бы кюфту стряпал, это он умеет, а он все кашу да кашу...

– Товарищ Аракелян, – веско сказал генерал, нажимая на слово “товарищ”, – жалоба на старшего по званию наказывается по уставу. Это вам известно? – и, не глядя на полковника, чуть поклонился Тоньке и пронесорожил к своему ЗИЛу. Из всего кортежа под окнами осталась одна только черная “волга” – аракеляновская. Опустилась и гостиная. Битый полковник посмотрел вслед гордо покидающей поле боя Тоньке и тоже печально вышел прочь.

“Подумаешь, маршал, – с обидой подумал Аракелян про Антонину, и тут же поправил себя. – Ох, как бы не так, Игорек. Глядишь, будет у нее звание и повыше маршала. Черт ее дери, да ведь она, того гляди, попадет в императрицы! Какие тут выговоры! Идиот ты, Игорек, был, им и останешься, влипаешь из одной истории в другую, скорей бы уж домой, скорей к плите!..”

Домой Аракелян вернулся поздно, после одиннадцати, потому что еще заезжал на службу и давал неуверенный разнос бывшим подчиненным Углова, он был уверен, что они ни фиги не делают, за это и устроил разнос, и, как выяснилось, не зря. На грозный вопрос – “Вы чем вчера, в страстной вторник, занимались с без четверти восемнадцать до двадцать пять двадцать?” три оставшихся заместителя, наиболее ничтожные, стали жаться и ныть. Сам-то Аракелян числился первым заместителем, а второй, злобный Заев, уже был выдан семье в качестве пригорошни праха из старого московского крематория, так что ныли соответственно третий, четвертый и пятый замы; Аракелян было совершенно не интересно, чем они тут занимались, а хоть бы свальным грехом, отчитались бы, чтоб домой умотать поскорей, но эти падлы сознались, что как раз в это время они пулю на троих расписывали. Даже время совпало, Аракелян заподозрил себя в развивающейся телепатии, даже лоб очень предчувственно заныл, но пришлось ждать, когда же эти гады объяснительную настучат. Не везет так не везет, но в четверть двенадцатого он все-таки переступил порог своей попугайной квартиры.

Наталья, видать, уже легла, Ираида ушла, но отчего-то на кухне торчал дед.

Только этой стоячей бороды и недоставало полковнику для полноты сегодняшнего дня. Он-то надеялся хоть сегодня, после полученной пощечины, тестя не видеть, – а то вышла, почитай, уже пощечина номер два. На сушилке для тарелок сидел лиловый Пушиша и ощутимо ее оттягивал; несколько бокалов, которые позабыла на ней Ираида, грозили рухнуть, на что ара, конечно, плевать хотел, он-то летать умеет. Бокалы были хорошие, из подарков генерала, Аракелян бросился их спасать. Жалко все-таки...

– Слушай, Игорь, где Ромео? – спросил дед, тяжело глядя на полковника. Полковник не был дома двое суток, и откуда ему было знать, где старший сын проводит полночные часы? Но полковник вспомнил себя в восемнадцать и даже пораньше, а уж исходя из этого прикинул, где может обретаться старший сын.

– Эдуард Феликсович, ну загулял мальчик, ну увлекся... – и осекся. Взгляд деда стал свинцовым.

– Ромки нет в доме четвертый день! Ты, полковник безопасности, можешь обезопасить хотя бы собственного сына?

Аракелян похолодел: что-то и впрямь долго.

– А Тима что говорит?

– Да будет тебе, сынок, известно, что в пять часов я погрузил Наталью и трех младших в такси и отправил на дачу. Именно до пятницы, чтобы за это время ты из-под земли вынул Ромку живого и здорового! Мне что, звонить Георгию?

– Эдуард Феликсович, – сказал не на шутку запсиховавший полковник, – утром я подниму на ноги всех, кого возможно. Но я вас уверяю, что повода для волнений пока еще нет. Ромео не ночует дома не впервые, он не пьет – чего вы боитесь? Ну, увлекся девочкой...

– Де-е-е-вочкой... – передразнил его дед, – видел я этих девочек. Ох, не сидел ты, Игорек, не видел ты девочек... – дед встал, допил что-то со дна стакана и вышел из кухни, мягко все-таки хлопнув дверью.

Аракелян взволновался, но, в общем, не особенно. Смутные намеки на то, что старший сын, кажется, не слишком интересуется противоположным полом, он со стороны тестя уже слышал, но не верил им совершенно: в себе он таких склонностей никогда не чувствовал, откуда же им у сына появиться? Куда уж там Ромео делся – даже и не так важно, если б в действительно серьезную историю влип, то уже на всю Москву было бы слышать, спастись Ромео может все-таки только силой отцовского имени, безусловно... или, черт возьми, дядиного – хотя такого до сих пор не было, за парнем, к счастью, большой смелости не числится. Так, загулял один раз в Гаграх, другой раз в Зангезуре, присылал телеграммы, когда деньги кончались... Но если уж влип, что, конечно, не исключено, то как бы не поставило это крест на папочкиной карьере... Впрочем, на ней и без того, кажется, пора крест ставить. Одна надежда на кухонную плиту. Плевать: даже если Ромка пришел кого-нибудь, Шелковникову он не абы кто, он ему племянник по жене. А Георгий, кажется, ухватил уже свою синюю птицу за хвост.

Синяя птица сидела прямо перед задумавшимся полковником. Сидела она на сушилке и нагло точила клюв о трубу центрального отопления. Отчего-то Пушиша не захотел последовать за своим воспитателем и предпочел общество

Аракеляна. Тому было, в общем, наплевать, он привык. Он пытался понять – отчего судьба к нему столь немилосердна. Хотя, конечно, она же его и вылавливает из дерьма в последнюю минуту, когда он уж и вовсе бывает готов захлебнуться фекалиями. Ну, не рехнулся же он все-таки, как Углов, не отправился в урну, как Заев, не получил даже серьезного выговора за сегодняшнюю бестактность по отношению к старшей, тьфу, по званию. Даже, если глянуть назад, он сумел в общем-то первоклассно выполнить главную инструкцию Абрикосова, сумел ловить-ловить шпиона-телепортанта и всю преступную группу, и при этом все-таки сумел решительно никого не поймать! Дал возможность развернуться... М-да, как она развернется, да как вцепит, показал бы он ей месяца три тому назад, а сейчас... М-да. Теперь у нас, как говорит Георгий, значит, социалистическая монархия будет. У него там теоретики все про эти обстоятельства, кажись, обосновали уже. Идеологом сам, что ли, будет? Или этот маленький Романов? Ничего, вариант не самый худой. Аракеляну импонировала жесткость Павла, его равнодушие и отнюдь не наигранные “железные коленки”, которые самому полковнику всю жизнь давались на людях с таким трудом. Что там за странности сегодня говорил Абрикосов? Предикторы в России, значит, были и раньше, одну фамилию как будто приходилось до этого слышать. Какой такой Кудесник? А-а...

– Скажи мне, кудесник, любимец богов! – в восторге от собственной памяти громко выпалил Аракелян. Тут случилось нечто никак не предусмотренное: лиловый Пушиша встрепенулся, перепрыгнул с сушилки на стол и застыл перед полковником, топорща перья. Аракелян отшатнулся, жуткий клюв гиацинтового ары был раскрыт и целился полковнику в лицо. Вдруг Пушиша зашипел, как магнитофонная лента без записи, потом голосом второго аракеляновского сына, Тимона, произнес:

– Восемнадцатое марта. Дядя и отец беседуют после обеда, – потом попугай еще пошипел, щелкнул и произнес голосом Георгия. – Учти, Игорек, мы с тобой связаны теперь одной веревочкой, ты теперь монархист и попробуй хоть на самое короткое мгновение надумать что-либо иное, как я тут же возьму на себя воспитание твоих сирот... – и перебил сам себя его, Аракеляновым голосом: – Георгий Давыдовыч, отрежьте мне обе руки и язык сию же минуту, если сомневаетесь... – и снова голосом Шелковникова: – То-то же. А что же ты мой шустовский? – Пушиша помолчал, потом раздался звон рюмок, бульк и двухголосый выдох, и снова собственное полковничье: – Ираида, кофе. – Потом голос Тимона произнес: – Сговор налицо. Конец. – Раздался щелчок: на сей раз просто Пушиша закрыл клюв.

Полковник сидел, окаменев, и думал отчего-то, что не зря Абрикосов евреев терпеть не может. Этот вот синий с его горбатым носом очень как раз похож на наглого цадика. “За что? – думал полковник. – Ведь все у мальчика было, ни в чем ему не отказывали. Значит, не зря парень вечно сидел с этим синим до лиловости нахалом. Значит, он решил, что попугай не хуже магнитофона. Если нужно, значит, на родного отца и на дядю досье подобрать”. Первым движением полковника было – быстро сесть в машину и рвануть на дачу, а там выдрать Тимона так, чтобы на всю жизнь забыл играть в Павлики-Морозовы. Потом

сдержался: на даче, кроме жены и Тимона, были еще и младшие, Зарик и Горик. Горацию только тринадцать, нельзя его травмировать... Окончательно убитый полковник повторил проклятую фразу из Пушкина, и попугай послушно воспроизвел беседу от двадцать пятого марта, которая оказалась еще хуже прежней, тут уж просто Игорь и Георгий делили места в правительстве, и, что всего ужаснее, он, Игорь, что-то брякнул неуважительное про Павла Романова, а он его тогда еще и не видал! Чудовищное творение сына было обоюдоострым, оно могло разить в любом случае: и в том, если монархии не будет, и в том, если она будет! В случае, если власть после смерти косноязычного премьера захватит камарилья Заобского, – хотя Георгий и обещал, что тот от инфаркта очень скоро здоровье потеряет, – а с ним, значит, всплывет и ненавистный танковый маршал, тогда ему, Игорю, каюк, а Тимон выйдет сухим из воды. Если же – более чем вероятно – монархия будет, то и тут Тимочка папу ох как может прижать, мало ли чего наговорено в доме за последние месяцы... Убить проклятую птицу...

И вдруг в душе полковника настал покой. Даже гордость некая появилась за сына. Вот она, смена! Если будет у нас теперь законная социалистическая монархия, может быть, во всем теперь нужна будет как раз династийность? Как, в конце концов, должен был поступить настоящий пионер, – Тимон уже комсомолец, но неважно, – если его отец и дядя вступают в подобный сговор? Именно так! Пусть ему, еще мальчику, и непонятно, что монархия есть естественное развитие и продолжение социалистического строя, одновременно венец его и краеугольный камень. Он это еще только через несколько лет поймет. Но работает-то, сволочонок, как чисто! Мастерство записи какое! Тонкость дрессировки! Последнее, конечно, от деда взял мальчонка, ну, самое лучшее из наследственности по отцу, да и по матери! Все четверо сыновей всегда огорчали полковника своей скрытностью – и вот только теперь оценил он эту свою собственную наследную черту, очень, конечно, положительную. Чем-то еще остальные сынишки порадуют...

Полковник больше не психовал. Он сунул Пушише овсяное печенье из дедовых запасов и быстро прошел к себе в кабинет: искать запрятанную в самый дальний ящик секретера Елену Молоховец, полное издание 1904 года с факсимильным автографом автора; искать трехтомного “Повара-практика” Эскофье, издание 1911 года, другие подобные книги, особенно кое-что на армянском – все это он берег от попугаев как зеницу ока. Вообще у него была очень недурная кулинарная библиотека. И расширить ее в ближайшее время тоже нужно постараться. Он, Игорь Аракелян, не пропадет. У него все-таки есть талант. Неизвестно, как там у других, а у него – есть. Пусть у кого такая еще долма получится, это мы поглядим, понюхаем, идиоты могут даже дегустацию провести.

Кстати, Зарик великолепно жарит бастурму на открытом воздухе!

## Павел II День пиратки Часть 8

*Евгений Витковский*

## VIII

Муху из стакана выкинешь, а с женой –  
что делать...

Саша Черный. Уютное семейство

Очень отчетливые такие насекомые, крупные, как чернослив, раньше их тут, кажется, для богатства разводили, а теперь они уже сами. Одно приятно в профессии, что ни в котором облике они тебя не кусают. Чуют.

По ассоциации вспомнил Рампаль свой царственно-дезинфекторский облик, в который был введен неведомыми до того дня серьезной западной науке сибирскими пельменями. На досуге, а в последнее время у оборотня было оно много, он об этих пельменях статью для служебного журнальчика написал; журнальчик этот на двадцати пишущих машинках распечатывал ушедший на пенсию множественный оборотень Порфириос, – то ли питал старик отвращение к любому современному множественному средству, то ли искал способа занять свои очень множественные руки. Выходило по науке так, что в случае необходимого мгновенного постарения без выхода из принятого образа пельмени эти, фабричного производства, с начинкой из мяса неопределимого происхождения, чуть ли не вдвое превосходили эффективностью столь дефицитную сушеную левую заднюю лапку суринамской пипы, обработанную креозотом и слюной пантеры. Ради этой пипы сколько средств у налогоплательщиков американское правительство повыгребало, а пельмени в Свердловске – на каждом углу, и какие эффективные! Экономный француз не сомневался, что его научная работа будет положительно оценена начальством. Эх, кабы чем заменить и морского ежа!

Конечно, без учебника для оборотней, сорок лет все снова и снова дополнявшегося Порфириосом, оборотни не только не могли бы служить, у них и шансов на выживание оказывалось крайне мало, уж разве садиться на всю жизнь на кукурузную кашу и воду. Но учебник был сложен и громоздок, а расположенная в желудке у оборотня железа холодного термоядерного синтеза, запуская процесс превращения, требовала и внимания, и постоянной дани, но избавиться от своей сущности хомо конверсус, человек переоборачивающийся, не мог. Поэтому все, кто мог, кто находил какой-то случайный ход, писали статьи в журнал Порфириоса, где тот их после проверки с благодарностью помещал. Рампаль гордился тем, что подобных находок ему удалось совершить более двух десятков.

Сейчас не был ни царем, ни дезинфектором. Насекомые, обильно заселявшие его отдельный двухкоечный номер в гостинице “Золотой колос”, получили полную свободу ползать и по потолку, и по полу, и по единственному, обе койки снявшему жильцу (хотя от последнего воздерживались – как животные осторожные, они чуяли оборотня). Перебираться сюда пришлось вслед за Софьей, видимо, сильно перетратившейся, из более комфортабельной “Украины”. Одно хорошо, что горничные тут не пристают, а только презирают за то, что у него пустых бутылок не остается. Эх, да Господь с ними, с

женщинами, вечно только неприятности.

Мыслей за последние месяцы “почти-что-отдыха” в голове оборотня перебивала тьма-тьмушая. Были, конечно, мечты о научной карьере, – вот как он на пенсию выйдет и ферму купит под родным Аркашоном, или, на худой конец, где-нибудь под Новым Орлеаном, обязательно с уютным, в пятидесятые годы любовно и со страхом выстроенным прежними хозяевами бомбоубежищем, нынче, понятно, потерявшим свой первоначальный смысл начисто, но как хорошо там каминную сделать или комнату для тенниса! Вот там и сидеть бы у огня, наукой заниматься в своей природной шкуре, и писать мемуары, скажем, под таким заголовком: “Как я был разными вещами”, в книге этой, конечно, его нынешние российские похождения займут немало места. Тут Рампаль понял, что название книги мысленно произнес по-английски, и горько взгрустнулось его французской душе.

Было почти одиннадцать, весеннее солнце светило вовсю прямо в старческое лицо Рампаля: он находился в облике президента Теодора Рузвельта, но для полной неузнаваемости удалял с лица все волосы вплоть до бровей, брил голову и ел два пельменя ежедневно. Однако же Рампаль из-под одеяла и не думал вылезать. Подслушивание, проведенное им в комнату Софьи, говорило, что потенциально-нежелательная русская императрица почивает, сквозь зубы бубня грубый русский глагол в угрожающей форме будущего времени, – радиотрансляция же на подоконнике долго и упорно молчит, хотя ей в такое время положено истекать музыкой.

Рампаль дотянулся до штепселя своей радиоточки и потыкал им в розетку: что за молчание, какую такую там космонавтику запустили? У них здесь такое молчание либо космос означает, либо похороны очень серьезные. Нет, сейчас, конечно, будут похороны: ради космоса они тут молчат короче, никому уж не интересно, и без того все время кто-нибудь у них отсидку на орбите отбывает. Похороны, ясно. Где они улиц-то напасутся? “А вдруг...” – мелькнуло в Рампалевой президентской голове, неся отзвук робкой, недозволенной армейским уставом надежды. Одних-то конкретных похорон ждал он более всех других событий на свете, они немедленно освободили бы его от наблюдения за Софьей, которая все-таки сильно ему надоела походами по пустым, но полным покупателей магазинам и бесконечными поездками по разным концам подлежащей перепланировке Москвы. В магазинах то там, то здесь появлялся какой-нибудь новый, ранее не продававшийся предмет, к примеру, в апреле шла молодая картошка, называлась она “кубинская”, из чего явствовало, что с некоей картофелеобладающей страной отношения улучшились, – но когда Софья в меховом магазине, где меха, сильно подорожавшие, все-таки были, задала вопрос, часто ли бывают манто из меха панды, продавец просто залился смехом, и стало ясно, что отношения с пандообладающей страной, похоже, нынче ухудшились. Глухие волны мировой политики бились в московские прилавки, донося рокот событий на Ближнем и Дальнем Востоке, в Центральной и Крайне-Северной Америке, отовсюду, с кем только еще могла испортить отношения заканчивающая исторический этап развития держава. Рампаль никак не мог надивиться: неужели им не понятно, что любое появление

чего бы то ни было на их прилавках – результат не переменного улучшения-ухудшения отношений, а всегда и без исключений только результат ухудшения таковых? Пропало масло – значит, испортились отношения с той страной, откуда его ввозили, появилось – значит, испортились отношения с другой страной, куда вывозили... А Софья, с головой захваченная идеей реконструкции столицы, мерила солдатским шагом разные московские монастыри и заставы, помечая что-то свое на купленной в киоске туристической карте Москвы. На месте древнего Новодевичьего монастыря Софья поставила жирный крест – видимо, монастырь подлежал сносу, потому что на полях она приписала: “Будущий мемориальный комплекс Софьи Г”. Увы, подумал Рампаль. Видимо, неприязнь к женщинам обречена была пребывать вместе с ним до конца дней. Но и Господь с ними, еще много хорошего есть на земле и помимо них.

И вдруг тишина закончилась. Проклюнулся, как из тухлого яйца, голос оперного недоноска из-за пыльной ткани, обтягивающей динамик. Не лопотание поплыло оттуда, не размеренное зауспокойное канонархание, уместное любому известию о кончине главы правительства, а нечто вроде выкликания слов по отдельности, со все большей энергией, обещающей главную информацию в следующем, еще не выплунутом слове: “комитета” – еще совсем тихо, “коммунистической” – уже громче, “партии” – с оттенком угрозы, “Советского” – тоном ультиматума, “Союза” – берегись, прячь баб!.. Потом опять потише: “двадцать третьего” – эдакое зыбкое волнение на Черном море, “апреля” – та же зыбь, но уже тихоокеанская, “в восемь” – вроде прилива у берегов Лабрадора, “часов” – как небольшое цунами, “пятнадцать” – как большое, “минут” – извержение нового, доселе не известного вулкана на территории Демократической Антарктиды, из которой даже архиепископ Архипелагий безо всякого самолета слинял в прошлую пятницу... Господи, неужто все-таки помре?..

Дальнейшее произошло для оборотня все как-то сразу, вплоть до выбегания из гостиницы примерно через час. Но в сознании отложилось, что сегодня – двадцать четвертое, страстная пятница по православному календарю, канун светлого Воскресения Христова, значит, вчера, в великий четверг, вождь умер и, в чем можно быть уверенным, совершенно точно на третий день не воскреснет, а он, Рампаль, будучи свободен уже больше суток, как хризантема в проруби, мотался за солдатообразной бабой!

Постановления же о переименовании мыса на Чукотке, реки Виллой, городов Почепа и Мологи, трех улиц в Алма-Ате и двух в Тирасполе в знак увековечения памяти загнувшегося премьера неслись мимо сознания оборотня. Инструкций больше не имелось, точнее, они хранились в запечатанном конверте у коллеги-оборотня Сазерленда, уже который год исполнявшего роль очередного американского военно-морского атташе; таковых советское правительство от себя чуть не каждую неделю высылало, и экономичней было держать на этой роли одного и того же оборотня, летающего в Вашингтон и обратным же рейсом возвращающегося в новой плоти. Но – думал Рампаль – нельзя же так просто и эту дуру бросить, у нее билет на самолет на одно из последних апрельских чисел, она ж дотратилась! У нее подлинники

исторических документов, у нее план ее собственной перестройки Москвы! Хотя все в копиях имелось и у Рампаля, но, рискуя выговором, мнимый Рузвельт полез в тумбочку, там на крайний случай хранилась бутылка совершенно драгоценного по здешним меркам напитка: водки “Лимонная”, без единой русской буквы на этикетке. Мысленно Рампаль перекрестился, по случаю близкой русской Пасхи по-православному – и высадил больше чем полбутылки единым духом, без закуски. Ее у него, впрочем, и не было, того гляди съешь что-нибудь недietetическое, превратишься в... хорошо, если козленочка... Нет, совсем неплохой напиток, хотя делает тебя только самим собой и никем другим...

Несколько минут прошло в напряженном прислушивании: не вломится ли в его сознание приманенный незнакомым напитком индеец Джексон со своим историческим вопросом. И вдруг вместо этого голову Рампаля стали как бы пронизывать голоса потустороннего мира. Оборотень не знал, что индеец недавно перенес белую горячку и стал периодически работать теперь как огромная трансмиссия от множества одних пьяных мозгов к множеству других, чем с необычайной ловкостью воспользовался Форбс: его за подобное открытие, конечно, повысили бы в чине, если бы имелось куда повышать. Правда, непьющему древнему китайцу пришлось стать пьющим, и то, что китайским поэтам-пьяницам приносило немеркнущую славу, теперь неплохо работало и на американского генерала австралийских кровей. Форбс самостоятельно, через сознание Джексона, находил нужных ему нетрезвых и вступал с ними в сношение, – разумеется, позволив индейцу сперва выпросить все, что было ему интересно. Сквозь первый слой мыслей порой проступали другие слои, мог слышаться лай бесшерстных в бункере Джексона или шорох рассказывающегося в генеральском кабинете множественного грека, могла слышаться чья-то пьяная брехня с другого конца земли или даже с другой планеты, а еще можно было ненароком забрести в пьяную голову собутыльника и взглянуть на себя со стороны, но командовал всем этим огромным пьяным хозяйством все-таки обычно непьющий генерал. К своему ужасу Рампаль обнаружил, что пьет Форбс не что-нибудь, а советскую водку “Лимонная” в экспортном исполнении, без единой русской буквы на этикетке, причем пьет не потому, что напиток этот неизвестен Джексону, а потому, что напиток этот зачем-то нужен присутствующему господину множественному оборотню Порфириосу. Неужели это не просто водка, возвращающая человеческий, нормальный облик? Испуганный Рампаль пытался уследить, не становится ли он козленочком, и не мог: зачитываемый на совещании в кабинете Форбса текст расшифровки очередного ночного бреда Джексона лился в его голову через все хлебнувшие в этом кабинете мозги, и ничего другого не оставалось, как слушать, что читают.

“...тогда Джемалдин, взял топшур, поиграл и спел, что у них положено не одну женщину делить на двоих джигитов, а самое малое трех женщин иметь каждому... И что в конце концов я ему и кровь-то как следует разогреть не могу, поэтому они больше с собой меня возить не хотят, а отвезут куда-то в горы, меня у них другой теленгит соглашается взять незадорого, если гордая не буду и



работать буду. Я тогда уже на все согласна была, лишь бы на меня каждый опять как чага-байрам по четыре раза за ночь не лазил, думала я, главное – от стойбища их избавиться. Наутро меня Ахмет посадил в “жигули”, синие, помню, отвез потом сюда, сюда-то дорога есть, но километров с тридцать все по склону, ни вправо, ни влево, захочешь уйти, непременно догонят, избьют, вернут. Пробовала я, больше не попробую...”

Незнакомые имена проплывали перед сознанием Рампалья в сложной латинской транскрипции, видимо, и сознание самого референта было тоже подключено к Джексону. Убедившись в невозможности скосить собственные глаза, чтобы убедиться в отсутствии незапланированной метаморфозы, Рампаль скосил глаза несобственные, чужие ирландские глаза скосил, усилием воли прочел заголовок зачитываемого текста и его первые строки. И защемило сердце.

“Жалоба (плач) императрицы (товарища) Екатерины Васильевны (Власьевны, Вильгельмовны) Романовой (урожденной Бахман) по поводу ее длительного пленения (продажи в рабство) в аймаке (селении) Горно-Алтайской Автономной Советской Республики (территория оспаривается Западным Китаем) в качестве четвертой жены (наложницы, скотницы) у неизвестного вероисповедания автохтонного скотовода-теленгита”.

“...и вспомнила я совет старичка в Свердловске, что, когда станет мне в жизни совсем неважно, чтобы выпила я водки, я, значит, утащила у хозяина бутылку с... непереводаемо, видимо, имеется в виду молочная водка однократной перегонки, домашнего приготовления, на основе ферментированного конского молока, популярный у коренных народов центральной Азии напиток, – и выпила, сколько не затошнило. Вот и мерещится мне, что разговариваю с кем-то, вот и сожалею о горькой моей и разбитой жизни. Ох, да полетела бы я к речке Исети, смочила бы головушку... Ох, как домой охота. Паша ведь если даже всю милицию в Свердловске и здесь на ноги поставит, не сыщет меня, наш аймак такой, что над ним хозяин горы живет, а здешняя милиция хозяев этих боится больше начальства. Они тут все без паспортов и без переписи, говорят по-ойротски только, хозяин десять слов со мной по-русски говорит, не горы хозяин, а мой хозяин, тот, что меня внизу купил. Расскажу-ка по порядку, с тех пор как из Свердловска ехала я, и меня двое теленгитов, думала тогда, они чечены...”

Куда же это послал он, Рампаль, бедную женщину, на съедение каким-то азиатам? Получалось так, что именно это он и сделал, хотя говорил он Кате только то, что предписывалось инструкциями, исходившими, конечно, из предсказаний ван Леннепа, но, однако, все же обречь женщину на такие испытания! Вспомнив свои собственные страдания в женском облике, Рампаль несколько успокоился: время сгладило чувства непоправимости происшедшего. Он перестал косить чужие глаза, – его усилия могли ненароком ударить по О’Харе, – и переключился исключительно на слуховое впечатление. Голос ирландца-референта тем временем продолжал:

“Чай они тут пьют страшный, с бараньим жиром, с мукой, живут, в общем, сытно, но антисанитария!.. Крылья бы мне, крылья бы мне, крылья бы мне...”

“Достаточно, О’Хара”, – вознесся колокольный голос Форбса, чье сознание

держало сейчас всю подвыпившую аудиторию в узде, и, видимо, оно-то Рампалью и не давало открыть собственные московские глаза. Зато глазами Форбса увидел Рампаль генеральский кабинет, и в первую очередь развалившегося в восьми одинаковых креслах, в восьми одинаковых позах мэтра Порфириоса: все восемь стареющих студентов мормонского университета в Солт-Лейк-Сити покуривали одинаковые трубки, вопреки категорическому запрету своей религии; Порфириос опознавался в этих студентах немедленно. Что-то застопорилось во время очередного марша-протеста в организме престарелого оборотня, и меньше чем в восемь тел он собраться не мог. Оборотень, как известно, живет две жизни: первую простую, с превращениями во что захочется, а чаще – во что велят, и вторую, когда, дожив до старости, он последний раз может превратиться в молодого человека и стареть еще раз вплоть до естественной смерти, но вторая эта жизнь сопряжена со строжайшей диетой, чуть съел что-то переоборачивающее – рискуешь рассыпаться прахом. Вот такой добавочной жизнью жил сейчас Порфириос в своих восьми телах, ничем особенно не рискуя, ибо восемь голов в восьми умах расчеты делали почти с компьютерной скоростью, Порфириос никогда не позволил бы себе обернуться восемью старыми козлами.

“Итак, данная информация в свете предсказания мистера ван Леннепа о предстоящей вчера кончине глубокоуважаемого генерального вождя, в настоящий момент на связи с нами находится в должной контактно-спиртовой кондиции...”

Громовое самосознание Джексона, внезапно проснувшись, раскатилось голосом Господа Бога:

“Жан-Морис Рампаль, по его собственному свидетельству, только что пил не спирт, а советскую водку “Лимонная” в экспортном исполнении, по моим данным, являющуюся, в отличие от большинства советских водок, продуктом перегонки...”

“Когда я успел ему ответить?” – подумал Рампаль, но из-под громовых мыслей Джексона снова пробилился голос Форбса, умеющего, как выясняется, даже и алкогольных телепатов ставить на место, не теряя их расположения: “Благодарю вас, мистер Джексон, напоминаю, что мы в данный момент эту проблему уже изучили практически, уже не рассматриваем более”, – Джексон вспомнил, что именно пьют все присутствующие, сконфузился и уплыл куда-то на дно. – “Как все уже поняли, капитан Рампаль находится в данное время на прямой связи с нами, поскольку мы, пользуясь терминологией мистера ван Леннепа, упились в рабочее время, и то же сделал он, с крайней степенью риска нарушая предсказания предиктора, однако же в полном соответствии с нами, ибо через полчаса горничная без стука войдет в его номер, и он должен успеть убратся с глаз долой, иначе расширяющийся инвариантный поток чреват для Соединенных Штатов так называемой Орегонской Проблемой...” – “Знать бы еще, что это такое...” – просочилось в эфир из подсознания Форбса, – “поэтому передаю слово вам, господин Порфириос, обращайтесь прямо к капитану Рампалью, мы будем транслировать”, – тут Форбс явно сделал большой глоток, Рампаль тоже вслепую нашарил бутылку и допил ее.

Множественное сознание Порфириоса алкоголем почти не дурманилось, ему ли, иной раз заполнявшему тесными рядами марша-протеста всю дорогу из Пасадены в Голливуд, или же половину улиц Филадельфии, скажем, было окосеть с такой дозы! Мысли его до Москвы не долетали, но голос проникал в уши Форбса и в уши прочих присутствующих, а потом долетал через их хмельные мозги в продувное сознание выздоравливающего индейца – прямо в погрустневшую душу Рампаля. Невероятность грядущего превращения стала ему ясна с первых же рунических индексов умножения массы, которыми престарелый оборотень начал чтение совершенно непонятной не-оборотням магической формулы. Рампалю предстояло превращение в нечто столь большое, что начинала кружиться бедная Рампалева голова, пока еще сидевшая на природно-человечьей шее.

“Девятнадцать опаленных маховых перьев черного лебедя, – вдохновенно произнес Порфириос, – вода святого Хызра в полной фазе минус огнистый жабник и два перекасти-поля, в ночь с двадцать первого на двадцать второе нисана, день йаум ас-сабт месяца джумаада с-саани, Цолькин одиннадцать кабан, Хааб пятнадцать поп, что несколько точнее, убывающей луны двадцать первого дня, Юпитер и Сатурн ретроградные...” – Рампаль наскоро и вслепую стал записывать формулу на этикетке “Лимонной”, бутылка была скользкой, а диктовал грек слишком быстро, но, кажется, удалось все-таки без ошибок. Потом, почти без перехода, видимо, по команде Форбса, стал диктовать инструкции Мэрчент. Рампаль от ужаса трезвел, голос полковника удалился, и слова “...до получения дальнейших указаний” донесли в “Золотой колос” уже словно с берегов Коцита. Оказывается, в посольстве для Рампаля была приготовлена не инструкция. Был там заготовлен невкусный предмет, который следовало проглотить, дабы полноценно обернуться. Был предмет угловатым, зато небольшим, с куриное всего лишь яйцо, однако неизвестно зачем пятигранное. Как сказал зачем-то Мэрчент, только благодаря верному другу США, свободно и всенародно избранному президенту очень длинной страны Хулио Спирохету, удалось вывезти таковое яйцо из-под носа хунты Романьоса. Впрочем, угловатый предмет жрать не президенту, а ему, Рампалю. Оборотень обрел зрение и с трудом сжевал одну из последних обложек журнала “Огонек”, что привело его к возвращению в обритый облик Рузвельта; он лишь на несколько секунд опередил появление горничной с ведром, которая рванулась к пустой бутылке, но Рампаль ее опередил. Провожаемый злобным “тоже прохвессор, бутылку сам сдавать пошел”, удалился Рампаль из гостиницы навсегда, плюнув на остатки почти истраченного снаряжения, – так, несколько лапок кистеперой рыбы латимерии, корень пиона уклоняющегося, золототысячник, особенно железняк, насчет которого так и не собрался вычислить Рампаль – зачем тот нужен; ну, да кто и что во всем в этом поймет? Ну, еще динамита капельку осталось, так он под пасту для бритвы оформлен, впрочем, если кто решит с его помощью побриться... ну, так тому и надо.

Визит к американскому посольству прошел удачно. Рампаль вылез из троллейбуса на остановке “Магазин “Ткани” и собрался уже боком-боком попробовать нырнуть в ворота посольства, но, похоже, номер и так и так не

прошел бы, милиционер, конечно, знал, что стережет он тут не только американцев, но и прорвавшихся в посольство в середине шестидесятых годов кзыл-ординских скопцов-субботников, человек пятьдесят, эти вселились в посольство в знак протеста против насильственного труда по субботам два раза в год. Им давно уже предлагали визы в Израиль, но они соглашались выйти из посольства только напрямик в небесный Иерусалим; едва Рампаль собрался рвануть, а милиционер – пресечь, как у посольства затормозила машина военного атташе, то бишь коллеги Сазерленда. “О, какая удача!” – заорал атташе-оборотень по-английски и дверцей отрезал Рампаля от намеревающегося милиционера, уже спешившего установить, что за такой бритый-лысый, уж не скопец ли политический?.. Атташе немедленно рванул с места.

Рампаль сидел рядом, скосив глаза на брючину атташе, читал пробегающие по ней буквы, – ясное дело, в машине было советское прослушивание.

“...в метро сразу оторвитесь от меня, в самом крайнем случае доедете до станции “Площадь революции” и займете там место статуи “Пограничник с овчаркой”, там овчарка отломилась, ее ремонтируют. Но до ночи сядете на Савеловском вокзале в электричку, доедете до платформы Шереметьевская, пойдете по ходу поезда и налево, в сторону аэродрома, до него там еще очень далеко, но вы пройдете лес, примете трансформу и возьмете пассажира. Да, пассажира, он будет ждать. Возьмете разгон и полетите на Алтай...”

Атташе резко свернул, и глазам Рампаля предстала станция метро “Краснопресненская”, со стороны, противоположной той, у которой и сейчас торговала историческая, месяцев семь или восемь назад толкнутая Джеймсом Найплом мороженщица. Невдалеке от трамвайной остановки увидел Рампаль более чем странную группу, составленную из каких-то необычных людей: в этой небольшой группе все, кажется, стояли, прислонившись ко всем. Пирамида была составлена из молодых людей обоего пола, отлично одетых, а в центре ее стоял немолодой, но одетый, напротив, чрезвычайно неопрятно, и при этом что-то орал. Однако Рампаль заметил: на группу никто не обращал внимания. Чутким обонянием он ощутил не только дурной запах, – вся она, видимо, не мылась с доисторических времен, – Рампаль заметил, что одутловатый крикун ему хорошо известен. Эберхард Гаузер со своей командой недавно посетил магазин “Березка”, где всех этих свиней передел в новое и чистое, больно уж раздражали его все эти грязные самцы и самки в грязном. Сам переодеться не стал, ибо себя не раздражал. Последнее время платить он в Москве перестал принципиально за что бы то ни было, его гипнотическая способность усилилась от месяцев непрерывной пьянки, так зачем еще деньги? Сейчас Гаузер находился в состоянии легкого забытия русского языка, но с устатку не спешил вернуть себе знание оного. Сегодня ему для разнообразия хотелось ночевать в зоопарке, у львов. Заросший щетиной Герберт безнадежным голосом убеждал его, что хватит рисковать, что накануне и так дико рисковали, ночуя в кабинете у шефа КГБ, что нельзя до бесконечности искушать судьбу, что ночевка в мавзолее была чистым безумием, но там хотя бы хищников не было, а намерение провести ночь в клетке у львов – глубокая со стороны майора Гаузера ошибка, напряжение глазоотводящего поля может упасть, а при

сложном метаболизме хищников семейства кошачьих и вообще неизвестно, действует ли на него поле, что в крайнем случае нужно избрать для ночевки кабинет директора зоопарка товарища Колесницына, – Гаузер, угрюмо ругаясь, отвечал, что именно потому и идет в клетку льва, что знает точно: там поле будет действовать охранительно только в отношении самого Гаузера, он как раз собирается и Герберта и всех прочих подонков скормить льву, ибо все вы тут одни кобели и педерасты, суки и лесбиянки, – и Герберт обреченно умолкал.

Неизвестно, как на льва, а на оборотней поле Гаузера и вправду не производило впечатления, оба отлично видели группу семерых пьяных, слышали ее и обоняли. Атташе рванулся с места, а Гаузер на нем остался и поспешил к ругающемуся телепат-майору. Хотя тот был старше по званию, но знал, конечно, что у Рампалья чрезвычайные полномочия. По инерции и с непрошедшего хмеля Рампаль, лицо коего было сильно перекошено взаимодействием водки и “Огонька”, заговорил с Гаузером по-русски.

– Майор Гаузер, примите меня под контроль вашего поля и проводите до станции метро “Новослободская”!

Гаузер замолчал и уставился куда-то в живот Рампалья, отчего живот сильно зазудел. Потом в грубейшей форме по-английски предложил Рампалью совершить над собой нечто такое, что, конечно, было по плечу разве только оборотню высшего класса, да только зачем бы? Поскольку это не могло быть приказанием, это было оскорблением. Рампаль вспомнил, что Гаузер понимает по-русски не всегда, и перешел на английский.

– Майор Гаузер, прошу не рассуждать!

Гаузер покрутил глазками и перестал рассуждать как раз вовремя, ибо трое каких-то жилистых субъектов отделились от черной “волги” метрах в двадцати и рванули к засеченному ими Рампалью. Добежать им ни до кого не удалось, доложить начальству пришлось о том, что неизвестный с бритой головой, который объявился в столь ответственный, опасный и скорбный для каждого истинно советского человека день в машине уже подлежащего высылке атташе, просто ускользнул в неизвестном направлении, – а совсем не о том, что увидели они на самом деле, не о том, что розовый слон, – чье появление, видимо, как-то связано с близлежащим зоопарком, но не цвет же! – попытался хоботом сгрести их в одну кучу и очень грубо при этом разговаривал по-английски.

Поздно вечером того же дня из вагона электрички, следующей по маршруту Москва – Икша, дружески попрощавшись с немаскирующейся пьяной компанией, одни мы что ли в поезде, а за упокой вождя можно ли не выпить, мы и дальше в этом поезде пить будем, пока не приедем, а как приедем, обратно поедем и дальше пить будем, вон у подонка полная сумка зря что ли, нам чего пить до утра хватит, – вышел в своей истинной плоти Жан-Морис Рампаль на влажный весенний перрон маленькой платформы Шереметьевская. Подождал, пока немногие пассажиры исчезли с платформы, и побрел по ней вперед. Потом сошел вниз, свернул налево и углубился по почти неосвещенной и слишком давно асфальтированной дороге в глубь дачной деревни. Рампалья качало; гипнотическое поле Гаузера прикрывало его столь надежно, что он дал себе волю и расслабился в условиях совсем уже позабытой безопасности, выпил

много культурных напитков типа джин-тоник, – из грязной пивной кружки, которую где-то утащил и теперь возил с собой ставший как бы завхозом Герберт, – Рампаль знал, что сейчас не только может, но даже должен немного расслабиться, ибо в том новом образе, который надлежало принять, как он понимал, отдыха не предвиделось очень долго. “Как-то там мои детки”, – неожиданно вспомнил Рампаль свои волынские похождения, вздохнул и свернул направо. Потом вскорости свернул и налево, в переулочек, прямо уходивший в мокрый молодой густой еловый лес.

Тропинка была очень хлипкой – по весеннему сырому времени. Рампаль дважды падал с нее и больно ушибался о стволы елочек. К счастью, лесок скоро кончился, тропка пошла вдоль длинного серого забора с колючей проволокой, а потом и вовсе углубилась в редкий и совсем голый лес, старый, насквозь пропитанный влагой. Здесь ноги начали увязать по щиколотку, тропка постепенно затерялась, последние огоньки деревни исчезли за подлеском, и оборотень остался в полной темноте. Вдали глухо взревел двигатель самолета устаревшей турбореактивной конструкции, до аэропорта Шереметьево здесь не было и девяти километров. Вскоре и этот лес стал кончаться, пошли прогалы, и вот уже открылось впереди пустое пространство, озаренное недалёкими лучами посадочных огней. Впрочем, лес еще продолжался по левую руку, выдаваясь мыском и отгораживая оборотня от аэродрома, все еще неблизкого. “Как-то там мои детки”, – снова подумалось так отчего-то, снова вздохнулось. Рампаль опять упал. Ничего, скоро все эти синяки пройдут. “Скоро мне станет очень трудно получить синяк даже по приказу начальства”, – произнес Рампаль вслух и по-русски, вставая. Невдалеке деликатно вспыхнул огонек сигареты: пассажир ждал на месте, как полагалось.

– Привет, старина, – прозвучал знакомый голос. Голос при этом был немного простужен. “Ничего, согрею”, – подумал Рампаль и приветственно ухнул филином, как было условлено.

Найпл стоял у набухшей почками березы и курил. Ночным зрением он видел валкое появление Рампаля и слышал его бормотание. Никакой обещанной сумки при оборотне не было. К тому же это был все-таки только оборотень, а не маг, и он не мог поэтому, конечно же, сотворить сумку из ничего. А ведь полученные утром инструкции ясно говорили, что он, Джеймс, должен добраться до этой лесной прогалины и сесть в сумку к капитану Рампалю, ибо предстоит операция по вызволению Екатерины Романовой, угодившей на Алтае в рабство к каким-то аборигенам грубо анимистических верований. При упоминании о Кате сердце Джеймса дрогнуло, он даже и не стал размышлять про сумку. А вот теперь, получалось, нет возможности выполнить инструкцию, нет у Рампаля никакой сумки.

– Мне приказано сесть к вам в сумку, – сказал он. Рампаль исподлобья посмотрел на него и ничего не ответил. Он топтался на месте, словно разминаясь, при нем не было вещей, вытянутые руки он держал в карманах ветхого демисезонного пальто, опираясь на них так, что подкладка трещала. Рампаль несомненно к чему-то готовился. Вдруг он замер и обратился к Джеймсу:

– Очень прошу вас, дойдите до того края леса и сообщите, каково расстояние. У меня, знаете ли, глазомер расстроился, а мне нужно, чтобы не меньше ста пятидесяти метров было, лучше двести...

Джеймс мысленно перевел метры в футы и пошел по прямой. Возвратившись с сообщением, что тут полных три тысячи, то есть тысяча, он обнаружил оборотня совсем уже танцующим чечетку, растоптухи по-русски, на раскисшей лесной земле. Внезапно Джеймс понял, что именно еще может называться сумкой, поглядел на сильно сползшие брюки оборотня, на небольшое его брюшко, и мысленно похолодел.

– Не смотрите мне в живот, от этого свербит и мешает, – на необъяснимом русском языке произнес Рампаль. Он за месяцы прямого общения с народом выучил язык лучше Джеймса, – тот контактировал в основном с женской половиной, много ли у нее выучишь. – И отойдите, я могу ушибить. В сумку сядете, когда открою. И прыгайте сразу, я вертикального взлета!.. Не смотрите на меня так, пусть будет вам известно, что все дириозавры – существа только вертикального взлета!

Джеймс послушно отошел за деревья. Как он мог забыть, что все дириозавры в самом деле существа вертикального взлета. Непростительная забывчивость какая по пьяному делу!.. В самом деле – дириозавры-то...

Рампаль тем временем начал подпрыгивать и выкидывать цирковые антраша. Глаза его засветились в темноте, и, не зная Джеймс, как выглядят самые обыкновенные радения в секте трясунов, он, пожалуй, побоялся бы за здоровье оборотня. Внезапно Рампаль встал на четвереньки и мелко-мелко застучал о землю локтями и коленями. Потом замер, выхватил из кармана что-то небольшое и проглотил. Раздался хлопок – и сильная воздушная волна повалила Джеймса с ног. Что-то огромное выросло на опушке, затмевая собою полнеба вместе с аэродромными отсветами, затрещали ветви и, кажется, стволы. Исполинский четырехсотметровый дириозавр, сумчатое, гибридное дитя любви дирижабля и динозавра, возникнув из маленького тела франко-американского оборотня, сверкая во мраке тусклыми плитами стальной чешуи, готовился сейчас к взлету и пританцовывал на всех шести лапах. Огромное его тело заканчивалось тупым рылом с телескопическими глазами и жуткой пастью.

“Садитесь, Найпл”, – прозвучало в мозгу разведчика: дириозавр, в отличие от Рампаля, был существом универсальным, и, следовательно, телепатом – кроме прочих достоинств. Передние лапы высоко подняли морду сигарообразного чудовища над лесом, в нижнем же конце, под прижатым к земле тупым хвостом, увидел Джеймс запахнувшуюся пазуху сумки. “Была не была”, – подумал он, и по обожженной выделившимся при оборачивании теплом глинистой земле пошел к сумке. Залезши в это, против ожидания, совершенно сухое место, Джеймс не устоял на ногах и рухнул на что-то мягкое; дириозавр захлопнул сумку и, все так же пританцовывая, стал принимать вертикальную позу. Сейчас, кажется, все это кошмарное тело нацелилось прямо в небо. Через считанные секунды его засекут радары аэродрома. Потом... Лучше не думать про потом, вот за что бы ухватиться, ведь болтанка будет. Впрочем, дириозавр, несомненно, помнил о пассажире. В темноте вспыхнула табличка:

“ВНИМАНИЕ! ВЗЛЕТ! ПРИЖАТЬСЯ ПОД ЯЙЦЕКЛАД!” Джеймс покорился и прижался.

Дириозавр тем временем почти перестал пританцовывать, он сидел на задней паре лап, только нервная дрожь сотрясала весь его корпус. Непостижимо зорким зрением видел сейчас стальной ящер и суету на соседнем аэродроме, и свет далеких звезд, чудесных ориентиров аэронавигации, вокруг которых – это он тоже ясно видел – вращаются многие планеты, отчасти населенные разумными существами, потребляющими алкоголь и даже способными к переоборачиванию; видел пробуждение почек и личинок в мокром травообразном лесу у себя под лапами, все это и многое другое было ему сейчас открыто. К сожалению, было ему открыто и то, что нигде во всей обозримой Вселенной нет больше ни одной особи одного с ним биологического вида. А ведь он, согласуясь с приказом и для удобства пассажирских перевозок, стал именно самкой. Хорошо ли одинокой женщине?.. “Как-то там мои детки...” – с грустью подумал дириозавр, завибрировал сильнее, подпрыгнул, повисел в воздухе – и рванулся в стратосферу.

Где-то на высоте двадцати километров Рампаль стал гасить скорость. Здесь уже не было ни восходящих, ни нисходящих потоков, которые так изматывали его в образах птиц, даже в виде могучей полярной совы. Пахота – восходящий, вода – нисходящий, зелень – восходящий, иди все помни, а забудешь – шею поломаешь. То ли дело дириозавру в стратосфере. Он лег на брюхо и поймал сильный, постоянный поток, лег курсом на юго-восток, прямо на Алтай. Скорость сейчас у него была пустяковая, меньше, чем у пассажирского лайнера, но Рампаль не торопился, осваиваясь с удобным телом. Через немногие минуты, пролетая над какой-то военной базой, он ощутил стук в живот – это его обстреливали зенитные ракеты класса “земля – воздух”. Дириозавр плотоядно усмехнулся, ибо серебряных ракет здесь еще не разработали. Впрочем, это какая-то случайность, министр обороны должен был отдать приказ испытаниям секретного дириозавра не препятствовать. Упились на базе по случаю кончины прежнего вождя, или нового обмывают, вот и лупят с пьяных глаз по движущейся цели. Дириозавр похрустел скрытыми в суставах ракетными установками. Можно бы из всех шести ответить, да силы тратить жалко. Подумаешь, мелочь всякая.

Тем временем Джеймс в сумке очнулся. Он лежал на полу комфортабельной двухместной каюты, обставленной недорогой и легкой мебелью. Под потолком светился китайский фонарь, довольно безвкусный и не совпадающий с общим стилем комнаты; вдоль торцевой стены шел стеллаж с книгами, – как позже выяснилось, совершенно непригодными к чтению, все они были посвящены морфологии яйцекладущих млекопитающих и пресмыкающихся, – рядом располагалась аудиосистема с множеством колонок, стойка с компакт-дисками. Джеймс заметил, что вся мебель растет прямо из пола, только это и еще сложенный у второй торцевой стены мощный яйцеклад все-таки напоминало Джеймсу, что он не на борту океанского лайнера, а в брюхе у живого существа. Несколько часов полета можно было поспать или послушать радио. “Не стесняйтесь” – ясно прозвучало у него в голове, и засветилась панель



радиоприемника: идеальный сервис дириозавра обеспечивал выполнение невысказанных желаний. Дужка самонастройки поползла по панели.

“Слава Иисусу Христу!” – взревел динамик. Здесь, в брюхе дириозавра, конечно, начинался западный мир, глушилки не действовали. Дряхлый голос монаха с ватиканской радиостанции, похоже, закончившего “русскую коллегия” еще при прежних незаконных Романовых, проскрипел молитву и начал последние известия. Папа Римский послал телеграмму соболезнования. Однако газета “Оссерваторе романо” сообщила о скоропостижной болезни нового, временно назначенного премьера, а другая газета сообщала, что слухам этим не следует доверять, ибо этот Заобский не зря столько лет был главой самого коварного советского ведомства, а то что по возрасту он даже старше покойного вождя, так это наверняка означает всего лишь очередной коварный план Советов, новый заговор против демократии, и болезнь нового премьера – первый шаг в осуществлении этого заговора. Сегодня началась забастовка ватиканских монахов, в связи с чем радиопередача может быть прервана в любое... – и была прервана. Настройка поползла дальше. Советские радиостанции все как одна передавали Шопена, которого граждане СССР и без того уже наслушались, и, ежели они своих вождей и дальше будут назначать по принципу “чем старше, тем надежней”, то, похоже, еще наслушаются. Израиль флегматично сообщал о погоде в Самарии и о запросе, который сделал в кнессете депутат Кармон в связи с распространяемым средствами массовой информации мнением, что членам небезызвестной Лиги защиты Дома Романовых следует воспретить въезд в Израиль ввиду того, что именно Дом Романовых повинен в так явлении, как погромы. По шведскому радио знаменитый ансамбль “Аффа” пел что-то сатанинское о депонированных векселях. “Голос Америки” в очередном “Меланже за декаду” повторял недавнюю передачу о любимых блюдах покойного вождя в те времена, когда тот еще питался человеческой пищей; выяснилось, что больше всего на свете вождь любил яичницу, сырые яйца и гоголь-моголь, так что аппетит у Джеймса не разгорелся, а разгорелись подозрения, и он стал высчитывать, на сколько сношарь старше премьера-вождя, получалось, что только на три года, и в отцы ему годился лишь с очень большой натяжкой, – хотя черт его знает, – так что нехорошие подозрения можно было притушить. Свет в сумке померк: дириозавр тактично предлагал Найплу поспать до посадки. Температура воздуха стала повышаться, зашуршала влажная вентиляция, – видимо, дириозавр мог предложить и ванну, и сауну, но разведчик принял первое предложение и решил вздремнуть. Согласно данной дириозавру инструкции, Найпл должен был хорошо проспать и быть завтра в полной форме. Выпускать его из сумки было можно, но только на коротком поводке.

Светало медленней, чем хотелось бы. Дириозавр летел на восток, где, если двигаться туда далеко и очень быстро, было уже утро. Но лететь днем было как-то несолидно. Еще дважды лупили по нему из зениток, но очень вяло, и вообще, как указывалось, ракеты были тут не серебряные. Рампаль расслышал вместе с Найплом у себя в брюхе переданное “Немецкой волной” сообщение, что Советы приступили сегодня к испытанию своего нового секретного дириозавра – и

обиделся. Смысла в таком сообщении было не больше, чем в сообщении, скажем, об испытании нового антисоветского верблюда. Он, дириозавр, во-первых, живой, во-вторых, не советский! Мелкие людишки. И все так же неслужебно всплывала отчего-то мысль: “Где мои дети?” Рампаль гнал ее из головы, но так как был он сейчас ящером, то мысль эта уходила в задний, крестцовый мозг и оттуда уже ничем не вышибалась. Тем временем острое аэронавигационное чутье дириозавра уже уловило пеленг сброшенного несколько часов назад со спутника в Телецкое озеро буйка, – сбросить его было довольно трудно, до такой степени был нафарширован околоземной космос советскими космонавтами, отбывающими срока на орбитах; буюк могли буквально выхватить из рук. Но получилось, к счастью, удачно, только рыбы много в Телецком озере поглушилось, а уж этого хозяйственный император в будущем никак не одобрит. Вообще, отношение его к Америке чем дальше, тем непонятнее. То ли хочет он видеть свою жену, то ли нет? Ван Леннеп предсказывал, что Катя будет доставлена в Москву, что в скором времени она встретится с Павлом, – ну, так смеем ли мы, будь мы даже могущественнейшие из людей и даже дириозавры, противиться точно известному будущему? Дириозавр поймал левой средней лапой зазевавшуюся ракету, пущенную откуда-то из южных Мугоджар, и почесал ею в свербящем крестце.

Над Алтаем лежало плотное облачное одеяло, и была глухая ночь. Рампаль рассмотрел внизу ленточку описанной Катей горной дороги и, гася скорость, заложил вираж. Рампаль был рад, что в облака нырять не нужно: аймак, в котором томилась проданная в рабство императрица, лежал выше них. От изменения режима полета в сумке проснулся Джеймс, и, чтоб не трепыхался, пришлось осторожно прижать его яйцекладом. Кругами шел дириозавр на сближение с горой, нависшей над котловиной с поселением в центре; здесь дириозавр намеревался прочно заякориться. Хрустя суставами, ящер несколько раз протягивал длинные лапы к горе – и промахивался, да к тому же, несмотря на утро, в ущельях было почти темно. Наконец, чуть ли не с пятого захода, его передняя пара лап обхватила гору футов на триста ниже вершины, его потрянуло – и тут же он включил брюшные прожекторы. Котловина немедленно залилась дневным светом. Было видно, как внизу мечутся овцы, собаки, немногочисленные лошади, ничего, конечно, не понимающие – откуда взялся свет, заслонивший звезды и вершины скал. В разреженном воздухе на ту высоту, где завис дириозавр, не долетало ни звука, но в начавшемся переполохе ясно прослеживалась система, – жалкие людишки внизу оборачивались лицом к главной горе и простирались ниц. Какой-то тип, видимо, старейшина селения или даже шаман сельсовета, стоял впереди других и повторял руками одно и то же резкое движение, будто кого-то призывая. Дириозавр нежно обнял гору и стал немного ее раскачивать, не стараясь, впрочем, переломить.

– У-у-у! – заорал он через динамики на весь Алтай. Люди внизу явно услышали его вой и стали ползти к горе. – У-у-у! – Гора затрещала, ящер средними лапами отгребал крупные осколки, чтобы ненароком не засыпать котловину. Хрясть! – Гора подалась, еще одно усилие, и дириозавр понял, что против собственной воли верхние метров сто все-таки обломил. “Не тащить же это с собой в

Москву”, – подумал он и попробовал прилепить гору назад, но отчего-то это стало невозможно, началось какое-то сопротивление, трещина расширилась, повалил дым с пылью, и дириозавра сильно качнуло в воздухе. Тогда он, не выпуская горы из рук, всплыл повыше и заглянул в разлом. Дым повалил как из вулкана, – только этого не хватало, – дириозавр направил в разлом прожекторы, и тут ему что-то в этом дыму померещилось. Дириозавр на всякий случай завопил не своим голосом:

– Отдайте Катю-у-у! Не то разворочу-у-у!

И вот из разлома кто-то выглянул. Рампаль оказался лицом к лицу с волосатым, исполинским, очень восточным на вид стариком, медленно поднимающимся из дыма. Росту дед был в полдириозавра, невозможные висячие черные усы были заложены за оттопыренные уши. сидел старик на каком-то черном чудовище вроде минотавра. В руках держал дед старинный арбалет, словно сработанный по эскизу Леонардо да Винчи, заряженный стометровой стрелой из серебра, и принести такое оружие вреда оборотню могло больше, чем все советские несеребряные ракеты. Несомненно, старик разбирался, когда и чем заряжать арбалет, дириозавр осторожно попятился и в душе немедленно согласился на переговоры. Перед ним был удельный владыка, хорошо известный западной науке Эрлик-хан. Вот что означали слова императрицы “у черта на рогах”!

– Кончай орать, – глухо произнес старик на архаичном английском языке, – не то получишь. Они же ни слова по-русски не понимают, дубовая голова, ойротского не выучил, а туда же, Алтай крошить... Не вздумай крышу мою вниз бросить, по кусочкам собирать будешь!

Дириозавр попятился и повис на всякий случай прямо над котловиной, чтобы отбить у Эрлик-хана охоту стрелять прежде времени.

– Катю! Катю! Катю! – выдохнул дириозавр три языка пламени, от чего у монгольского тролля побежала рыжая соль по усам. Старик не обратил на это внимания, оперся на край щели и перегнулся вниз, потом забормотал что-то очень тихо, явно на тюркском языке. Видимо, слух его был острее, чем у Рампаля, никакого ответа оборотень не расслышал, а Эрлик-хан уже переводил:

– Не верят они, что ты ее не съешь, а сама не пойдет. Поглядел бы на себя, рожа поганая, сам бы испугался. За твою Катю деньги плачены, но сама-то она здесь уже задаром не нужна, негожая она, неработающая. Сам ее к себе выманивай!

Ну, чем выманивать – позаботился ван Леннеп. Дириозавр опустился до предела допустимого и выпустил из живота длинный, гибкий, непристойно розовый яйцеклад, на лодочке которого в полном обалдении ловил воздух руками Джеймс.

– Рома! – услышал он отчаянный женский вопль. От смрадной толпы отделилось что-то очень грязное и бросилось к яйцекладу. Миг – и это что-то было вместе с воздушным потоком всосано в ту же лодочку, а еще через миг дириозавр спрятал яйцеклад в брюхо.

– Все? – спросил волосатый владыка, беря прицел в брюхо ящери. Тот вместо ответа вознес над головой старика отломленную часть горы. Старик бросил арбалет и ловко подхватил гору снизу. – Вот так-то лучше, обожди, кронштейны прилажу... Вот так. – И гора встала на место. Эрлик-хан исчез в недрах, даже

поблагодарить его Рампаль не мог. В качестве благодарности он похрустел ракетными установками в суставах, больше ничего не смог придумать. Только и доклубилось из недр до его чуткого телепатического слуха: “Воздух чище будет...” Рампаль погасил брюшные прожекторы и медленно поплыл на северо-запад. Он имел инструкции ни в коем случае не торопиться.

Джеймс тем временем очнулся в неожиданно темной сумке, попробовал встать на ноги и понял, что сейчас помещение быстро переоборудовалось в баню. “Будьте добры, помогите императрице привести себя в порядок, – услышал Джеймс у себя в голове, – сами понимаете, антисанитария”. Он нащупал возле себя ушат, мочалку, здоровенный кусок душистого мыла. “Интересно, какой он это все железой выделяет?” – отрешенно подумал Джеймс. Откуда-то хлынула вода. На ходу раздеваясь, разведчик пошел искать Катю. Все-то он предусмотрел, голландец чертов. Хоть бы свет не зажегся, куда императрица не отмоется от первой грязи. “Не зажжется”, – прозвучало у него в голове, и сразу последовал ответ на даже мысленно не произнесенную еще фразу: “Я не подглядываю, я, к вашему сведению, самка”.

Дириозавр медленно плыл на запад, догоняя уходящую ночь. Ничуть не интересуясь своими пассажирами, которые, как он знал из предсказаний, должны быть только вовремя накормлены, не более, а в остальном им хватит друг друга и музыкального сопровождения, ящер поймал нужный стратосферный поток на сравнительной небольшой, в десять километров, высоте и залег в дрейф. Не нуждаясь в сне, Рампаль почему-то чувствовал, что самое время поспать. Это оказалось физически невозможно, весь деятельный организм дириозавра противостоял слабому человеческому желанию. Тогда со скуки Рампаль покинул стратосферу и опустился до смешной высоты не более трех километров и стал разглядывать проплывающую под брюхом черную землю Казахстана, изрезанную длинными лучами с военных баз. К городам приближаться не хотелось. Рампаль попробовал глянуть в небо, но там звезд почти не было, одни искусственные спутники мотались в прорехах облаков. Со скуки он посмотрел назад – и немало удивился. Как букашка, семенил за Рампалем в воздушном океане еще кто-то очень маленький, словно каноэ за лайнером. Букашка гребла вовсю, выбиваясь из сил, очень ей, видимо, хотелось быть поближе к дириозавру, и лучилась она любовью и восхищением.

Дириозавр пригляделся и ухмыльнулся. Там, сзади, плыл с изрядной скоростью натуральный гибрид велосипеда с автоматической пилой. При всей нелепости конструкция букашки поражала своим совершенством, наметанный глаз сразу дал ящеру знать, что из двух еле приметных людей один правит букашкой, а другой лежит мешком – пассажир, значит. “И у меня пассажиры...” – подумал дириозавр и поддал на поллок пивного пару.

Исполин представил себя акулой воздушных просторов, точней, даже китом, возле которого плывет рыба-лоцман. Сзади она плывет у акулы, спереди?.. Дириозавр этого не помнил, но решил: если кто обидит эту милую козявку – оборону, пусть летит со мной. Впрочем, она и сама не из робких, раз за мной увязалась. Задумавшись, дириозавр почесал в крестце очередной тупой ракетой, со вздохом подумал о неведомо где обретающихся детках – и полетел дальше на

четвертой крейсерской скорости, чтобы козявка не отстала.  
Она не отставала.

## Павел II День пирایی Часть 9

*Евгений Витковский*

IX

Приезжие удивленно смотрели на этот воздухоплавательный аппарат.  
Фазиль Искандер. Стоянка человека

У него был даже паспорт, и звали его Сокольник Ильич.

В деревне его звали просто Соколей, и, кроме нескольких долгожителей, никто без него деревню не помнил. Он появился здесь в конце войны, когда советские войска, освободив Германию от немцев, переживали глубокое разочарование по поводу того, что им не дали, как обычно, вступить в Париж. Мальчика приютила тетка Хивря, до войны еще понявшая, что мужиков беречь надо, а в войну окончательно признавшая, насколько это существа хрупкие и ценные. Несмотря на всю заботу, мальчик не научился даже читать; судя по всему, его взрывом контузило в начале войны, когда он еще и в школу не пошел. С легкой руки Хиври считалось, что он цыган, фамилию ему дали на всякий случай Хиврин, а отчество по вождю, так надежней. Да и глаза у парня были цыганские, черные и пушистые. Вряд ли, впрочем, был он настоящим цыганом, вряд ли выжил бы цыганенок под оккупацией, евреи вот еще иной раз выживали, а цыгане редко. Он жадно грыз травяные сухари тетки Хиври, сопел горбатым переломанным носом, упрямо утверждал, что его зовут Сокольник и ничего больше не мог рассказать. Только по мокрой одежде догадалась тетка, что пришел он, видимо, с запада, переплыл реку Смородину. Смородина в этот год встала поздно, остался мальчик в деревне грызть свои первые в жизни не краденные, но доброхотно поданные сухари.

Шли годы над селом, шли над всей западной Брянщиной, но читать Соколя не научился все равно. Живи он в другой деревне, бабы, может быть, и приспособили его под племенное воспроизводство, как случилось это с тысячами других мальчиков в обезмужившей стране, – но не здесь. Пантелеич, тогда совсем еще в сладком соку, вынут был Хиврей из засмоленного дубового дупла и водворен в сторожку у околицы, в остаток каких-то графских служб, – так что разворотом нижегородские бабы не занимались, а ходили к сношарю в сторожку, постепенно привыкая к цивилизованной яичной форме человеческих взаимоотношений. Когда закончили бабы ладить Пантелеичу новую избу, то, при обширном стечении глазеющего женского царства, перешел сношарь из сторожки в новое жилище и у самой калитки увидел черноглазого мальчугана со сломанным носом. Прикинул: мой? не мой? По всему ясно было, что не его, другой кто-то старался, южных, может, кровей, может, и с талантом старался, а вышел-то все-таки чужак. Взор сношаря стал неодобрительным, таким взором он запросто мог

хоть кого сглазить. И тут же понял великий князь, что никого он тут не сглазит, такая чистая черноглазая душа была перед ним. Сношарь отвел взор и пошел дальше, вслед за ним в калитку повалили бабы, а мальчик остался один стоять за забором: входить добрая Хивря ему строго-настрога запретила.

Скоро стали нарождаться в деревне новые мальчики, да и военные карапузы вымахали в один рост с Соколей, а потом обогнали его. Он оказался той самой маленькой собачкой, которая до старости щенок. В школу пойти не смог, а в сорок девятом году пришлый, очень тихий милиционер на глазок записал его в свои бумажки совершеннолетним, к военной службе совершенно не годным Сокольников Ильичом Хивриным, и юноша прочно вписался в ландшафт деревни вместе с птицефермой, водокачкой Пресвятой Параскевы-Пятницы, Верблюд-горой и тремя тропинками к дому сношаря. Почему вот имя у него было только странное такое?

Из положения добровольно взятого нахлебника Соколя начал переходить на положение дурачка Христа ради. Лет шесть ночевал он по разным дворам, не соглашаясь оставаться в доме приемной матери, Хиври: у той подрастали дочери, а женского пола мальчик боялся. Наконец, прибился Соколя к двору молодого кузнеца Василь Филиппыча, которого сельчане любили не шибко, хотя был он местным, но ходил на войну, потом долго сидел, без этого нельзя, и вернулся только в пятьдесят пятом. Что был кузнец из своих, ясно доказывала его прежде времени облысевшая личность, но уважения это ему не прибавляло, сделан он был еще до коллективизации, в двадцатые, когда и Луку-то Пантелеича по-настоящему ценить не умели. Принес Филиппыч с войны, точней, оттуда, где потом был, странное прозвище “Бомбарда”, с ударением на последнем слоге; впрочем, прозвище с него с годами, как шкура змеиная, сползло, а на бабу евонную, опять же, как гадюка, напоззло, и в просторечии звали ее только Бомбардычихой. Лишний рот при своих пяти мал мала меньше был кузнецу не в тягость, нашел он Соколе применение и числил при себе молотобойцем: поест, болезный, хлебушка с утра, а к вечеру, глядишь, уже и плуг наладил, что с вечера Васька Мохначев приволок на починку, сам-то кузнец, по непостижимости им механики и других гитик, ни в жисть бы не починил. Так что вечером уж не дать ему хлебушка – Бог накажет. И давали. Жил Соколя как мог, спал весь год в холодной риге, никуда не отлучался и даже в выборах участвовал. К концу шестидесятых вдруг обнаружили сельчане, что дурачок Соколя стал совсем седым. Сколько ему было лет? Под сорок? За пятьдесят? О том помнила, может быть, одна Хивря, но она про мужиков умела помалкивать, одинаково про каких, поэтому выяснять это было негде. Посыпало Соколю снегом – ну, стало быть, послал Господь снегу.

Как-то брякнул кузнец жене в подпитии, что головы-то у Соколи нет, да руки зато золотые, молот вон как прихватисто держит. Было это вранье. Во-первых, молота Соколя никогда и поднять бы не сумел, да и горн у кузнеца не топился месяцами, Соколя все умудрялся делать вхолостую, – во-вторых, голова у Соколи все-таки была. Думать ею он, конечно, не умел, но имелось в ней некое врожденное чувство гармонии. Проснулось это чувство в нем тогда, когда проявилось нынешнее самосознание; произошло это с ним в сорок первом, в

смердной яме над берегом илистой реки, где очнулся он посреди трупов незнакомых людей в грязных цветастых тряпках. Тогда Соколя выполз из ямы, поглядел на дымящуюся вокруг землю и пошел куда мог, прочь от реки. К ночи нашел труп с ложкой и манеркой в руках, не донес солдат ложку до рта, не пообедал. Мальчик съел кашу за солдата и вспомнил, что зовут его Сокольник. Потом, как белка, влез на искореженный взрывом бук и бросился вниз, отчетливо сознавая, что это – прямая дорога к тем, с кем он сейчас оказался так негармонично разлучен. Но до земли мальчик не долетел, его падение стало горизонтальным полетом. Утратив память и почти весь рассудок, мальчик зачем-то обрел умение летать. Но куда деть это умение, зачем оно ему, мальчик не знал. Он ушел в заросшие лесом горы, пользуясь новым умением только для добычи пропитания, живность над полонинами размножалась от безлюдия, от полного отсутствия партизан, которые через тридцать с лишним лет будут обнаружены краеведами в каждом здешнем дупле; прожить летающему мальчику было нетрудно, в его дупле партизаны не водились, только улитки. Что ни день, правда, его тянуло уйти, или улететь, в ту сторону, с которой всходило солнце, но он побаивался открытого пространства. Видимо, были с востока те люди, среди которых он очнулся в яме над речным берегом, видимо, шли они на восток – но в живых остался он один. В нем росло и совершенствовалось чувство гармонии, неожиданно для себя находил он ее признаки и в полете белки-летяги, и в устройстве брошенного танка, даже если его разворотило прямым попаданием два года назад. Именно поэтому Соколя не любил свое умение летать: в его способности гармония отсутствовала, это был чуждый природе сдвиг. Соколя прекрасно понимал, что летать не предназначен, и мечтал построить что-нибудь гармонично-летающее, вроде самолета, раз или два пролетевшего над лесом. Бескрылатому, каким был от рождения Соколя, гармоничным казался только умный полет птицы, мухи, самолета, ибо все гармоничное – объяснимо и завершено в самом себе.

Война, добравшись в обратную сторону до Буковины, сшибла его с насиженных гор и погнала на восток, куда все еще глядели его цыганские глаза. Он заставил себя идти пешком, хоронясь от людей, но по ночам подкрадываясь к ним и ловя звуки человеческой речи, в которой также слышалась ему гармония, особенно если кто-нибудь ругался красиво. Поздней осенью, умирая от голода и усталости, пришел он на берег неведомой реки и в изнеможении опустил на желтую, подернутую инеем траву. Рука его нашарила в траве старый, осклизлый гриб и жадно схватила его. “Подберезовикэ” – вспомнилось ему слово на родном языке. Но есть гриб было нельзя, он горчил и расползлся в руках. В отчаянности от такой безобразной негармоничности мира Соколя переплыл реку, целясь попасть к чуть видимым огням какой-то деревни, а наутро был подобран под Верблюд-горой добрыми нижнебагодатскими бабами. Умение летать он с радостью похоронил в сердце своем: нижнебагодатская бедная жизнь обернулась к нему какой-то незнаемой гармонией, – собственно, и остался он жить в селе только из-за нее.

Но с годами идея аппарата тяжелее воздуха к Соколе вернулась. Несколько раз из подручных средств пытался он выстроить нечто летающее, но стоило

накрутить аппарату хвост, как тот с жужжанием вырывался из рук своего творца и пропадал в неизвестном направлении, устройство же для возвращения на землю Соколе вообще даже и не мерещилось, обуздание свободы противоречило бы принципам гармонии. Все, что он строил летающего, или же летало и улетало, или, по маломощности, взлетало чуть-чуть, но поднять с земли не могло даже самого маленького Соколю, такие аппараты грустно оставались висеть в воздухе, постепенно разрушаясь от дождя и снега, или же, наконец, как известный всему селу и окрестностям фанерный самолет, не летало вовсе: на нем Соколя с разгона въезжал до половины Верблюд-горы, и только: грубость материалов не позволяла гармонии в целом даже начать развитие. Когда сорвалась у него и десятая попытка взлететь на фанерном детище, Соколя самолет забросил, и, с молчаливого согласия автора, таковой деревенские мальчишки растащили по щепочке. Оставшийся скелет размокал два года, но прошлой весной как раз выдался большой паводок, и разлившиеся воды Смородины уволокли авиационные останки в Угрюм-лужу.

Солнечным весенним утром работал Соколя над разведением и заточкой старой двуручной пилы, кузнец тем временем тоже что-то ковал под крылечком, – гнал, надо полагать, самогон, как обычно, – и разговаривал с кем-то в пространстве о достоинствах напитка, а старая добрая дура Бомбардычиха пересчитывала яйца. Вдруг в кузнице стало очень шумно: откуда ни возьмись, приволоклись два чуть знакомых мужика из Горыньевки, как бы и не наших кровей мужики, носы-то вон какие прямые, глаза, правда, косые, с первого апреля все еще не опохмелились окончательно, и принесли Филиппычу сломанную ввиду уроненности с перевернувшегося грузовика бензопилу “Дружба”, получившую свое название в честь бессмертия дружбы Украины и России. Кузнец одобрительно кивнул, мол, сдайте молотобойцу, и пригласил мужиков продолжить беседу на крыльце. Мужики торопились, однако не отказались, – и, прихватив взамен бензопилы двуручную, которую как раз наточил Соколя, пошли с хозяином. Сам же онемевший Соколя оказался в пустой кузнице наедине с бензопилой. Он понял, что жизнь его дошла до критической точки, к прошлому возврата нет, а в будущем теперь одна сплошная дивная бензопила. Она свела Соколю с ума своим гармоническим совершенством. Наметанный его глаз понял, что в ней недостает лишь несколько легко раздобываемых деталей, и тогда идеальный летательный аппарат будет готов. До ночи любовался Соколя пилой, а ночью глаз не сомкнул, прикидывая, где проще взять недостающие детали, потом понял, где именно, и стал мечтать, как сперва он взлетит высоко-высоко, а потом войдет в пике, и выйдет из него, и снова в него войдет... Авиационная греза быстро его укачала, он уснул.

Утром он проснулся раньше хозяев и сразу ушел в кузницу. Когда же Филиппыч продрал глаза, то время настало уже обеденное. Заглянув в кузницу, мастер обнаружил Соколю за нужным делом – тот ремонтировал бензопилу. Буркнув: “Чтобы к завтраму зудела”, кузнец пошел искать компанию, ибо день был несолнечный. Дождавшись хлопа калитки, Соколя неслышно пробрался в горницу. Там, покрытый вышитой дорожкой, стоял цветной телевизор, гордость кузнеца, экран – чуть не метр от края до края.



Стараясь не нарушать совершенства мгновения, извлек Соколя из телевизора несколько деталей, подтянул провода – и телевизор снова стал самим собой. Детали эти, прилаженные к бензопиле, Соколя дополнил кое-какими мелочами, а старое кавалерийское седло, валявшееся в углу кузницы, видать, с графских времен, придало сооружению черты окончательного совершенства. От полноты чувств Соколя потерял сознание.

Очнулся он вроде как бы сразу, но на дворе уже стемнело. Из дома несся крик Бомбардычихи пополам с невнятными всхлипами кузнеца. Прислушавшись, Соколя понял непоправимое: телевизор перестал работать как цветной и посмел показать кузнецу и его особо верной жене похороны очередного вождя не в радужном, а в черно-белом подобии. Соколя постиг также, что все Филиппыч простит молотобойцу, но не телевизор. И тогда решился. Сел в седло. Осторожно включил движок, стал ждать, что будет.

Сперва широкое лезвие шелохнулось и завибрировало, а потом пришло в изящное круговое движение, обводя Соколю словно бы защитной стеной. Потом пила подпрыгнула и вонзилась в крышу. Вопли со двора стали очень явственными, кажется, кузнец ломился на рабочее место, собираясь потребовать, чтобы Соколя сей же момент отковал нормальное цветное изображение. Соколя потянул движок до отказа, и пила вырезала трухлявое перекрытие, – оно рухнуло на наковальню правильным кругом. Пила по-умному посторонилась, чтобы падающая крыша ее не повредила, Соколя только и успел прыгнуть в седло, как тяжелая пила вылетела на свежий воздух и быстро стала набирать высоту. Полная луна, напоминавшая, что у православных канун Пасхи, была там, где ей положено. Соколя взял на нее курс. Кузнеца было не жалко, никакого чувства гармонии не было у него даже в изгибах самогонного змеевика, он все равно не оценил бы эту замечательную новую летающую бензопилу. “Эй, ромалэ, катар тумэн авэн лэ церенса бахталэ дромэнс” – вспомнил Соколя что-то из отшибленного войной детства – и тут же забыл снова. Первый раз в жизни он летел так, как ему хотелось. Одно дело – бегать самому, совсем другое – дать шенкеля трехлетней призовой кобыле.

Луна вставала с востока, и Соколя поэтому летел тоже на восток. Ночь сгустилась, похолодало, очень высоко в атмосферу он пока забираться не рискнул. Опыт полетов у него какой-никакой, но был, так что он представлял себе, где восходящий поток его подхватит, а где нисходящий осадит, пахота, вода, зелень и так далее, атмосфера у земли одна, что для пилы, что для дириозавра. Под утро, уже пролетев приличный кусок, Соколя достал из кармана горбушку и сжевал ее. Он летел над пустынными, не везде вспаханymi полями, над какими-то непонятными приземистыми строениями, когда же на горизонте замаячил большой город, Соколя развернул пилу и облетел его подальше: того гляди собьют.

Внизу тянулись беспредельные российские версты, и на второй день Соколе все-таки опять захотелось есть. Он высмотрел внизу тусклые огоньки не знающей по сей день никаких лампочек батюшки Ильича деревушки и намечтал отчего-то, что внизу его ждет еще позавчерашний, еще добрый кузнец со своей вечно пересчитывающей яйца женой; что там – хлеб и сало, и постель на соломе

в сарае, и вообще все удивительно гармонично. И захотел посадить бензопилу, но не тут-то было. С большим трудом заставил он ее остановиться – опускаться она не пожелала. Пила парила метрах в ста над землей, словно только что стреноженная лошадь; понял Соколя, что на землю спускаться придется своим ходом, почесал в затылке и, переборов отвращение к своему несовершенному умению летать, сиганул вниз, прямо на деревню. “Вот что значит без сношаря жить”, – как говорили нежнеблагодатские сельчане, попадая в подобные нецивилизованные деревушки. Деревня была попросту нищей, но много ли требовалось Соколе. Он поплыл над крышами, заглядывая на чердаки. Наконец на одном из них разыскал полмешка сухого гороха и немедленно рванул назад к пиле: выбирать еще что-то времени не было, пила того гляди могла улететь. Соколя помнил, как все его прежние творения норовили улететь из рук, но, к счастью, “Дружба” оказалась на месте. Умей Соколя петь, он, наверное, сложил бы песню о том, как хорошо вольному цыгану лететь верхом на гнедой пиле куда глаза глядят, вдыхать вольный воздух всеми ноздрями, грызть прошлогодний горох, раз ничего другого судьба не шлет, – седому цыгану с детскими глазами все хорошо, если есть у него бензопила “Дружба”.

Никакого определенного курса у Соколи не было, да и быть не могло, он рад был просто лететь и лететь. Еще дважды порхал он на землю в бедных деревушках, таких, которые уж явно без сношаря живут, утащил старую велосипедную раму и соорудил грузовую платформу у себя под ногами, чтобы горох во время полета все время рукой не придерживать; еще Соколя украл ватник, потому что замерз. На второй неделе полета по сильному нисходящему потоку понял Соколя, что под ним вода. Сокольник Ильич Хиврин понятия не имел о том, что под ним – Каспийское море, он, пожалуй, даже не знал о существовании такого моря. Он повернул на северо-восток, потому что над морем было скучно и холодно. Восходящие потоки Западного Казахстана зашвырнули его на прохладную высоту в два километра, на ней Соколя и остался надолго, летя прямо на восток по сорок седьмой широте: он не мог не только посадить строптивую машину, но даже не мог, рискуя нарушить гармонию, заставить ее лететь пониже.

Еще дней через пять Соколя в буквальном смысле уперся в горы. Аппарат отказывался перелететь через них, но, впрочем, согласился пробираться тряскими ущельями. Совершенно не осознавая торжественности момента, цыган пролетел через Железные Ворота и, никем не замеченный, нарушил воздушное пространство Китайской Народной Республики. На Синьцзян уже давно простерла свое владычество зрелая весна, стало тепло даже на большой высоте, и Соколя скинул ватник. Скинул не на землю, а на велосипедно-грузовую раму, очень удобную, – а ватник еще понадобится, ведь возвращаться когда-нибудь домой нужно же будет, верно ведь? Соколя пересек Джунгарию и снова уперся в горы; куда ни ткнись, тут, кажется, были одни сплошные горы, и с этими краями надо было как-то попрощаться, больше Соколе на восток не хотелось. Тут он внезапно попал в грозовое облако.

Его несколько раз перевернуло, оторвало от машины, закрутило, унесло на такие высоты, где не удавалось ни вздохнуть, ни выдохнуть, – а потом

выкинуло из облака прочь. Он неминуемо разбился бы в лепешку, но, по капризу природы, кое-как умел летать все-таки. Соколя извернулся и вышел из пике, тут же с ужасом обнаружив, что висит на высоте какого-нибудь метра от бичуемой ливнем пустынной почвы. Пошарив вокруг себя, Соколя нащупал что-то металлическое; в перевернутом виде прямо над ним проплывала драгоценная “Дружба”. Ну, ясно же, она вела себя по законам гармонии, до которой ее своими руками довел Соколя: вместе с ним она была выкинута из грозового облака, вместе с ним стала падать, вместе с ним замерла в воздухе в перевернутом виде, на ее седло Соколя удобно уселся, хотя пребывал все еще вниз головой. Соколя ощупал хорошо притороченный мешок с остатками гороха и пожалел, что тот сильно намок в облаке. Но, кажется, строптивая гнедая пила кое-как поддавалась дрессировке, худо-бедно ею теперь можно было управлять, – все же великое дело выездка. Законы гармонии просты: когда условия погоды делают полет нежелательным, пила этот полет прекращает. Соколя перевернулся в правильное положение, дернул движок, полотно пилы привычно загудело, и аппарат снова взмыл в воздух. Но наездник, увы, окончательно сбился с пути. Горы, в непосредственной близости от которых он сейчас очутился, выглядели совсем неприступными. Даже ущелья для пролета вольной пиле было не сыскать. Хребет Куньлунь оказался негостеприимен к цыгану, и смотрели они друг на друга весьма враждебно.

Сгущалась ночь, внизу появлялись малые огоньки, огоньками же был усыпан горный склон. Соколя с большим трудом создал аварийную ситуацию, чтобы заставить пилу пойти на посадку, потому что захотелось немножко не летать. Пила, вибрируя, зависла в каких-нибудь трех метрах над гребнем отрога; склон его, обращенный на север, кончался отвесным обрывом, по краю которого располагались очень аккуратно огоньки, и в их свете можно было рассмотреть хоть что-то. Соколя вылетел из седла и огляделся. Он стоял на скалах над прилепившимся к отвесной стене монастырем, – впрочем, едва ли Соколя знал, что такое монастырь, наверное, он сумел бы представить себе только женский монастырь со сношарем-настоятелем, ну, так это и была его родная приемная деревня, а тут на нее ничего похожего не было. Тут был сказочной красоты тибетский монастырь в стиле дзонг, практически приклеенный к вертикальной стене. Ничего этого оценить не мог, ибо освещен был только внешний край уступа, да и не понимал ничего в горах выросший в равнинной деревне Соколя. У нижних ворот в огромной каменной чаше горело что-то жутко дымное, видимо, нечто вроде примитивного сигнального огня, на который должны слетаться из мирового пространства доверчивые и легко ранимые бензопилы марки “Дружба”. Но с верхней стороны монастырь не охранялся, то ли из принципа, то ли от бедности, – может быть и так, что Соколю прозевала противовоздушная оборона. Соколя ошвартовал, как мог, любимую пилу и пошел на разведку.

Он шел по наклонной поверхности, вымощенной щербатыми плитами, и разглядывал темные окна, глухие стены – ничего интересного. Здесь по-деревенски рано ложились спать, кажется, даже телевизор не смотрели. До родной кузницы было целых три недели полета, Соколино сердце сжимала

боязливая тоска по дому, но там его ждал страшный черно-белый экран и гнев кузнеца, а разобрать летающую пилу во имя цветного изображения было бы чистым святотатством. Однако же здесь необходимо было стащить что-нибудь съестное: горох почти весь вышел, а остаток сильно намок. Заметив за одним из окошек тусклый фитилек, Соколя привзлетел к нему и заглянул. На соломенной подстилке, очень несвежей, сидел человек без ботинок, зато с удивительной, надетой на щиколотки доской. Человек жадно ел пальцами из жестяной чашки что-то белое. Похоже, человек что-то расслышал, или зрение его в потемках обострилось, но он поднял голову и посмотрел прямо на Соколю, перестав на время глотать.

– Что ж не шуришься? – спросил он. Не брился человек, наверное, даже дольше, чем Соколя, тоже был весь из себя с проседью, но борода его была прозрачна от природной маловолосистости.

– Шуриться не люблю, – деловито ответил висящий над землей цыган, – а еда у тебя есть?

– Сейчас есть, – человек рывком вскочил и запрыгал к окошку, видимо, прыгать в доске на щиколотках было непросто, но человек с этим как-то справлялся, значит, привык к этой доске, может быть, он почему-то любил эту доску, или так лечился, откуда было цыгану знать слово «канга», – ты тоже пленный?

– Я не пленный. Я нечаянно. Кушать хочется.

Человек за окошком похлопал глазами, пытаясь отогнать Соколю, как нелепый сон, но Соколя был настоящий и не отогнался. Тогда человек протянул ему чашку с рисом, хотя и сам был не сыт, душа у человека была немножко добрая, хотя редко доброта эта давала о себе знать.

– Как это нечаянно? – спросил он. Соколя принял чашку без ручки, протащил между вертикальными прутьями, загоразживавшими окно, быстро все съел и решил, что это очень вкусно, значит, человек тут сидит хороший, так зачем он здесь, а не там, где все другие хорошие? – Ты перебежчик? – спросил человек, пялясь в темноту, где седина Соколи смотрелась как единственное светлое пятно.

– Я Соколя, – сказал Соколя, – а ты что тут делаешь? Зачем сидишь?

– За решеткой, сам видишь, – уныло буркнул человек, – слушай, помоги выбраться, ничего дома не пожалею, у меня серебро дома, отцова коллекция, оружие хорошее, всю коллекцию, одни протазаны сколько стоят, – голос человека быстро терял интонацию вспыхнувшей надежды и переходил в свистящий шепот, – кистень у меня шестнадцатого века, с мамаева куликовища, он даже двенадцатого века, только налиток к нему поздний...

Соколя размышлял своей дурной головой и медленно осознавал, насколько же негармонична, излишня тут решетка, пусть вылезает человек наружу и прыгает в своей доске сколько хочет, потому что он очень смешно прыгает. Соколя поковырял обгрызанным ногтем в том месте, где дюймовые стальные штыри вращались в камень. Потом потянул решетку вверх и на себя, стержни заскрежетали, сворачиваясь в бараний рог и вылезая из гнезд. Человек за решеткой отпрыгнул и в ужасе глядел на Соколю, отчего тот очень смутился.

Чего вылупился, вся деревня знает, что цыган-молотобоец пятаки двумя пальцами мнет, потом из них вхолдную солдатиков лепит, так это и сношаревы дети тоже иногда могут. Соколя протянул руку, чтобы помочь поделившемуся с ним едой типу вылезти из окошка, – но тип прижался к стене. Пришлось влезть внутрь и вытолкать его в шею. Соколя ненароком забыл, что под окном добрых два человеческих роста, которые он преодолел присущим лишь ему летательным способом. Человек мешком упал вниз и несколько раз однообразно упомянул совершенно неизвестную родственницу цыгана по материнской линии.

– Тебя как зовут? – спросил Соколя, помогая выкидышу встать на ноги.

– Миша... – слабо пролепетал выкинутый и упал снова – в обморок. Пришлось взять его на спину и отволочь к пиле. Там Соколя бережно пристроил нового знакомого на раме велосипеда, прочно примотал его спицами за доску на ногах и укрыл ватником. Нечего было этому небритому бедняге делать в горах, да еще за решеткой. Для соблюдения гармонии его следовало отсюда увезти как можно скорее. Потом запасливый Соколя сбегал вниз еще раз, нюхом нашел в одной из незапертых построек мешок какой-то темно-коричневой фасоли и подсунул его пассажиру под голову. Внизу нарастал шум, кто-то яростно выкликал два односложных слова, и другие голоса возникли, и слова стали повторяться те же самые, свету стало больше, было это до тошноты негармонично, захотелось поскорей улететь. Соколя сел в седло и дернул движок.

– А-а-а... – запищал невольный пассажир, видимо, очнувшись у Соколи под ногами и увидав внизу быстро углубляющуюся бездну. Соколя дызнул этого недоноска по темечку с ловкостью настоящего коршуна, укрощающего не в меру строптивую наседку. Цыган восстановил тишину и взял курс на Полярную звезду. Он, впрочем, знать не знал, что это – Полярная звезда, но она ему нравилась больше других. К утру пассажир очнулся после четвертого получения по темечку и стал способен воспринять такую простую истину, что лететь на вольной гнедой бензопиле гораздо приятней, чем сидеть на соломе в тюрьме, пусть даже возле чашки риса.

– Кушать хочешь? – спросил Соколя.

– Хочу... – уныло отвечал Миша.

– Кушай! – весело проговорил Соколя и достал для пассажира горсть темной фасоли, которую сам с удовольствием медленно пожевывал, она была вкусней гороха. Миша с ужасом глядел на него и фасоли не брал, тогда Соколя так же весело отвечал: – Не хочешь кушать – значит, не проголодался, – и прятал фасоль обратно. Пассажир, чувствовалось, очень тоскует по привычной каменной клетке за железными прутьями, где его чем-то вкусным кормили. На второй день он не стерпел и справил в воздухе кое-какие мелкие нужды организма.

– Молодец! Молодец! – весело выкликнул цыган и в честь такого события описал мертвую петлю. Пассажир потерял сознание. Потом, когда очнулся, Соколя снова попробовал его покормить, может быть, тот уже проголодался. Пассажир с тоской взял фасолинку, покатал от щеки к щеке и все-таки разжевал. И попросил жестом вторую. Воцарилась на пиле гармония, скорость

полета неизвестно почему стала увеличиваться, и в тот же вечер аппарат вместе со своими пассажирами пересек сперва монгольскую, а потом и советскую границу. Внизу пограничникам было не до летающих объектов, они все как один выпивали за упокой. Но изрядно похолодало, и Соколя отдал Мише ватник.

– Сбить бы колодки... то есть это канга, не колодки, в сто раз хуже... – тоскливо протянул пассажир. Соколя только презрительно фыркнул. Такая красивая колодка. Сам бы носил, только тогда на пиле сидеть будет неудобно и ходить тоже. А тебе зачем ходить? И никаких колодок не снял с глупого человека, который не в силах оценить, как ему к лицу эта колодка, даже если она называется непонятным словом.

Вообще-то Михаил Макарович Синельский был обладателем первого дана каратэ, и что бы стоило ткнуть этого седого горбоносого как следует, мало ли что он прутья гнет, видно, что не спортсмен, а спорт – он всего сильнее. Но по отбытии ста двадцати дней в высокогорной одиночке Миша тюкать не подумавши отучился. Попробовал он тут косоглазому следователю кое-что объяснить раз, так семь пальцев об глазище косое окаянное сломал, месяц в гипсе ходил... Тьфу, пальцев пять, это переломов было семь... От невероятия всего случившегося за последнее время Миша перестал даже точно помнить, сколько у него пальцев на руке. И кто такие? Ни допроса по форме, ни пыток там по-культурному. Как у людей. А то приволокли на первый допрос, так в кресло бухнули и чай в морду суют без сахара. Обвинения никакого не предъявили. А что обидней всего – не предложили звания полковника ихней армии, на это Миша в душе крепко рассчитывал, в советских фильмах ихние разведки, поймав советского человека, чин ему большой предлагают. Но тут разведка оказалась не простая западная, тут оказалась коварная восточная разведка, ну, падла, она вместо чина только чай без сахара предложила. Да и вообще, настоящие они тут китайцы или только подделываются – Миша так понять и не смог. А ну, как они японцы, или вообще тайваньские фашисты, и притворяются? Впрочем, портреты каких-то китайцев в каждой комнате тут висели, был это председатель Мао или же кто-нибудь другой – Миша не знал, косоглазые были для него все на одно лицо, потому что Миша, как и почти все советские люди, был до мозга костей расистом. Но если насчет портретов – Мао там или не Мао, хрен его знает, зато насчет книг в дальнейшем оказалось строго – Мао, Сталин, Ленин, все тома на выбор, а больше никаких книг на русском языке, и просить не могли. То ли тут разоблачили уже кого? То ли тут вообще не Китай? Нечисто во всем этом что-то, да и хлороформ – такое безобразие!

И тут ка-ак пошли Мише задавать косоглазые вопросы, самые неприятные, какие можно придумать. Первым делом – сознаешься ли, что приходишься родным внуком грозному Ивану Васильевичу? Во, гады, работают, отец всю жизнь дворянское происхождение скрывал, так при лошадях и помер. Но скоро прояснилось, что подлинной Мишиной фамилии фон унд цу Синельски – тут никто не знает, а выпытать хотят одно: кто он, Миша, есть, просто Романов или скрытый Рюрикович. Миша был ничуть не Романов, к Рюрику тоже вряд ли имел отношение, хотя в семье была легенда о родстве с литовскими

Гедиминовичами. Допрос кончился, ноги Мише застегнули жутко неудобной доской, сунули его в пустую камеру с соломой на полу. Кормили, между тем, недурно, давали утку с сильным запахом жасмина, видимо, ее тут фаршировали свежим чаем, но – и на завтрак утка, и на обед, и на ужин. Выпивки, однако, не давали, и для насквозь алкоголизированного организма Миши вопрос о ней на второй же день встал ребром. Попросил – вежливо выдали номер газеты на китайском – или черт его знает каком – языке. Попробовал требовать – принесли сразу пять томов сочинений товарища Сталина. Миша попытался читать, кайфа не словил, стал грызть ногти и понял, что от алкоголизма его решили вылечить очень прочно.

Потом, гады с прищуром, стали они с Мишей в кошки-мышки играть. Заковыки разные строить и подоплеки на него возводить, можно сказать. Очередной немолодой хрен на очередном допросе с несладким чаем на подозрительно хорошем русском языке сказал Мише, что если подпишется он вот тут... и собственноручно напишет еще кое-что, мы продиктуем... Миша немедленно учуял запах жареного, то есть воздуха свободы, и ничего дальше слушать не стал, а начал торговаться. Подписаться он, мол, подпишется, но чтобы под диктовку – ни-ни. Повисла неловкая тишина. Миша понял, что дал маху: надо бы сперва узнать, что же именно тут ему за измену Родине предлагают? Даже в ответ на вопрос косоглазого, признает ли он себя императором Михаилом Третьим, ничего остроумного не придумал. Сказал только, что не признает. Тогда его вежливо попросили изложить эту мысль в письменной форме. Миша посомневался и отказался. Тогда ему предложили изложить в письменной форме что угодно, на выбор – или что он Михаил Третий, или что он не Михаил Третий. Миша подумал: идти в сознанку? Он твердо знал по службе, что сознаваться не надо до самого последнего момента, покуда к стенке не припрут, а когда припрут – опять же не сознаваться. Так что признавать себя Михаилом нельзя, а кстати, с какой такой радости Третьим, где первые два? Вот и сказал он следователю, чтоб тот ему горбатого не лепил, потому что никакой он, в общем, не третий, раз выпить не дают. Тогда следователь этот вопрос с повестки дня снял и стал выяснять, женат ли Миша, есть ли у него дети, или, наоборот, склонности. Миша ответил, что не женат и детей не имеет, а склонности у него только к хорошим лошадям. Следователь побагровел, явно принял слова Миши как оскорбление на свой счет и допрос прервал. Потом Мишу допрашивал другой, на лошадей уже не обижавшийся. Он предложил Мише жениться, детей завести, а уж потом писать всякие документы, отречься тогда, может быть, и не понадобится, а если понадобится, то все равно женатому человеку это приличней, можно это сделать, к примеру, в пользу своих же детей. Миша и жениться, и отречься отказался. Следователь принял это почти спокойно, но спросил, как насчет Уссурийского края, Сахалина, Камчатки, Чукотки, Таймыра? Миша ответил, что ему все это добро сто лет не нужно. Эту фразу косоглазый не понял и попросил написать документ о том, что в течение ста лет данные территории России не потребуются. Миша тут же вспомнил, что, хотя он и фон и цу, но все же русский патриот, которому Таймыр и Камчатка дороги, как родной карман, и по

этому вопросу писать что бы то ни было отказался. Тогда косоглазый с сомнением спросил, умеет ли Миша вообще писать. На всякий случай Миша отказался отвечать на этот вопрос и объявил его грубой провокацией. На следующий день следователя снова поменяли, но и следующий ничего, кроме отрицания и контр-отрицания, а также больших сомнений, от Миши не добился. Вот так прокантовался капитан Синельский в неведомых куньлуньских краях до тех пор, когда просунулась поздней ночью в окно его камеры небритая и седая морда цыганского найденыша, типа грубого, бесцеремонного, но хоть не щурящегося.

Соколя понемногу поворачивал на северо-запад. Где-то там, как чудилось ему, за лесами и морями скрывается родной сарай-кузница, кузнец с бутылкой, Бомбардычиха с яйцами, все уютное, привычное. Тоска по дальним скитаниям понемногу утихала в душе цыгана, сменившись убеждением, что и оседло тоже иногда жить хорошо. Было раннее утро, высоту бензопила держала небольшую, облачность была пустяковая, летелось просто замечательно. И тут Соколя увидел впереди что-то огромное и сказочно прекрасное.

Было оно блестящее и обтекаемое, без крыльев, только с какими-то отростками снизу и сзади. Оно сверкало в лучах чуть показавшегося солнца, было оно сигарообразное, с пятью округленными гранями, и было оно, судя по отблескам, бронированное. Это была воплощенная, плывущая в небесах гармония, и, кажется, она заметила Соколю, медленно шла на сближение с ним, собираясь не то приветствовать его, не то брать на бордаж. Соколе это было даже без разницы, его душа всецело прониклась красотой исполина, одновременно необычайно мужественной и совершенно исключительно женственной.

“Любовь моя! Бронированная моя любовь!” – пропело сердце Соколи. Он все глядел, глядел и не мог наглядеться. Пассажир под ногами тоже поглядел и благополучно отправился в обморок, но даже это было прекрасно! Соколя пристроился в воздухе под хвост чуду, и оно не обидело его, а даже что-то из-под хвоста высунуло, на этом чем-то какую-то цветную тряпочку повесило и Соколе ласково так помахало. Рампаль и вправду высунул яйцеклад и поднял на нем, – точней, опустил, но иначе не получалось, – звездно-полосатый флаг своей второй родины. Снизу больше не стреляли: опохмелились, кажется, приняли приказ министра обороны к сведению, да и ветхость нового вождя вселила в сердца ракетчиков надежду, что скоро снова повод для выпивки будет.

Дорога до Москвы заняла у дириозавра больше суток. Он должен был совершить мягкую посадку на аэродроме Шереметьево-1, так как международный, Шереметьево-2, в эти дни был непомерно перегружен, туда слетались на тризну упокоившегося вождя его коллеги со всех концов света, самые разные летающие предметы, любые, кроме, конечно, дириозавра, которому на покойника было плевать из стратосферы. Издалека Рампаль видел, как спешают к Москве неуклюжие лайнеры, некоторые даже довольно большие, а за самым большим он даже последил немного: тысячеместный аэробус компании “Эр-Арктик” волок на тризну по советскому вождю брентную плоть Эльмара Туле, президента Социалистической Республики Гренландия,



вместе с пятью, то ли пятьюдесятью процентами населения его государства – теми, кто не входил в оппозицию его правительству. Туле явно пренебрегал бюллетенями ван Леннепа, это в самом скором времени должно было привести к самым роковым для него последствиям. Дириозавр с удовольствием поймал аэродромный пеленг и услышал передаваемое лично ему – Боже, на хорошем французском языке, даже, кажется, с провансальским акцентом! – приглашение идти на посадку в одиннадцать тридцать пять. Откуда, кто узнал про его родной язык?.. Рампаль решил никого не пугать вертикальной посадкой, еще начнут трепыхаться и угробятся – и торжественно заложил совершенно не нужный ему вираж. Козывка под хвостом приотсталла и зачем-то вдруг кинулась прямо на Рамपालя. Тот мягко шлепнул ее воздушной волной, козывка гордо сделала мертвую петлю и тоже пошла на посадку.

В самый последний момент, когда уже стремительно понеслись ему в морду бетонные метры посадочной полосы, выкинул дириозавр все шесть суставчатых, ракетно-ядерных лап, приземлился, быстро теряя скорость, побежал на них к зданию аэропорта. Но ввиду того, что все дириозавры – как-никак существа вертикального взлета и посадки, маневр этот прошел у него препогано: левая задняя нога задела что-то у края полосы и больно подвихнулась. Рампаль чертыхнулся в сердце своем, лапу поджал и на пяти здоровых посадку закончил. Сигарообразное его тело застыло на высоте десятого этажа, ибо складывать лапы дириозавр счел для себя несолидным. По радио на все том же хорошем французском языке было предложено подождать – Рампаль не поверил своим стальным ушам – построения почетного караула.

В брюхе у него тем временем было сонное царство. Рампаль деликатно включил запись Аллы Пугачевой, тот самый спиричуэл насчет того, что, мол, если очень стараться, то все равно еще неизвестно чего выйдет. После этого, под устроенным для пушного колорита балдахинном, в который Рампаль напустил немного тараканов из старого гостиничного запаса, чтоб императрице после Алтая чистоплюйства не предъявлять, раздалось шебуршание, урчание и бурчание, и Рампаль предложил Джеймсу быстро одеться. Аккуратно выглаженный костюм разведчика лежал на стуле, а любовно регенерированное платьице Кати – то самое, в котором оборотень последний раз видел ее в Свердловске – висело на плечиках рядом. Отношения у пассажиров, кажется, были уже вполне выяснены, и страшные алтайские переживания превратились для возможной императрицы в развеявшийся сон. Она сбивчиво начала пересказывать свои приключения Роману Денисовичу, еще не досушив волосы, да так и не досказала, не до воспоминаний ей стало. Из приключений вынесла она мораль, что мужиков на свете нет совсем, даже кто по шесть раз в день хочет, тот все равно еще не летает. Ну, Джеймс-то, конечно, летать умел, чего другого...

Проснулась Катя с большим трудом, от мощного стереофонического вопля насчет того, что вы, мол, в восьмом ряду, в восьмом ряду, в восьмом ряду, – и Катя долго не могла понять, чего это ради она в восьмом ряду, когда, наоборот, наконец-то в нормальной постели. Джеймс просунул голову под полог и ласково сказал:

– Помочь ли с туалетом, ваше... глубокоуважение?

Катя фыркнула и задернула полог. Шутник! Все ей было непонятно. Но пьянило сознание, что алтайский кошмар кончился, поэтому на всякий случай решила не выяснять, куда это ее на таком удобном самолете везут, или же это подводная лодка? Неужели в томский краеведческий музей? Ну, однако же, мощная организация! И платье кто отгладил? Неужели Роман Денисович? Нет, есть все-таки на свете мужчины, и справедливость есть, и Бог есть, кажется!

На аэродроме тем временем выстроилось что-то в самом деле похожее на почетный караул: человек шестьдесят или восемьдесят, все на одно лицо, со сломанными носами и расплюснутыми ушами, коренастые, широкогрудые и мрачно глядящие исподлобья, к тому же все в штатском. Из-за похорон вождя даже всесильный Ливерий, уже два часа ошивавшийся в аэропорту, – его-то служба слежения упредила о прилете императрицы даже раньше, чем Шелковникова, – солдат выставить в почетный караул не мог, поэтому вместо солдат пришлось выставить своего собственного телохранителя, множественного оборотня Авеля Домушникова, способного превратиться сразу почти в сто человек. Когда на взлетное поле выкатил черный ЗИЛ Шелковникова, в первую минуту будущему канцлеру показалось, что престарелый Ливерий ошибся и по маразму вместо почетного караула поставил шестьдесят горилл из зоопарка. Потом понял, что в зоопарке столько нет, и подивился запасливости военного министра. У него самого телохранителей было вдвое меньше, и такого внешнего единства он из них составить бы не взялся. У конца караула стоял высокий и сгорбленный Ливерий Устинович. Этот человек был Шелковникову очень удобен: восьмидесятилетний маршал Советского Союза был настолько еще полон жизни, что не просто крепко держался за ее мелкие радости в виде мальчиков и девочек, но с каждым годом расширял свои интересы в этой области, денег ему хронически не хватало, одни девочки с острова Бали вон в какую копеечку влетают. Вообще Ливерий человеком был серьезным, он, несомненно, собирался еще пожить при новом строе на широкую ногу. Одно было плохо: совершенно нельзя было на него рассчитывать в смысле армии. Вот мальчиков там сероглазых, прекрасных, как скрытый жемчуг, или девочек оливковых, сладостных как юные пэри, этого у него было в количестве: чтоб сколько душевненьке угодно. А настоящая армия, кажется, хоть и не вся, но отчасти была в руках его проклятого заместителя. Так что рано еще кричать “ура”. Почетный караул, однако, это самое “ура” уже рывкнул: из брюха стальной сигары опустилось нечто вроде длинной ложки, только розовое до неприличия, и на изогнутом конце этой ложки виднелись двое: женщина и мужчина. Супруга императора Павла Второго, кажется, была доставлена в Москву хотя бы в относительной сохранности.

О том, что сегодня нужно это чудо-юдо встречать с почетным караулом сообщил прорезавшийся недавно на связи после двадцатилетнего молчания друг молодости – генерал Хрященко. Бедный Артемий, конечно, вконец оторвался от жизни, он через болгарских товарищей – которых по неведению считал чехословацкими – передал, что секретный американский дириозавр необходимо обезвредить, так как его засылка в воздушное пространство Советского Союза

служит провокационным целям реставрации отжившего царского режима. Ну, получив такую новость, Шелковников с сожалением осмотрел приготовленную для коронации новую форму с эполетами, – надевать ее пока что было неуместно, – связался с Ливерием и выяснил через короткое время, что на борту этого самого неизвестного дирижабля с шестью ногами в Москву должна прибыть будущая, не дай Господи, императрица, с приставленным к ней, кажется, ведомством Ливерия, провожатым. Втиснулся генерал в машину и с неохотой поехал в Шереметьево. То ли нужна эта самая Екатерина, то ли вовсе нет? Спросить было не у кого, Абрикосов уже не изъяснялся ни на каком. Но на всякий случай максимальный минимум почестей оказать полагалось. А то наживешь еще осложнения во внешней политике, баба-то немка, хоть и алтайско-волжская. Нет бы царю на русской женщине жениться! Как хорошо, когда жена у тебя русская! – подумал Шелковников о своей собственной Елене. Правда, последнее время она занималась чем-то непонятным. Как донесли генералу, она в своих заграничах открыла тотализатор по поводу перемен в советском правительстве и вообще в СССР, усиленно распускала слух, что Старшие Романовы слабоваты, к власти не пройдут, особенно этот Павел Второй, – и принимала ставки один к четырем. Зачем ей это? Ох, непонятны деяния твоей жены, Георгий, одно хорошо, что за все долгие годы ничем, кроме добра, они не оборачивались. Так что и копать в них не надо. Георгий Давыдович со вздохом вынул из портсигара бутерброд и меланхолично его сжевал.

Особенно нехорошо было то, что аэродромную встречу Шелковников организовал на свой страх и риск. Павел встречать свою невенчанную советскую жену наотрез отказался. Понять его тоже можно, зачем ему жена, когда ему и так из НЗ бабу высший сорт выдали? Но законную-то зачем в шею гнать, зачем большую политику осложнять? На свой опять-таки страх и риск Шелковников отвел для этой самой Кати недурную дачу, из числа своих собственных, под Лопасней, нынешним Чеховым; на даче этой генерал никогда не бывал, как и на двух десятках подобных же, но знал, оборудована там особенная сауна, круглая, масонская, стенки в ней зеркальные. Этот тип, которого послали к возможной императрице сопровождающим, а по документам так и вовсе учителем русского языка, он, кажется, должен был ее временно от императора отвлечь. Сухоплещенко подтвердил, что это большой специалист по женщинам. Вот пусть и расхлебывает. В круглой сауне с зеркалами – все условия, можно сказать, авось дело выйдет расхлебабельное.

Императрица и седеющий красавец спустились с лодочки, Ливерий и Шелковников приветствовали их братскими лобзаниями. Шелковников отметил, что бабочка ничего, только мылом от нее пахнет и вся в подростковых засосах. Специалист поработал на совесть, ничего не скажешь. Пусть и дальше в том же духе действует (Джеймс имел именно такую инструкцию, в результате ее скрупулезного исполнения у Кати, чуть только она в сумке дириозавра в большое зеркало посмотрелась, появилась мысль, что в таком виде Павлу на глаза показываться нельзя – не приведи Господи). Ливерий сказал несколько прочувствованных слов о том, как он рад приветствовать Екатерину Васильевну

на древней московской земле. Еще раз облобызал ее, хотя она для него была весьма стара, с немного большим удовольствием облобызал типа, которого шелковниковское, кажется, ведомство к ней приставило. Потом его под локти провел вдоль почетного караула, небольшой оркестр лихо грянул старинный марш композитора Агапкина, кажется, или не его, но все равно – “Прощание славянки”. В общем, правильно марш выбрали – “Боже, царя храни” играть еще рано. Да ведь и с гимном вопрос еще не решен, Боже, сколько всего еще не сделано! Хотя почему – “Прощание славянки”, ведь то, что сейчас происходит – это скорее встреча немки... Наконец официальная часть закончилась. Катю и Джеймса пихнули в специально для них заготовленный ЗИЛ и послали в зеркальную сауну. Ливерий отправился стоять в другом почетном карауле, – вождя как-никак еще не упокоили, – а Шелковников поехал домой. Чувствовал он себя усталым и неуверенным. Какого черта он встречал эту бабу? Станет Павел с ней по новой сходить, как же... С тоской подумал Шелковников, что и с еще одной бабой очень скоро возиться предстоит. Группа, изучавшая родственников Павла и готовившая на них всякие досье вплоть до инфарктных фабул, наконец-то отыскала в городе Керчи немолодую мать-одиночку по имени Алевтина Туроверова, сынок которой носил очень многозначительное имя Иван Павлович Романов, ходил в девятый класс русской школы и очень неохотно был признан Павлом в качестве незаконного сына. Таковую Алевтину должны были доставить в Москву в ближайшие сорок восемь часов, и для нее уже приготовлена была другая дача Шелковникова, под Егорьевском. Если так дальше пойдет, то дач-то хватит ли на всех? А, плевать, можно будет кого-нибудь заинфарктировать, если не хватит.

Одно, конечно, хорошо: вождь помер в срок, не зажился. А Заобский, попавший в новые вожди, уже тоже получил первых пол-инфаркта, даже в почетном карауле еле-еле отстоял, а сейчас полеживал себе в Кремлевке, где за жизнь его можно было вполне поручиться – в отрицательном смысле, потому что вторые полфабулы предъявят ему по первому сигналу, подкузьмили беднягу дочки-матери, тоже мне, Монтеня по-древнееврейски начитался. Нет, и вправду хорошая вещь – инфаркт. У кого там сыночка в Лондоне за ножку, у кого дочку в Лас-Вегасе за место более существенное, у кого сестру жены в Чикаго за вымя – вот, глядишь, и все тип-топ. Вправду хорошая вещь. Скорей бы уж монархия была, надоело в заместителях ходить. “Канцлер Шелковников”, – произнес про себя генерал то, что через полгода хотел услышать из уст государя, хорошо бы сразу после коронации. На душе потеплело. Тогда генерал ткнул в спину сидящего на переднем сиденьи Сухоплещенко и тот выдал ему бутерброд с красной икрой из запасного портсигара – свои генерал уже все съел.

Тем временем на аэродроме все еще стоял везлеевский почетный караул и оставались еще кое-какие приближенные Шелковникова, кому волей-неволей пришлось вызывать ремонтные бригады: дириозавр стоял на пяти опорах, шестая явно нуждалась в ремонте, а пять неповрежденных как-то подозрительно были утоплены в бетон под тяжестью исполина. Никто не воспринимал его как живое существо, и было это дириозавру очень обидно. Несколько раз подъезжали и уезжали прочь пожарные машины, ничего тут не горело, а трапов

высотой в шестьдесят метров еще не имелось, короче, без собственного желания дириозавра добраться до его брюха и прижатой к нему шестой ноги не было возможности. И вот после третьей пожарной неудачи зажужжало что-то в воздухе, и приземлилось прямо под брюхо ящеру. Сокольник Ильич Хиврин сумел-таки посадить строптивую пилу. И незамедлительно сгрузил порядком надоевшего ему бесконечными обмороками пассажира. К месту его посадки быстро подрулил открытый “газик”. Когда Миша Синельский, все еще в проклятой канге-колодке на ногах, открыл глаза, он увидел над собой на фоне синего весеннего неба и серебристо-стального брюха дириозавра – склонившееся бледное, сосредоточенное, такое чрезвычайно знакомое лицо.

– Капитан Синельский... прибыл в ваше распоряжение, – прохрипел простуженный Миша, пытаясь встать. Аракелян, впрочем, узнал своего незадачливого подчиненного, которого уже много месяцев подозревал в дезертирстве и других гнусных делах.

– Сам прибыл? – спросил полковник, недоверчиво глядя на колодку.

– Служу Советскому Союзу! – невпопад выпалил Миша и попробовал встать. Ноги его не удержали, он повалился на полковника. Тот брезгливо отодвинулся, и Миша рухнул прямо на руки гориллам из подоспевшего караула.

– Это мы посмотрим – кому ты служишь, – процедил Аракелян сквозь зубы и бросил охране: – унести!

Дириозавр тем временем окончательно обиделся на полное отсутствие врачебной помощи, да и просто на невнимание к себе. С трудом распрямив пришибленную ногу, он медленно поднялся на задние конечности и нацелился в зенит. Он их пожалел, он не хотел показывать им вертикальную посадку. Ну, так они увидят вертикальный взлет!

Ударил ветер, и сверкающая на солнце стальная сигара оторвалась от земли. Зачарованные радары успели отметить лишь то, как медленно всплыл и стал удаляться от Москвы в юго-западном направлении секретный дириозавр. И никто не уследил, как вслед за ним оторвалась от поверхности аэродрома маленькая вибрирующая козявка. Никакого приказа их преследовать никто не имел, обстреливать – тем более. Счастливый, разгрузившийся от пассажиров Рампаль имел теперь право немного полетать на воле. Его верная рыбка-лоцман, тоже избавившаяся от лишнего груза, конечно, расстаться со своей бронированной любовью не могла и последовала тем же курсом. Выйти из образа дириозавра Рампалью было далеко не просто, да и приказа пока не было, напротив, имелось предсказание, что в этом облике он пробудет довольно долго.

Бетон аэродромного покрытия в пяти местах приземления лап дириозавра был проплавлен на шесть-семь метров, ямы уже стали заполняться водой, да и вообще большая часть взлетного поля взбугрилась, растрескалась, пришла в полную негодность. Нет, не приспособлены еще советские аэродромы к приему столь высоких, столь увесистых гостей!..

Время было уже обеденное, и Аракелян подъехал к особняку в Староконюшенном, когда с кухни еще разносился дух печеной осетрины, это было одно из немногих блюд, за которые в собственном изготовлении Тоня

могла ручаться. Другим готовить для Павла она так и не доверила, и несчастный кухонный мужик Абдулла даже у себя дома обедать перестал – столько раз на дню заставляла Тоня большими дозами дегустировать его свою стряпню. Ежели после двойной порции Абдулла оставался жив, то остатками Тоня кормила Павла. По сей день никто отравить Павла не пытался, поэтому Абдулла начал толстеть, но рыба ему еще не надоела, все-таки это был родной волжский осетр. Павел хозяйственность Тони тоже очень одобрял, сейчас он как раз отобедал и, лежа в постели, мелкими глотками пил кофе. Он уже был извещен о том, что Катя вызволена из алтайских джунглей, но видеться с ней пока что никакого желания не имел, других дел хватало. Последние месяцы не просто отбили у него охоту возвращаться к супружеской жизни с Катей, не в постели тут было дело, столько-то он в бабах после деревенской практики разбирался, что любую в должный сок взялся бы возвести, была б нужда. Нет, отчего-то дело было в Тоне. Отчего-то Павлу хотелось не делить себя сейчас надвое, не отдавать никому ничего из того, что могло достаться Тоне. И все-таки Катя оставалась ему, хоть и невенчанной, но женой. Пусть другого вероисповедания... а впрочем – сам-то я какого? Павел вдруг засомневался; а крещен ли он вообще? Ох, ведь и не член партии к тому же... Господи, сколько же еще неурядиц! А тут бабы еще, бабы, вон, Ваньку откопали, тоже в окошко не выкинешь, а с Алей какво спустя шестнадцать лет встречаться – ведь и не узнаю, поди... Одни неприятности с бабами да с детьми. Только и утешения, что Тоня, Павел с нежностью посмотрел на дверь, в которую она только что вышла, унося пустой поднос, и обнаружил на пороге Аракеляна. Нежность во взоре императора мигом угасла: этот кавказский полковник раздражал его своей нерасторопностью, неловкостью, нечеткостью.

– Осмелюсь доложить: Екатерина Романова препровождена вместе с литератором Федуловым на правительственную дачу, – отрапортовал полковник. “Ну и что?” – ответил ему Павел взглядом. Полковник помедлил и добавил: – Будут ли дополнительные распоряжения? – Не будут, – соизволил ответить Павел и отвел глаза. Мысли переключились на другое, на все более занимавшие его внешнеполитические темы, сейчас – на Финляндию. Тем временем Аракелян решил откланяться:

– Честь имею.

– Имейте, если есть, – бесцветным голосом ответил Павел.

## Павел II День пирایی Часть 10

*Евгений Витковский*

Х

Всякому голову мучит свой дур.

Григорий Сковорода. Песнь 10

В мире же тем временем чего только не напроисходило. Не где-то, а в совершенно точно известном месте, в очень северном городе, в полу

традиционного гренландского иглу отворилась входная дверь, в полупустой ледяной зал, обсуждавший государственный бюджет на ближайшие полдня, поднялся малорослый и толстый инуит, – так называют себя эскимосы, – хорошо всем известный катекет Сендре Уперनावик, он вытащил за собою огромный, выкрашенный в красный цвет гарпун. Уперनावик, видимо, временно забыв, что он катекет, то есть человек, по-гренландски образованный, подошел к трибуне и спихнул с нее докладчика в допотопном пенсне. С размаху водрузил он на трибуну гарпун, так что острие его, очень хорошо заточенное и чем-то демонстративно обагренное, ясно дало присутствующим знать о наступлении новой эпохи в жизни государства. “Все! – гаркнул катекет на литературном инуитском. – Довольно инородческой шлюхократии! – катекет многозначительно поводит гарпуном. – Пора возродиться нашему национальному самосознанию, духу великой Арнаркуагссак! Мы, инуиты, внесли столь исполинский вклад в мировую культуру и науку, что не можем дальше терпеть дискриминацию в своем собственном доме! Совершенство наших жилищ поражаало взоры жалких европейцев тысячу лет назад! Десять тысяч лет назад, когда европейцы и азиаты еще воевали голыми зубами, мы уже изобрели винт! Наш гарпун, винтовой китовый гарпун, пронзавший морского зверя сто тысяч лет назад, да пронзит ныне загревок мировой шлюхократии, да станет он символом нашего сверхнационального возвышения над другими неполноценными нациями!” Под общее гробовое молчание собравшихся президент Эльмар Туле, преступно бежавший в эмиграцию под предлогом похорон дружественного, то ли нет, вождя, был низложен, а на его место безгласно избран великий национальный герой, катекет Сендре Уперनावик. Немедленно был изменен и национальный флаг, теперь над зданием парламента развевался новый – красный гарпун на красном фоне; взамен прежнего гимна, – а прежде пели на мотив куплетов Эскамильо: “Тюленебой, смелее в бой!” – Сендре Уперनावик лично сложил народную песню: “Да взлетит инуит!” Ряд недоубежавших членов семьи прежнего президента спасался на территории сальварсанского посольства, каковая по сальварсанскому обычаю была оборудована искусственным климатом, почему и произрастали на ней невиданные в заполярных краях фламбойяны; вот на их-то ветках более или менее комфортно и разместились политические беженцы в ожидании нелегального вывоза. Однако, сколь ни скорбно констатировать сей факт, даже переименование страны в Социалистическую Демократическую Республику Калалит Нунат экономических проблем страны не разрешило: великий северный сосед, иначе говоря, та страна, в которую из Гренландии можно попасть, если долго-долго ехать на север, а потом еще дальше, хотя и признал этот сосед новое гренландское правительство, но дружественную руку ему протянул как-то очень странно – совершенно пустую, как бы даже лодочкой, пригорошней вверх. Главное природное богатство молодой развивающейся страны, ее знаменитый ископаемый лед, как прояснилось в первые же дни президентства Упернавика, было не только целиком запродано Сальварсану, но даже и тот лед, который намерзнет в ближайшую тысячу лет на место уже имеющегося и подлежащего вывозу, оказался тоже запродан, и тому же

покупателю. Прекратить поставки льда в Сальварсан дальновидный эскимос не пытался, он был членом масонской ложи и довольно точно представлял, на чьи деньги она существует. Тем временем бывший расово неполноценный президент Эльмар Туле, спешно схоронив лучшего друга гренландского народа под кирпичным забором с зубчиками, столь же спешно бросился в Сальварсан за помощью – он был отнюдь не первым и не последним, для кого Сальварсан оставался единственной надеждой на спасение. Маленький президент принял его в зеркальном кабинете, выслушал внимательно, помолчал долго, а потом тихо-тихо сказал: “Вот как раз... Федерация Клиппертон-и-Кергелен третий месяц... просит разрешения войти в Сальварсан в качестве провинции... Ну, провинции слишком уж... Разве колонии... Ну, не так грубо, пусть заморской территории... Словом, брат мой, мне кажется, что вам причитается, во-первых, пожизненное почетное звание гражданина республики Сальварсан, это для приличия... Во-вторых, пост губернатора территории Клиппертон-и-Кергелен... В-третьих, двенадцать раз в день четыре двойные порции коктейля “Доминик”, каждая с кубиком льда вашей исторической родины, он будет доставляться вам на специальных самолетах шесть раз в день прямо из ресторана... Ну и порция протертых бобов с арахисовым маслом трижды в день тоже...” – президент пошевелил над зеркальным столом мизинцами, и потрясенный Эльмар Туле увидел в отражении, как Романьос заключил его в объятия, тогда как на самом деле президент и с места не двигался, лишь слегка косился через плечо на картину с изображением жреца в черной сутане и с музыкальным инструментом, давая понять, что аудиенция закончена, вопросы исчерпаны, и спорить ли было Эльмару Туле, когда вместо сомнительной чести быть самым северным в мире президентом он получил то, о чем и мечтать не смел, – почетное гражданство прекраснейшей в мире страны, президентский коктейль и президентские же бобы с арахисом. Меньше чем через час его самолет прямо с аэродрома Сан-Шапиро взял курс на голый Кергелен, да заодно уж и на людоедский Клипертон.

Но это было далеко не единственное и, конечно, не самое знаменательное из событий, учинившихся на белом свете в эти исторические дни. Происходило и многое другое, в частности, чего только не творилось с островами, которые ко времени описываемых событий почти во всех океанах от большого ума подобились независимости, вне зависимости, нужна им была таковая или нет, понебезависимствовали годок-другой, и теперь видели сны наяву о том, как бы от нее, распроклятой, избавиться. Иные из островов подумывали о постройке большого корабля, чтобы погрузиться на него и уплыть куда глаза глядят, – однако же глазам тоже никуда смотреть не хотелось, до того было тошно в цепях независимости. Другие подумывали о покупке какого-нибудь самолета – чтобы погрузиться на него и улететь ко всем чертям собачьим. Самые же дальновидные искали вариантов создания какой-нибудь федерации, лучше добровольного присоединения к любой державе из числа небедных. В деле этого предварительного объединения островные лидеры возлагали главные надежды на челночную политику знаменитого скандинавского путешественника Хура Сигурдссона. В послевоенные годы Сигурдссон очень



разбогател на получившей всемирное признание гипотезе: он предположил, что все западные народы происходят прямоком от народов восточных; хорошо нажившись на гипотезе, он с помощью трех наиболее верных сотрудников срубил в Калифорнии большую секвойю, выдолбил ее, спустил на воду и поплыл в ней на запад, решив доказать, что туда можно не только плыть, но и доплыть. Вскоре он оказался так далеко на Западе, что это уже был Восток, сперва Дальний, потом Ближний, все возможные гипотезы Сигурдссон уже доказал, но остановиться в своем неуклонном доказательстве он уже не мог, секвойя у него была крепкая, он провел ее Магеллановым проливом и пошел на второй виток. Потом на третий и на четвертый; Хур перестал приставать к берегам материков, а посещал только Богом забытые острова, иной раз останавливался на них на зимовку, в продолжение которой давал тысячи интервью перелетным журналистам, а по весне – если только не ошибался полушарием и не попадал сразу на вторую зимовку – плыл дальше, между делом извергая на планету поток географических мемуаров, отчего даже заслужил прозвище “Хур Дикий”. Ко времени описываемых событий изрядно постаревший Хур завершил уже сорок два витка вокруг света, только что перезимовал у негостеприимных антарктических берегов острова Новая Южная Армения, отшвартовал секвойю от айсберга и пошел в сорок третий виток, поклявшись, что и сто витков ему нипочем, а местное население, если оно вообще было, с изумлением глядело ему вслед. Посетив за последние годы целый ряд обездоленных независимостью островов, Хур уже способствовал их объединению в кое-какие конфедерации, но дело шло крайне замедленно из-за полного неприятия путешественником всех видов почтовых сообщений, кроме голубиной, соколиной, бутылочнобросательной и шмелиной почты, – а легко ли шмелю тащить рукопись в пятьсот страниц? – да еще большинство островов, как убедился путешественник, угрюмо желало не федеративного объединения, а прямого прислонения на любых условиях к южноамериканской республике Сальварсан, а к ней, как ни бейся, Сигурдссон подплыть не мог: республика не имела никакого выхода к морю, кроме нефтепровода, а плыть по нему на секвойе путешественнику было боязно. О том, что Федерация Клиппертон-и-Кергелен уже стала законной сальварсанской территорией, Хур еще не знал: почтовые голуби со свежими газетами из Тасмании к нему только-только вылетели, бутылки с такими же газетами были для Хура в воду на Соломоновых островах только-только брошены; а даже и подплыви Хур прямо к ступеням губернаторского дворца на Клиппертоне или на Кергелене, новоназначенный гренландец его все одно не принял бы: на радостях усосавшись президентским коктейлем с ископаемым льдом и ужравшись президентскими бобами с арахисовым маслом, Эльмар Туле, по слухам, почивал в обоих дворцах одновременно. Так что в описываемое время челночная дипломатия Хура Сигурдссона никакого влияния на ход мировых событий, тем более на дело реставрации Дома Старших Романовых в России, оказать не могла.

Происходило в мире и многое другое, в том числе и нечто куда более масштабное и кровопролитное. Отчаявшись вылезти из тисков мирового непризнания, из государственных долгов и целого ряда иных политических

галош, известный всему миру пресловутый кровавый диктатор Хулио Спирохет, стоявший во главе одной из самых глупых по форме, – не правления, а начертания на карте – стран мира, отчаялся и пошел на рискованный, хотя в чем-то почти беспроигрышный шаг. Перебрав в уме страны, на которые он мог бы напасть с достаточным шансом потерпеть быстрое и сокрушительное поражение, диктатор выбрал в качестве антижертвы своего великого северо-восточного соседа, а им, соседом этим, оказалась совершенно нераздираемая никакими противоречиями республика Сальварсан. Трудность нападения на республику заключалась в том, что между ней и нелепым государством Спирохета в качестве границы возвышался чуть ли не самый крутой и высокий хребет в мире – огнедышащая Сьерра-Путана. Не считаясь с затратами, диктатор в рекордно короткие сроки экипировал армию и через немногочисленные ущелья, в которых один человек с противотанковым ружьем вполне мог бы раздолбать целую дивизию, вторгся на сальварсанскую территорию. Но нейтральный Сальварсан, никому о своем нейтралитете не заявлявший, но тем не менее армии давно уже не имевший, – только личная гвардия президента, так это всего сто тысяч, – поступил в этот момент донельзя коварно. Ни единый человек не оказал сопротивления войскам Спирохета, и они, терпя неслыханные лишения, пробивались без боев в направлении города Эль Боло дель Фуэго, стремясь попасть под президентский ливень шаровых молний и одновременно отрезать столицу от главных запасов стратегической пирایی. Сальварсанские вооруженные соединения продолжали коварно не встречаться на пути диктаторских войск, к восьми часам вечера нервы убежденного сединами диктатора не выдержали: он отдал приказ о беспорядочном бегстве на свою территорию. Около полуночи он выступил по правительственному телеканалу, призвал население своей страны терпеть нетерпимые факты и объявил о безоговорочной капитуляции без каких бы то ни было условий. Прерывался его старческий голос самыми натуральными слезами, Спирохет волновался, ведь ему для полноты поражения нужен был еще и полномочный представитель победившего Сальварсана, и до утра диктатор промаялся в неизвестности: примут? Не примут? К утру Спирохет уже почти уверовал в провал своего плана, однако в шестом часу на столичном аэродроме приземлился доминикский “Боинг-747”, и по трапу спустился высокий, довольно молодой темнокожий креол с прямыми волосами на пробор, с весьма длинным носом. Через посредничество незаменимого Долметчера президент Романьос принял условия капитуляции. Поскольку, полагал Романьос, хозяйство и экономика потерпевшего поражение страдающего агрессора полностью изнурены и разрушены тяготами войны, поскольку развитые страны всего мира не смеют оставить своей гуманитарной помощью несчастную страну, – сам же глава Сальварсана заявлял, что никаких претензий к ней не имеет, что “враг за свое злокозненное нападение и без того уж довольно бед испытал”. ОЗОН, то бишь Организация Зачем-то Освободившихся Наций, узнав об этой “шестичасовой”, как ее назвали позднее, войне, как-то не понимала, чем она сможет помочь стране, которую за нарушение всего, чего возможно, исключила из всех своих подкомиссий. Но свалившийся с неба креол уже варил

на диктаторской поварне пирайевый суп, единственный раз в этот день в честь Спирохета поименованный “диктаторским”, а страна, подвергшаяся нападению, никогда не входила в ОЗОН, чтобы быть уж полностью неприсоединившейся, как, к примеру, и Швейцария, – так что чем, кто и кому должен помогать? Однако на утренней сессии внеочередного созыва ОЗОН потребовал слова делегат еще одной сомнительной страны, Восточного Китая, – явно недоумленный Романьосом, или, что менее вероятно, в кредит подкупленный самим Спирохетом. Под угрозой выхода из организации он потребовал, чтобы развитые страны, в первую очередь США, СССР и Западный Китай, приняли на себя сию же минуту бремя восстановления хозяйства пострадавшей страны. Сию минуту! К предложенной восточным китайцем резолюции неожиданно для всех присоединился и советский делегат Иван Пулярдов-Курочкин, которому из Москвы намекнули, что пускай-де Штаты раскошеливаются, мы им, пострадавшим, тоже поможем, медикаментами собственного производства, а они, брат, сам знаешь, какого качества и сколько на складах лежат, хранить их дороже. Резолюция прошла, хозяйство несчастного агрессора было мигом восстановлено за счет матерящегося на английском языке американского налогоплательщика, Восточный Китай потер мандаринские ладошки, Спирохет отгрохал в столице новый стадион, Эльмар Туле надрался до положения риз, Хорхе Романьос пожарил и съел яичницу, Сендре Уперनावик пожевал губами, Хур Сигурдссон присвистнул во сне и перевернулся на правый бок.

А вообще – мало ли чего еще в эти дни, часы, секунды творилось на белом свете? Ну какое, скажите на милость, отношение ко всей нашей истории имели так называемые кировоградские события? А всколыхнули они на день-другой мировую прессу ничуть не менее, чем тогда же состоявшаяся отставка всесоюзного тренера по фигурному плаванию Ярослава Зелюка, – о которой повествовать тут и вовсе не место, и без того так никто и не понял, выгнали его за демонстрацию тринадцатилетним пловцам актов насильственного куроложества или же за мздоимство во время демонстрации вышеупомянутых сексуально-куриных актов. Ну, предположим, все, кто интересовался, еще за полтора года до смерти вождя абсолютно точно знали, что первый секретарь кировоградского обкома тов. Грибашук О.О. (Олександр Олександрович, кому уж очень интересно) слег не просто в постель, а в бессрочную реанимацию. В связи с полной остановкой почек, вместо которых пришлось подключить японский аппарат неудобных габаритов. В связи с пересадкой печени, – пересадка таковой в Питсбурге, США, прошла неудачно. В связи также с пересадкой поджелудочной железы в институте ван Тендера в Данди, Капская провинция, – операция прошла удачно, однако ж одной железой жив не будешь. Ну, еще в связи с пересадкой сердца, – Грибашуку вмонтировали атомное искусственное в клинике Лемерсье, Тонон, Французская Швейцария, но сердце функционировало только на тононской аппаратуре, к которой из Кировограда пришлось проложить кабели, так что, лежа у себя дома, Грибашук отчасти был как бы и в Швейцарии, потому что к кабелям был прикован. Еще и в связи с острой дисфункцией практически всех известных европейской медицине систем организма, а также и на почве острых расстройств систем “рлунг”, “мкхрис” и

“бад-кан”, известных медицине Тибета. Так что был тов. Грибашук О. О. попросту лишен возможности исполнять в активной степени обязанности первого секретаря кировоградского обкома. Однако же отстранить его от таких обязанностей никто не решался, ибо, в момент очередного клинического кризиса, почти столь же мертвый, но тогда еще чуть-чуть живой вождь буркнул референтам: “Оставьте все как есть, все одно никто работать не хочет, один я за всех лямку тяну”, – был тогда оставлен на исконном посту и тов. Грибашук О. О., несмотря на полную неконтактность и отсутствие просветлений. Ну ходили к нему в реанимацию посетители, но, просидевши полтора часа в приемной, считали, что просьбы их удовлетворены, или отклонены, каждому по вере его, – уходили, а потом рассказывали об очень большой занятости удельного вождя. А вождь уже полтора года лежал в коматозном виде, и ни гу-гу. А кому было нужно его гу-гу, когда и так все каждого звука боялись: того гляди где кого поменяют, где кого переставят, оглянуться не успеешь, как из второго заместителя по культмассовой работе окажешься третьим заместителем по озеленительной части, а это ж совсем, согласитесь, другие пироги, в озеленение кому ж охота. Но тут приключилась беда несметная, главный вождь все-таки помер и был захоронен в озеленение под кирпичным забором с зубчиками, и по всей стране прокатилась волна собраний и митингов. В том числе обкомовских, на которых личное неприсутствие могло, не дай Господи, напомнить кому, что такое шаг в сторону и как его вообще-то рассматривают, вообще-то – как побег, а тогда – здравствуй, озеленение, или, хуже того, полное позеленение. Хочешь не хочешь, но в кировоградских эмпиреях встал ребром вопрос: есть Грибашук или нет его. Если есть – то пусть придет на митинг. Живой или мертвый. Если придет, даже мертвый – ладно, хороший он работник, настоящий коммунист. Не придет – стало быть, позеленение. Шаг в сторону, прыжок вверх. Нечего чикаться. Другого пришлют. Незаменимых нет, известное дело.

И тогда Грибашук встал. О песнь торжествующей реанимации! В четыре часа пополудни, по киевскому времени, за несколько секунд до открытия траурного митинга, в кулисах городского театра произошло явление его брэнной плоти, даже не поддерживаемой никем из числа свиты. Только врачи, на свой страх и риск пробудившие обкомовского вождя, вынудившие его из покойно плававшей в глицерине капсулы, мелко дрожали в коленках; легкими толчками в спину они дали ему старт, запустили на председательский стул, где ему, во имя мира и спокойствия всех, кому дорог свой стул, предстояло просидеть не менее тридцати минут. И Грибашук высидел на своем посту все назначенное время. Совершив мягкую посадку, он смотрел в зал осмысленными глазами, хмурил все еще модные брови, давал хриплые односложные ответы и вертел специально данный ему для верчения и придания жизненности образу карандаш. Через полчаса, когда основные скорбные литавры отбряцали, второй зам объявил десятиминутный перерыв. После перерыва стул председателя уже пустовал: реанимационная, мигая синими лампами, мчала остатки брэнной плоти председателя-секретаря назад, в капсулу, в глицерин. Поистине велики чудеса современной европейской медицины. Древняя тибетская такого никогда

бы не сделала, она бы человеку спокойно умереть дала. К делу Романовых вся эта история имела только то отношение, что, благодаря счастливому запуску, мягкой посадке и удачной отсидке, его подпись имела право и в дальнейшем появляться под всяческой ксивой, бойко фабрикуемой в институте Форбса. Во всяком случае, господин медиум Ямагути встретился в загробном мире с возвратившимся из командировки в юдоль мирских скорбей духом кировоградского вождя и от всего сердца поблагодарил за оказанную услугу. Он-то во всей этой истории в буквальном смысле был ни жив ни мертв. Как странно складываются узоры троп и судеб, свиваясь из разноцветных ниток в пестрые шнурки, лежащие в уток и основу для драгоценной ткани жакард, годной для обивки любого трона! В эти дни впервые за несколько столетий затеяли наследники византийских императоров спор, столь же бесполезный, как спор Казбека и Шат-горы у поэта Лермонтова: у кого больше прав из них поменять полумесяц на Святой Софии в Константинополе на крест и занять там священный трон. Что дело сие плохо выполнимо – о том никто не задумывался, ведь хотят же в России, в Третьем Риме, посадить на престол кого-то из Романовых, династии из числа Кобыловичей, то бишь потомков Андрея Кобылы, либо уж из предыдущих, немосковских Рюриковичей, кто их там разберет, которые законнее. Справедливо полагая, что Второй Рим, Константинополь, как-никак древнее, а значит, главнее третьего, потомки последнего византийского императора Константина Палеолога с поздним номером предъявили права на Москву. Однако утративший трон Константин был представителем династии, захватившей престол двумя сотнями лет ранее, ослепив законного наследника престола Иоанна Ласкариса, что лишило того прав на царствование. С точки зрения семьи Ласкари, ныне процветающей в Италии, Палеологи были всего лишь ворами! Летели в стороны бутылки и бокалы со столов в отдельном кабинете ресторана «Доминик», что в княжестве Триестца на полуострове Истрия и все менее было на земле покоя, – лишь в одном сходились Палеологи с Ласкарисами – в том, что никакие Кобыловичи не имеют столь законных прав на престол в Третьем Риме, какие имеют на него династии Рима Второго, пока не заявили о себе законные наследники православных монархов Рима Первого.

Сколько же всего на свете! Так ведь до бесконечности бы можно перечислять все интересные и значительные, достойные, стало быть, упоминания события, случившиеся в разных концах света в переходные для российской Великой Реставрации дни. Однако же предлагаемая хроника отнюдь не резиновая, всего в нее не уместишь, ежели не связано оно непосредственным образом с главной нашей темой и главными нашими героями. Среди последних, кстати, чем дальше вступала в Северном полушарии в свои права весна, а за нею и ранее в этом году лето, тем больше становилось Романовых, – а ведь еще в 1918 году заинтересованные лица полагали, что извели всех этих гадов под корень, упустили только с десяток полудохлых великих князей, а они не в счет. Но то было на том, давно миновавшем этапе истории, когда морение Романовых представлялось ступенью сияющей лестницы, ведущей к такому всемирному кайфу, что и помышлять о нем прежде времени кощунственно. Теперь же, когда

история свой дурацкий виток завершила, когда она предъявила новые требования, оказалось, что разведение Романовых, – точнее, изыскание их, подобно поискам грибов в сыроватом подлеске, занятие даже не особо хлопотное, надо лишь прислеживать, чтобы перебора в лукошке не получалось, ну, и гнилых-червивых тоже не брать. Однако же к июлю, кажется, лукошко укомплектовалось свыше всякой меры. Как только вступил в права еврейский месяц таммуз, и одновременно то же самое сделал священный исламский месяц рамадан, и подошел Мефодий Перепелятник, и паук стал плести паутину, предсказывая, что погода должна перемениться к лучшему, ситуация изменилась.

Новый вождь, лидер, премьер и еще кто-то там в одном лице, лежал в больнице. Зачем он в ней лежал – трудно сказать. Что на личной квартире, что на любой из дач, что в этой кунцевской больнице – везде одно и то же: аппарат “искусственные легкие”, без которого премьер не мог дышать уже тогда, когда был почти рядовым советским министром Заобским; аппарат был всюду один, шведской фирмы “Маке”. Без этого аппарата вождь даже в сортире рисковал оказаться лишним человеком, не в одном только Советском Союзе. Врачи, само собой, тоже везде были одни и те же, и уход был везде одинаковый, то есть первоклассный, и толку везде от всего этого было одинаково, то есть никакого толку, как нет никакого толку в том, чтобы тридцать лет рваться к власти и дорваться до нее в семьдесят восемь лет, не имея ни легких, ни почек, ни печени, когда почти здоровым неизвестно почему остается одно лишь пламенное сердце, – всего один инфаркт был до сих пор, бумажку ненужную прочел, переволновался, – да еще голова со знанием китайского языка, оставшаяся от прежней шпионской, то есть дипломатической деятельности. Куда уж тут проводить массовые реформы, которых Заобский жаждал так страстно. Он, впрочем, все порывался их предпринять, следуя примеру другого вождя, менее живого, зато более мертвого, – о, какое это иной раз завидное преимущество! – но добился лишь того, что у лиц мужского пола с волосами выше средней длины стали в Москве проверять документы по три раза в день и не меньше, – а для того ли Заобский шел к власти? Он инкогнито посещал театры и музеи, – об этом сообщали газеты задним числом, – отвечал на одиночные вопросы безымянного корреспондента центральной газеты и даже мог дать интервью без бумажки, если, конечно, давать лежа, голова у него варила как надо, жаль, опять-таки, что ничего другого, годного к механизму власти, кроме этой своей лежачей головы, Заобский не уберег, в яичных желтках не купался никогда, когда прежде имело бы смысл, то не догадывался, а теперь поди искупайся со всей аппаратурой. В прежние времена столь дохлого владыку свергла бы первая же боярская клика – одним тыком мизинца. В нынешние времена, увы, именно какой-то такой клике был обязан Илья Заобский быстробегущими мгновениями всероссийского и даже всесоюзного властвования. Он знал, что клика эта собирается после его смерти подгрести власть под себя, а во главе страны поставить что-то совсем нелепое, царя-коммуниста, что ли, но это должно было случиться в будущем, очень плохо предвидимом из-за отсутствия предиктора, ибо В. И. Абрикосов скончался в

ночь на десятое мая, не выдержав грохота победного салюта над столицей. Заобский отлично понимал, что лично ему боярская клика сама по себе не угрожает, она даст ему дожить спокойно, если, конечно, он не очень заживется – если он сам против нее не поперет. Но куда уж... Впрочем, попереть против кого-нибудь Заобскому ужасно хотелось. Попытался он, разнообразия ради, посворачивать головенки врагам этой самой “боярской клики”, но получилась чепуха: единственным врагом у “бояр” оказался “картофельный маршал”, так за гулю на морде Заобский звал его давно даже в лицо, но именно с Дуликовым, как лопотало западное радио, и была “сила”. Надо полагать, сила советской армии. Заобский горько усмехнулся. Знал он цену этой самой армии, в которой из-за одного только национального вопроса еженощно казарма-другая в стране обязательно погибает, и все одним способом: обидится часовой-азиат, что его чуркой, либо, хуже того, чукчей обозвали, возьмет “толстопятова” и прошьет свинцом всех, кто сны про баб залег смотреть, наказывай его потом высшей мерой, – а то русский обидится, что его с чукчами служить заставили, возьмет все того же “толстопятова”, и опять же – всю казарму, да еще потом объявит все обороной по уставу, хороша армия, которую в юголежащую страну-галошу ни ввести нельзя, ни вывести из нее, введешь часть, так половина тут же дезертирует, другую половину душманы освежают и на воротах развесят шкуры, хороша эта армия, две недели пьяные Кимры на работу выставить не могла! Ничего себе сила. Так что если и стоит за Дуликовым сила – то другая какая-нибудь, не эта. Сила сейчас есть единственная, нечистая – так твердо верил атеист Заобский – и она-то не за маршалом, она за боярской кликой. А за Дуликовым – разве только начштаба его, замечательный старик Докуков, жаль только, что он рехнулся, а ведь какой наркомвоенмор когда-то был! – вспомнил Заобский легенды своей ранней юности. Но тем не менее пожить еще новый премьер собирался. Ну пусть год, а то даже два, может быть, даже три года обломится, нытиком оставаться в истории нельзя, пусть помнят потомки, что был ты не манная каша с бровями, а личность волевая, горбоносая, любимый твой язык древнееврейский, ты на нем на ночь “Протоколы сионских мудрецов” каждый вечер читал!.. Заобский даже майскую демонстрацию принял лично, жаль только, что на мавзолей взойти не смог, его внесли, аккуратно, но западные гады, конечно, заметили. Но рукой-то махал собственной! И нового гренландского посла тоже сам принял, и говорил с ним по-английски, с китайским, правда, акцентом, но пусть и так – на западе публика больше испугается. Премьер подумал, что нужно распусть слух, что он по сей день коллекционирует произведения беспартийных художников, и “Молот ведьм” с утра до ночи зубрит, значит, акцию какую-нибудь готовит... На самом деле он читать, правда, уже не мог, годы не те, мозги не те, охоты и времени тоже нет, но – ужо страху нагоню! И пусть вообще не очень-то заносятся... Мысль покинула Заобского, он совершенно бессильно заскреб пальцами, нащупывая несуществующий звонок, чтобы позвать врача – звонка не было потому, что весь вождь и так был обмотан датчиками, и на их неслышный постороннему уху зов уже мчались медицинские светила из дежурки.

Обреченному премьеру было дурно из-за ползущей на Москву с запада грозы.

Наползали на столицу, помимо грозы, еще и грозные слухи, а также и многочисленные Романовы. Боярская клика на всякий случай свозила сюда всех, кого могла. Помимо прочно оформленного пропиской на Кутузовском проспекте Павла, его жены Кати, которой Павел отказывался дать аудиенцию наотрез, с первых же минут, когда стало известно, что она привезена, помимо отысканной в дебрях Икарии давней любовницы Павла Алевтины и его незаконного сына Ивана, помимо них следовало в ближайшее время ждать появления в Москве и всех прочих представителей “старшего клана”, да про запас и косвенных родственников, да на всякий случай и однофамильцев. Ведал их выявлением дуумвират из полковника Аракеляна, впрочем, основное время проводившего на кухне, и прибавленного к нему в качестве рокового заместителя подполковника Дмитрия Сухоплещенко. Последний шел в гору с невиданной скоростью, но проклятием жизни для Аракеляна – как сам Аракелян когда-то для Углова – стать не мог и вообще волновал Игоря Мовсесовича мало, готовить не умел вовсе, только бутербродное дело при Шелковникове постиг неплохо, но на нем на одном разе удержишься? Сам полковник в последнее время поуспокоился, освоил целый ряд блюд, причем из совершенно новой экономической области – из области диких трав. В смысле грядущей спартанской экономии на госаппарате, на которую ему намекнул свояк, такие блюда могли сильно продвинуть его карьеру, если, конечно, будут и прожорливым Георгием одобрены, и экономным Павлом. Полковник яростно экспериментировал и уже достиг серьезных успехов. В число фирменных блюд теперь входили щи зеленые из лапчатки гусиной, и другие щи, из осота с крапивой, и суп холодный из сныти, очень по жаркому времени года приятный, и студень из исландского мха, и запеканка из корней пырея ползучего, и деликатная каша из клубней стрелолиста, и дивная маринованная приправа из калужницы болотной, и недурные цукаты из дудника, и довольно трудный в приготовлении напиток из цветов коровяка, и особенно – совершенно фантастическая кюфта по-бенгальски из зопника, породившая в Шелковникове приступ неукротимого обжорства и вызвавшая требование “подавать ее всегда сразу после долмы”. Так что времени на исполнение основных обязанностей – хотя никто этого исполнения от полковника не требовал и, главное, не ждал – у Аракеляна просто не оставалось. Сын Ромео дал о себе знать: чтоб не смели искать, не то хуже будет, домой он придет, когда захочет, – поскольку передал он эту новость даже не отцу, а деду, то можно было не тревожиться. Второй сын, Тима, получил свое причитающееся за попугайное дело и в порядке не столько наказания, сколько повышения квалификации обязан был все тексты, на Пушишу записанные, расшифровать, оформить в машинописи, перевести на армянский и снова на Пушишу записать. Тимон по-армянски знал три буквы и «маман кунем», причем за последнее регулярно получал от отца по шее, так что работы ему должно было теперь хватить надолго. Третий сын, Зарик, он же Цезарь, умело помогал отцу по кухне, экспериментировал с дальневосточными стеблями орляка, он же, в общем-то, папоротник, и уже готовил что-то вполне съедобное, однако даже из папоротника у него все время выходила бастурма да бастурма – далась она ему! Ну хорошо он ее жарит, слов нет, но не за тем,



наверное, зопник существует, чтоб лишать его исконного благородства? Хочешь бастурму жарить – пожалуйста, хоть целое стадо барашков бери, но не зопник, его мало!.. Четвертый сын, Горик, был еще мал для серьезных дел и в жизни семейства участвовал не особенно. Дед Эдуард торговал попугаями. Наталья пила чай с сухариками и худела.

Сухоплещенко тем временем вкалывал как проклятый. Мало тех обязанностей, что были упомянуты выше; мало исполняемой все более и более спустя рукава обязанности информировать “картофельного маршала”, погрязшего в дрессировке войск, постепенно стягиваемых им на какой-то валдайский плацдарм, – но навесил на него толстый шеф еще и свои собственные обязанности, заставил работать и.о. председателя комиссии плана новейшей монументальной пропаганды: новая власть требовала новых памятников уже в переходный период. Пусть пока еще все было по-старому, ни в одном сельсовете рядом с портретом генерального секретаря не висел еще портрет венценосца, – вообще-то, вешать будут не рядом, а сверху, но это очень потом, – ни в одном календаре тридцать первое мая – день рождения императора – не было пропечатано красным цветом как выходной день, и нечего указывать, что в этом году оно красным все-таки было, ибо на него попало воскресенье; вообще неясно было, что именно переменится в России от того, что монархия придет на помощь прогнившему социализму, а точнее – социализм просто дойдет до своей высшей стадии, сокровенно предсказанной классиками учения, – но именно о памятниках полагалось думать заранее, в два счета их не отольешь, если, конечно, не лепить чернуху из гипса, как в восемнадцатом году. Сухоплещенко присутствовал при разговоре Шелковникова с Павлом на эту тему. Павел долго и недоуменно смотрел на генерала, и тот решил, что экономный император опять против разбазаривания народной казны, даже решил пойти на попятный, сказал: “Но, конечно, мы страна небогатая, бедная даже...” Глаза Павла вдруг вспыхнули невиданным прежде огнем: “Мы бедные, но мы не нищие!” Все присутствующие поняли, что фраза эта брошена прямо в историю, и разговор перешел к следующему вопросу, а Сухоплещенко получил немалые средства в твердой валюте на бронзу, гранит, лабрадор, порфир и попутные расходы и, таким образом, существенную возможность запустить умелую лапу в казну. Подполковник очень нуждался в средствах, хотя антиквариат последнее время подешевел, но именно поэтому было самое время его покупать, покупать. Списков на памятники Сухоплещенко составил два: первую очередь и вторую. Во главу первого поставил памятник лично Заобскому и с помощью Шелковникова завизировал оба списка у генсека, дальше первой строчки тот, естественно, читать не стал, да и вообще был человеком умным и понимал, что сам до сих пор жив лишь потому, что ничего-то у боярской клики по-настоящему не готово: ни идеологические труды, ни ритуал коронации, ни мундиры, ни припасы к народному гулянию, есть у них пока что только добротный император, а больше пока что ничего. Памятник Заобскому заказали немедленно, без конкурса, заказали президенту Академии художеств, благо тот был как раз скульптором-монументалистом и грузином московского разлива, и уже лежал в реанимации. Так что либо поспеет академик

с памятником как раз к кончине премьера, тогда посмотрим, либо загнется сам и тогда другого в реанимации найдем и тоже посмотрим, либо премьер помрет раньше и тогда мы насчет того, нужен ли ему памятник, обязательно, со всей пристальностью, посмотрим, посмотрим.

Список, по крайней мере первый, составил для комиссии человек образованный, отдыхающий после допиленного “Илитша в Ламанче” икарийский татарин, автор песни “Тужурка”. Следующего Иллидша Шелковников отменил, сказал, семь романов довольно, героя менять будем. Мустафа не возражал, мелкие поручения – вроде составления списков “кому-бы-памятник” – выполнял шутя, опираясь отчасти на свою эрудицию, отчасти просто на фантазию. Во-первых, значит, Заобский – впрок. Но с немалым обалдением прочел подполковник имя и фамилию человека, которому надлежало ставить сразу два памятника, в Москве и на родине. Человека этого звали Николай Ульянов, и был он дедом вождя. А что? Отцу уже два памятника есть, значит, и деду не меньше двух. Между Павлом и боярской кликой вопрос о точке зрения на самого вождя-основателя был решен с первых дней, – это, значит, основатель-герой, свергший династию младших узурпаторов, – оно и просто, и никто не в обиде. Родиной Николая Ульянова, зачинателя и основателя портняжного дела и всех иных портняжных промыслов на юге России, на Кубани, в Калмыкии, оказалась Астрахань. “Подлый татарин!” – подумал про себя Сухоплещенко с немалым уважением. Сухоплещенко вопрос о памятнике этому типу в Москве покамест замял на всякий случай, когда надо будет, то хоть посредине Кремля дедом внука заменим, – а вот с памятником в Астрахани вопрос пришлось форсировать, а главное же – чтобы и памятник там был, с одной стороны, поставлен, но, с другой стороны, и не мозолил глаза. Подполковник слетал в Астрахань и нашел решение: надо сделать так, чтобы памятник там, с одной стороны, был, с другой – чтобы его как бы почти не было. Памятник он решил воздвигнуть не обычный, а прямо для книги Гиннеса – подводный. В глубинах реки Кутум, что значит “сазан”, где прежде воблой торговали, теперь, ясно, не торгуют, река есть, а воблы нет, воздвигся монумент в полный рост, как знак любви Николая Ульянова к родному краю, ну и как способ объяснить, почему тут больше воблой не торгуют – неудобно все-таки торговать над головой у предка вождя. Проекты памятника должны еще проходить конкурсы, раньше чем через год справиться с этим делом Сухоплещенко не надеялся, но был уверен, что уж подводный-то памятник никому не помешает. Однако выявил он у местных краеведов гадкую информацию, что Николай Ульянов был, по имеющимся точным свидетельствам, гером. Как и многие другие астраханцы, подполковник этого слова не знал, с сомнением сказал, что проверит, но, возвратившись в Москву, битых два дня пытался узнать, что это слово значит, а когда узнал – даже похолодел. Оказались это вполне русские люди, эти геры, однако же перешедшие в иудаизм. Таковых в СССР нынче почти уже не оставалось, все в Израиль когда еще умотали, только под Новгородом имелся колхоз в три деревни, тот желал ехать весь целиком и потому подзадержался, но с колхозом мы потом разберемся, выслать или просто послать подальше. То ли был этот

Николашка самоявленным евреем, то ли нет, но слава Богу, что хрен татарский не удружил ставить памятников родственникам героя по материнской линии, иди там доказывай, что Израиль Бланк был за полвека до рождения героя крещен, что все у него путем, даже дочь его звали не Малка, а и в самом деле Мария, и что предпринимателем был этот Бланк хорошим, богатым, способствовал чему-то там, ядри его в корень, словом, предков у русского человека набиралась полная синагога. А докажи потом.

Дальше в списке был обозначен человек, само имя которого было прочитать без поллитры невозможно, Сухоплещенко прочел его по одной букве и все равно произнести не смог: Швайпольт Фиоль. Подполковник потрянул за вымя двух-трех академиков, и узнал, что имя такое носил за всю историю только один человек, русский, – ох, вовсе не русский! – первопечатник, тискавший первые русские книги, оказывается, западным своим станком эдак за полвека до Ивана Федорова, – про того Сухоплещенко помнил, как-никак ему памятник против служебного кабинета кто-то уже поставил. Подлый татарин не упустил, конечно, случая вставить русскому народу перо в одно место: первопечатник был у вас, господа россияне, из немцев, так извольте увековечить.

Сухоплещенко, чистокровный хохол, внутренне это дело одобрил, кацапов-москалей он сильно не любил, но местом установки памятника все же определил в Москве Госпитальную площадь, центр бывшей Немецкой слободы. На всякий случай. Там раньше, кажется, памятник Бисмарку стоял.

Из памятников не людям, а событиям, идеям, субстратам, субстанциям и субститутам в качестве первого пункта значился вписанный тяжким почерком Г. Д. Шелковникова Памятник Неизвестному Танку, который надлежало воздвигнуть на сто первом километре Минского шоссе в виде колонны в сто один метр высотой, колонна, конечно, пятигранная, а сверху – настоящий танк, личный проект Г. Д. Шелковникова, потому что генерал решил огрести еще и госпремию по архитектуре и скульптуре, покуда Павел настоящую экономию не навел и деньги на премии есть. Ну, и другие памятники в списке имелись, но всех не перечислишь, не упомнишь, уж давно не поставишь. Стоял, притом колом, вопрос об убиении других памятников, притом оставшиеся пьедесталы предполагалось использовать по назначению и усмотрению, пользуясь примерами: хорошо известной судьбой памятников Александру III в Феодосии и Трехсотлетию Дома Романовых в Вологде. В первую голову надлежало выяснить: где и какие по сей день сохранились памятники узурпаторам, членам “младшей ветви” Дома Романовых. С удивлением Сухоплещенко узнал, что таковых памятников имеется... полтора, один на площади, другой во дворе, оба очень ценные. “Половинкой” посчитал Сухоплещенко памятник Александру III работы Паоло Трубецкого, завезенный во двор Русского музея в Петербурге, убирать его оттуда не имело смысла, ибо на его место нечего было поставить, да и на экспорт еще могло пригодиться. Памятник же Николаю I в том же Петербурге, оказывается, стоял на двух копытах. Ввиду чрезвычайной ценности копыт этому памятнику выдал охранную грамоту кто-то из перво-главных советских вождей, и полковник решил с этой штуковиной пока не связываться: в копытах много ли корысти. Снимать – потом. Новые ставить надо. И темные

вопросы решать. Вот стоит, скажем, на Воробьевых горах булыжник уже тридцать лет, а на нем написано, что тут будет памятник советско-китайской дружбе. С ним-то что делать: вдруг опять дружба будет, тогда чего ей, как покойнице, монумент клепать, а если же не будет, тогда по какой статье монумент этой покойнице оформлять, не одобряет Павел, если где лишние деньги тратятся!

Но вот про второй список, никем не утвержденный и оставленный целиком на подполковникову смекалку, страшно было даже думать. Это был список памятников членам семьи дома Старших Романовых, а также – даже в первую очередь – героям Реконструкции, как Шелковников и Павел, посоветовавшись, решили именовать Реставрацию, иначе говоря – водворение Павла на всесоюзный престол. Где их взять, героев этих? Ну где, уязви зараза вас в поджелудочную?..

Однако Сухоплещенко работать не только любил, но и умел. Трое суток он усиленно беседовал со всеми, кто имел хоть какое-то отношение к событиям последнего года; он выискивал хоть кого-нибудь, кто пострадал, а лучше – погиб за дело Реконструкции. В крайнем случае подполковник мог выбрать кого-нибудь из членов августейшей семьи, кто недавно загнулся, его-то мучеником и объявить, – ну в самом крайнем случае и загнуть ведь кого не то не особо трудно, а там доказывай. Отец императора явно не годился, ему все равно памятник полагался. Из косвенных родственников умер у Павла только один, но был он, как назло, еврей, да и вообще седьмая вода на киселе. Так что не годился. Тогда Сухоплещенко наскоро улетел в Свердловск и, перебирая человека за человеком, папочку за папочкой, добрался и до краткого дела о смерти гражданина Керзона С. А., последовавшей в винном магазине № 231 Свердловского облпищеторга прошлой зимой. Заодно в том же деле лежал рапорт “скорой помощи” с жалобой на работу этого винного магазина, где смертных случаев не оберешься, с просьбой послать туда спецкомиссию: “скорая” такого рассадника смертности терпеть не может. Отчего это непьющий дядя-еврей помер в винном магазине, – а то, что Керзон был непьющим, Сухоплещенко установил мгновенно. Впрочем, конечно, дотошный хохол понимал, что цепляется за соломинку в чужом глазу. Но, на его утопающее счастье, соломинка в считанные мгновения обернулась спасительным бревном; на стол к хохлу лег давний рапорт врача “скорой” о смерти в результате несчастного, возможно, случая, работника магазина № 231 Петрова Петра Вениаминовича. Предсмертный вопль Петрова: “Да я за Романовых хошь кого пырну! Хошь куда!” – засвидетельствовали два десятка свидетелей, лишь бы отбояриться от следствия, доказать, что погиб Петя Петров по собственной глупой вине, в этом истина и нечего чикаться посмертно, скорей бы магазин открыли и бутылку дали, ну, и лишь бы дела не завели. Сухоплещенко просто физически ощутил, как у него на плечах отрастает третья, полковничья, коньячная звездочка. А ну подать сюда свидетелей этих! Дело Петра Вениаминовича Петрова подать! Эксгумировать!.. Через сутки весь недружный коллектив магазина № 231 с дополнениями был целиком вывезен в Москву; властью, данной подполковнику новым правительством, всю эту пьянь

пришлось расквартировать на собственной даче, впрочем, только что полученной в дар от Ивистала, чтобы доносил ретивее. Дачу подполковник взял, но сам селиться на ней не рискнул. Очень к месту пришлось нынче эти свердловские хреновья: поди высели их оттуда, покуда сам не захочу, использую для прямых служебных целей, поди дачу эту у меня отбери, покуда они там живут. Повысил забор, поставил охрану. Родным городом П. Петрова оказалась какая-то Старая Грешня, где-то это название Сухоплещенко уже слышал. Там-то и надлежало ставить Петрову памятник, первому из героев Реконструкции. Пока что Сухоплещенко поиски других героев отложил, бронзы не напасешься, на одном-то герое спасибо, – и вернулся к обязанностям квартирмейстера при быстро умножающихся Романовых.

Таковых, по мере выявления и доставки в Москву, надлежало делить на два сорта: одних “задачивать”, то бишь прятать на дальние дачи до востребования, либо “держатъ особняком”, то бишь вселять в старинные московские особняки, чтобы вселенные были все время под рукой. Ко второй категории сразу была отнесена Катя Романова, невенчанная жена императора, с которой тот не хотел знаться. Родственников эта Катя имела, но не ближе двоюродных и троюродных теток в немецкой глуши на Алтае, все какие-то сектанты из восемнадцатого века, ну еще имелась престарелая бабушка, не понимающая по-русски ни слова, хотя владеющая секретом – как делать восхитительное сливочное масло, лучше вологодского; что-то смутно предчувствуя в своей судьбе, Сухоплещенко бабулю с Алтая выдернул и глубоко, комфортно задал. Мужского потомства в роду Бахманов не оставалось вовсе, – может, куда как лучше: такого изумительного по сиротскости семейства могло в другой раз и не отыскаться, в смысле грядущих отношений с Великой Германией Катю стоило побережь, а Павел открытой неприязни к ней все-таки не выражал, ну не хочет восходить к ней на ложе, значит, полагает, что не царское это дело. Может, суть в том, что она у него невенчанная, вероисповедания вовсе непонятного, то ли крещеная, то ли нет, сама не помнит, а покойный отец вероисповедание менял трижды.

Содержанию особняком подлежал также и явленный ныне миру сношарь Лука Пантелеевич Радищев, он же Никита Алексеевич Романов, узнав о котором, ахнул даже Шелковников: такой персонаж вверенная ему организация прохлопала! Ведь его еще шестьдесят лет назад следовало на сорок тысяч кусочков разрезать и каждый расстрелять по отдельности! Но теперь было стрелять не только поздно, но очень даже слава Богу, что поздно. Получив с помощью болгарских товарищей очень убогое, но хоть какое-то досье на сношаря, Шелковников и все ведомство сделали вид, будто охраняли деревню Нижнеблагодатское все шестьдесят лет неусыпно, бережа для будущего разведения. Одно оказалось плохо: в Москву, на грядущую после конечного инфарктирования вождя коронацию, князь Никита желал ехать не иначе, как всей семьей. А это восемьсот, почитай, дворов. Да еще из соседних деревень набегит народ с доказательствами. Где их разместить? Идею подал опять-таки Сухоплещенко, и она так понравилась генералу, что он чуть не ляпнул прежде времени подполковнику следующую звездочку на погоны, но опамятовался, решил подождать до коронации. Сухоплещенко предложил, чтобы князь

Никита, как доподлинный Романов, был вселен в свой родовой дом, то бишь в дом бояр Романовых на Варварке. Там какой-то музей фиговый вткнул, выкинуть его оттуда в двадцать четыре минуты, оборудовать великому князю покои такие, какие он предпочитает. А деревню – что ж, под самым боком есть гостиница на пять тысяч мест, название у нее хорошее – “Россия”, даже ближе она будет к сношареву дому, чем в Нижнеблагодатском. Чай, уместятся. И иностранцев уместим, сделаем их перемещенными лицами. Приглашение великому князю заготовили, но пока не отсылали: переоборудование дома бояр Романовых в Дом Старейшего Сношаря, да и устройство гостиницы – все это требовало некоторого времени.

Долго решал Сухоплещенко швырнутый на его усмотрение вопрос: давнюю пассию Павла Алевтину, ее как, задачить либо держать особняком? И вместе с потомством или без? Подполковник изучил ее немудреную биографию керченского посла. А приходилось ей не то чтоб солоно, но во всяком случае не сладко. До последнего времени она работала экономистом в рыбном ресторане “Бригантина”, замужем не была никогда по причине очень уж мымровой внешности, и в соложницы будущего императора попала не то по армейской оголодалости бойца, не то им брома там в харчи недолили, – неужто и бромом можно спекулировать? – не то Павел ухитрялся питаться на стороне, однако сожителство их, длившееся три месяца, не отразилось бы никак и ни на чем, да вот только девятиклассник Ваня, – увы, обязательные на Украине экзамены за девятый класс, а Икарция все еще числилась Украиной, – сдать парню не дали – имя носил выразительное – Иван Павлович. Поглядев на него в натуре, последние сомнения в происхождении Сухоплещенко отбросил; взяв все дурное из внешности отца, мальчик добавил к этому еще и все дурное из внешности матери. То же, кажется, имело место и в смысле характера, только вот бездельником Павла было назвать нельзя, а отпрыск был бездельником, что называется, от Бога. Вопрос отцовства, если бы захотел Павел, можно было бы оспорить в два счета, но одного взгляда на Алю было достаточно, чтобы убедиться: конкурентов у Павла здесь, похоже, не было, Керчь все-таки не Колыма и не антарктическая экспедиция, а в Антарктиду эта баба, насколько известно, не ездила. Кроме того, император и не думал отрицать сынка, факт есть факт, был императору не в укор. Наконец, наследник все ж таки, какой-никакой, на черный день, об этом тоже думать надо. Сухоплещенко рассудил, что держать эту пару особняком, когда в Москве один особняк уже заполнен Катей, рискованно и решил задачить Алю с Иваном подале. Аля была не очень удивлена, когда ее вежливо выгребли из ресторана среди бела дня, сунули вместе с выдернутым с шестого урока сыном в самолет и уволокли в столицу, которой она сроду не видала и видать не имела хотения; бросившего ее Павла, как и всех других мужиков, она считала скотом, она и всех других подлецами считала, которые ее бросили, а было их намного больше, чем мог предположить даже тертый калач Сухоплещенко. Но все же смягчилась, обнаружив себя на многокомнатной даче неведомо где; о том же, что с территории дачи ей выходить не дозволено, узнала не скоро, потому что дача занимала чуть не двести гектаров. Бездельник Ванька же оказался весь в отца: принял все как

должное, обнаружил на угодьях конюшню с парой отличных кобыл и потребовал, чтоб разрешили кататься. Позвонили Сухоплещенко, к вечеру из Москвы прибыл учитель верховой езды. Так что вопрос о том, чем занимать наследника, решился сам по себе. Сухоплещенко приказал быстро и псарню на этой даче завести, и соколиную охоту, и компьютерные игры, а девочек пока рано. На размышления о таких мелочах Сухоплещенко теперь головы не тратил, у него у самого теперь заместитель был, лейтенант Половецкий, из театральной, говорят, семьи, шеф назначил. Пусть его. Думает вроде ничего, только педераст очень уж явный. Но Сухоплещенко такие качества в людях ценил: держать в руках проще.

Совсем неясной оставалась линия сестры Павла – Софьи. Сама она куда-то делась, из Москвы как будто упорхнула, в Свердловск никоим образом не припорхнула. Совершенно также неизвестно, куда исчез ее незаконный сын Гелий Ковальский, перед самой кончиной прежнего вождя зачем-то освобожденный из Тувлага, где отбывал небольшой срок за малолетнее рецидивное воровство, отягченное пассивными действиями. Незаконный папаша Гелия оказался и вовсе за пределами досягаемости для Сухоплещенко, он попросту умер. Законный муж Софьи, Виктор Пантелеймонович Глущенко, напротив, оказался вполне досягаем. Его – единственного из всей этой линии – случайно поймали в буфете на Ярославском вокзале в Москве, так и не выяснили, откуда он тут взялся, но из коматозного состояния вывели, отвезли на максимально дальнюю дачу – в Мордовию – с чудесным, еще от сороковых годов оставшимся забором, приставили врача с водкой и пока что отправили в забвение. Однако порядка ради пошуровал Сухоплещенко и в биографии Виктора, выяснил, что женат он второй раз, что первая его жена-конькобежка погибла в знаменитой авиакатастрофе, когда советской ракетой по ошибке был сбит близ Свердловска советский же Ту-104, в котором погибла вся советская конькобежная школа в конце пятидесятых годов, и здесь усмотрел некое неприятное напоминание: в том же самом самолете погибла и жена его второго шефа, маршала. Это было неприятным напоминанием о необходимости служить обоим господам. Сухоплещенко вздохнул и сел сочинять сгрехомпополамный доклад маршалу и от огорчения не разработал до конца линию Глущенко, а в результате прозевал само существование Всеволода, который уже изучил каждый кирпич в стенах Староконюшенного особняка, с истинно лагерным терпением оставаясь незримым для мусоров что в форме, что без. Доберись до него Сухоплещенко вовремя, отправь на далекую дачу – кто знает, как сложилась бы судьба России дальше. Но Сухоплещенко все-таки должен был хоть что-нибудь доложить маршалу, и Всеволод ушел из его на диво длинных рук.

Зарубежными Романовыми пока никто не занимался. Здешних еще не всех отловили, а лондонская тетка подождет, там наших болгарских друзей полно. Сам Павел под бдительным присмотром вкушал в Староконюшенном покой, кофе, осетрину и радости любви, Тоня находилась при нем безотлучно, зная не зная о том, что Шелковников, опасаясь роста ее влияния на императора, дал указание подобрать ей на всякий случай высококачественную замену.

Сухоплещенко, увы, заняться подбором кандидатки не мог, занимался писаниной, времени не оставалось, так что взял да и схалтурил, доложил, что кандидатуры отобраны, сейчас идет проверка на качество. Так что медовый, уже четвертый в календарном счете месяц у Павла с Тоней ничем омрачен не был. Но сам Шелковников времени не терял, армейский напарник тоже, оба они основательно работали с теоретиками, перетасовывали цитаты из классиков, доказывая неизбежность перехода к социалистической монархии как высочайшей стадии развития общества. Одновременно, конечно, перекладывали во все мыслимые швейцарские и сальварсанские сейфы кое-что про запас, вдруг да и эта стадия общества не высшей окажется. Кто ж его знает, ясновидящего-то нету! Спокойна была только Елена Шелковникова. Но она вообще всегда была спокойна. Начался июль, над Москвой шли летние грозы, столица жила обыкновенной жизнью. Люди жили как люди, а начальники, ну что начальники, им бы только стул понадежней – и каждому его собственный стул, увы, не казался самым лучшим. Но иначе и быть не может. Нигде и никогда.

Но кто-то на свете все-таки пребывал в движении – даже белее непрерывном и неукротимом, чем Сухоплещенко, тот ведь не железный был, даже более неуправляемым, чем Хур Сигурдссон, тот ведь зимовал иной раз, не без этого, – в соблазн вечного движения впал Жан-Морис Рампаль, ныне всемирно известный необъяснимый дириозавр, герой международных переговоров, научно невероятных фильмов и бесконечных анекдотов. Больше всего было про армянское радио и про то, как он туда залетал и там все залетели, но были и про то, как влетает дириозавр в пещеру, и много других, тоже неприличных. Спутник дириозавра, хоть и малоприметный, и науке, и анекдотам был тоже известен. Летающие неразлучники двигались над всей планетой, наслаждаясь неслыханной свободой. Если кто-то порою пытался их обстреливать, дириозавр привычно отлавливал те предметы, коими стреляли, и забрасывал их на орбиту, – получались искусственные спутники, создавая угрозу и советской и американской астронавигации. Вскоре обе державы это заметили и наложили международные санкции на обстрел стального ящера. Соколе везло – он был маленький, в него поди попади, однако не может ведь удача сопутствовать до бесконечности! Бывают и у рыбки-лоцмана свои мелкие несчастья, но ведь акула своего лоцмана любит, она ведь тоже разозлиться может!

В нежаркий зимний день, – дело было в Южном полушарии, – в столице Хулио Спирохета построенный на доброхотные даяния великих держав стадион принимал гостей из многих стран мира, шла всемирная спартакиада по неолимпийским видам спорта – от женского пауэрлифтинга и прыжкам через нарты до скоростного поедания Книги рекордов Гиннеса. Сегодня диктатор на состязания прибыть не изволил, хотя первые дни сидел на трибуне безвылазно, особенно когда Гиннеса ели. Сегодня шли состязания по метанию кувалды среди женщин; злые языки говорили, что диктатор не любит монументальных баб, не то кувалды побаивается, но на самом деле вчера вечером он обожрался президентской, тьфу, диктаторской ухой, с утра прилетал Долметчер и ее варил, деликатно напоминая тем самым, откуда взялось в стране ее нынешнее благосостояние. Старик обожрался так, что теперь болел в лежку. Врачевать его



было некому, он был диктатор и тиран, никому не верил, да и вообще почти все врачи занимались теми, которые давеча ели Гиннеса. А тем временем на стадионе с первой попытки захватила лидерство в метании кувалды юная спортсменка из молодой развивающейся страны Нижняя Зомбия. Прелестная Табата Да Муллонг пленила сердца подданных Спирохета, сразу сложился круг ее тиффозных болельщиков. Она метнула кувалду прямо вверх на высоту сто двадцать три метра и двадцать два с пятой долей сантиметра и уже значительно превысила подобное достижение среди мужчин. Первенство было ей обеспечено; стадион привык изматывать лидера корриды, ревел и требовал нового рекорда. Вторая попытка принесла Табате Да Муллонг, несмотря на переменявшийся ветер и отчего-то потемневший воздух: сто пятьдесят один метр и один с восьмой долей миллиметр. Но на свою беду ополоумевшая публика требовала от чемпионки еще и третьей попытки. Идя на побитие совершенно уже лично ей не нужного рекорда, могучая зомбийка раскрутилась и метнула кувалду в воздушные просторы.

Лучше б уж она не крутилась, лучше б уж ничего не метала и вообще сидела бы в своей Африке. Лучше бы хоть кто-нибудь из зрителей вовремя посмотрел вверх, увидел там величественно, медленно проплывающего дириозавра, но все смотрели только на крутящуюся зомбийку. А дириозавру на спортивные страсти было наплевать, он просто плыл в воздушном океане, в непосредственной близости от его сверкающего брюха плыла и сверкающая бензопила. Табата Да Муллонг отпустила кувалду, глянула ввысь, заорала от восторга, – потом клеветали, что от ужаса, – но все равно было поздно. Тяжкая кувалда, еще хранящая в рукоятке жар девической ладошки, описав сложную дугу, врубилась прямо в лопасть бензопилы “Дружба”, отлетела прочь и не побила рекорда, она упала вдалеке от стадиона, прямо в океан, едва не побила всех участников чемпионата по отливному серфингу. Но она побила и бензопилу, и та стала терять высоту, явно нарушая гармонию мира, может быть, она больше уже не могла летать. Соколя повис в воздухе сам по себе и возвел очи к дириозавру: теперь, без пилы, Соколя мог оказаться недостойным сопровождать Его Совершенство. Лишь микросекунда понадобилась двумозговому ящеру на то, чтобы все понять, осудить виновных и разгневаться, спасти пострадавших и утешить их печали. Из брюха ящера высверкнул лиловый от ярости яйцеклад, перехватил и Соколю, и пилу и зашвырнул в сумку на ремонт, но выметнулся снова, утолщаясь и удлиняясь, приводя в ужас всех тиффозных, наконец-то глянувших в небо. Ящер мстил. Он вознесся над стадионом на высоту в добрый километр, а потом из яйцеклада вырвался огромный, с пятиэтажный дом хрущевской постройки размером, предмет, к тому же загадочной пятигранной формы, с грохотом рухнул на поле спортивных состязаний, чуть ли не целиком его разворотил, усыпал зрителей бетоном и землей, а Табату Да Муллонг так и вовсе поначалу погреб. Спортсменка, к ее чести, восприняла случившееся хладнокровно, быстро и поделовому себя откопала и принялась откапывать своих поклонников. Несмотря на общую панику, кое-кто из корреспондентов успел сделать кадр-другой в хвост улетающему во гнев дириозавру. А сброшенный им предмет оказался

настоящим пятигранным яйцом, дириозавр был все-таки самкой и клал яйца, если нервничал.

В последующие дни его пытались разбить, но не смогли, хотя Спирохет крайне опасался вылупления из него нового дириозавра, двух: не дай Бог, яйцо двухжелтковое. Но, кажется, это все-таки был болтун: чего еще ожидать от одинокой самки. Точно этот вопрос разрешен не был, яйцо не вскрылось, может быть, от отсутствия должного насиживания, а может быть, и вовсе неизвестно почему, – но история о том, как стадион яйцом накрылся, в памяти поколений сохранилась на века.

Стоял все еще июль, и никто на белом свете почти не ждал того, что случилось дальше, в частности, никто не ждал от меня прозы. Подлости от меня ждали многие, да и теперь ждут, но не прозы. Но незадолго до того я не выдержал и приступил к давно задуманному правдивому описанию событий, сопутствовавших логическому перерастанию социализма в его высшую, монархическую фазу. Правда, предикторы ван Леннеп и дю Тойт об этом моем намерении загодя кого надо предупреждали, но поскольку подлости от меня всегда ждали, то именно здесь и заподозрили какой-то дьявольский подвох, но уж никакую не прозу и уж подавно не трилогию о Павле Втором. Ну, им же хуже.

## Павел II День пирایی Часть 11

*Евгений Витковский*

XI

Мы тебе ераплан либо там дерижаб даим, только ты его за границу не угони.  
Борис Шергин. Золоченые лбы

Борьба за культуру выражалась здесь полным отсутствием пепельниц, курили поэтому втихаря, ну, и окурки в результате оставались тоже под столом. Народу было не особенно много, Гаузер с аппетитом закусывал очередные двести грамм тарелкой борща, а профессиональным слухом примечал все, что говорилось в разных концах зала. Подлый Герберт борща принес как нужно быть, много плеснул борща, но плеснул его, гнусняк, в грязную тарелку. Он там других на кухне не нашел, а спросить, скотина грязная, боится, и вообще, все время только за рукав и дергает, гадина, педераст употребленный. Бэ-е.

– Ну, переобул я его так на сто шестьдесят... Где-то так...

– Она же мне вместо спасибо, что отпускаю со свиньей ее паршивой, в морду плюнула. И вроде жвачки никакой не жевала, а слюна у нее такая едкая, жгучая, темно-зеленая оказалась. В правый глаз мне попала, в медпункте промывали потом... Ушла, подлая, а мне неприятности. И в глазах теперь двоится, хотя вот уж неделя скоро...

– Постановление вышло: теперь незванный гость будет считаться лучше татарина!

– Вот как царя назначат, точные сведения есть, сразу коммунизм только и

будет. И денег тогда не будет. Ах ты Господи, опять не будет, вечно их нет...

– Нет, насчет войны, думаю, ты неправ. Будет. Обязательно. Очень скоро. Какая разница – с кем? Пойдем, пойдем мы с тобой покорять. Что? Что-нибудь пойдем...

– Майонез, значит, в двенадцать раз подорожает, спичек будет по восемь штук в коробке, но обещают, что зажигаться будут. Портвейн по четыре, а хлеб обязательно, из сверхточных источников...

– Ты мне счет неси, я не пообедать вышел, у меня вылет через час двадцать пять, регистрация, помидор терпеть не будет...

– Беспокоит вас, говорит, одна из компетентных организаций. Я его по голосу узнал, я ж честный, не кадришь, говорю, больше двести на родной карман не кладу, верхушки дальше сдаю, ему и звони. Дурень этот возьми да и позвони ему, вот теперь в Кулунде помыкается, мне главный точно обещал...

– Это уж просто ну не знаю что, это уже смертельная жизнь!..

– Во вторник, значит, дежурю: из Грузии две дуры две тысячи роз парнишке такому, в вельвете, за тысячу передали, и к себе. А я ему руку на плечо, интересно познакомиться, говорю. Налей, тошно... А он глядит на меня: да, вот как раз прикупил букет к могиле Неизвестного Солдата. Ну, говорю, бери транспорт, поприсутствую, говорю. Нет, говорит, я привык общественным транспортом, я привык общественно класть. А, падла, думаю, стреляный, отчего ж я первый раз тебя вижу? Вижу, отпускать надо, мне за такси кто деньги вернет, и назад не доберешься, говорю со зла: часто кладешь? А он мне – кладу, кладу, вам тоже класть желаю... Вот теперь и думаю – не положить ли... Ну давай тогда...

– Англичанка на такое заявление говорит: “Ну и что?” Немка спрашивает: “Когда?” Итальянка – “Чем?” Француженка – “С кем?” Русская – “За что?..”

– Гертруда это что, нашему засрака дали, я не ругаюсь, а он на торжественном вручении говорит: мол, полон сил и на пенсию не пойду. Сидит на шее у нас пока что. Заслуженный работник культуры это, молога пропасная.

Дристокшоник, одно слово...

– Молоко по восемьдесят одной должно стать...

– Накатюхался до крейзы, свинтили, попилили хаер, а до батона стремно, ну, я ля-ля-фа...

– Да не заворачивай ты мне контрфалды... Не слыхал? Дубина... Зеленый...

– Никакой не зеленый, в самом цвете мой помидор: аджарский, хочешь – пробуй, не хочешь – так уйду, если счет сей минуту не будет! Помидор милиции сдам! Зря думаешь, что не возьмет... Детдом моим именем назовут!

– Знала бы, говорит, что ты такой, так хоть штаны бы надела!..

Гаузер не вполне ясно помнил, как они сюда попали. С тех пор, как по Савеловскому направлению железной дороги они где-то проводили Рампаля, кажется, они несколько раз катались на границы области и обратно, и одолевало предчувствие, что надо быть поближе к аэропорту. Теперь, тоже по наитию, Гаузер пешком довел своих спутников от железной дороги до аэропорта Шереметьево-2, что делать дальше – не знал, но необходимо было мощно выпить, чтобы русский язык вспомнить, ну и поесть, как раз ресторан открыт.

Питаться в ресторане невидимой группе было трудновато: платить, конечно, не надо, и места твоего тоже никто не займет, но, увы, и обслуживания невидимкам тоже никакого. Коллективом рубали все, что приносил Герберт в грязных тарелках. За бутылками Гаузер ходил к буфету сам, потому что Герберт не успевал поворачиваться. Несколько часов назад Гаузер под очередной стакан словил телепатему из Колорадо: сворачиваться, в Москве они больше не нужны. Дальше шли нежаркие поздравления и приятный сюрприз: пусть проездом, но предстояло побывать в Венгрии.

Форбс сообщал, что полковник Бустаманте закончил эксперименты с собачьим потомством трансформатора Оуэна, получил блестящие результаты и принципиально решил проблему увеличения штата оборотней: все щеночки, единожды покушав чиримойю, тако-ое показали... Теперь даже тому несчастному, что в образе слонихи стоит, аборт делать не будут. Теперь ему придется, как это сказать по-русски, бэ-е, слоняться, что ли? Итальянский маг доказал, что потомство принявших женскую трансформу оборотней, засеянных семенем почетного оборотня Аксентовича, прекрасно оборачивается в людей, а потом опять во что надо, поэтому свинок, всех тринадцатерых, если не съедены, тоже надо быстро собрать на Западной Украине и немедленно вернуть на историческую родину. Надлежало ехать на Волынь, прибрать к рукам поросятню, угнать ее через венгерскую границу, в Будапеште посадить на самолет – и домой. Причем все делать быстро, не то хохлы волынские как раз поколют, срок подходит. Предстояло ехать в Луцк, стало быть, набрехало вещун-сердце, какого лешего занесло их всех в международный аэропорт? Или Волынь уже отделилась? Кто президент Волыни?.. Бэ-е...

Гаузер грузил на поднос очередные эскалопы, Гаузер сгребал с буфетной стойки все, что приглянулось из числа бутылочных изделий, и никто их, конечно, не видел. И вдруг кто-то тронул Гаузера за рукав. Был это, как ни удивительно, тот самый невезучий и обиженный тип, который гуманно отпустил бабу со свиньей, а она ему жвачкой в морду плюнула. Явный неудачник, плюгавый. Вскоре тому появились доказательства.

– Что это, гражданин, вы тут делаете? – спросил парень. Был он молодой, чернявый и симпатичный. Гаузеру, как всегда, померещилось, что ему глазки строят. “Педераст проклятый”, – подумал Гаузер и тут сообразил, что происходит невозможное: парень и его, и, не дай Господи, всю группу, видит. Но Гаузер туго помнил, что именно положено делать в подобных случаях, начальство не лыком шито, инструкцию не вчера придумало. Гаузер отставил бутылку, подбоченился и повернулся к чернявому.

– И каким же, с позволения сказать, способом вы меня видите? – спросил он с резким “акающим” грузинским акцентом.

– Глазами, гражданин, глазами, – спокойно ответил чернявый.

– Двумя или одним? Которым? – продолжал Гаузер допрос.

Парень похлопал глазами. Вопрос застал его врасплох.

– Правым! – наконец, выпалил он. Видимо, для него самого было неожиданностью то, что левым глазом он Гаузера не видит.

– Ну, тогда вы слишком много видите! – подхватил появившийся рядом

Герберт, которому вся эта процедура знакома была по тренировкам. Герберт размахнулся и точным ударом ткнул чернявого в правый глаз согнутым суставом среднего пальца. Гемофтальм, кровоизлияние в глазное яблоко, на несколько лет неудачливому чернявому было гарантировано, а потом пусть видит, что хочет – ой, что он тогда увидит!.. Пусть сейчас попытается объяснить начальству, откуда взялось у него это самое кровоизлияние, особенно сейчас, когда он несколько под банкой. К упавшему стали сбегаться люди. Гаузер взял отставленную бутылку и приказал группе сматываться отсюда вслед за ним, – наелись, надо надеяться, гады прожорливые.

Они брели через зал ожидания, но на полпути к выходу пришлось задержаться. Путь им преградила плотная и в чем-то невероятная не только для СССР, но и для современного мира вообще, процессия. Большая группа людей медленно передвигалась поперек зала, от таможни к отделению милиции. Впереди шагали два десятка милиционеров, очень перепуганные, и еще столько же лиц в штатском, но с военной выправкой, которая их перепуганности не скрывала. Гаузер мысленно решил, что это все проклятые педерасты. Следом за ними шли, по флангам обставленные милицией, тоже перепуганной, шестеро тучных, расплывшихся, в черных балахонах до пят, босых, и все с толстенными свечами из красного воска, чье пламя трепыхалось на сквозняке и норовило угаснуть, но рыхлые толстяки прикрывали свечи пригоршнями, оберегая. Головы толстых были наголо бриты, лица желто-землистые, наметанный глаз гипнотизера немедля опознал в них скопцов; от удивления он даже мысленно их никак не обругал. Следом за скопцами шли двое: совсем молодой парень южного типа, в отличной черной тройке и лакированных ботинках. Под руку парень вел существо, непонятней которого Гаузеру не случалось видеть много лет. Там выступал плавной походкой еще более молодой, еще более высокий и совершенно исключительно красивый мальчик в одежде, хотя мужской по покрою, но кружевной, белой, чуть не тюлевой, в общем, подвенечной. На голову мальчика была накинута фата, схваченная обручем, а весь обруч был обвешан здоровенными восковыми фруктами: виноградными кистями, плодами пятизвездными плодами карамболы, абрикосами и еще чем-то помельче. Фата затеняла лицо мальчика, но блудливые глаза шарили по сторонам, сверкая ярче драгоценных камней, может быть, фальшивых, но, может быть, и подлинных, унизывавших пальцы мальчика. Гаузеру стало ясно, что перед ним не то невеста с женихом, не то, страшно подумать, уже молодожены; он грязно выругался по-венгерски. В душе тут же обрадовался: не забыл, значит, венгерский. Позади пары шло еще шестеро скопцов со свечами, дальше угрюмо передвигали ногами человек двадцать советских обывателей с баулами и сетками. Замыкал шествие еще один наряд милицейской охраны, перемешанной со штатскими, которые смотрелись в этом штатском как плохо оседланные коровы. Двигалась процессия очень медленно, темп ей задавала отнюдь не милиция, а свадебно-скопческое ядро. На Гаузера пахнуло средневековьем, флагеллантами, альбигойцами, папой Александром Борджиа, аква-тофаной, мальвазией и другими благородными напитками. Но времени разглядывать шествие у Гаузера не было, ему требовалось перебраться в Москву и уехать в город Львов,

который по-немецки называется Лемберг, а как по-венгерски – Гаузер не мог вспомнить, и это его расстраивало.

Процессия тем временем добрела до милицейского участка, разделилась на две группы и просочилась в две двери: понурые обитатели с малым количеством милиции в одну дверь, скопцы и молодожены с основной частью милиции – в другую. В комнате начальника молодожены без приглашения сели на диванчик и прижались друг к другу. Скопцы остались стоять. Свечи в их руках превращались в огарки, тогда из широких складок извлекались новые. Наконец в комнате очутился некто в штатском, сидело это штатское на нем тоже как на корове, но, пожалуй, так выглядела бы корова, оседланная хорошо и умело. При появлении данного персонажа всю присутствующую милицию аж передернуло от его высокопоставленности. Персонаж сел за стол. Он очень нервничал, несколько раз подвинул к себе и обратно один из телефонов на столе. Наконец тот зазвонил прямо у него в руках. Человек снял трубку, долго слушал, а потом с трудом выговорил:

– Сейчас заполним. Есть. – Он положил трубку, и неожиданно вежливо обратился к юноше в черной тройке: – Имя? Отчество? Фамилия?

Юноша с трудом оторвался от своего компаньона, встал и слегка поклонился спрашивающему.

– Романов. Ромео Игоревич.

По лицу допрашивающего прошла скверная судорога.

– Год, месяц, день рождения?

– Первое декабря. Одна тысяча девятьсот шестьдесят второй.

И вдруг скопцы хором добавили:

– От Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Аминь.

Человек за столом поглядел на скопцов с большим сомнением, но продолжал:

– Образование?

– Среднее. В институт экзамены еще не сдавал.

– И сдавать не будет! Правда, котик? – развязным тоном вмешался его компаньон, сделал попытку дотянуться до ноги Ромео и погладить ее, Ромео нервно дернул коленом и отодвинулся. Человек за столом глядел на сцену, все больше тускнея. И вдруг, видимо, принял внутренне какое-то решение, успокоился и сказал:

– Я рад вас приветствовать, дорогой Ромео Игоревич. Прошу подождать некоторое время, сюда должен прибыть ваш папа... и, может быть, дядя.

– Ах, свекор! Душка! – возопил тип в фате. Он закинул голову, заломил руки и потянулся, отчего виноградные кисти съехали на затылок. Тип встряхнулся, кисти вернулись на место, одна налезла на глаз. Тип недовольно оторвал ее и стал вертеть в руках, явно не зная, что делать дальше. Один из скопцов, казалось, вовсе не глядевший в эту сторону, быстро взял кисть и спрятал ее в складки сутаны.

– Мы будем вести переговоры только в присутствии посла Дании, – твердо сказал Ромео.

– И посла Соединенных Штатов Америки! – хором, тонкими голосами, но грозно почти пропели скопцы. Человек за столом посмотрел на Ромео с

укоризной: мол, такой ли тон мною был вам предложен?

– Помилуйте, Ромео Игоревич! К чему переговоры? О чем? Все уже улажено, и с вами, и с... с... товарищами? – у него явно были сомнения, могут ли черноризные священосцы именоваться товарищами, ведь вряд ли у них есть советское гражданство, или, на худой конец, партийный билет любой несветской компартии. Если же есть, то совсем плохо, конечно. Положение спас – бывает же такое – тип в фате.

– Пусть выставит дюжину шампани, как тогда, милый, помнишь?.. А платит пусть свекор, правда?

Человек за столом по-военному опередил приказание, явно готовое вырваться из уст Ромео, нажал клавишу селектора и выговорил:

– Четырнадцать... Нет, пятнадцать бутылок шампанского получше из ресторана... Со льдом, икру там, пусть поглядят, что есть хорошее, нет, брют мы допили, Даня знает, какое хорошее...

Воцарилось молчание, нарушаемое только шипением свеч. Ромео сел на диванчик. Голова у него несколько кружилась, в ней мелькали картины последних месяцев жизни, и, как в стробоскопе, картинки эти сливались и начинали приходить в движение. Без отступления в сторону этих месяцев, конечно, было бы совершенно невозможно понять, чего ради в наше повествование затесались скопцы-субботники, и уж тем более – каким образом Ромео Игоревич Аракелян стал Ромео Игоревичем Романовым.

Той давней ночью, когда Милада Половецкий, сидя на столе в блюде с пловом, принялся таковой пожирать пригоршнями, твердя свое бесконечное: “Барбарису!.. Барбарису!..” – судьба Ромео переломилась. Гелий не вернулся на Новинский бульвар ни в ту ночь, ни в следующую, вообще никогда не вернулся. Ромео не возвратился в отчую квартиру. И первая их ночь, и ряд последующих прошли в самой задней комнате парагваевской квартиры, временный распорядитель которой точно понимал – кого гнать в шею, кого не гнать, и кто кому родственник. Ромео не был новичком в нехитрой науке однополый любви, но за краткие часы мартовской ночи, незаметно перетекшей в утро, Гелий успел просто свести с ума своего нового друга всякими фортелями, умением полностью забыть о себе и отдаться желаниям партнера. Проходили часы, пылкий Ромео не уставал, Гелий тем более, лишь несколько уменьшалось количество полных бутылок в шкафу у дрыхнувшего Милады, лишь прибавилось пустых бутылок в задней комнате вокруг дивана, на котором, размечтавшись, нежился виноградный красавец среднего пола. Ромео приносил очередную, отпивал и кидался на Гелия, и Гелий не был против. Он унаследовал от никогда им не виданной матери сметливость, он понял, что делать то, что планировал поначалу, вовсе не стоит, – а собирался он дожидаться, чтобы этот мужчина с черными глазами кончил столько раз, сколько ему надо, и заснул, а потом обчистить его и слинять. Но черноглазый тут ему кое о чем протрещался, пока свет был потушен, и Гелий почувствовал, что вышел на дело куда более крупное. Покуда, конечно, Шило не очнется и сюда не дотянется, так тем более надо на глаза к нему не показываться, – а и вообще тут, с черноглазым, совсем не плохо. Но от Шила не убережешься, как от удара молнии, лучше сил не тратить, пусть

черноглазый силы тратит, пусть сойдет с ума от счастья. Так ему и надо, мужчине. Как всякая подруга, Гелий мужчин, конечно, ценил больше натуралов, и беречь их умел, поддавал, подмахивал, ни одна натуралка такого не сумеет, все прочее он тоже делал классно, хотя, конечно, не уважал вовсе. Уважать только подругу можно.

На второй день Ромео неосмотрительно повел Гелия в ресторан. На седьмой этаж одной не очень известной гостиницы, чтобы меньше было шансов кого знакомого встретить, устроились. Там Гелий до свинства напился очень вкусно пахнущей водкой. Ромео тоже подвыпил и к вечеру плюнул на осторожность: повел непротрезвевшего Гелия в “Пекин”. Премьер умер, его все еще поминали, никто особенного внимания на пьяную пару не обращал. Вели они себя тихо: Гелий – от упитости, Ромео – от влюбленности. Ночью Ромео дал бесплодную клятву не позволять Гелию напиваться: тот спал, как убитый, хотя позволял делать с собой все, что угодно, но это было уже совсем не то.

На пятый день загула у Ромео кончились деньги. Он умудрился вызвонить по телефону самого младшего из братьев, безропотного Горика, и велел ему взять у деда из-под Беатриссиного гнезда оба кошелька – и правый, и левый, не трогать только бумажник, там не деньги, там документы. Горик все привез к метро “Академическая”, с братом Ромео передал деду записку, чтоб его не искали, не то хуже будет, а сам он придет, когда сможет. В парагваевской квартире Ромео вскрыл широкие бисерные кошельки лагерной работы, бумажек там оказалось много, были деньги советские, была большая пачка датских крон, но там же оказались и документы, какие-то донельзя старинные, десять писем готическими буквами с восковыми печатями. Ромео смутно помнил, что у деда хранится архив кого-то из его дворянских друзей, того друга, что ли, который в зоопарке работает. Мысленно он выругал Горика за то, что тот деда заставил волноваться. Деньги, Ромео это знал, дед ему простит. Знал, впрочем, что дед простит ему что угодно.

Оторваться от Гелия Ромео не мог. Он плохо понимал, чем весь его загул кончится, статьи 121 советского кодекса не боялся – отец выручит, если уж очень нужно будет, по этой статье сажают только тогда, когда другой нет; обо всякой венерической пакости никогда не думал и теперь не помышлял, хотя Милада, порой болтавшийся под ногами, все время пророчил появление какой-то новой спецболезни для голубых и лиловых. Ромео думал о другом, он был очень молод, но знал, что через довольно короткий срок любая страсть остывает, а с ним самим получалось что-то непонятное. Тут вот уж сколько дней, и без перерыва, а любострастие грызло парня все сильнее. Однажды Ромео лежал без сна, ибо опять нечаянно упоил Гелия, а сам недопил, да и вообще пить не любил, он заметил, что чем-то ему ребро царапает. Сунул руку в надорвавшийся за последние дни матрац и вытащил револьвер. Изучил. Оказалось – настоящий, “беретта”, только... стартовая, девяносто два, что ли. На кой хрен Парагваеву такая игрушка, или это вообще кто-то из гостей запрятал, – об этом Ромео не задумался, а стал размышлять о другом. Скуки ради и во имя дамы сердца решил Ромео совершить что-нибудь, что-нибудь...

Наутро не совсем опохмеленный Гелий обнаружил себя в аэропорту, в зале



ожидания. На вопрос “Мы куда?..” его мужчина только загадочно улыбнулся и сунул Гелию вскрытую бутылку коньяку. “А...” – сказал Гелий и снова уснул с открытыми глазами, по тюремной привычке. Так он и в самолет вошел и совершенно трезвым казался. Вещей у них с собой почти не было, только Ромео держал в руке яркий пластиковый пакет с непрочитываемой надписью. Но контроле их не досматривали, Ромео несколько раз пробормотал с удовлетворением: “Да, деньги пока что могут у нас очень и очень многое”, – но слов его никто не слышал, а менее всех – спящий Гелий.

Очнулся Гелий уже в самолете. От боли в правой кисти: в нее вцепился мертвой хваткой Ромео, оравший на весь салон: “Экологическое оружие! Экологическое оружие!” – и размахивавший цветным пакетом. “Куда?” – робко спросила наиболее смелая стюардесса. Ромео вспомнил, что купюры у него в кошельке датские, и рявкнул: “В Копенгаген!” Самолет медленно ушел в вираж и сменил курс чуть ли не на сто восемьдесят градусов: вообще-то он должен был попасть в Свердловск.

Едва ли это можно было назвать угоном. Однако вел самолет вечно мрачный Винцас Вайцяускас, который вот уже сколько месяцев тайком ходил в костел Святого Людовика на Малой Лубянке, молил Деву и прочих святых, чтобы его самолет вместе с ним самим угнали бы куда подальше от Татьяны, которая почти довела его своей любовью до дистрофии, а самому отклеиться от нее – сил не было. Он услышал вопль в пассажирском салоне и сразу стал менять курс, лихорадочно думая: арабы? евреи? в Ливию? в Сирию? Он ушам не поверил, когда услышал “Ка-пин-га-ги-ин!” Про Копенгаген Винцас знал, что там есть русалочка, но надеялся, что все же она будет менее требовательной, чем его собственная московская русалка. Винцас очень надеялся, что керосину ему хватит без дозаправки, – а в салоне уже воцарилась жутковатая тишина, лишь кто-то повторял: “Экологическое оружие!” Почему экологическое лучше или хуже любого другого, Винцас не знал, душа его шептала благодарственные молитвы – наконец-то угнали! Стюардесса, оставив двух своих подруг в обмороках, пыталась урезонить этого молодого, смуглого, красивого: он ей понравился. Она была такая молодая, что ничего не понимала, глядя на угонщика и его спящего спутника, не знала она, что Ромео ничем помочь ей не может, ибо создан природой для другого дела. Вообще, стюардессе тоже было скучно: Винцас ее как женщину игнорировал, а с остальными, которые из экипажа, ей спать уже надоело.

Керосину хватило, но и сигнал о том, что самолет захвачен террористами, в эфир тоже ушел. Копенгагенский аэропорт Каструп приветствовал незванный “Ил-62” посадочными огнями, вспышками радиопомех и чудовищным нарядом военизированной полиции. “НАТО!” – подумал Винцас, дождался трапа и, когда отворился люк, кинулся сдаваться датчанам: он сам себя убедил, что в спину ему смотрит револьверное дуло. Датчане быстро арестовали всех, но не совсем понимали, чего требуют террористы, а точнее, всего один, темноволосый мальчик, решительно ничем не вооруженный; даже стартового пистолета при нем не было, потому как взятку у него в Москве взяли только тогда, когда он оружие завернул в деньги, а цветастый полиэтиленовый пакет

был изначально пуст. И оружия нет, и политического убежища никто не просит, и не протестуют ни против чего, и вообще ничего не требуют. Все хотят домой, даже угонщик, – только вот с пилотом плохо стало, когда ему сообщили, что назад вернут. Винчас полежал в обмороке пять минут, а потом... запросил политического убежища. Угонщик, Ромео, ничего, напротив, не просил, да и стюардесса, все еще надеявшаяся на взаимность красивого мальчика, утверждала, что никто ей ничем не угрожал, просто разговор завелся небольшой, когда мальчик от спиртного отказался, сказал, что не хочет терять чистоту мысли, а это его логическое оружие. “И только?” – спросил викинг-следователь, с вожделием глядя почему-то на Ромео, у следователя два дня тому назад произошел семейный разрыв и он был очень одинок. Стюардесса решила, что датчанин выслуживается, разозлилась и сказала: “И только”.

Потом всех разместили в каком-то полутемном, но очень комфортабельном помещении при полиции, международная пресса, только что раздувшая дикуую кампанию вокруг угона советского авиалайнера группой правозащитников, наскоро сменила пластинку и завела речь об угоне самолета литовским патриотом, требующим отделения Литвы от СССР. Немедленно все литовцы Копенгагена пошли на демонстрацию к полицейскому управлению, хотя их было немного, но из Швеции на пароме еще трое приплыли, так что группа получилась внушительная; сам Винчас лежал в полицейской больнице с признаками умственного расстройства – больше всего на свете он боялся того, что угнали его не окончательно, на него не действовали даже сильные седативные средства – он боялся, боялся и еще раз боялся. Гелий тем временем тоже слегка протрезвел и закатил истерику на такой фене, что ее ни один переводчик понять не мог, в итоге его перевели к Ромео, там он вдруг успокоился. Датской полиции их любовные игры было мало интересны, она, полиция, хотя всем тем же любила заниматься и занималась, сейчас отчасти была в депрессии: с запада шел слух о букете спецболезней, которыми болеют геи. Советская милиция сюда дотянуться не могла, а посол Кремля в Копенгагене спешно заболел, он был сильно пониженный в чине, надеялся при переходе к монархии вернуть хоть немного прежнего величия, только ему этой истории с самолетом не доставало. С другой стороны, активисты местного гей-сообщества, уже четверть века боровшиеся за свои права, мигом все сообразили, их в Дании оказалось куда больше, чем литовцев; мальчиков еще в аэропорту не один раз сфотографировали для знаменитого местного журнала, и дело запахло мировым скандалом.

При очередном допросе Ромео был с непомерной доброжелательностью и со всей возможной интимностью обыскан, чтобы не сказать – облапан. Следователь, тяжело переживший свою семейную беду, смекнул, что гадость всякая на геев напала с Запада, поэтому, глядишь, восточные красавчики безопасны. Но никакой ответной реакции у Ромео викинг не вызвал – у него на уме был один Гелий. Тогда следователь обиделся и тщательно перетряхнул немногочисленные личные вещи Аракеляна-младшего. С этого момента и судьба следователя, и судьба Ромео, и судьба Гелия резко переменилась.

Самой поверхностной экспертизы было достаточно, чтобы установить: Ромео

привез в Данию письма короля Фридерика IV к императору Петру I, из коих три четверти были напицканы совершенно не известными скандинавской науке историческими сведениями, главное же – эти письма служили ключом к ответным письмам Петра, над которыми архивариусы бились больше столетия: почему, к примеру, из-за мореплавателя Беринга Петр заранее гонял какой-то корабль в низовья Волги, “чтоб в достатке было до самого конца службы”? Король, как выяснилось, рекомендовал императору пороть мореплавателя за каждую провинность, уточняя, сколько раз и по какому месту и за какую провинность лупцевать, и розгами которой солености. Розги Россия и впрямь вывозила из-под Астрахани, – тайна писем Петра Великого раскрывалась во всей стриптизной наготы, и такие документы Дания выпустить из своих рук уже не могла.

Датский следователь сразу утратил интерес к Ромео как к мужчине: во-первых, стюардесса была права, он очень хотел выслужиться, а письма датского короля такую возможность сулили, во-вторых, эксперт архива оказался изящным мужчиной с очень правильными взглядами. Проведя ночь на диване в ратуше, эксперт-архивариус и следователь наутро получили самые широкие полномочия, делайте что хотите, но самолет должен улететь обратно без этих документов, письма датского короля – собственность королевства Датского. Без них в королевстве что-то неладно.

К тому же цену за них Ромео запросил маленькую. Он соглашался подарить письма Дании, он знал, что дед ему это простит, не такое еще прощал, лишь бы живой домой добрался, знал и то, что писем этих в России вообще никто, кроме деда, не хватится, их деду в виде грошовой доплаты дал какой-то скупщик драгоценностей, даривший гиацинтового своей внучке, отваливавшей в Лос-Анджелес. Взамен Ромео просил возможности пожить в Копенгагене месяц вместе с другом на полном пансионе, плюс билет в Москву с письменным подтверждением, что ни он, ни его друг ничего не угоняли, плюс десять тысяч долларов в пересчете на датские кроны по официальному курсу. Сошлись на двух неделях, и под залог драгоценных бумаг Ромео и Гелий были переселены в двухкомнатный номер незаметного отеля на Вестербро, место довольно криминальное, но именно тут лишние люди ошивались редко, к тому же местный парк был разбит как раз по приказанию упомянутого выше короля Фредерика. Больше из полиции никого не выпустили, полностью ополоумевший Винцас метался у себя в палате и требовал защитить его от посягательства русалок, одна из пассажирок, некая Софья Глушенко, поразмышляла день и подала официальное прошение с просьбой предоставить ей в Дании политическое убежище, потому что она представительница императорской фамилии; ее тоже пока что направили в лечебницу, еще один пассажир уже втравил Данию в серьезный политический скандал, был он из Баку и требовал от датского правительства компенсацию в твердой валюте за погнившие помидоры, по курсу фунт помидоров – фунт долларов; Дания даже соглашалась их выплатить, но помидоры были давно на помойке, и отчасти помидорный скандал официальному Копенгагену играл даже на руку, ибо отвлекал внимание от Ромео и королевских писем. Словом, насчет Ромео и

Гелия сторговались, насчет пассажирки более или менее не сомневались, с помидорами надеялись тоже как-нибудь уладить, с пилотом тоже надеялись на что-нибудь, хотя дело это было особенно неприятно тем, что было оно литовское и не только одному “Аэрофлоту” предстояло его расхлебывать, – прочих же “угнанных” надлежало вернуть в Москву, подтянув двухнедельные сроки Ромео к окончанию помидорного скандала.

Ромео жил в комфорте, какой видал он прежде только на даче у дяди Георгия, у них самих было далеко не так хорошо. Гелий никакого комфорта не замечал, пил беспробудно, не забывая лишь успевать соответствовать неукротимой любовной энергии Ромео. Желтые газеты пустили по Копенгагену и дальше слух; что ни день, очередные члены очередной лиги защиты геев не могли пробиться дальше вестибюля гостиницы, где устроились влюбленные.

“Международная амуниция” тоже просила о встрече, но тут Ромео понял, что дразнить гусей дальше нельзя, при царе, поди, эта организация опять против нарушений прав человека в России выступать будет, ведь невозможно же, чтобы их нарушать перестали, – иди там оправдывайся, ради чего ты нынче в Копенгагене. Изредка он позволял себе покинуть гостиницу и погулять по городу, раньше он за границей был только с отцом в занюханной Болгарии, а это ж какая заграница, вроде Монголии. Он огорчался полному отсутствию интереса к европейским чудесам у Гелия, ему хотелось делить с возлюбленным все пополам. А выходило так, что самого себя Гелий ему отдавал полностью, а вот насчет того, чтобы делиться чем-то – это было не в лагерных привычках Гелия, раз уж можно не делиться, то, значит, и не надо, никто хорошим не делится. Но на шестой день идилии кордон был прорван, рано утром дверь люкса отворилась, в свете восходящего скандинавского солнца вокруг пятиспального сексодрома, где юноши проводили ночь, выстроилось не меньше двух десятков очень необычного вида людей: безбородых, бритоголовых, желтокожих стариков в балахонах из черной саржи, и каждый держал толстую, белую, полупрозрачную свечу. Гелий с похмелья спал беспробудно, но Ромео проснулся, похолодел и приготовился к худшему. Он тихо накрыл Гелию голову подушкой, потом сел в постели, явив гостям свою уже весьма повзрослому волосатую грудь и спросив по-русски, чего гости хотят. В ответ гости как по команде зажгли свечи, а наиболее дряхлый из них выступил вперед и заговорил на правильном русском, хотя с небольшим акцентом:

– Жить во грехе негоже.

– Я в монахи не постригался, – вызывающе ответил Ромео. Он совершенно не понимал, что это за сборище, и ему было довольно страшно.

– Мы – твои друзья, – продолжал дряхлый, – мы – ангелы Божии, святого заступника нашего Селиванова верные дети и агнцы, Крестителя нашего Шилова голуби.

– А стучаться вам необязательно?

– Мы стучимся в дверь рая Божьего вот уж двести лет, близок час, когда достукаемся, отворятся врата сада Его, и царствие наше не замедлит. А сейчас мы пришли к тебе с помощью, дабы и ты ответил нам тем же.

– Так на так, значит? Валяйте. – Ромео чуть успокоился и потянулся за

сигаретой. Один из людей в черном услужливо дал ему прикурить от свечи, и Ромео совсем успокоился. – Сперва – кто вы такие.

– Мы – избранный народ Божий, всадники белых коней, истинные виноградари лоз Божиих и стражники неколебимого вертограда.

– Много слов, мало смысла, не понимаю.

– Враги именуют нас скопцами за то, что взнузданы и оседланы нами белые кони, зовут субботниками за то, что чтим Субботу Господню. Понимаешь ли ты, какая удача тебе выпала?

Ромео снова похолодел. Если они пришли обращать его в свою веру – то кричать нужно громче и скорей, потому что с двадцатью старцами он не справится. К тому же он был не одет, совершить над ним все, что требуется для перехода в их веру, не займет много времени и труда не составит. Для отсрочки этого события он спросил:

– А... откуда вы здесь, в Дании?

Дряхлый, видимо, ощутил его страх, все понял, сделал успокаивающий жест:

– Не бойся. Твое время воссесть на белого коня, даже и на пегого коня, не настало еще. Не просветлен еще твой разум откровениями святого Селиванова. Делу истинных слуг и агнцев Божиих угодно днесь, дабы ятра твои пребывали пока что в их диаволом сотворенном укывище, дабы уд не был отъят также. Конечно, если ты пожелаешь сам, ты волен распорядиться собою, и...

Старик показал свечой на спящего под подушкой Гелия. Ромео понял, что, кажется, покамест холостить не будут, откинулся на подушки, сглотнул слюну и внутренне согласился на все условия, которые ему сейчас предложат. Лишь потом помотал головой.

– Понятно, – продолжил дряхлый, – но, если передумаешь, помни: как твое всегда при тебе, так и наше всегда при нас. – С этими словами дряхлый вынул из складок балахона громадное зубило и молоток. Ромео снова похолодел. Дряхлый спрятал инструмент и продолжил: – Нам угодно лишь одно: чтобы ты перестал жить в грехе.

– То есть как?

– Знаешь ли ты, с кем делишь ложе, отрок? – Дряхлый снова показал свечой на Гелия.

– Знаю.

– Нет, не знаешь. Имя его – Гелий. Солнце.

– Знаю, что Гелий. Отчество знаю – Станиславович. И фамилию знаю – Ковальский. Ну и что?

– Дальше, отрок, то, что все это неправда. Нам ведомо то, что неведомо тебе. Непросветленный пророк Клавдий прорек, и мы расслышали, ибо имеем уши, слух наш емлет и рассудок выводы деет. Фамилия царевича-солнце, Гелия, данная матерью при рождении – Романов. Мать его – Софья Романова, старшая и главнейшая наследница всероссийского престола.

Ромео подавился дымом сигареты; тот, что давал прикуривать, извлек из складок балахона стакан воды и подал. Зубы защелкали о стекло: что-то уж больно много всего сразу. Дряхлый продолжал:

– Нам угодно властью, данную нам от пресветлого Селиванова надо всеми

смертными, освятить ваш греховный союз, дабы он греховным быть перестал. Плодитесь и размножайтесь. Мы хотим обвенчать тебя, славный Ромео, с отроковицею Гелием. Ибо вы еще не ангелы Божии плотию, но уже таковы в духе. Будь мужчиною и не противься. Выбор мы тебе предложить не можем. Впрочем... – Дряхлый полез, кажется, за зубилом, но Ромео уже кивнул головой. – Ты согласен? Правильно. Мы и не ждали ничего другого, – дряхлый переглянулся со своими компаньонами, те единодушно качнули свечами, – но дай нам прежде обещание, став законным мужем престолонаследницы сей, исполнить нашу единственную просьбу. Дай клятву именем святого Селиванова.

– Если это касается...

– Не касается, отрок. Нам нужна свобода наших заточенных братьев. И в твоей власти, когда станешь ты мужем не в греховном соитии, а в освященном истинной церковью слуг Божиих браке, освободить их. Если даешь – мы повенчаем тебя сейчас же. Если нет...

– Да нет, отчего же. Это можно. – Ромео совсем взял себя в руки. – А откуда вы узнали... кто он?

– Многое есть на свете, отрок, что ведомо лишь всадникам белых коней. Святой Селиванов, святой Шилов и непросветленный еще ныне пророк Клавдий открывают истины птахам вертограда Божия. И тебе откроется то же, когда придет твоя пора взнуздать... Впрочем, времени мало. Согласен? Буди тогда невесту свою, пусть красавица возрадуется.

Ромео неуверенно стащил с Гелия подушку. Похмельный красавец решил, что с него требуют любовного взноса, и сделал попытку принять наиболее удобную для Ромео позу, но Ромео вlepил ему ласковую оплеуху, и Гелий проснулся.

– А? – обалдело взвизгнул он, глядя вокруг. Но услужливый скопец уже протягивал ему стакан чего-то крепко-спиртного, а дряхлый начал некие приготовления, расставил что-то вроде пюпитра, разложил на нем ветхие книги, достал кадило, какие-то платки и полотенца. Прочие почтительно прислуживали. Когда Ромео с пятого на десятое объяснил Гелию, что именно должно сейчас произойти, тот совершенно гнусно захихикал, и пришлось на него цыкнуть. Дряхлый возымел желание самолично прислуживать брачующимся и провозгласил, протягивая пару полотенец: “Чресла препояшьте, дабы мы соблазна диавольского не зрили”. Ромео препоясался, хотя не без тревоги: а ну как намерения у скопцов все-таки более грозные, зубило жуткое как-никак? Спокойней бы просто штаны надеть. Ну да ладно.

Старик поставил молодых на колени перед импровизированным алтарем и уступил место другому скопцу, который с огромной скоростью залопотал что-то, а затем скопцы запели хором: “Мы тебя, о Шилов, не забудем...” на мотив “Выходила на берег Катюша”, потом еще пару псалмов на советские мелодии исполнили. Венчающихся заставили проползти на коленках вокруг алтаря, дали в руки по белой зажженной свече. Потом дряхлый велел Ромео и Гелию встать, поцеловаться, предложил им опять-таки размножаться, – скопцы дружно всхлипнули, – и быть верными друг другу до восседания на белого коня. Потом алтарь собрали, на прощание скопческий главарь поздравил молодоженов и

добавил:

– Тешьтесь, тешьтесь. Но уговор, царевич, уговор.

– Почему я царевич? – не понял Ромео.

– Потому что венчан ты нами, а по нашему закону муж да примет родовое имя родоподательницы, жены своей то есть. Имя твоей жены по матери Романов. И ты теперь тоже – Ромео Романов. Помни! Наши братья томятся в застенках американского посольства в Москве. Властью, которую мы тебе вручили, изведи их из дьявольского узилища, возверни сирот общине. Тогда все у тебя будет хорошо. Но бойся послушаться... – под балахоном вновь шевельнулось зубило.

– Не слушаюсь, – одурело прошептал Ромео, глядя на затворяющуюся дверь. Датская охрана во всем отеле оказалась прочно усыплена, врачи так и не дознались – чем, кем, когда, было похоже, что на охрану навели какое-то мощное русское наваждение. Но Ромео претензий не имел, дело замяли, впрочем, на всякий случай удвоив выплаты за королевские письма, лишь бы помалкивал. Впрочем, от денег Ромео отказываться не стал. Однако накануне отлета скопцы явились в Каструп и предъявили разрешение датского министерства иностранных дел и даже согласие советского посольства с круглой печатью: послу терять было нечего, он на свой страх и риск решил насолить советскому МИДу и ненароком обеспечил себе тем самым безбедную старость. Скопцам разрешалось лететь в СССР на возвращаемом, психопатски-угнанном самолете “ИЛ-62”. То ли скопцы кого купили, то ли зубило кому надо показали, но лететь им, в общем, дозволили. Весь багаж их состоял из большого количества красных восковых свечей и корзин с восковыми фруктами. Ромео узнал, что Селиванов на небе обо всем поставлен в известность, брак одобрил, поэтому царевичей величать теперь будут уже не белыми свечами, а красными, праздничными. Восковые фрукты тоже были разъяснены, у скопцов, оказывается, это был предмет первой необходимости, он всегда должен иметься перед их глазами как символ грядущего в посмертии райского блаженства. Ромео не был уверен, что дома отец и дядя не засадят его в психушку, он надеялся, что если посадят, то ненадолго. Угар его любви к Гелию еще и не думал рассеиваться. Утехи, став супружескими, приносили Ромео не меньше радости, чем прежде, и он не замечал, как во время прогулок по Копенгагену рыщут по сторонам блудливые очи его жены.

В предпоследний день перед отлетом Ромео решил купить подарки родне: неистраченные деньги, привезенные из-за границы, как он понимал, очень уронят его престиж в глазах отца и дяди. Братьям он купил всякой хреновины два саквояжа, отцу – и отчасти брату Зарику – тяжелый кухонный агрегат на сорок восемь предметов, матери долго ничего не мог найти, а потом купил ей и тете Лене по туалетному шкафчику, сделанному якобы из цельного панциря галапагосской черепахи. Дяде Георгию неизвестно почему купил золотой нож для разрезания книг, а вот за подарком деду пришлось побегать. Все попугаи, которых он тут увидел, смотрелись жалкими недовыседками рядом с дедовыми гиацинтовыми чудесами; когда Ромео на подобии английского сумел объяснить, что ему нужен гиацинтовый ара, торговец молитвенно завел глаза вверх и

залопотал что-то по-датски, из чего Ромео понял только дважды повторенное “фон Корягин”. Ромео сам был по матери “фон Корягин”, сквозь зубы послал продавца тоже по матери и понял, что дед может остаться без подарка, а это – свинство. С горя спросил: может, еще какие редкие яйца есть? Продавец подобострастно принес какое-то большое, вроде куриного, яйцо в деревянном ящичке, много крупнее попугаячьих, к которым Ромео привык, и запросил такое дикое количество датских крон, что новоиспеченный царевич даже ушам не поверил. “Ну, может, очень редкий?” – с надеждой подумал он, и все-таки заплатил. Гелию Ромео купил много бутылок, ничего другого тот вообще не просил, – и сообразил, что надо бы императору тоже в подарок что-то купить. Однако деньги кончились, черепаховые и птичьи закупки бюджет Ромео подорвали, зато валюты он не вез домой ни гроша. Второй пилот вырулил “ИЛ-62” на взлетную полосу, и огни аэропорта Каструп, среди которых затерялся ополоумевший Винцас Вайцякаускас, а также и решившая сложить свои усилия с усилиями близкой родственницы Софья Глущенко, остались под хвостом самолета. Уже в самолете скопцы преподнесли царевичам свадебный подарок: ту самую одежду, в которой их повстречал Гаузер, пересекая зал ожидания в Шереметьево-2.

Через дипломатические каналы информация о копенгагенских событиях достигла нужных и ненужных ушей очень быстро и скоро попала к Шелковникову. Тот обматерил Сухоплещенко за нерадивость, сказал, что подполковник достоин понижения в звании, вот, оказывается, ему самому приходится ловить Романовых по всяким, мать твою, Копенгагенам! На душе у генерала скребли кошки, Ромео приходился ему слишком близким родственником. Решить, что делать, без мнения императора было невозможно. Генерал поехал в Староконюшенный. Машина медленно заворачивала в переулок, генерал ненароком глянул в окно и увидел, как по тротуару медленно идет молодой человек в окладистой бороде, с хозяйственной сумкой, а из сумки торчит что-то очень по летнему времени загадочное: два валенка, вставленные один в другой, словно в них что-то было спрятано. “Ишь ты, уже валенками запасаются...” – безразлично подумал генерал, ему сейчас не до того было. Машина остановилась у подъезда многоколонного особняка.

Павел, по обыкновению, лежал в гостиной под латанией и читал; последнее время он заказывал книги ящиками и читал их, почти все были по истории, по гражданской его профессии, “боярская клика” это его занятие одобряла: значит, серьезный будет царь, значит, наукой заниматься будет, где уж тут за взятками следить. Павел выслушал весьма искаженную историю копенгагенского венчания, заподозрил, что все это Шелковников сам подстроил, дабы попасть в родственники к царю: мол, расхлебайте-ка, ваше величество.

– Тарханное право... – произнес Павел, глядя в пространство. Шелковников и слова-то такого не слышал. – Даруем-ка мы свояку вашему, генерал... и вам тоже... нет, обойдетесь, только ему... Он, конечно, не дворянин? Добавьте к его фамилии... Аракелян, да? Добавьте – Андерсеновский, подготовьте герб и грамоту, пусть будет дворянином с потомственным тарханским правом... Это наследственное право, его наши предки зря упразднили, пора восстановить...



Даруем ему тарханное право на однополый брак... Всем потомкам по мужской линии до последнего колена... И по женской линии тоже...

– Там нет потомков по женской, ваше величество.

– Тем более... Герб, скажем, такой, раз он в вашем ведомстве служит... Три звездочки в золотом... нет, в лазурном поле, оплетенные такой, знаете, проволокой, кажется ее называют спиралью Бруно. Не возражайте, будет очень красиво. Брак лучше признать. Не вы ли мне говорили, что у нас нетрадиционно ориентированное меньшинство принадлежит к числу наиболее недовольных? И говорили, что подобные браки к будущему веку станут нормальным явлением, не правда ли?.. Не знаю, где вы это взяли, но буду иметь в виду. Пусть радуются, а западное радио пусть клеветает, а мы помолчим... Пустите слух, что за большие заслуги такое право и другие могут заслужить. Но статью в уголовном кодексе пока что оставьте, мало ли что, там посмотрим, пусть нас все меньшинство поддержит, вот тогда...

– Скопцов, конечно, выпустить?

– Это уж ваше дело, генерал, такие мелочи решайте сами... – Павел зевнул. – Тем более – мы теперь с вами как бы родственники. Кумовья это называется? – Павел закрыл глаза и потянул носом: разговаривать больше не хотелось, а Тоня, кажется, уже несла осетрину.

Шелковников прямо из Староконюшенного поехал к Аракеляну на дачу: тот по летнему времени экспериментировал в области новых блюд из дикорастущего зопника, так полюбившегося генералу.

– Не рыпайся и слушай! – с порога захохотал генерал, отирая льющийся ручьями пот. – Сядь! Не то ляжешь. И лучше сразу выпей, чтобы не психовать!

Аракелян послушно выпил полстакана зопниковой настойки, благо под рукой была. Аракелян слушал новости и чувствовал, что коленки его железные, кажется, все это могут выдержать, а вот поясница отчего-то начинает сгибаться. К концу монолога генерала Аракелян стоял в поясном поклоне – против собственной воли. Шелковников оценил покорность свояка и приверженность древним обычаям, похлопал его по плечу и удалился. Аракелян тем временем понял, что разогнуться больше не сможет. Не потому, что убит новостями об однополых страстях, и не потому, что потрясен возникновением своего родства с императорским домом. А потому, что схватил его приступ радикулита. Такой, равного которому по силе у него еще отродясь не бывало. Было так больно, что дарованное ему наследное право он воспринял как “тархунное”, то есть кулинарное, слово “однополый” принял за антоним какого-то нелепого слова “однопотолокий”, неизвестно зачем сочинившегося в его пронзенных седалищной болью в мозгах, даже имя родного сына воспринял Игорь Мовсесович как что-то далекое, из Шекспира.

Охрана увлекла Шелковникова в неведомую даль, на дачу под Спас-Клепиками, где он собирался лично встретить молодоженов: ближе сто четвертого километра от Москвы селить их генерал не рискнул, а приблизить всегда успеется. Рому он знал хорошо, а вот что за жену ему черт послал – неизвестно. Хорошая ли хозяйка? Заботливая ли? Потом вспомнил про неудобный аспект вопроса и стал размышлять на другую тему, на

литературную. Эта тема через немногие недели отлилась тяжким п;том Мустафе Ламаджанову, но пока что была только думой в генеральской голове.

Другую часть охраны, двух наиболее ненужных сержантов, отрядил генерал для доставки потрясенного свояка в Москву: жена за ним не присмотрит, а в Москве дед, он медик, глядишь, уврачует. Аракеяна, сохраняющего форму буквы “г”, погрузили на заднее сиденье “волги” и умчали по домашнему адресу. Вся полковничья семья была в разброде, но дед Эдуард в ответ на звонок в дверь объявился собственной персоной. Сержанты поставили Аракеяна посреди прихожей, отдали честь Рыбуне, который слетел на спину сложенного пополам полковника, и хотели отбить, но дед задумчиво поглядел на них и на зятя, забрал бороду в кулак и тихо, по-лагерному приказал:

– Раздеть больного.

Сержанты не знали, то ли выполнять приказ, то ли нет, кто там знает, какое у старика звание – по штатской одежде не скажешь. Рыбуня перебирал когтями, делая полковнику легкий массаж поясницы и лишая его последних сил противиться корягинскому беспределу. Впрочем, оставалась надежда на то, что дед раздевает его не с целью порки, а для какого-либо еще пока что научно не объясненного явления, за злоупотребления каковыми явлениями и провел в свое время десять лет там, где положено, но потом более или менее насчет явлений унялся. Явлениями считалось дедово лечение, грубо знахарское, никогда не было известно, что учинит дед, но имелась гарантия, что лечение это поможет, да и вообще можно было хоть сейчас посчитать это делом чисто семейным; полковнику было настолько плохо, что – как ему думалось – все равно хуже дед уже не сделает. Полковник почувствовал, что лежит на полу, сперва с него снимают Рыбуню, потом форму, потом исподнее. Дед сходил в свою комнату, вернулся с куском капронового каната и чудовищного размера киянкой. С юношеской легкостью захлестнул он петлю вокруг вделанной под потолок прихожей трубы, обычно служившей насестом попугаям, когда самцов выгоняли в прихожую по тем или иным причинам. Потом дед приказал сержантам, как сподручней закрепить другой конец каната на щиколотках голого полковника. Потом велел потянуть, и помраченный рассудок Игоря Мовсесовича вдруг осознал, что тело, в коем пока размещается его кулинарная душа, подвешено за ноги, притом довольно высоко. Полковник вспомнил глупое слово “однопотолокий”, – наверное, потому, что к потолку был сейчас подвешен. Оставалось надеяться, что не навсегда. “Радикулит разве так лечат? – плаксиво подумал полковник. – Баралгин тогда на что?”

Дед Эдуард велел сержантам отойти, взял киянку, размахнулся и с громким хрустом врубил полковнику куда-то в район копчика. За первым ударом последовал второй, в какое место, сержанты уже не заметили; от первого удара тело стало вращаться вокруг оси, от второго свое вращение еще убыстрило. Тело, правда, форму буквы “г” явно утратило, выпрямилось тело, но далеко не было ясно, теплится в нем еще жизнь или уже нет. Тело вращаться перестало, как бы подумало, потом донельзя закрученный канат решил вернуться в свое изначальное состояние: тело, ускоряясь, стало вращаться в обратную сторону. Повращалось и остановилось. Дед сел на галошницу и утер пот со лба.

– Можно снимать.

Сержанты отвязали полковника и бережно положили его на пол. Признаков жизни Аракелян не подавал. Дед подошел и потыкал его носком тапочки. Потом достал сигареты, – вообще-то он не курил, но сержанты этого не знали. Слегка покряхтывая, Эдуард Феликсович присел на бесчувственное тело и раскурил одновременно две сигареты, думая при этом, что именно так в молодые годы он смущал сердца доступных девушек в далекой Европе, а вот теперь, напротив, делает это человеческого здоровья ради. Затянулся дважды, а потом одновременно погасил обе сигареты о тело полковника, близко друг от друга, где-то в районе надпочечников. Полковник оказался живым и взвыл.

– Вставать будем? – осведомился дед, не думая вставать сам.

– Это же... – полковник разразился армянской речью; в том, что ни единого цензурного слова в ней нет, не было никаких сомнений. Деда подбросило несколько раз: полковник пытался встать. Наконец дед соизволил подняться, полковник вскочил. Поток брани оборвался, ибо от радикулита не осталось и следа, даже боли от ожогов не было.

– Радикулита у тебя нет. Прошел навсегда! Нешто я кому когда что плохое сделал?..

Голый полковник смотрел на тестя с ужасом и сомнением.

– Можете идти, – кивнул он наконец-то сержантам. Те спешно исчезли, но еще успели расслышать из-за закрывающейся двери голос старика:

– С тебя пять рублей за лечение.

Полковник молча вынул из кармана брюк двадцать пять и подал тестю. Тот аккуратнo вынес ему сдачу, к этому времени полковник уже почти оделся. От радикулита и в самом деле не осталось и следа, но было Аракеляну столь же неуютно на белом свете, как и при радикулите.

– Эдуард Феликсович... вы знаете про Ромео? – наконец выдавил он. Дед посмотрел на него обычным угрюмым взором.

– Знаю... Георгий докладывал. Пустяки все это, Игорек, знаю я все эти современные браки, сегодня поженились, завтра развелись... Несерьезно это все... Философически на все смотреть надо...

– Эдуард Феликсович, Георгий вам все сказал?

– Сказал, сказал... Я бы на твоём месте радовался, а не дрожал коленками и не зарабатывал радикулита, который, чтоб ты знал, если он на нервной почве, как у тебя, никто, кроме меня, лечить не станет, а я не вечный. Ты что, хотел, чтоб тебе сразу внука-другого подбросили от неудачной женитьбы? Как ты мне?.. Тут хоть этого не будет. Эх, дети, дети...

Дед, шаркая подошвами, ушел в свою комнату, полковник оделся и посмотрел на себя в зеркало. Ну откуда у мальчика такая странная склонность, влечение к мужчинам? Вдруг вспомнил свою жену в молодости. Вот оно! Все чертовое корягинское! Все! Вот он, корень зла! Мать тянуло на мужиков, так теперь и сын туда же! Потом спохватился, вспомнил, кто у жены сестра, потом – кто у сестры муж, потом – кто у сестер отец. Полковник перевел взгляд на Рыбуню, и вдруг его охватило нестерпимое желание взлететь туда же, на жердочку, сесть рядом с Рыбуней, чистить перышки и вырабатывать философский взгляд на

жизнь, плевать на все на свете. А то день нет ничего, два нет ничего, потом вдруг – бац, тархунное право, три звездочки, голубое поле, спираль Бруно и ты уже не хозяин в своем доме. Ох и жизнь!

К вечеру над Москвой сгустились тучи, пошел долгий теплый летний дождь. Тучи пришли с запада, перевалив через Карпаты. В совершенно противоположном направлении в эти часы двигалась группа Гаузера; она собиралась рассредоточиться в районе Шацка и понемногу двигаться к юго-западу, намереваясь приступить к поискам детей майора Рампаля. Гаузер обосновался в Шацке, прикрывать гипнозом здесь было никого не нужно, он в единственном ресторане перебирал один за другим местные напитки, изучая – нельзя ли с помощью какого-нибудь из них быстро освоиться с украинским языком, на другом тут вообще не разговаривали. К полночи он сделал сотрудникам ресторана наваждение, изобразил себя зеленым слоном и важно пошел на улицу. Бюллетень ван Леннепа безусловно предсказывал, что все тринадцать поросят в руки не дадутся. Удастся собрать только двенадцать поросят. Тогда зачем приказывают, когда все равно не выйдет? Будь они все прокляты, кругом одни сифилитики да педерасты употребленные. Бе-э.

Если кто-нибудь гулял в это время рядом и Гаузера в таком обличье возле городской стоянки автобусов видел, то наутро об этом видении вряд ли кому рассказывал: лежит себе такая туша зеленая с хоботом и звуки делает неприличные. Вульгарные, если правильно выражаться. А когда рассвело, Гаузер встал, отряхнулся и попытался с помощью хобота напиться из канавы. Это оказалось невозможно, потому что на самом деле у него хобота нет, это только другим так кажется. Гаузер выматерил по-венгерски всех этих других, уж не могут и хобота человеку сообразить, когда нужно, и медленно побрел к своей группе, которая ночевала где-то за городом. Даже и свиней-то эти грязные свиньи без него пасти никак не научатся. Не говоря уже о том, чтобы этих свиней хотя бы найти. Бе-э. Бе-э.

## Павел II День пирایی Часть 12

*Евгений Витковский*

XII

...не буду знать ни секунды покоя до тех пор, пока нога моя не ступит на побережье Гренландии...

Густав Майринк. Ангел западного окна

В далеком прошлом было у Витольда детство. Отец его, знаток горного дела, неплохой резчик по камню, говорил ему тогда: куда бы, сынок, тебя судьбою не забросило, чего бы с тобою не приключилось, помни вот что: во-первых, не гляди назад, во-вторых, ни на что не надейся, в-третьих, избу сруби. Первое потому как дело – это крыша над головой. Избу срубишь, печку сложишь, щи сварить, на лавку сядешь, портянки сушить повесишь, обмозгуешь, вот уже и жизнь пошла, все как-нибудь уладится. Еще помнил Витольдушка сказку про

то, что была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная. Дальше не помнил.

Наверное, именно в память о далеком уральском детстве обзавелся старая лиса Витольд Безвредных очень заблаговременно нынешней своей ледяной избушкой. Начал он ее строить сразу после того, как девятый вал очередных кремлевских бурь забросил его на опасный и шершавый пост министра внутренних дел. До того Витольд заслужил кое-какое благоволение у начальства – умелою, леденящею душу дрессировкою сперва одного, а потом другого государства в центральной Европе, из числа тех держав, которые полагали, что в правила дрессировщика входит вступать с дрессируемыми в дебаты. Витольд стал главным кумом державы, паханом всех ментов, ломом подпоясанным папой всея вохры: власти, вообще-то, немало, но неуютная она очень. Избушку ему правительство дало с виду знатную, недалеко от Триумфальной арки, целый этаж уделили, но этажом ниже был размещен, к ужасу Витольда, самый главный в государстве кум, пахан и папа, термоядерным зонтиком подпоясанный, короче говоря, генсек. А еще ниже этажом размещался хрен, с которым Витольд давно и бесповоротно поссорился, начальник другого ведомства – Илья Заобский. Его ведомство было побольше и посильней, чем у Витольда, и знал Витольд, что с этим серым волком ему, старой лисе, лучше так уж в открытую не тягаться. Но лиса на то и лиса, что хитрая она, наглядевшись на кремлевские дачные избушки, он чуял, что все они заячьи, глупые, лубяные: поднесет кто спичку, вспыхнет да сгорит, а хозяин, глядишь, жареный, хоть к столу подавай. Поэтому нужны две вещи: чтоб избушка была ледяная, лисья, а чтоб не растаяла, так всех делов – следить, чтобы весна никогда не настала. А это – как два пальца об асфальт, а это значит – избушку надо на севере строить, где сроду ничего не таяло и таять не будет.

Когда стряслась в Гренландии социалистическая революция, Витольд слетал туда на торжества, его первым послали на тот случай, если там дебатов кто захочет, так чтоб дрессировщик прикинул заранее. Дикая природа пришлась уральской душе Витольда как нельзя более по душе, и под общий хохот как подчиненных, так и начальства, застолбил себе Витольд участок под небольшую дачку – у черта на рогах, чуть ли не на самом севере острова, на Земле короля Фридерика VIII – король был, вообще-то, датский, но у правительства пока что времени переименовывать не было. А что? Ливерий дачу в Греции отгрохал, Устин – в Турции, Марья Панфиловна – на острове Тристан-да-Кунья, говорила, что не помрет, пока дачу эту не увидит. Увидела, померла.

Чем больше веселились политбюровцы, тем любовнее, тем щедрее тратил Витольд деньги из бездонного государственного кармана на свою махонькую, всего в два квадратных километра полезной жилой площади, избушку в Гренландии, монтировал установки искусственного климата, выписывал кокосовые пальмы, магнолии и катальпы для зимнего сада, отбирал персонал дрессировщиков стерляди, которой обрыбливались искусственные водоемы в избушке. Ну, конечно же, поставлен был и главный калибр через каждые двести метров по периметру дачи: штурмуй, кому не лень, сотня метров камня и льда надо мной, камень добротный – чистая молибденовая руда, лед, правда, весь

уже проданный Сальварсану на корню и на тысячу лет вперед, но пока не скovyривают, попользуемся. Кроме атомной бомбы, ничем отсюда не выковырнешь. А лупить атомными бомбами по территории стран соцлагеря пока никто не пробовал, лагерь, чай, правильной проволокой подпоясан. Кстати, чтоб начальство ничего плохого не думало, назвал Витольд свой гренландский хутор в честь любимого начальством проспекта в Москве – Кутузовка. Но генсек выговорить не смог, пришлось сокращать, получилось – Кутузка, то-то Заобский, небось, поржал. Ничего: хорошо ржет тот, кто ржет после того, как остальные уже доржуются.

Когда лытает из СССР бедный человек, работяга там, инженеришко, лекаришко – его понять можно, ему на родине просто все обрыдло. Когда же лытает человек вроде как бы творческий, писателишко, композиторишко, пианистишко – понять его можно тем более, ему на родине просто-напросто все осточертело. Когда же лытает рассоветский миллиардер, владыка, обремененный делами державной важности и, кстати, обширной семьей, – его и вовсе понять можно, ему в родных краях просто все осто... осто... Слова, в общем, нет такого, чтобы полностью выразить, как тут ему все осто... Попросту говоря, очень дорог был Витольду его стул, и он очень хорошо понял слабость, непрочность этого стула. А ненадежный стул – предвестник беды. Все чаще проводил Витольд отпуска и выходные в своей ледяной избушке, потихоньку отселил туда и всю семью. Жили тут и старшая Витольдова дочь, алкоголичка, муж ее мексиканец при ней, и вторая дочь, алкоголичка тоже, но в деда пошла, малахитовые шкатулки коллекционирует, муж ее Ванька из Вязников Владимирской области, дрессировщик стерлядей, и третья дочь, тоже алкоголичка, без мужа совсем, и четвертая дочь, тоже алкоголичка, муж при ней негр, из дружественной страны, он сам запамятовал из какой. Дружная, словом, подобралась у Витольда семья – прямо не хочется от такой уезжать, да и не одобряет жена-казачка, когда муж с хутора по всякой ерунде отлучается, и чего он в этой Москве нашел хорошего, чего в ней есть, так то на Кутузке не хуже.

И когда почуял Витольд, услышал безошибочным лисьим чутьем, что Заобский у себя в реанимации тесто на поминальные блины поставил, готовится на место генсека лечь, принял он решение: открыл в своей хатке на Кутузовском краны, затопил нижнюю квартиру, да и ту, что под ней, – тоже, простудился умеренно на спасательных работах и отправился к себе на хутор болеть банным паром выгонять. Да так назад и не вернулся – сперва то да се, а потом, конечно, уже пятое и десятое.

Блины у Заобского простояли три года, однако все ж таки до своего мига докисли, генсек с нижнего этажа поехал на попутном лафете под забор с зубчиками, а на его место воцарил себя Заобский, которого залитая квартира спокойным оставить не могла, она требовала мщения, и чуть ли не первым актом нового правительства стало лишение Витольда Ивановича Безвредных не только поста министра, не только воинских званий и наград, не только партбилета и подмосковных лубяных избушек совокупно с хатой на Кутузовском – но и звания советского гражданина вообще.

За то, что Витольд три года подряд не участвовал в выборах.

Но, дорогой Илья, сиди в своем Кунцеве на искусственных почках да посиживай, а потом ляг, дорогой товарищ, на лафет и дальше, в общем, спи спокойно, дорогой товарищ. Хрен ты меня, почетного гражданина Социалистической Демократической Республики Калалит Нунат, она же в просторечии Гренландия, уешь своими лишениями. Сам ты лишенец... Заобский. Гори оно огнем, министерство, у меня без него хутор Кутузка – чаша полная. Стерляди дрессированные плавают, кофейные деревья плодоносят. От последнего урожая здешнему президенту десять фунтов посылал в подарок, впрочем – зря, президента-то свергли. Сами они там не знают, в Западной Гренландии, чего хотят, прямо хоть отделий себя в отдельную Гренландию. Но пока что можно и новому президенту десять фунтов кофе послать, он арабику от кутузки не отличит. Ну и пару стерлядей в подарок, из тех, что похуже дрессируются, словом, которые не очень талантливые. Погоду к концу недели обещали хорошую, можно будет аэродром подрасчистить, младший зять слетает в столицу и подарки отвезет. Эскимос с негром да не договорятся!..

Плохо, конечно, что весь лед кругом чужой. Весь в Южную Америку запродаан. В любую минуту придут и скovyрнут, сиди тогда голый и жди, пока новый намерзнет. Вот она где, настоящая опасность! Витольд знал, что с настоящим южно-американским хозяином этого льда дебаты лучше не затевать, ускользнув от волка, лиса не должна предполагать, что так же легко она ускользнет и от Змея Горыныча. Поэтому сидел Витольд в своей ледяной избушке тихо, пушистым хвостом накрывшись, ни в какие внешние дела не лез, интересовался только внутренними, гренландскими. Хорошая страна ему подвернулась, ничего не скажешь. Сроду ни с кем не воевала, только за независимость, но это так, для порядка и социализма. Правда, теперь, при новом президенте, даже датский язык в школах преподавать перестанут, хорошо это или плохо? “О чем это я беспокоюсь?” – даже удивился Витольд, услышав эту новость по телевизору. Какое ему дело до гренландских школ? И сразу ответил сам себе: прямое тебе дело до них, Витольдушка, ты гренландец, инуит, и возврата нет. Избу срубил, печку сложил, щи сварил, портянки развесил, в кресло перед телевизором сел. Теперь черед мозговать. На то и Кутузка.

Вот, сразу ясно: пусть Али не десять фунтов кофе отвезет Упернавику, а сразу тридцать, притом настоящей кутузки. Стерлядей – тоже полдюжины, умных, и еще шампанского из старых запасов, кстати, пора производство налаживать, не забыть бы. Шубу... из лучших, но, конечно, не самую лучшую, пусть горностаевую отвезет, она не ноская, а эскимосу для парадных выходов сгодится очень. Пусть задумается рожа инуитская, пусть всей Кутузке полное гражданство Калаит Нунат. А вообще и с обслугой тоже делать что-то надо, на Кутузке кругом больше двухсот человек, половина – охрана, а у президента армии нет вовсе, что неосмотрительно с его стороны. Потому что рядом Исландия селедкой своей милитаристской бряцает, есть сведения, что китов-нарвалов дрессирует, с тем чтоб они будущий гренландский военно-морской флот таранили... Канада, не ровен час, территориальные претензии предъявит, у Гренландии под боком огромный остров Элсмир, готовый плацдарм – ледников чуть, запасы бурого угля опять же, словом, быть не может, чтоб Канада его не

милитаризировала, проверить надо – а не бывать тому, чтоб гренландскую землю своими кленами засадили!..

Не очень-то оторвана от остального мира Гренландия, это ведь только на картах сплошное белое пятно. Даже над собственным хутором в день пролетало у Витольда три-четыре самолета, и ничего не поделаешь: еще когда закладывал хутор, объявил, что для терпящих аварию самолетов он аэродромчик соорудит, в обеих столицах ничего против не имели. Самолеты почти все гражданские, шумно от них, но стрелять по ним очень уж немеждународно, он, Витольд, человек тонкий, не вшиварь Заобский. Летают рейсы гренландской “Эр-Арктик”, один “Аэрофлот”, ну и без опознавательных бывают. Дириозавр недавно пролетал, зять Ванька сострил, что это он такое взлетевшее напоминает, очень все смеялись, особенно бабы и мексиканец, хорошо, дириозавр не слышал, не то весь хутор разбомбил бы яйцами, как уже было не однажды: он ведь когда обидится, сразу яйца от нервов кладет, а каждое – с айсберг, так их в Гренландии своих невпрожор. Впрочем, стали с недавнего времени раздражать Витольда и самолеты без опознавательных знаков. Зло взяло, приказал надьсь один такой все же сбить. Оказалось – беспилотный разведчик, а чей – Ванька не разобрался, стерлядь иначе устроена. И зачем изводил ракету зенитную? Нешто много их у тебя, Витольд? А, Витольд?

Витольд Безвредных сидел в зимнем саду, поставив босые ноги в таз с горчицей водой: заработал он тогда, когда знаменитый потоп над генсеком устраивал, что-то вроде хронической простуды. Дочери, ясное дело, с самого утра выпивали, каждая у себя, старший зять с младшим играли в “разбойники”, Ванька неизменно третьим, для полного преферанса, идти к ним отказывался. Этот второй по старшинству зять Витольда был от природы традиционным русским расистом и заодно гомофобом, прочих свояков за людей не считал, и отчего-то этим самым Витольду импонировал, хотя казак Витольд был человеком терпимым и считал, что все – люди, даже евреи. Но чего, спрашивается, старшая с младшей в этих иностранцах нашли? Умеют они, что ли, больше нашего, иль зазубренное у них что? Вон, Дарья, третья по счету, пока вовсе без мужа обходится, а ведь могла б любого иностранца закадрить, да и самого Ваньку тоже. Гордая... Витольд подремывал, и внезапно звоночек оповестил его, что воздушное пространство Кутузки опять нарушено. Витольд вспомнил, что зенитные ракеты решил поэкономить, включил экраны внешнего обзора и вознамерился, как только самолетик из обозримой зоны уберется, вытащить ноги из горчицы, принять сто пятьдесят и идти на боковую в лечебных целях. Но эта его мечта на этот раз осталась всего лишь мечтой.

От козявкоподобного самолета отделилась точка и стала падать, чуть ли не прямо на Витольдову голову, так что хуторянин даже на миг забоялся. Но над падающим предметом очень скоро расцвел международным апельсиновым цветом парашют, и его стало ветром относить на северо-северо-восток, в сторону моря, скрытого под многометровым слоем соленого, некачественного льда. Приземлился парашют удачно, в том числе для Витольда, ибо угодил в обзор сразу трех телекамер на оборонном периметре, причем одна из них давала крупный план. Из-под быстро оседающего купола показался человек. Хотя лето



на Кутузке в этом году выдалось теплое, такое, что даже льды таяли и наносили ущерб южноамериканскому имуществу, одет человек был как-то уж больно легко для восьмидесят второй параллели. Всего-то и было на нем пальтишко ветхое, из тех, которые в России называют семисезонными, ношенный треух и совсем уж неуместные полуботинки. Был он маленький, кривоносый, с плеча у него свисала сумка, а из нее торчало несколько длинномерных предметов, вроде бы палок милиционерских связку взял с собой на Кутузку, – такая вот возникла у бывшего главного полицейского России ассоциация. Человек потоптался, выверил что-то по компасу, выбрал место над берегом, где под ледяным щитом угадывался древний фиорд, и уселся прямо наземь, лицом точно на север. Словно хотел увидеть скрытые за просторами Ледовитого океана берега дальней, прежней родины Витольда, лишившей своего сына и отчего благословения, и права на социальное обеспечение, то есть пенсии, и много еще чего. Человек быстрым жестом скинул полуботинки, Витольд рефлекторно повторил его движение и расплескал горчичную воду. Визитер укрепил босые ступни на ледышке; тут на экран крупного плана выплыло его лицо. Витольд от неожиданности снова воду расплескал: с экрана смотрели каменные, будто китайской тушью залитые глаза зомби. Проще говоря – ходячего трупа, изготовленного по лучшим рецептам гаитянского вудуизма, чтоб исполнять волю хозяев. То ли мертв был человек, то ли жив, его зомби-гипнотический сон ничего не стоило разрушить, помахав над его головой чем-нибудь достаточно волшебным пудов эдак в триста весом, но было очень интересно в свете международной политики: по какому случаю это чудовище попирает сейчас землю, то есть лед, частного хутора Кутузка? Быть может, коварный Заобский решил захватить ледяную избушку и нанял для этой цели страшного валашского вампира или дикого сальварсанского каннибалаеда? Сальварсанского... Тогда ведь он сидит не столько на Кутузке, сколько на собственном льду! Расстреливать его немедленно, как хотел Витольд, было рискованно. Но зомби, кажется, никакого интереса к хутору не проявлял, словно и знать не знал о его существовании. Он расстелил возле себя один из длинномерных предметов – это был первоначально скатанный в трубку международный оранжевый вымпел. Потом от второго длинномерного предмета кусок откусил – похоже, это была твердокопченая колбаса. Потом взял третий длинномерный предмет, и это была деревянная дудка. Дожевал колбасу, поднес дудочку к губам. Витольд с проклятием отшвырнул таз с горчичной водой.

– Не бойса, не бойса. Не мы ему курьосаменте, – успокоительно сказал за спиной голос мексиканского зятя. Витольд чуть успокоился: один зять из Латинской Америки, другой из Африки – вдвоем они в этих штучках, поди, получше тестя разбираются. Во, бля, когда пригодились! Только все ж таки, какого лешего этот замухрышка спрыгнул на парашюте прямо на Кутузку? Мало места в Гренландии без Кутузки? А замухрышка тем временем надул щеки и стал дуть в дудочку – глядя в ледяное заморье.

Витольд, конечно, ничего не услышал, только легкий позыв к рвоте ощутил, но утерпел. Зомби играл, закрыв глаза, по тому, как редко он сдвигал пальцы, было

понятно, что играет он что-то долгое и заунывное. Воздух над флейтистом дрожал, как пар над чайником, видимость ухудшалась, снова улучшалась, шли минуты, шли часы и столетия, время скручивалось в спираль и пульсировало, заунывная мелодия со скоростью, явно превышающей скорость распространения звука в воздушной среде, лилась в направлении советского сектора Северного Ледовитого океана, достигала берегов России и разливалась по необъятным просторам первого в мире государства, в котором рабочих и крестьян заставили верить, что они взяли власть. И рабочие, и крестьяне, и прослойка интеллигентская, и болото деклассированное, и духовенство многоконфессиональное, и армия, и партия, и отшельники в скитах, и иностранные журналисты в офисах, и сытые шпионы, и голодные проститутки – все они слышали сейчас заунывную мелодию, которую беспощадно слал им в уши и души маленький зомби, сидя на северной оконечности Гренландии.

К вечеру – хотя солнце над восемьдесят второй широтой лишь немного опустилось к горизонту – до Витольда с большим опозданием дошла спасительная мысль, что зомби, кажется, вообще на Кутузку попал случайно. Тогда бывший министр выбрал охранника, умом потемнее, мышцами потяжелее, и послал на льды – разузнать, долго ли нарушитель границы частного владения Кутузка собирается дудеть в дуду на Россию. Да и не труп ли он вообще. Труп оказался живым и способным к общению, хотя словами ничего не говорил, но кусок колбасы отломил, протянул охраннику. Тот, вернувшись, сдал ее на анализ. Ничего особенного: селитры многовато, мяса маловато, понятно, что конского, ни то ни се, обычная твердокопченая колбаса для небогатого покупателя. С этого момента Витольд к зомби никого больше не посылал, пусть себе сидит и дудит, никому вреда от этого нет, может, он просто человек искусства, вроде Ваньки, так какой с него спрос. Когда на третий день с самолета зомби сбросили новый запас колбасы – интереса это ни в ком уже не вызвало. Обитатели ледяной избушки понемногу начали воспринимать босого типа как своего уютного, хотя придурковатого домового. Четыре дочери пили, два зятя резались в карты, еще один учил стерлядей прыгать через скакалку, хозяйка заквашивала впрок ананасы, хозяин вернулся к прерванному курсу лечения простудных заболеваний.

Но что-то непонятное стало тем временем происходить в России и некоторых сопредельных странах. Какой-то смутный, чуть тлеющий процесс наметился в недрах более чем четвертьмиллиардного населения. Большинство этого населения, этак девяносто девять процентов, да еще девятьсот девяносто девять тысячных оставшегося процента, впрочем, ничего нового ни в себе, ни в окружающем мире не ощутило. Еще приблизительно тысяча семьсот человек испытали что-то вроде головокружения, нервного подъема, стремления победить в социалистическом соревновании за право нести переходящее знамя на юбилейную вахту, и особенно возросла среди них тяга к чистоте помыслов, верней – тяга к проверке таковой у всех, кроме себя. В органы, возглавляемые нынче генералом армии Шелковниковым, поступило в эти дни более ста тысяч сверхплановых донесений о нездоровых настроениях в учреждениях, коммунальных квартирах, лесничествах, вольерах и т.д. Но дальше писания

докладных и доносов эти тысяча семьсот не пошли.

И нашлись еще около тысячи человек, которые пошли. Встали, снялись с насиженных мест, бросили работу, семьи, развлечения, путевки, сбросили по примеру гренландского типчика обувь и пошли. Устремив остановившиеся взоры в район Полярной звезды, брели они медленно куда-то к одной точке в районе Западного Таймыра, на берегу Карского моря, и остановить их не могли ни отряды спецназа, ни штормы, ни голод, ни холод, ни анафема. Были среди них люди очень ветхие, с дореволюционным партийным стажем и безнадежно пятым пунктом, были юные пионеры и октябрята самых невероятных национальностей, остяки и гагаузы, лаки и кумыки, была даже последняя айнская девочка из города Оха на Сахалине, были три профессиональных бильярдных маркера из Чимкента, один безнадежно прокаженный из лепрозория под Астраханью, еще майор с китайско-советской границы, еще московский поэт, автор давнишней революционной песни “Таратайка”, тоже с пятым пунктом, еще преподаватель теоретической механики из Гродно, верховный раввин города Межирова – да мало ли еще кто. Среди шагавших имелись инвалиды: кто потерял руку в сражении за Халхин-Гол, кто ногу при освобождении Дрездена, иные возложили на алтарь отечества не одну часть тела, а несколько, иные выходили из сумасшедших домов, иные из лагерей строгого особого режима, еще иные из катакомб московского метро, а еще совсем иные умудрялись оторваться от преследования матерями-одиночками, – далеко не у всех у них были паспорта или партбилеты, иные даже вовсе никаких документов не имели, а были и такие, что не помнили, как их зовут.

Объединяло их одно: в душе все они были коммунистами.

Они шли, а члены их семей, сослуживцы, органы милиции, внутренней охраны и прочие добросердечные люди принимали все меры к тому, чтобы их уходу воспрепятствовать. Чтобы не шли они никуда, чтобы вели себя, как нормальные, – и не понимали, что такое вставать на пути зова партии, голоса крови, долга. Члена КПСС с 1885 года, Еремея Металлова, например, пытался удержать весь поселок Переделкино: и дом старых большевиков, и писательский поселок, и генералитет, и скопившиеся в этих краях иностранцы, пережившие на русских бабах; они высыпали поглядеть на ветхого старичка, который вылез из дверей своей персональной палаты вместе с многотонной реанимационной аппаратурой и пополз куда-то через речку, насилу догадались его от аппаратуры этой отключить, втащили назад в палату, приковали к стене, стали выводить из коматозного состояния, но, увы, вывести уже не сумели – директриса получила выговор по служебной линии за бардак среди пациентов, – а Еремей тем временем опять втихую уполз на север, никто и не заметил. Рецидивиста Хлыстовского, в одиночку переплывшего пролив, отделяющий в Охотском море Шантарские острова от материка, просто расстреляли с вертолета, когда он выходил на берег, – но проявили преступную халатность, не проверили расстрелянные останки на ползучесть. А зря. В Москве, впрочем, тоже проглядели вспучивание одного захоронения в Кремлевской стене, весьма давнего, разглядели уже тогда, когда плита с датой захоронения самовыломилась, урна с прахом самовскрылась и осталась

валяться на газоне, придавив голубую елочку, а сам по себе прах незримо и неуловимо поплыл в северном направлении, по пути самовзвеваясь, самопоругиваясь, но не в силах самопротивостоять необоримому влечению в таймырские и более дальние дали. Двое из трех бильярдистов, проживавших в городе Мары, не выдержав перехода через безводную пустыню, сложили кости, не дойдя даже до Аральского моря; лишь третий, самый старый и самый жилистый, чемпион СССР от последнего спортивного, 1930 года, как известно, Маяковскому дававший при игре только три шара форы, ибо тот играл очень хорошо, пустыню пересек и, никем не разыскиваемый, побрел к вожделенному берегу Карского моря. Да и шесть юных пионеров пренебрегли заслуженным отдыхом в лагере Артек, бывшем Суук-Су, среди них четверо русских, один лезгин и один эфиоп-амхарец, были захвачены при попытке форсировать Сиваш, были водворены обратно в лагерь, где выяснилось, что эфиоп шел с прочими против воли, да и вообще был членом свергнутой династии. А вот знаменитый дирижер Макс Аронович Шипс обуялся неведомой северной болезнью прямо во время концерта своего родного военного оркестра им. Александрова и, продолжая дирижировать маршем “Тоска по родине”, так на север и ушел – и никто его отчего-то не ловил.

Многие, кто шел на север, имея при себе душу повышенной чистоты и с приподнятым настроением, вдруг останавливались посреди бескрайней русской степи, либо ж бескрайней сибирской тайги, либо же посередине бескрайней среднеазиатской пустыни, – уж где кому доводилось, – хватались рукой за левый бок, за сонную артерию или же там еще за что и падали вниз лицом, головой всегда на север, сраженные неизвестно которым форс-мажором, но некоторые, даже упав, еще продолжали ползти, все туда же, на север, как некогда двигался к северу безумный капитан Гаттерас в финале одноименного романа детского писателя Жюль Верна.

Далеко не всех удалось удержать даже из числа тех, кто начинал свой путь к северным краям из неумолимо-гостеприимных психушечных стен. Бывшая шеф-повариха ресторана “Лето”, что на ВДНХ в Москве, второй год отбывавшая срок в больнице им. Кащенко за очень уж наглое хищение сливочного масла и сухого компота, к примеру, пошла на то, что переплыла Московское море, три дня отлеживалась в болотных топях, один раз ее даже – для ее здоровья, впрочем, без вреда – переехал танк, в котором маршал Дуликов подремывал в ожидании грядущих жизненных перемен; дважды переодевалась, один раз мужчиной, каликой перехожим, другой раз женщиной-милиционером, дошла до Кунгура, там была перехвачена отрядом ОМОНа, отправлена в родное Кащенко, но по дороге удачно выбросилась из поезда, опять отлежалась в болоте и снова ушла на север, на этот раз уже безвозвратно. Не менее бесстрашно вели себя и те, кто бежал на север прямо со служебного поста. К примеру, истопник подольского комбината бытового обслуживания выдержал шестидневную погоню, организованную за ним местным клубом служебного собаководства (он как раз был председателем этого клуба). Также бежал в северо-восточном направлении истопник еще и каменец-подольской артели глухонемых, по дороге в Ярмолинцах ограбил кооперативный ларек, повинуясь

неодолимому желанию вкусить комиссионной колбасы по семь рублей килограмм, был арестован, ночью проявил нечеловеческую силу, проломил тюремную стену и вместе с колбасой ушел туда, куда его влекло. Также и бригадирша ковровщиц из-под Ленкорани, старая женщина, Герой соцтруда, накануне того самого дня, когда ее бригада собиралась встать на ударную вахту, дабы выполнить задание пятилетки на девять месяцев раньше срока, бесследно исчезла с родной фабрики, с большим трудом была изловлена возле Красноселькупа с дорогостоящим ковром под мышкой, сперва пыталась вести агитационную работу среди сцапавших ее милиционеров, потом, когда осерчала на милицейскую тупость, села на свой ковер и улетела, куда ей хотелось.

Наиболее тяжело протекала эта самая “северная болезнь” у тех несчастных, кто был застигнут ею за пределами СССР. Около полусотни “алим”, иначе говоря, нововселенных граждан Израиля, одновременно покинули свои более или менее насиженные места и двинулись на север, где вскоре почти все погибли под кинжальным огнем сирийской артиллерии. Те немногие, кому повезло пройти насквозь Сирию и Турцию, были задержаны советскими пограничниками возле Батума и очень скоро убедились, что хорошие деньги даже в СССР это не что-нибудь, а таки да, хорошие деньги, – словом, эти пятеро камикадзе дошли до Таймыра вполне спокойно. Еще один, некий Ицхок Бобринецкий, чья фамилия неопровержимо указывала на происхождение из города Бобринца Елисаветградской губернии, где когда-то уродился Троцкий, а потом лично товарищ Грибашук, – так вот, этот Ицик вырвался из рук советской охраны, не уплатив ей ни гроша, пробрался по берегу Черного моря к Сочи, свернул на восток и по бездорожью, переплывая реки, питаясь одною полынью, допешествовал до своего Таймыра, где сухопутная часть его странствия была исчерпана. Еще какие-то четыре поклонника братства художника Рериха, называвшие себя таким русским словом, что его и повторить-то неловко, пришли напрямую из Таиланда через границы к советско-китайской, навели на пограничников немножко колдовства и без особого труда пересекли весь Эвенкийский национальный округ, ввалились в море по колено и тут же замерли от обалдения: на берегу стоял, беззвучно дирижируя каким-то маршем, человек в форме советской армии. Поклонники Рериха в ужасе ушли под воду.

Несколько человек были поражены той же болезнью в Западной Европе, почти все они работали на радиостанции “Свобода”, но из них никому перейти советскую границу не удалось, судьба их стала известна лишь через тридцать лет, притом случайно, скажем лишь то, что на Таймыр они не попали. Долгие годы оставался неведомым тот факт, что пятеро бывших граждан СССР, уже довольно плотно обосновавшихся к этому времени на Брайтон-Бич, тоже были настигнуты сходной болезнью, но у них она приобрела необычные симптомы: все они пошли не на север, а на юг, намереваясь пройти через Латинскую Америку, Огненную Землю, Антарктиду, Австралию, Индонезию, Индокитай, Китай, Монголию, потом опять-таки пересечь советскую границу и достигнуть таймырского сборного пункта, – пусть с опозданием, но достигнуть. Судьба их стала известна гораздо позже.

Очень большие трудности, конечно, испытывали те, кому в СССР приходилось дезертировать из воинских частей. Но, к счастью, таких оказалось только двое: уже упоминавшийся военный музыкант-майор и еще нестроевой солдатик, служивший при кухне воинской части у поселка Войновичи, но его быстро поймали и вставили куда надо. Одним словом, дорога у всех была нелегкая, нет ничего удивительного поэтому, что до конечной сухопутной ее точки дошло не более сорока процентов тех, кого в июльские дни одолела “болезнь Гаттераса”, когда неказистый зомби в Гренландии, сидя на камушке, подул в свою дудочку. Те, кому после всех мытарств удавалось все-таки достигнуть вожделенного берега Карского моря, отнюдь не останавливались тут, не объявляли митинг открытым и даже не присаживались передохнуть перед следующим, быть может, роковым этапом своего большого пути. Все они недрогнувшей стопой шагали прямо в ледяную воду и очень быстро скрывались под поверхностью. Никто из них не пытался ни плыть, ни ходить по водам, тем более не пытался дожидаться осенних месяцев, когда воды замерзнут – под беззвучный марш “Тоска по родине”. Все они попросту уходили в воды Ледовитого океана – думалось, что безвозвратно. После всех, продолжая дирижировать, ушел и майор.

Шли месяцы, в России Петр и Павел, как гласит народный календарь, час убавил, а потом, в соответствии с тем же календарем, Илья-пророк – два уволок, всякие грозы над Россией тоже гремели, да и над Северной Гренландией, случалось, тоже снег сыпал, а на Земле Фридерика VIII, обратившись лицом на север, все так же играл на дудочке маленький зомби с залитыми тушью глазами. Никто не догадывался прийти к нему и молвить петушиное слово, которое возвратило бы ему изначальную личность. Илья Заобский совершенно незаконным образом уволок из истории России два каких-то своих звездных часа, но помочь ему это могло не больше, чем Петру Вениаминовичу Петрову, – памятник, который сооружали ему в родном городе Старая Грешня, красивый памятник, с ящиком водки на плече, – это для Пети Петрова тоже был звездный час, посмертный, увы, только ничего он ему не убавил и не прибавил. А вот Павел... Ну да не будем забегать вперед.

Словом, миссия маленького зомби лопнула, как мыльный пузырь: никто сколько-нибудь важный на звук дудочки не пошел из России, ибо чистых душой коммунистов оказалось в ней очень уж немного, и не те это были люди, которых из России выманивали. Беспилотники еще продолжали метать бедняге колбасу, но рано или поздно всей этой затее должен был прийти конец, отозвавшись могучим скандалом в глубинах Элберта: на фига, спрашивается, было поить-кормить всю группу врачей-эсэсовцев, пятнадцать лет цацкаться с “гаммельнской дудочкой”? Не любит американский налогоплательщик таких историй, ох, не любит. А продолжение у этой истории случилось и вовсе плохое.

Ледяная избушка Витольда была выстроена без глупой экономии, добротна и герметично. Вот уже шестую неделю не выпускал из нее Витольд никого из членов своей экстравагантной семьи, – еще набредут с пьяных глаз на зомби, разбирайся потом. Но Дарья Витольдовна, третья по счету дочь Витольда,

незамужняя и наиболее из всех дочерей пьющая, к концу шестой недели выглянула как-то раз в иллюминатор, увидела, как славно играет незаходящее солнце на кристаллах экспортного льда, как очаровательно-угрюмо катит волны к берегу наконец-то освободившееся ото льда море, – и захотела не просто выпить, а выпить на чистом воздухе, и лучше – в компании. Принесла Дарья Витольдовна со склада противотанковое ружье и, не долго думая, в окно выстрелила. Окно было рассчитано на обстрел снаружи, а не изнутри, и, понятное дело, вылетело. Дарья взяла с собой две бутылки армянского коньяка, в том числе одну початую, и пошла искать себе общество. Женщина она была видная, потому, наверное, и незамужняя, что пить любила не в одиночестве, размер лифчика носила девятый, парижский магазин присылал ей таковые модельные через агента в Исландии, прилагая к каждому десятку пробный образец – вдруг ей уже десятый номер нужен. Но Дарья Витольдовна пока и в девятом себя хорошо чувствовала. Однако ж компанию даже при подобном размере лифчика на бескрайних просторах Северной Гренландии найти было непросто, поэтому Дарья, как только завидела на берегу несчастного, одинокого мужика с дудкой, так сразу и пошла к нему. Она и сама была одинока. Глушь тут, в Гренландии. “Лучше поздно, чем никому”, – подумала Дарья уже в который раз в жизни, глядя на этого мужика с полуприкрытыми, совершенно черными глазами.

Снег возле мужика был грязноватый, видно было, что человек женской лаской обижен и вообще в одиночестве. Кругом валялись колбасные хвосты и куски изжеванных за летние недели дудок. Дарья выбрала местечко почище, присела и отпила из бутылки. Мужик все тянул мелодию, занудную, как в индийском кинофильме. Дарья отхлебнула еще два разочка – и бутылка, на сегодня пока что первая, пришла к концу. Тут она почувствовала что-то вроде усталости, решила сделать перерыв, в том смысле, что перекур, и заодно познакомиться. Однако ни на дружелюбное “Слышь, друг, а?..”, ни на мощный толчок локтем мужик никак не среагировал. – Ты уши-то мне кончай шлифовать! – гаркнула Дарья, – что за чокнутый, на такой холодрыге да не желает выпить с женщиной? – Она решительным движением вырвала из рук мужика дудку и отшвырнула ее с обрыва подальше. Но зомби позы не изменил, в руках его вместо дудочки оказалось пустое место, которое Дарья и заполнила наспех открытой бутылкой: так, чтоб горлышко к губам, а доньшко к небу. Волей-неволей зомби сделал немалый глоток. Правильный глоток получился, не закашлялся мужик.

– Ну? – грозно спросила Дарья, отбирая бутылку. Мужик выхлебнул чуть не половину, так и себе ничего не останется. Тем временем зомби медленно опустил пустые руки и повернул к Дарье лицо. Чернота залитых тушью глаз быстро исчезала, под ней проступали самые обыкновенные голубые радужки. Мужик удивленно посмотрел на Дарью и с трудом произнес:

– Вы похожи на мою маму... – он говорил по-русски, но с каким-то акцентом, и вдруг заорал: – Коньяк! Коньяк я пью!..

– А ты думал, я тебе сучка под жабры плеснула, а? – буркнула Дарья, добрея. Сатанинское выражение лица, с которым зомби сидел на ледовитом берегу вот уже сколько недель, исчезло буквально на глазах. Сейчас перед незамужней

дочерью Витольда Безвредных сидел просто босой, усталый, заросший бородой мужчина лет сорока, небольшого роста, в залысинах, и глаза теперь у него были не дьявольски-черные, а добрые, голубые, мутноватые, ласковые. То, что он говорил по-русски, было очень кстати, потому что Дарья с ее семейным положением, тяжким алкоголизмом и девятым размером лифчика никакого другого не знала.

– Согревает... – тихо и печально произнес расколдованный зомби, зябко шевеля ступнями. Окаменевший перед телеэкраном от ужаса Витольд бессознательно повторил его движение – и, понятно, расплескал горчичную воду на текинский ковер тринадцатого века, – он опять лечился от простуды.

Несмотря на коньяк, бывшему зомби действительно стало холодно. Сознание и память стремительно возвращались к нему, с тошнотой припоминал он свои более чем пятнадцать лет, в течение которых жил под властью чужой воли, под глупым чужим именем, без капли спиртного. Он вспоминал белые халаты, черные пещеры, до бесконечности изменяющуюся форму дудочек, конскую колбасу, снова халаты, снова пещеры. Сердобольная Дарья дала ему отхлебнуть еще разок – и остатки наведенного на его сознание гаитянского дурмана растаяли: зомби окончательно стал человеком, он вспомнил себя. В святом православном крещении, данном ему в осенние месяцы осенью сорок второго года на водокачке Пресвятой Параскевы-Пятницы, что была все еще цела в родном селе на западной Брянщине, получил он имя – Георгий. По законному отцу он имел также отчество – Никитич, ну, и фамилию тоже перенял отцовскую – Романов. Проще говоря, он был законным сыном сельского сношаря, что при селе Нижнеблагодатском, труды свои вершившего под псевдонимом Лука Пантелеевич Радищев, но при крещении в освященном браке зачатого дитяти устыдившегося и назвавшего священнику свое настоящее имя.

Но тех далеких военных лет Георгий, понятно, почти вовсе не помнил. Самые ранние воспоминания его жизни относились к тем тяжелым дням, когда его матушка, могучая женщина с востока России, оставив узаконенного венчанием на водокачке супруга, погрузила в тачку двоих сыновей и еще дочку, которую имела от прежнего невенчанного мужа, и побрела вместе с танками, пушками и дивизиями немецкой армии куда глаза глядят, а глядели ее глаза на Запад, в Европу. Разлуку с нежно любимым благоверным избрала эта женщина, когда настал черед делать выбор: снова стать при недвижимом муже одной из простых деревенских Настасий, да еще с перспективой пострадать за венчание при немцах, или сматываться в Европу. Совдепов Устинья не столько боялась, сколько презирала: и за то, что такого мужика прозевали, да и прозывают, это ясней ясного, – и за первого своего мужа, угробленного по доносу, тоже мужчину не слабого; да и просто противно было ей в этой стране, живущей отрезками от майских праздников до октябрьских, от беспросветной обстановки трудовых будней и ежедневных двадцативерстных прогулок в приемную к районному прокурору. Устинья решила уйти в Европу, надеясь, что красные туда не дойдут. Обольщалась, хотя, в общем-то, умна была.

Шли они по развороченным трактам, по минным полям, по шпалам, а потом все больше по глухим лесам, полностью оторвавшись от таких же, как она с детьми,



беженцев, от отступающих частей немецкой армии, тоже обольщавшихся насчет красных; и от битых-перебитых остатков венгерских, румынских, итальянских и еще каких-то воинских группировок, уже не обольщавшихся, кстати. Тина катила тачку, в которой сидел маленький Георгий на куче пожитков, а сзади, хныча и клянча, брели старший брат Ярик и сестра Кланя. Встречались на пути и дочиста сожженные села, и не видавшие никакой войны хутора, случалось обгонять кого-то и пропускать кого-то вперед, – из числа тех, кому еще меньше, чем Тине, улыбалась перспектива вкалывать на передовых стройках Крайнего Севера. Попадались отряды бандеровцев, – то ли даже махновцев, понять было трудно, – которые еще не решили, драпать им туда, куда все драпают, или быстро-быстро перекидываться червоными партизанами. Одна такая банда в глухой пуще за Черниговым на Тину польстилась, – хоть вообще-то с лица Тина страшна была очень, это ей и муж говорил не раз. Банда была так себе, стволов семь, пулемет станковый один, гранаты, другая мелочишка. Тина прикрыла ребятишек тачкой, достала из-под барахла “шмайссер” и встретила бой. Через десять минут все было кончено, банда полегла, и Тина позволила себе и детишкам полдня отдыха на законных трофеях. У банды оказался запас продовольствия на два года, из этого добра Тина отобрала только самое полезное, шоколад, тушенку, еще что-то, оружие, какое получше, – все это навалила на тачку, сверху посадила опять же Георгия – и покатила дальше на запад. Вот этот-то американский трофейный шоколад и вспоминался младшему, законному сыну великого князя Никиты и жены его Устиньи всю жизнь, было это первое его детское впечатление, к тому же очень обидное. Шоколад был горький – и малыш разревелся. И с тех пор не любил Америку, всегда ждал от нее подлости, наподобие горького шоколада, не то предчувствовалась ему грядущая страшная судьба, не то это он сам ее на свою голову накликнул.

Тина все шла и шла на запад, чувствуя, как война дышит ей в спину перегаром. Вместо уже привычной украинской речи, пополам с как-то выученной в потребных масштабах немецкой, вокруг стало слышно сплошное шипение; Тина вспомнила книжку великого писателя Максима Горького, где сказано, что у поляков язык змеиный, и догадалась, что дотопала до Польши, но и немецкие разговоры тоже иной раз удавалось подслушать, из них следовало, что дела у фюрера очень фиговые, а потому надо топать дальше. Скоро польская речь кончилась, пошла одна немецкая, однако дела у фюрера были еще фиговей, чем раньше. Когда что требовалось Тине, брала она из тачки банку-другую прессованной ветчины, либо пачку кофе, приходила под уютные немецкие окна и меняла: большая сила была тогда в качественных продуктах, а от кофе бауэрши так и вовсе слезы проливали. Не обходилось без столкновений, многим тогда интерес к Тининой личности стоил жизни. Тина дала себе относительно твердый зарок: после законного мужа в ее жизни никаких мужчин не будет. Хватит. Детей на ноги ставить надо.

Была уже зима сорок пятого, когда Тина стала чують дыхание войны уже не за спиной у себя, а где-то прямо по курсу. Семилетняя дочка, впрочем, уже начала матери помогать, иной раз даже костер раскладывала сама, а однажды повела

себя совсем как настоящая женщина. Среди ночи прямо к их костру выкатился из леса неизвестного происхождения джип с четырьмя насмерть перепуганными людьми в штатском. Девочка даже маму не стала будить, просто взяла “шмайссер” и всех чужаков разом положила. Мать ее здорово отшлепала за это, запасов в джипе оказалось мало, только документы какие-то и мешок странных зеленых денег. Наутро Тина, закопав и джип, и убитых румынских министров, тихонько прошла на хуторок, расположившийся в котловинке между холмиками, убедилась, что немецкий тут звучит очень странно, ее тут не понимают, но зато очень хорошо понимают, что это за непонятные зеленые деньги. Сменяв всего-то пару бумажек на большущую сумку всякой еды, – а сумку-то, сумку вообще в придачу дали, бесплатно! – решила Тина деньги эти беречь. Видимо, в страшные дни конца войны зеленые деньги все-таки чего-то стоили. Может быть, даже только они. Тина не знала, что того же мнения придерживается весь мир.

К лету Тина с детишками, незаметно для себя и для войск союзников, протопала сквозь Баварию и вступила в Эльзас. Здесь прятаться стало трудно, леса поредели, война, кажись, кончилась, язык кругом звучал вовсе непонятный, французский, но тут Устинье изрядно повезло: она неожиданно набрела на русский хутор, точнее, на деревушку домов в тридцать. Вокруг деревянной православной церкви со сгоревшей колокольной жили потомки заброшенных Первой мировой войной во Францию кубанских казаков. Тину наняли батрачкой за харчи на четверых и не пожалели: работала Тина, как добрая дюжина казачек. К весне будущего года к ней вовсе привыкли, как-то спокойней жилось приемным детям Эльзаса за спиной этой могучей женщины. Тина иной раз вздыхала: мужа бы сюда, дом бы отстроить, да и... понимала, что муж ее и тут за свое ремесло взялся бы, сплевывала сквозь зубы и снова бралась за работу.

Висевшая над всеми беглецами опасность быть снова возвращенными в Совдепию исчезла довольно быстро. Воеводы союзников, отвезя домой репарационное барахло, возвращались в Европу и собирались драться между собой, ни о какой выдаче бывших пленных уже и речи не заводилось. Устинья, жившая в русской избе, тоже, понятно, никакой новой речи завести не могла, казачье село – не то место, где французскую речь могут преподать. Но дети росли, дочка совсем уж невестой стала, и с опаской ловила Устинья голубую муть, то и дело мелькавшую в глазах старшего сына, Ярика. Негоже было растить детей в такой глуши, им нужно на ноги становиться твердо. Тина решила. Собрала снова тачку пожитков, “шмайссер” выбросила, зато уцелевшие почти на три четверти румынские доллары, напротив, упаковала очень бережно и, провожаемая опечаленным эльзасским казачеством, пошла вдоль вполне уже восстановленной железной дороги из Меца на Париж.

Потом были скитания по портовым городам, бесплодная попытка высадиться в Нью-Йорке, – Тине воспретили появляться в Штатах пожизненно, обвинив в создании американской коммунистической партии, – были заезды в какие-то бананово-лимонные республики, мешок с долларами отощал окончательно, и давно уже шли пятидесятые годы, когда пакетбот выгрузил семью Романовых в

столице Пуэрто-Рико, большом и красивом городе под названием Сан-Хуан. Как она сюда попала и даже откуда приплыла – не взялась бы объяснить и сама Устинья, знала она только, что жить нужно в Америке, а чем Северная лучше остальных – ей никто не разъяснил. Здесь, в Сан-Хуане, ей вообще-то тоже проживать не полагалось, с пятьдесят второго года тут была вроде как бы тоже американская территория, однако Устинье надоели океаны, в общем, не то нарушила она данный по уходе из России обет безбрачия, не то целостность черепа кому-то нарушила, не то оба этих факта имели место, вспоминать про то не хотела. Она получила какие-то документы и была выпущена в Сан-Хуан с видом на жительство, детьми и остатками пожитков. Жительство в первую ночь получилось пляжное: нигде, кроме бесконечно длинной полосы городского пляжа, пристроиться не удалось, да и туда пробрались все четверо не очень легальным путем. Но как-никак было не холодно, солнце наутро взошло с востока, и по этой верной примете решила Тина, что никуда она отсюда больше не ездунья. Баста. Никуда она отсюда не двинется. И дала в том зарок, более или менее твердый.

Английский у Тины как-то не заучивался, но неожиданно легко выучился испанский. Пошла она, как обычно, мыть ресторан на де ла Форталеца за восьмерых да там же вышибалой подрабатывать. Полгода она копила деньги, прежние были совсем на исходе, еще призаняла у одной русской графини по фамилии Малкин, собственно, владелицы того самого ресторана, где заменяла значительную часть услуги, – и открыла вблизи от Меркадо Агрикола салон-гадальню с русским рестораном. Дело пошло, как шло все, за что Тина бралась, только историческая эпоха, да и география, мало ей способствовали. Все Устинье доставалось лишь с полным напряжением сил. Особенно оказались немолодые мулаты падки на борщ, на блины, на предсказания судьбы по картам, кофейной гуще, ногтю и цвету искр из глаз. Было Тине всего еще только сорок лет с хвостиком, вполне она еще могла рассчитывать и на супружеское счастье, и на несупружеское, но зарок своему осталась верна. Ну а если и не осталась, то кому какое дело. Разве ж мужики в Сан-Хуане могут водиться? А свой остался на Брянщине, где только заикнись про этот самый Сан-Хуан, так попросят не выражаться.

Кланя перешла на заведование процветающей кухней при материной гадальне-ресторации, все Тинины детишки окончили плохонькую и очень скоро закрывшуюся русскую школу наподобие приходской, – вероятно, будет точней сказать, что школа сама окончилась. Старший сын, Ярик, вовсе отбил от рук, неделями не ночевал дома, потом, кажется, завербовался в “зеленые береты”, и слухи пошли о нем удивительные. В последний раз матушка видела блудного сына из окна своей кухни, и был он в форме американской морской пехоты, а выражение глаз его было мутно-голубое, очень огорчившее дальнозоркую Тину. Домой он, понятное дело, не пришел, даже, говорят, имя и фамилию переделал на испанский лад.

Без большого сожаления Тина отсекла старшего сына от сердца, убедила себя в том, что дурные отцовские черты перешли именно к нему, а вот лучшие – достались младшему, законному, не “привенчанному”, через одиннадцать

месяцев после венчания родившемуся, это особенно важно, нареченному в святом православном крещении в честь Георгия Победоносца. Тот, впрочем, как и старший брат, не выдался ни ростом, ни телосложением, а уж лицом, конечно, не уродился особенно, – зато обладал абсолютным слухом, сам научился играть на флейте, и по классу оной принят был в высшую музыкальную школу Сан-Хуана, которую содержало местное общество развития креольской музыки. Флейтой владел он превосходно, хватал почетные стипендии одну за другой, даже великий старик Эрнандес Марин, доживавший век именно в Сан-Хуане, его как будто похвалил, и собирался принять участие в каком-то международном конкурсе, – и вот именно тогда роковая настырность окаянных гринго испортила ему жизнь.

Сектор информации института Форбса о земном бытии Никиты Романова знал давно, но с той поры, как князь в употреблении спиртного перешел на пиво собственной варки, связь с ним утратил. Лишь при Кеннеди, после упорных розысков, удалось вновь найти со сношарем контакт, предложить ему всероссийский престол, – ну и получить от него категорический отказ. Помотавшись вокруг него год или два, агенты Форбса собрали немало ценных материалов: стало ясно, что слова своего сношаря не изменит ни на миллиметр, но обнаружилось также и то, что имеет князь Никита, помимо незаконных, еще и двух совершенно законных отпрысков мужеска пола. Сектор генеалогии предложил Форбсу незамедлительно начать всемирный розыск Устиньи Романовой вместе с ее двумя царскими и одним подлым дитем. Поиски сожрали массу денег и времени, но в конце концов привели на пуэрториканскую территорию, то бишь на территорию государства, “свободно присоединившегося к США”. Отчасти оказалось поздно: старший сын Устиньи, великий князь Ярослав Никитич Романов, взяв от американской армии все, чего хотели его тело и душа, канул в глухие южноамериканские дебри, да в такие, в какие и сотрудники Форбса путешествовать побаивались. Но, к счастью, молодой и полный творческих сил флейтист, великий князь Георгий Никитич Романов, оказался на месте, а на отречение сношаря в пользу младшего сына вполне, казалось бы, можно рассчитывать. И это даже несмотря на то, что законным сношарь соглашался считать только старшего сына, прижитого по любви, до свадьбы. Однако же из-за того, что метрические книги на водокачке Пресвятой Параскевы-Пятницы велись аккуратно, по ним получалось, что оба сына сношаря в крещении получили имя в честь Георгия Победоносца, – Форбс на этого святого даже обиделся. Далеко не сразу разобрались в институте, кто из законных детей сношаря есть кто, а когда разобрались и попытались сношарю дать разъяснения, старик запутался вконец и отрекаться вообще ни в чью пользу не пожелал. Еще менее чем со сношарем улыбалась Форбсу перспектива иметь дело с самой Устиньей Романовой. Ее биографию удалось довольно подробно изучить, и тогдашний предиктор, слепец из Вермонта, указал, что в случае столкновения с этой волевой женщиной дело для США может кончиться вообще распадом страны.

Осенней ночью над Сан-Хуаном зарядил тропический ливень, подул неприятный ветер, а Георгий Романов возвращался необычайно поздно с

сольного концерта, который давал перед растафарийским благотворительным обществом. На повороте переулка он был неведомо кем схвачен, усыплен, сунут в мешок и вывезен в штат Колорадо. Устинья пролила скупую богатырскую слезу, умом постигнув, что и младшему сыну от отца тоже многое дурное досталось, раз уж он мать одинешеньку на чужой сторонешке бросил со всем хозяйством, – и вернулась к прерванному гаданию, в клиентках на этот раз была как раз сама вконец обветшавшая графиня Малкин. А Георгий проснулся уже только в глубинах Элберта, откуда мог выйти лишь претендентом на российский престол – или не выйти вообще. Приличных кандидатов в ту пору, как на грех, у США почти не было – даже и на свой-то собственный президентский пост, – так что Форбс за Георгия ухватился очень крепко.

Но оправдались худшие его опасения. Георгий Романов отлично знал, кто такой его отец, знал, что и отец, и брат, и он сам вполне могут претендовать на высшие титулы в той стране, из которой мать укатила его сидящим на тачке. Правда, по-русски он говорил плоховато, но это с жителями Пуэрто-Рико вечная история, так сказать, вестсайдская, на всех языках они говорят неважно. Непреодолимы оказались два других барьера: неукротимая любовь Георгия Романова к музыке и необоримое отвращение ко всем видам власти. Тогда Форбс отправил Георгия в отдел перестройки личности – иначе говоря, зомбирования, только в институте этого слова не любили – и получил прогноз возможной перестройки, и оказался он плохим донельзя. Отвращение к власти еще можно было в этом Романове перебороть кое-как, но тогда его страсть к музыке, к флейте, обещала возрасти во многие сотни раз. Америка рисковала получить в России царя, играющего на дудке, а плясать под нее для Штатов было бы неприлично. Надежды Форбса на доброкачественность кандидата лопнули, как мыльный пузырь. Форбс нехотя возвратился к ленивому перебиранию всяких князей Романовых – Николаев, Андреев, Романов и снова Романов, каковые чуть ли не все были из хилых боковых линий, отпрысками морганатических браков, а то и вовсе самозванцами – последние Форбсу были даже как-то симпатичней подлинных. А вот сдуру похищенный Георгий Романов был передан группе магов для полного зомбирования и употребления в дальнейшем на какой-нибудь несложной работе: терпеть живого, почти законного, формально имеющего права на русский престол среди свободных граждан Элберта было для Форбса немыслимо. Пусть этот Романов станет индейцем, негром, австралопитеком, кем угодно, только пусть перестанет быть самим собой. Даже если от этого он не перестанет играть на флейте.

Бустаманте, тогда еще очень молодой и почти не обуреваемый подозрениями, что другие маги норовят его переволшебить, – это пришло позже, – всесторонне обследовал подлежащую зомбированию личность и совершенно заслушался неаполитанскими мелодиями, которые личность исполняла на флейте, – Георгий Романов знал их много, в Сан-Хуане он много раз выступал перед мафией и получал от нее небольшую стипендию. Бустаманте обсудил с начальством детали, дождался третьего новолуния с момента возгорания сверхновой звезды в созвездии Змееносца и наложил на Георгия Никитича увесистое генуэзское заклятие.

Внешние черты несостоявшегося наследника престола переменялись мало, только глаза ему словно черной тушью залило, невидима стала мутная романовская голубизна, заснула наследственная магия пола, да и вовсе перестали его числить Романовым. Отныне он носил данное не без ехидства имя Вяйно Лемминг, говорил он только на финском и на ломаном немецком, день и ночь играл на дудочке. Бустаманте проверил прочность наложенного заклятия и передал бедного зомби для дальнейшего ценного употребления в дело. Специально собрали в Боливии группу врачей-нацистов, из числа тех, по следу которых уже по пять евреев за каждым ползло с пыльными мешками, приказали всем работать, – характерно, что приказывал им Цукерман, – и больше полутора десятилетий покинуть элбертовское подземелье Леммингу-Романову было не суждено. Он разучивал под руководством нацистов ворожителей мелодии: на одну шли крысы, на другую – летучие мыши, на третью – феминистки, на четвертую – сторонники партии Индийский Национальный Конгресс, на пятую – сторонники энзиса Кипра, на шестую – латиноамериканские прозаики, на седьмую – ортодоксальные марксисты-коммунисты, чистые помыслами и душой в лучшем понимании. Больше мелодий нацисты не придумали, требовалась именно седьмая, и где-то на вершинах ЦРУ решили, что для нужд грядущей российской реставрации может оказаться очень полезно утопить десяток миллионов сторонников отжившего строя в Ледовитом океане. С помощью аэрофотосъемки быстро нашли место на северном побережье Гренландии, чтобы, когда придет пора, туда зомби-крысолова посадить – пусть играет, напротив как-никак Россия. Впрочем, никто отчего-то не подумал запросить предиктора: а ну как это место приглянется и еще кому-нибудь. А зря. Узнали бы тогда наперед про ледяную избушку Витольда, про небезопасность этого места. Но реставрация все никак даже и не намечалась, и долгие годы репетировал Лемминг-Романов свою заунывную мелодию, нацисты вымирали понемногу, а прочие размышляли – не лучше ли было бы сдать евреев. Наконец Форбс решил, что подготовка реставрации дозрела до стадии, так сказать, молочно-восковой спелости, и зомби-крысолов был сброшен с парашютом на территорию дачи Витольда, за которой в США, конечно, присматривали, но вот уж с чем, а с космическим ведомством Форбс ничего общего не желал иметь: нету никакого космоса, только тайкон есть, как в Китае сказали, так только и может быть. Рано или поздно левая американская рука дотянулась до правой, и лучшие мозги нации сообразили, что зомби попал на дважды социалистическую территорию. Но это уже не имело значения. Кто же мог знать, что никакой призрак коммунизма по России давно не бродит? Что побредут в воды Ледовитого океана только те немногие, которые в грядущей России никому бы и не мешали? Что врагов реставрации в России, глядишь, вообще не окажется? И кто ответит теперь перед американским налогоплательщиком за средства, изведенные на содержание врачей-нацистов, на конскую твердокопченую колбасу для зомби? В недрах Элберта – и выше – разразился дикий скандал, эхо которого через уши осведомленных болгарских товарищей долетело до ушей советского

руководства и принудило генерала Шелковникова в честь уцеления России перед кознями американцев приказать свояку стряпать внеочередную долму и любимую запеканку с матерным названием: свояк, после лечения, проведенного дедом Эдей, стал готовить еще лучше, только вот зопник клубненосный в России был съеден уже почти весь. В Штатах тем временем поиски виновных, вспыхнув, словно степной пожар, так же быстро и угасли: налагал заклятие на Романова-Лемминга Луиджи Бустаманте, а ему пока что даже за самую дурную работу не полагалось выносить ни малейшего выговора. Тогда о Лемминге, бесплодно дующем в дудку где-то у черта на рогах, вообще забыли, решили, что он вообще давно погиб, а то и не было его вовсе никогда. Ему ведь полагалось дудеть в свою дуду, лишь пока ненавистные коммунисты не пройдут по морскому дну первые сто метров – а дальше, извините, хоть вода не замерзай в той Гренландии. Дальше, словно использованная ракета-носитель, сделавшая свое дело, Лемминг-Романов был никому не нужен.

Нет, был нужен. Эта красивая, могучая женщина и вправду напомнила пробужденному флейтисту и чертами, и манерами незабвенную маму и почти столь же незабвенную сестрицу. Она вся лучилась благожелательностью. Но кругом было так ненормально холодно!.. Георгий счел за благо отхлебнуть еще разок из протянутой бутылки. Незаходящее арктическое солнце, выглянув из-за наползающей снежной тучи, сверкнуло на обращенном к небу донце бутылки. – Пошли в уютство, – решительно сказала Дарья, беря расколдованного мужика под локоток.

Витольд, сидя в зимнем саду, убедился, что дочь его и впрямь тащит укрошенного зомби к своему разбитому окну. Он тут же отдал приказ выставить у входа в дочерние апартаменты охрану, да и иллюминатор вставить ей самый бронебойный, как только она со своим кадром через прежний, выбитый пролезет. Витольд знал, что его дочь, захомотав свежего мужика, счастлива бывает довольно долго, пока из запоя не выйдет. Бывшего зомби, кажется, с непривычки да с расколдовки вовсе развезло. Слава Богу, наваждение кончилось! Так думал Витольд, облегченно шевеля пальцами ног в очередном тазу с противопростудной горчичной водой.

В районе Западного Таймыра входили в воду последние, кого завлекла туда гренландская дудочка, кто очень хотел в Гренландию, кто обречен был не знать покоя до тех пор, пока не упрется в ее берег. Последним ушел под воду дирижер Шипс, беззвучно вымахивая привычные такты “Тоски по родине”. Воды Карского моря сомкнулись, принесся покойствие сотням растревоженных душ. Россия по ним даже не всплакнула.

## Павел II День пирайи Часть 13

*Евгений Витковский*

XIII

Невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два лука, и невозможно рабу служить двум господам: или он будет почитать одного и другому будет

грубить.

Евангелие от Фомы. Текст Наг-Хаммади, сб. 11, соч. 2, ст. 52

– Им, стало быть, не в жилу? – глухо спросил маршал, ставя на столик непригубленную рюмку. Такая же непригубленная стояла и на трех других столиках, с трех других сторон бильярда. Себе подполковник четыре рюмки налить не решился, налил одну неполную, да и ту только нюхал вот уже вторую партию кряду. Партией их игру назвать было трудно, ибо маршал играть не умел, а подполковник делал вид, что не умеет, маршал к тому же, по обычаю, не показывал лица, так, из-за спины тыкал кием в зеленое сукно и передавал ход. После достаточно долгого чередования тыканий маршал предлагал ничью, шары снова укладывались в пирамиду, и игра начиналась снова. Что бильярд, что коньяк одинаково играли в разговоре бутафорскую роль. Впрочем, большого внимания к докладу со стороны маршала подполковник тоже не замечал.

– Так точно, товарищ маршал. Кажется, у них вообще есть сомнения насчет целесообразности сохранения в России патриаршего престола. Как я выяснил, их претендент пронюхал – он же историк, – что его предок, отец первого из Романовых, как раз патриархом служил, он был возведен в патриархи Лжедмитрием Вторым, которого называют еще Тушинским вором. Так что от патриаршего престола одни неприятности могут быть и плохие воспоминания. Нынешний патриарх, по мысли Свиноматки, запятнан, еще, правда, не решили, чем именно. Он будет должен сложить с себя сан и отправиться замаливать грехи в Пимиеву пустынь, это под Курском...

– Сам знаю, – буркнул маршал, нюхая рюмку. Не врал он, действительно, далекое почепское детство вправду берегло в недрах маршальской памяти какое-то такое похожее название.

– Простите, товарищ маршал. Переговоры с самим патриархом они или уже провели...

– Или уже не проведут... – маршал сказал это одними губами, но хотя подполковник и не видел его лица, натренированный слух все уловил.

Подполковник хорошо читал по губам со спины. Он продолжил:

– Или поручат их мне. Свиноматка, кроме того, добился, что Олух дописал и подписал чуть ли не собственной рукой, – а она, сами знаете, не действует у него с января, – приказ о награждении Павла Романова званием Героя Социалистического Труда...

– Ужо... – выдохнул маршал.

– И потребовал, чтобы я в два дня обеспечил его достойными рекомендациями для вступления в партию. Вся так называемая августейшая семья, уже очень увеличившаяся, расселяется мною по резервным дачам. В последние дни я вышел на след очередного родства. Во время войны перед наступлением на Почепском направлении Курской дуги...

Маршала передернуло – такой бестактности он все-таки не ждал. Ну да ладно, недолго уже.

– Покойный отец претендента сделал ребенка медсестре, Ларисе Борисовне



Коломиец, ныне проживающей в Ногинске Московской области, на пенсии. Сын живет там же, работает упаковщиком близ Ногинска, на тамошнем ковровом комбинате. Мать при этом категорически отрицает факт сожительства с Федором Романовым.

– Не дура, – буркнул маршал почти вслух. – Не хочет связываться. Правильно делает. Но убрать, чтоб не забыл!

– Как можно, товарищ маршал. И последнее. В Калининградский порт прибыл сухогруз “Генриэтта Шахбазьян”, доставил тысячу двести тонн свежемороженой рыбы пирайя из Южной Америки, коносаменты на этот фрахт Свиноматка затребовал через меня, полагаю, это опять попытка завязать какие-то контакты с наиболее реакционными южноамериканскими режимами и хунтами, не исключая даже выхода на самого Спирохета.

– Сволочь, – буркнул маршал, которому доклад уже надоел до крайности. – Все у тебя?

– Так точно, товарищ маршал.

Маршал молча подошел к буфету. Со спины можно было решить, что он безумно занят чтением грузинских букв на этикетках. Именно здесь, в бильярдном бункере, хранил маршал коллекцию грузинских коньяков – память о боевом грузинском друге и прочих славных сынах грузинского народа. Армянских он не держал принципиально, армян вообще по понятным причинам не переваривал, хотя и собирался как минимум одного в ближайшее время съесть. В верхнем ряду, словно выбитый зуб, зияла среди коньяков дырка, похоже было, что бутылку отсюда недавно вынули. Однако же маршал спиртного не пил почти вовсе, да и кто же пьет свою коллекцию? У маршала эта дырка в ряду, как и многое другое нынче, вызывала потепление на душе. Такая удача, как та, что выпала ему третьего дня, стоила не одной только жалкой бутылки, которую он в припадке щедрости подарил конюху. Тот сделал на складе совершенно исключительное открытие, и удачу эту маршал воспринял как доброе предзнаменование. Но не рассказывать же о своих радостях подполковнику. Еще зазнается, хоть и не успеет, надо полагать, слишком много знает, пора уже ему и честь знать.

– На фига тогда внешний министр? – одними губами сказал маршал, не подозревая, что подполковник все ясно слышит. – Европа тогда наша будет, а прочие пикнуть побоятся. И сельскохозяйственный на фига? Мы ж возьмем всех, все у нас из Европы будет. И никто не нужен... И ты не нужен...

Говорил маршал только для себя, но говорил явно лишнее. Сухоплещенко воспринял его слова как окончательную резолюцию на некоем документе, уже несколько лет составлявшемся в подполковничьей душе. В бессмертную душу у других людей он не верил, но о существовании таковой у себя знал точно и не собирался кому бы то ни было позволить ее загубить.

– А как у нас?

Сухоплещенко должен был ответить “не могу знать”, но решил побаловать начальство безвредной информацией с перчиком:

– Не все хорошо, товарищ маршал. Адмирал Докуков сочиняет челобитную на высочайшее имя.

– На чье?

– На высочайшее. Имени не проставил. Он просит разрешить ему выйти замуж за друга юности Ливерия. В свете разрешения на однополый брак племяннику высочайшей особы...

– Ах... вот на какое высочайшее. Ну, хрен с ним, он в маразме. Уберешь и его тоже, сразу с прочими, кстати. Иди уж. До Троицка в багажнике, дальше сам. Живо!

Подполковник почувствовал, что аудиенцией уже злоупотребил. Пожалуй, в другое время он подумал бы о возможных последствиях этого недосмотра. Но нынче было не до того, и даже плевать на все неудобства путешествия в багажнике. В конце концов, дел сегодня по горло, где еще их и обдумать, как не в багажнике.

Ивистал снова был один – если, конечно, не считать вовеки присутствующего собеседника, кровинушки, сына Фадеюшки. Лето было в разгаре, и клумба у памятника кровинушке уже трижды из положенных пяти раз загоралась радостными цветами. Оставались два траурных дня. Впрочем, маршал предполагал, что его в эти дни дома не будет, да и вообще, может быть, дни эти на сей раз покажутся не столь траурными, как обычно. Тем более, когда сейчас, буквально накануне выступления верных войск с валдайского плацдарма на столицу, приключилось счастливое событие.

Третьего дня, сразу наутро после возвращения с Валдая, через старшую горничную попросил у Ивистала аудиенции неожиданный человек: конюх Авдей Васильев, тот, что при жеребцах Гобое и Воробышке кровинушкиных состоял, про которого маршал и не вспоминал годами. Ясно было, что не по пустяку, прислуга у маршала свое место знала, – ну, велел допустить. Конюх прямо с порога чистосердечно рухнул маршалу в ноги и застучал лбом об пол. Маршал такой способ разговора в душе одобрил и, как всегда, стоя к визитеру спиной, велел сию минуту доложить, какого черта. Конюх поведал, что накануне предпринял расчистку сарая, смежного с конюшнями, и там наткнулся на нераспакованные еще с сорок шестого года ящики. Маршал и сам знал, что там что-то из прежних коллекционных приобретений лежит нераспакованное, но заниматься ли такими пустяками накануне взятия власти? Оказалось, что заниматься этими пустяками – самое время, ежели хочешь какую-нибудь положительную эмоцию наподобие кайфа словить в столь значительный момент. Из объяснений конюха следовало что-то столь невероятное, что маршал решил на находку все-таки взглянуть, мигом доехал до конюшен и увидел, что старый колпак говорит правду.

В восьми ящиках, поднятых дворней Ивистала, помнится, из силезских штолен, лежала аккуратно упакованная и прекрасно сохранившаяся Императорская Царскосельская Янтарная Комната. Как тут не словить кайф даже самому хладнокровному коллекционеру, а Ивистал был не самым хладнокровным.

Распаковать установить Комнату решил маршал попозже. Он принял решение занять ею бильярдный бункер, а если не поместится, то черт с ним, с бомбоубежищем, можно сломать перегородку и второй бункер занять, заодно и Буше туда всего, кроме двенадцати главных картин, перевесить, любоваться,

словом. Ограничился тем, что поставил у конюшни дополнительную охрану, Авдею коньяк выдал и несколько безделушек в бункер к себе унес. Жаль, что и Авдея по случаю этой находки тоже пустить в расход придется. Образованный ведь человек, отец у него, помнится, где-то профессором служил. И честный тоже человек Авдей. И непьющий. Но оставлять нельзя.

Непьющий маршал был сегодня почти пьян – и от неутраченной радости по поводу янтарной находки, и от предстоящего взятия власти, – а, быть может, еще и от очень долгого созерцания грузинских этикеток, чередуемого с нюханьем четырех рюмок вокруг бильярда. Маршал тяжело опустился в кресло, закрыл глаза и ушел в свой нескончаемый, адресованный Фадеюшке внутренний монолог.

После пятьдесят шестого, конечно, многое в жизни переменилось, и к лучшему, и к худшему. Журил себя внутренне маршал за то, что допустил он прежнего отца народов – себя он уже считал нынешним, – до того, что тот себя окружил неверными и ненадежными людьми. Он, Ивистал, себя вообще окружать не будет, и без того не все хорошо, так еще и окружение. Он будет один. Чтобы ни на кого не опираться, никого не бояться и ни от кого не зависеть. Власть – она власть и есть. Ее делить нельзя. Ее только начни делить – по волокнам ее у тебя отберут, по ниточке растаскают, там деревушку, тут сельцо, глядишь, не царь ты, а одна фекалия. Нет! Вся, вся власть в государстве должна быть в одних руках! От самого верху до самого низу! Чтобы и правительства не было вовсе, вместо него пусть все рядовыми будут, только мнение Главного к сведению принимают. И чтоб на местах тоже никакого начальства не было: со всеми вопросами сразу ко мне. Да и какие вопросы особенно там быть могут, когда мы Европу уже возьмем, все довольны будут и всем из Европы по потребности? Чем не коммунизм? Ивистал решил, что в его новой России коммунизм состоится не позже будущей весны, потом вынул из кармана красное райское яблочко, не очень еще зрелое, нестерпимо кислое, и медленно съел его.

Армия какая-то расплывчатая, заново все делать надо, размышлял Ивистал дальше. Не надо и в ней тоже начальников никаких. Все сам решу. На хрена бронетанковый маршал? Просто – маршал. Один – и больше нету! Простой чин, почти солдатский. Адмиралы зачем? Тоже справлюсь. Сухопутные войска – на хрена они нам вообще, когда Европу уже возьмем всю, а ведь дальше-то море? Вот разве маршала замораживания кем-нибудь оставить. Ивистал вспомнил недавние славные маневры на севере и сладко облизнулся. Хорошая это вещь – замораживание. Россия им всегда побеждала. Нет, Сухоплещенко все же придется в расход, жаль, но иначе нельзя.

Маршал подумал еще о том, что можно бы второе райское яблочко съесть, но воздержался, очень уж кисло. А то вообще-то стоило бы кисленького откусать, за упокой, скажем, боевого друга Джанелидзе. В душе его можно помянуть, обойдется без яблока. Все эти грузины хорошие были, только очень доверчивые. Джанелидзе мемуары написал, но разве это хорошо – доверять широким массам обывателей все тайны жизни и сокровенные движения души? Издал бы – ну, два экземпляра, себе и мне. Ну, третий экземпляр – своей вдове,

со мной посоветовавшись. Вон, предбывший отец народов даже и для себя мемуаров не написал. А ведь было чего, поди, сукину сыну грузинского народа вспомнить! Ой, было! Почитать... бы. Впрочем, когда уж тут читать, если вот-вот коронуюсь, сверху донизу всем заправлять буду. Пусть Сухоплещенко за меня читает, либо Авдей. Ах, да я же их в расход.

Хотя вообще можно бы и почитать на досуге. Не мемуары Джанелидзе, конечно, а свои. Надо ж их все-таки прочесть когда-нибудь. Только ведь они, эти мемуары, и не врут ничего о военных тропках-перепутьях, только в них правда-матка и нарезана сочными ломтями. Соавторы старались, не кто-нибудь. Все свои мемуары маршал издавал в двух томах, искусно ворую полгонорара за второй том; коль скоро соавтор обозначен на первом томе, хрена ли ему платить за второй? Пусть или оглоблю сосет, или другого соавтора найду. Молодого и талантливого. Кстати, не забыть в расход и соавторов.

Ивистал перевел глаза с коллекционного шкафа на соседнюю стену, посредине которой висела пустая багетная рама. В эту раму до сегодняшнего дня была вставлена фотография – сам Ивистал с Фадеюшкой, но сегодня, решив принять Сухоплещенко в бильярдной, он, лица своего не желая никому казать даже с фотографии, оттуда ее вырезал и спрятал. Совсем маленький на снимке Фадеюшка, года четыре ему там, не припомнить даже, то ли там он уже сиротка, то ли нет еще. О самой жене, кроме как насчет посмертных ей подарков, Ивистал почти уже не вспоминал, а вот именно свое собственное лицо рядом с бедным кровинушкой видеть Ивисталу было неприятно. Маршал не зря нынче во всероссийские цари собрался, но только в память Фадеюшки. Ведь это Фадеюшку, не кого-нибудь, звал он в былые годы Царевичем. Это ведь в память того, давнишнего прозвища Фадеюшки собирался нынче Ивистал Максимович Дуликов в императоры, в цари всея Руси!

Кровинушка! Как отомстить за тебя, да и кому? Охране, тебя упустившей? Да ведь она вся тогда же, в том же году, во Вьетнам поехала и, конечно же, вся там и осталась, зря что ли работаем, трудно, что ли, нам в кусты, то есть в воду, то есть во Вьетнам концы заправить? Нет, будь у власти по-настоящему сильный человек, не топтались бы по проклятущей Африке ни носороги, ни зебры! На какого хрена они нужны, скажите, люди добрые? Нешто наши родные русские медведи слабже? На этом месте сознание Ивистала далекой зарницей осветила мысль, что кабы Фадеюшку наш русский медведь задавил, то и боль от утраты была бы не такая сильная. Из мысли этой возникла у Ивистала гордость своим диалектическим умом. И, покручивая в руке очередное яблочко, Ивистал размышления на государственные темы продолжил.

Что в ней хорошего, в Европе этой сраной, зачем ее брать? Ну харч в ней знатный, это Ивистал с войны еще помнил, – но Ивисталу харчей и в России достаточно. Бронзы, конечно, много, лазурит-шмазурит найдется, особенно в Швейцарии, мрамор, еще любимое резное дерево, хоть немного, но есть, конечно, всякие брильянты. Надо ли вообще эту Европу брать? На хрена? То есть как на хрена? – рванулось в душе возмущение самой возможности постановки этого вопроса. А тогда зачем вообще в цари лезть, если Европу не брать? Все русские цари всегда либо Европу брали, либо Азию. Начиная с

самого первого. Как, бишь, его звали? Владимир... Красный Нос, что ли? Надо будет у Сухоплещенко спросить, он парень башковитый, жаль, что в расход его придется с часу на час.

Европу, словом, брать нужно, ну для расширения границ государства. Они, границы, конечно же, еще пока что недостаточно расширены, все самые производящие области пока что за границей. Пусть нам Европа все присылает, что в ней есть! Украинское сало, грузинский виноград, туркменскую баранину! Зря, что ли, мы в нее все это вывозим? Или что там вывозим? С познаниями по экономике у Ивистала было плоховато, он больше в бронзе разбирался. Ну да ладно.

А Илья, кстати, подлец. Захапал три поста из четырех главных, пожаловал покойному генсеку четвертый орден Ленина и титул “Еще...” – и радуется. Упоминает того только как “еще...”, мол, такой-то говорил нам, – сам числится верным и несгибаемым, имеет добротную болезнь Паркинсона – а туда же, премьер. Дер-рьмо. А главное, гад, ворует без смысла, без плана, не думает о пользе для государства. “Миги” хрен знает какому государству попродавал, а о государственной пользе – ни одной задней мысли. Взял бы у этого самого Сальварсана в обмен броненосец-другой, говорят, у них там качественные, а нашей стране оружие, флот особенно, после того как в Европе все наше станет, – во как нужно окажется! Ивистал резанул себя ладонью по горлу и уверился, что и впрямь оружие нужно позарез. Мало его у нас, мало! Еще другим раздавать? Себе мало!

Ивистал поглядел на часы: время было как раз идти, ужинать наверху, там уже стоит на голландской скатерти с инициалами кого-то из последних царей сервиз, тоже с инициалами царя, но какого-то другого. Там в фарфоровой супнице дымится молодая картошка, а в другой супнице икра – чего еще надо. Надо, чтобы картошка остыла, не люблю я горячего – вдруг ответил сам себе Ивистал. Не все еще продумано, хотя уже и почти все. Например, вопрос с происхождением. Уже давно наткнулся маршал на идею возвести свое происхождение к месту происхождения, так сказать, в историческом плане. Узнал он случайно, что родной его город Почеп представлял личное владение фельдмаршала Меньшикова. Зазорно ли маршалу происходить от почтенного фельдмаршала? Но потом узнал, что фельдмаршал в юности пирожками торговал, и решил подобрать себе происхождение получше. Хорошо, что отец весной как раз умер, мать тоже совсем плоха стала, из Почепа ни ногой. Пусть умрет сперва, тогда я себе происхождение подберу ужю. Или, может, ее тоже в расход, чего уж там лишнее дожидаться?

И еще надо бы тронную речь для радио надиктовать наперед, когда Останкинский центр наш будет, чтобы сразу в эфир – и понеслась. Сказать там насчет того, что, мол, мы, император Ивистал Первый... Или лучше сразу уж и расшифровать, не Ивистал Первый, а И. В. Сталин Второй? Или перебор будет? Фиг с ним, обойдется покойник, ничего я ему не должен. Товарищи! Дочери и сыновья! Пекся я о вас многие годы, но желаю... пектись? Кажется, так правильно... о вашем благе пуще прежнего, и поэтому, принимая на свои плечи скипетр самодержца российского, назначаю себя сегодня для России верховным

пекарем!.. Тьфу, опекуном. Провозглашаю себя вам отцом, другом, наставником, учителем и родным... кем бы “родным”? Отцом – уже было, надоело. Братом? Глупо. Сыном?.. Тьфу. Дедом? Ивистал разозлился на свой литературный дар и временно мысль об обращении к народам России в устной форме оставил. Обойдется народ пока что и мысленным обращением.

Однако успокоился Ивистал быстро. Мог ли он забыть свою янтарную радость? В честь одной только этой находки и то уже стоило короноваться. Тем более что и короны у меня есть. Детские, правда. Ну вот я и назову себя все-таки “сын народа”. Тогда и про детские короны все ясно будет. Тем более они романовские, наследные. Словом, проблем почти что и нет. Одна проблема – Свиноматку живым взять, чтоб уж точно расстрелять, а то улетит к свиньям собачьим, лови потом. Хотя черт его знает, жиру столько, что еще и не расстреляешь сразу. Надо будет его... Ивистал, вспыхнув зрачками, сунул райское яблочко в рот и разгрыз его – расстрелять из противотанкового ружья! Из того, которое в руках у Фадеюшки бронзового! Символично чтобы!

В душе как-то сразу похорошело, прояснились детали завтрашнего выступления на столицу. И поужинать тоже было уже пора: небось, остыло. Но для этого предстояло встать – а вставать очень не хотелось, очень уж в бункере было уютно. “Встать и пойти” – припомнилось ему название знаменитого романа из послевоенной жизни, – кажется, покойница-жена над ним плакала и все себя плохим словом называла, ах я такая. Но пришлось маршалу, обдумав все варианты невставания, все-таки впрячь встать и впрячь пойти.

Вкусивши в полном одиночестве действительно совершенно холодной картошки с икрой и запивши их очень полезным для здоровья напитком – чайная ложка яблочного уксуса со своих угодий на стакан речной воды, – Ивистал понял, что ничего делать больше не хочет, что надо пораньше заснуть, чтобы не позже чем в шесть встать, побриться – из-за родинки на лице эта процедура занимала у него больше времени, чем у обыкновенных людей, – и вылетать на Валдай. Хорошо, что близко и что сила собрана – больше двух дивизий. Сила – с ним, с маршалом. Не с выродком Ливерием, тоже мне, будущая пригорошня праха для кремлевской стены. Не будет он пригорошней. В расход его. А себе – таблетку снотворного, или даже две. И – домой, в танк.

Уже добравшись по вечерней росе до спрятанного в садово-парковых дебрях танка, решил маршал еще немного погрезить перед сном. Откинувшись на потертых кожаных подушках, он включил маленькую лампочку над пультом и привычно бросил взгляд на возвышающиеся слева от нее высокие, светло-фиолетового стекла песочные часы. В них Ивистал Дуликов оберегал прах своего кровинушки, ибо считал землю недостойной принятия такового священного праха. Раз в год, в день рождения сына, Ивистал эти часы переворачивал и долго следил затуманенным взором, как призрачно продолжается в часах жизнь Фадея, пересыпаясь струйкой в нижнюю колбу. Сегодня был, конечно, не рядовой день, но Ивистал безжалостно отогнал мысль о том, что мальчик мог бы трудиться и второй раз в год. Нечего! Мысленно маршал укорил себя за то, что ни разу не посмотрел сегодня фильм о последних минутах земного бытия сына, и попросил у него прощения. Сон стал всплывать

мощными волнами из желудка, где дотаивали вместе с остатками ужина две убойных таблетки нембутала. Вместе с ним всплыла тревожная мысль: что же это никак по сию пору не разыщется невеста? Ведь какой выйдет из истринской дачи замечательный детский садик, то-то ребяташки Янтарной Комнате порадуются! Переломают всю, конечно, ну да ладно, Европа уже тогда наша будет, там янтаря навалом... Или это его у нас навалом?.. Или, может, Нинель, азиатка ведь она, не Европу брать скажет, а Азию? Ну уж нет, мы тогда их как-нибудь обе возьмем, в Азии, конечно, мало чего есть, там тебе не Европа, ну уж найдем чего-нибудь, лазурит-шмазурит... Хороший будет детский садик... Не забыть, кстати, и горничную в расход... Ивистал выключил свет и почти мгновенно заснул здоровым, спокойным, глубоким искусственным сном.

Летняя ночь быстро укутала истринский лесопарк черным, влажным, без единой звезды, непрозрачным войлоком. Обложные тучи, не в силах разразиться дождем, тяжело ползли на восток; к утру обещался быть густой туман, и воздух, в котором совсем немного дней назад еще грохотали оттопочки и лешевы дудки привозных соловьев, – ибо маршал признавал только курских, – молчал, как стоячая вода. Тихо-тихо струилась через губчатые фильтры Истра, вовсе бесшумно вращались локаторы противоздушной обороны, спал у себя на конюшне без задних ног вдоволь наопохмелявшийся Авдей, не сознавая при этом своей обреченности, однако же пьяной грезой сжимая в объятиях главную горничную Светлану Филаретовну, – а та, в свою очередь, спала где-то в незримых застенных камерах Ивисталовой дачи, снов никаких не видя, но обреченность свою, хоть и смутно, но осознавая. Спали все десятки охранников, истопников, дрессировщиков и прочих жалких людишек, потаенно расквартированных по квадратным километрам угодий. Подремывал даже дежурный у главного пропускника, точно знавший, что автоматика работает на совесть и никого чужого не пропустит. Так что отдаленный рокот тяжелого армейского вертолета, зазвучавший в остывающем воздухе после полуночи, никого не встревожил. Свой вертолет – пусть летит, куда ему надо, а чужой – автоматика собьет в два счета, остатки утром уберем.

Н-да. Дело в том, что недавний майор, а ныне уже подполковник Дмитрий Сухоплещенко был на редкость неглупым человеком. Шкура своя была ему дорога при этом в особенности, оттого и служил он так заботливо двум господам, оттого и вкладывал он каждую трудовую копейку во всякие нетленные ценности. Ценности тлеть не должны! – решил Сухоплещенко, поглядев на Ивисталовы деревянные скульптуры, они ему не понравились, не ровен час, сгорят. Несколько лет назад, когда знаменитому скульптору Оресту Непотребному требовались деньги на отъезд в Израиль, подполковник ухитрился через подставного человека заказать тому надгробный памятник для себя самого. Обошлось по тем временам очень недорого, глыба розового мрамора, из которой ракетобразно прямо в небо устремлялся атлетический полуобнаженный торс тогдашнего капитана; глыба надежно спрятана в сарай на потайной даче и дорожала не по дням, а по часам, радуя сердце Сухоплещенко неожиданностью, небанальностью решения вечной проблемы: куда девать деньги так, чтобы из них получилось возможно большее количество денег же?

Теперь, когда Орест обслуживал одних только греческих миллиардерш, Сухоплещенко снисходительно посмеивался над тем, как неразумно помещает маршал денежки в резные деревяшки. Правда, знай он о находке Авдея, может быть, улыбался бы не столь снисходительно, даже предпринял бы кое-какие дополнительные меры, помимо тех, принятие коих запланировал он на сегодняшнюю ночь. Ибо на первом месте у подполковника стояло спасение своей бессмертной души, а также шкуры, потому что маршал, это и ежу понятно, сухоплещенковскую шкуру вместе с душой в ближайшие дни собрался пустить на мыло, ибо и шкура и душа больно много знали.

В те самые минуты, когда искусственный сон упал на маршала всей своей стопудовой, словно урожай со сталинского поля, тяжестью, элегантный подполковник, которому еще и сорока не стукнуло, отдал честь другому военному, старшему по званию начальнику резервной авиабазы Троицкого испытательного аэродрома, полковнику Гавриилу Бухтееву. С ним Сухоплещенко был связан очень тесно: и личной дружбой, и масонской ложей, – в которой, к слову сказать, их роли менялись, там Сухоплещенко был старше по званию, – и женой Бухтеева, с которой жил Сухоплещенко, и женой Сухоплещенко, с которой жил Бухтеев, и дочерью Бухтеева, с которой Сухоплещенко собирался начать жить через три-четыре года, – при этом у самого подполковника никаких детей не было, так что от ответного хода Бухтеева он был застрахован, – но, главное, крупными операциями по переброске опиума-сырца из Киргизии в Канаду. И это еще не считая мелкорозничной торговли апельсинами и чебуреками на южном берегу Икарии, маленького завода по производству улучшенного горноалтайского сыра – типа “Пармезан” – в юго-восточном Казахстане, артельки по производству тюля в Намангане, курильни для корейцев в Енотаевске, еще десятка-другого менее интересных предприятий. Ничего из этого трудового добра Сухоплещенко терять не хотел и справедливо полагал, что почти столь же оно дорого сердцу Бухтеева. Но и Бухтеев мог за свою жизнь не опасаться: отягощенный службой двум господам, да и страстной натурой бухтеевской жены, подполковник не мог должным образом присматривать за доходным функционированием всех своих предприятий, а Бухтеев эту обязанность исполнял прекрасно. Словом, когда Сухоплещенко явился к начальнику Троицкой резервной авиабазы, удивления он не вызвал. Однако требование подполковника повергло владыку авиабазы в уныние. У него такого, кажется, не было.

– Трехвинтовой? – задумчиво сказал Бухтеев, скребя подбородок. – И с захватом? И грузоподъемность?

– Грузоподъемность, – твердо, хотя и негромко повторил Сухоплещенко, – всего-то двадцать пять тонн. У Ми-10 примерно столько. Американский “Белл” больше поднимает..

– Американский... – Бухтеев все скреб подбородок, и вдруг глаза его вспыхнули живыми искорками, – а ты сумеешь водить американский?

Сухоплещенко только сплюнул, едва не попав на сапог Бухтеева.

– Ну, есть. Есть. Под колпаком, но за полчаса расконсервируем. Во Вьетнаме взяли. Только не “Белл”. Ничего?



– А что не “Белл”?

– Как его... “Сикорский – си – эйч – шестьдесят три – супер стальён”, вот что есть!

– Так он же военно-морской, какого черта он здесь у тебя?

Глаза Бухтеева превратились в маленькие прожекторы.

– А когда хорошую вещь никто себе не берет, я соглашаюсь, пусть постоит на консервации. Что он с двумя винтами, – собственно, с одним, второй сам знаешь, на хвосте, – ничего?

– А мне не хвост. Мне захваты.

– Это мы за полчаса... Словом, годится?

Сухоплещенко опять сплюнул, но в сторону.

Полковника проводили к “Сикорскому”, который стоял отнюдь не под колпаком, если только так не называлось открытое небо. Похоже, что какой-то пробный полет на вертолете был недавно совершен, брезента на чудовище не набросили. Покуда его снимали, Сухоплещенко размышлял и курил. А размышлял он обо многом.

Какого лешего Бухтеев лепит “чернуху” насчет Вьетнама – война когда кончилась, а вертолет-то новый совсем? И отчего «шестьдесят три», когда последний вроде бы должен быть «пятьдесят три»? Ну, врет ведь, “Ми-12” у него нет, конечно, тот и два танка утащил бы... Но не до того, берем, что есть.

Что, если маршал, вопреки ожиданиям, не принял сегодня снотворного и проснется раньше, чем нужно?

Что, если у маршала есть какой-то неучтенный канал связи с внешним миром?

Что, если от удара люк не заклинит навеки?

Что, если работа над капиталью колонны не окончена?

Что, если?..

Мало ли таких “если” – кончая таким, к примеру, – а что, если маршал вообще решил не ложиться, танк окажется пустым, завтра же попадет во всесоюзный розыск. Но ничего этого вообще-то не должно было приключиться, а откуда у Бухтеева “Сикорский” – какое ему дело. Сухоплещенко вообще все делал хорошо. Он хорошо водил вертолет. Он так же хорошо варил кофе и делал бутерброды для одного начальника и хорошо разливал символический коньяк по рюмкам для второго. Так же хорошо он обслуживал разведку могучей североамериканской державы, поставляя ей липовые данные, и еще он отлично обслуживал разведку серьезной южноамериканской державы, бесперебойно поставляя ей данные совершенно подлинные, ибо знал, что с ним будет за втиранье шаров, – вообще умел делать много нужного и еще больше ненужного. Утешался он тем, что французскому королю Людовику XIII вот взбрело же на ум освоить и профессию парикмахера, и профессию плотника, и шпиговал король профессионально, и многое другое умел делать. Но король учился всему этому от нечего делать, а подполковник – в процессе нелегкой борьбы за существование. В эту беззвездную ночь, в этот свой воистину звездный час Сухоплещенко, наконец, нашел применение своему давно уже бесполезному умению водить вертолет. План был строго и точно продуман, но кто его знает, какие могут быть накладки, вот столкнулся же канадский искусственный

спутник-героиновоз “Алуэтт”, «жаворонок», значит, с дириозавром, и поэтому требовалось сейчас максимальное напряжение физических и духовных сил. Чудовищный “Сикорский”, ровно и очень тихо рокоча винтами, шел на минимальной высоте прямо на истринскую дачу маршала Ивистала Дуликова. На благоразумном расстоянии подполковник вызвал по рации автомат-ответчик из охраны дачи и отключил его заблаговременно раздобытым кодом «свой-свой», тем самым избавившись как минимум от перспективы получить прямой зенитно-ракетный удар. Не кривя душой, подполковник воспользовался кодом, потому что находился при исполнении служебных обязанностей – он исполнял обязанности главы плана новейшей монументальной пропаганды. Даже более того, он этот план впрямую и осуществлял, ибо предстояло провести собственноручную установку памятника, чей архитектурный и скульптурный проект был выполнен под руководством генерал-полковника Г. Д. Шелковникова, – памятника Неизвестному Танку. Колонна высотой в 101 метр на 101 километре Минского шоссе была воздвигнута еще под щебет июньских соловьев, и для успешного открытия этого памятника следовало найти и установить на колонну сам Неизвестный Танк, а эту обязанность Сухопещенко с гордостью возложил на себя.

На размышления времени уже не было, вертолет шел непосредственно над лесопарком. В отблеске инфракрасного прожектора мелькнула среди древесных крон незримая при дневном свете, стершаяся надпись: “Л. Радищев”. “Стало быть, не такой уж Неизвестный”, – холодно подумал Сухопещенко, хищно, будто когти, распуская все шесть зажимов. Сердце-вещун говорило пилоту, что дичь в капкане и дрыхнет, как пшеницу продамши. Сухопещенко щелкнул зажимами и принял дополнительные меры: словно опутывая прыгалками ноги недогадливой девочки, он выпустил и подвел под гусеницы танка два металлических троса, затем, не теряя ни секунды, рывком бросил вертолет в воздух. Вертолет, будто кондор, закогтивший бизона и несущий его в горное логово, взмыл над лесопарком и лег на северо-западный курс. Кажется, в самом танке не произошло ничего знаменательного. Откуда было знать подполковнику, что как раз при этом рывке песочные часы сорвались со своей подставки и перевернулись на полу так, что порошкообразный Фадей начал в них свое посмертное путешествие сверху вниз? Подполковник, до крови прикусив губу, чувствовал во рту соленый вкус. Но это неважно – лишь бы и маршалу тоже было солоно. И, кажется, скоро будет. Дал бы Бог.

Бог, кажется, давал. По крайней мере, никаких звуков снизу, кроме улавливаемого сверхтонким сухопещенковским слухом трения канатов о мертвые гусеницы, не доносилось. “Сикорский” летел все еще на очень маленькой высоте, опасаясь зенитных батарей, при которых, не ровен час, могли оказаться догадливые люди. Ну, не такие догадливые, конечно, чтобы постигнуть, как через леса, через даже моря, вертолет несет пока еще живого маршала к месту вечного упокоения, – но, скажем, кто-то мог бы потребовать приземления для объяснений, что в нынешнем положении было бы равносильно гибели. Если б рискнуть, поднять вертолет метров на пятьсот, пожалуй, можно бы увидеть первые утренние лучи, но, как ни хотелось увидеть их

подполковнику, еще больше хотелось ему, чтобы этого рассвета не увидел тупой и жадный конкурент в области коллекционирования дорогостоящего антиквариата. Кстати, еще и конкурент императору Павлу Второму в смысле занятия престола. Туда же, с кувшинным рылом. Сам Сухопещенко в императоры не хотел, он с гордостью считал самого себя тоже кувшинным рылом, а чем еще может считать себя сын директора сберкассы из Хохломы? Очень даже кувшинное, за такие кувшины долларами платят. Он всю жизнь предпочитал летать пониже и потише, дабы иметь возможность жить пошире и рисковать желательно за чужой счет. Сегодня, однако, рисковать приходилось за свой счет, но имелась надежда, что в будущем император Павел Второй этот счет оплатит, – после того, как должным образом оценит роль Сухопещенко в деле Реконструкции. Все же царь настоящий дворянин, не почепского крапивного семени.

Преодолев довольно сложный маршрут менее чем за два часа, Сухопещенко медленно стал готовить последнюю, завершающую операцию: установку танка на колонну с возможно более полным заклиниванием люка. Для этого надлежало не просто поставить танк на место, а сбросить его с высоты в пять-шесть метров. Сухопещенко загодя дал задание коллеге по масонской ложе, тому, который присматривал за отделявавшими стооднометровую колонну – чтоб арматуры не жалели, а то еще обломится. Маршалу, конечно, и тогда каюк, но каюк неправильный. Танк тогда расколется, голову тогда снимут свои же за дурную работу. Но имелась и самая скверная возможность – это шанс расколоть колонну. Тогда сухопещенковская голова могла бы тоже быть пополам расколота за порчу пьедестала, причем лично Шелковниковым, который очень ревностно относился к предстоящей государственной премии по архитектуре. Ну, и оставалась проклятая возможность незаклинивания.

“Сикорский” завис над пьедесталом, выдернул тросы и рывком открыл зажимы. Многострадальный “Лука Радищев” полетел вниз. К счастью, танк встал правильно, точно в середину площадки, – в этом случае, как проверил подполковник, танк с земли вообще не был виден, что соответствовало первоначальному архитектурному замыслу как нельзя лучше. И люк несомненно заклинило. Бог дал! Но, уже набирая высоту, подполковник глянул на заверченный памятник и похолодел: танк стоял, уставившись пушкой на Москву. Все-таки недосмотр, но небольшой; подполковник быстро успокоился, заметят не скоро, для этого глядеть надо сверху, а на свое детище Шелковников никому смотреть сверху, свысока то есть, не позволит, это ж ясно.

Сухопещенко кинул последний взгляд на мертвую пушку танка и повел вертолет прямо на восток, на занявшийся рассвет, на Троицк.

Солнце всходило над Москвой и Подмосковьем, золотя первыми утренними лучами, прорвавшимися наконец-то из-за обложных туч все, что попало, стены зубчатые и беззубцовые, с вышками поверху и проволокой, а также и без вышек и без проволоки. В том числе нежным светом окрасило рождающееся утро и мощные стены Ивисталовой дачи, на которой и вокруг которой все пока что спали – сальварсанский шпион Авдей Васильев, так хитро подкинувший маршалу накануне имевшего начаться, но совершенно лишнего для истории

путча Янтарную Комнату, с которой, признаться, южноамериканскому президенту уже надоело забавляться; спала обслуга, спала охрана, лишь глухой садовник со свежими пластами дерна плелся вдоль главной подъездной дороги к Фадеюшкиной клумбе, да от внезапного скрежета, долетевшего с улицы, проснулась старшая горничная Ивисталовой дачи, Светлана Филаретовна. Выскользнув из безоконного межстенья, она бросилась к окну в коридоре, увидела невозмутимого глухого у подножия статуи, потом перевела взгляд на статую и похолодела.

Бронзовый Фадей Ивисталович медленно поворачивался вокруг оси, одновременно поднимая на уровень груди свое бронзовое, позолоченное утренними лучами противотанковое ружье. Один-единственный канал связи с внешним миром, оставшийся у маршала в танке, подполковник все-таки упустил из виду.

Дальше горничная глядеть не стала, чутьем она поняла, что ничего хорошего сейчас не произойдет, да и как не догадаться о таком, глядя прямо в дуло базуки, – горничная бросилась по потайной лесенке вниз, в бункер, слыша за спиной топот еще нескольких пар ног и одной непарной – это бежал в бомбоубежище одноногий истопник, каприз покойной жены Ивистала, насчет которого было точно известно, что он надежнее, чем вода горячая. Снаружи единственным свидетелем того, что произошло дальше, остался глухой садовник, наконец-то все же почувывший у себя над головой что-то неладное.

Развернувшись к левому краю здания, бронзовый Фадей открыл огонь по второму этажу окон отчего дома, на уровне подоконников. Когда-то маршал думал, что это хорошая придумка: так стрелять, чтоб картин не повредить, а только по яйцам. Кинжальный огонь, трассирующие пули входили в переборки здания, словно горячий нож в масло, кроша стены и лестницы. Внешняя стена второго этажа левого крыла стала заваливаться внутрь здания, третий этаж стал оседать на второй – и глухой садовник понял, что надо сматываться. Прочие давно сидели в бомбоубежище для прислуги. Все правильно понял глухой садовник, не уберись он с того места, где стоял, он, возможно, оказался бы единственной человеческой жертвой мести маршала Ивистала. В следующие мгновения в события вмешалось неожиданное и очень крупное лицо, точней, персона.

Стена оседающего третьего этажа лопнула, как бумага, и сквозь нее, как античный бог из машины, ринулось на бронзового Фадея Ивисталовича тяжелое, добротное выполненное в мастерских Большого театра, к тому же на колесики поставленное чучело убитого когда-то Фадеем, – или под его руководством, – носорога, выполненное не только в натуральную величину, но и в натуральный вес. Носорог был восточноафриканский, белый, с двумя рогами на носу. Фадей был бронзовый, черный, с одной только базукой – и он не устоял перед зверем. Носорожья туша, пролетев несколько метров по воздуху, буквально смяла своей тяжестью несчастного мальчика, обрушилась вместе с ним в последнем смертельном объятии на неприбранный газон. Базука дала длинную, но последнюю очередь – и смолкла. В десяти шагах от места битвы статуи с чучелом ошалело сидел немного контуженный садовник и с ужасом

непонимания глядел на последние огненные стрелы, уходящие в синее рассветное небо.

Более чем в трехстах километрах от Истры, за валдайскими лесами, на опушке крошечной рощицы раздвинулись кусты, из них выглянуло обветренное, восточного типа женское лицо. Женщина с усилием встала на ноги и зябко натянула на голые плечи потертый платок. Глядя на утреннее небо, она достала из торбы за поясом большую, очень вялую капустную кочерыжку, разломила и половинку отдала вынырнувшей из-за ее спины худой свинье.

– Пойдем, Доня моя, пойдем. Безопасно нам теперь пока что, очередь наша, Доня. Волки, Доня моя! Волки!..

## Павел II День пиратки Часть 14

*Евгений Витковский*

XIV

И рыбка жареная! И кто это ее жарил, время терял!  
Евгений Шварц. Два клена

Ну что, Катя, был у нас медовый месяц, стоит ли затевать дегтярный? Давай считать, что уже был, на том закроем вопрос, брак наш завершен. Назову твоим именем наш родной Свердловск, будет он теперь, предположим, Екатериносвердловск, чтобы не вовсе как раньше. И все, Катя. Не может быть императрицей женщина, у которой отец три раза вероисповедание менял без видимой причины, которая сама во грехе овец доила полгода у черта на рогах. К тому же немка, хоть это не главное, это в России часто бывало. Мы с тобою не венчаны, выходи замуж, не буду я тебя даже в монастырь заточать, век наш гуманный, известно, что женщину без мужика оставлять – злодейство, и мы на это не пойдем. Дворянин Георгий советует тебя в Германию выслать, чтобы родственников возле престола было поменьше. Может быть, и вправду выслать, кровное наше Шлезвиг-Голштинское владение, город Киль, за тобой в придачу дать, лишь бы уехала. Хотя жалко, от титула кусок отрезать придется. Но, как ни жалко рвать старое – а надо. Не только советской власти не должно быть надо мной, а и вовсе никакой. Твоей в том числе.

В этом месте размышлений Павел ощутил некое неудобство. Ну да, Тоня с утра за выкройками, из подвала не выходит, открылся у нее вдруг шитейный талант. Причину неудобства Павел нашел не сразу: сперва ему показалось, что попросту его оголодавшее тело требует Тоню, ведь оставлять мужчину без женщины – тоже злодейство, особенно с раннего утра до пяти вечера, как сегодня. Но, увы, так выходит, что от этого, значит, опять-таки власть надо мной начинается, на этот раз уже твоя, Тоня, а никакой другой власти не должно быть, никакой! Но разве могу я без тебя, Тоня? Павел с тоской поглядел в окно, размышляя. В узком переулке стояли машины и виднелся чахлый садик возле канадского посольства, заросший иван-чаем, очень лениво, по-московски покачивающим отцветшими метелками под ветерком позднего лета. У

заборчика против окна топтался привычный тип с острым лицом, видимо, охранник из ведомства Шелковникова на тройном окладе, когда ни глянешь, он все тут. Вникнув в свои ощущения, Павел понял, что причина у неудобства другая, гораздо проще: жрать захотелось. И то ведь верно, что оставлять без жратвы императора с утра до вечера, – тоже злодейство. Но это придется потерпеть. Тоня просто в обморок падает, если ему что-то случается съесть не из ее рук, лучше ее не обижать.

Павел жил в особняке больше четырех месяцев, и генерала Шелковникова видел иной раз пять, а иной и десять раз в неделю. В последнее время, после того, как Павел ненароком подтвердил генеральское достоинство обрусевшего слуги престола, тот повадился почти ежедневно делать ему доклад о положении в городе и мире. Пост канцлера Павел, конечно же, Шелковникову пока что не собирался предлагать, он понимал, что, хотя уже дал согласие на коронацию, все его действия пока что не вполне легитимны. Хотя молчаливое, а порою и вполне словесное согласие той части нынешнего правительства, которую вообще имело смысл спрашивать, Павлу было уже и нынче обеспечено, конечно же, после коронации все его назначения потребуют нового подтверждения, – особенно пожалованные дворянские титулы, особенно тарханное право, при котором человек налогов не платит вовсе и судить его имеет право только государь, даже если человек тот заведет гарем размером в полный кордебалет да разом весь и поубивает с особой жестокостью. Словом, скипетр в руки, да и по сусалам всю эту республиканскую сволочь, во имя настоящей демократии и монархии! Вознесло тебя, Паша, колесо Фортуны на самый верх, балансируй теперь и перебирай спицы этого колеса, чтобы оно так же быстро не отвезло тебя вниз, – говоря изящно, на старые стогны. Павлу неоткуда было знать, что канцлером Шелковников себя уже давно считает, а Павла про себя именуется не иначе, как Паша-импераша. Телепатом Павел так и не стал, здесь уроки Джеймса впрямь не пошли, – ну, а теперь, когда Джеймс остался при Кате, полностью свои прежние дела доделав, они с Павлом почти вовсе видятся перестали. Да хватит уж! Для императора Павел совсем неплохо овладел и приемами японских видов борьбы, и английским языком, а исторических знаний у него по профессиональному признаку тоже было немало. Среди Младших Романовых тоже попадались историки, но куда Младшим до Старших!

Главные две темы ежедневных докладов Шелковникова были следующие: подготовка исторически неизбежной реконструкции идеологии в духе истинного марксизма сразу после смерти нынешнего “лишнего” премьера, – ну, а во-вторых, понятно, подготовка к коронации. Ничего бы, конечно, не стоило запросто объявить народам о преобразовании Союза в Империю и при нынешнем премьере, он бы, поди, тоже согласился, он под чем угодно готов несобственноручную подпись поставить, но иди потом оправдывайся перед грядущими столетиями, что Реконструкция произошла в России с одобрения человека, который давно уже то ли механизм, то ли покойник, не поймешь. Ведь так это неудобно, что первого Романова патриархом назначил Тушинский вор. Пусть уж премьер естественной искусственной смертью умрет, фабулка для

него есть – обсоси-гвоздок. С огромным трудом, через смежную масонскую ложу генерал запросил предиктора дю Тойта о точной дате смерти “лишнего” премьера, до нее оставалось месяца три с половиной, – Шелковников с предиктором согласился и тоже дату смерти премьера на это число назначил. Хорошая дата выпала, как раз можно было поспеть к этому сроку с завозом харчей для всенародного гулянья в район метро “Октябрьское поле”, где все должно быть как на параде, чтобы про Ходынку не вспоминалось больше народу, нужно еще и шитье новых мундиров и знамен обеспечить, не говоря уж об идеологической платформе, с ее размножением, с планом перемещений в правительстве, пока минимальным, и даже с окончательной редакцией титула для императора. Шелковников возил вариант этого титула при себе, трижды уже зачитывал очередную редакцию и по окончании чтения слушал длинный и жестокий список поправок, предъявляемых Павлом. Сегодня или завтра Павел ждал новую редакцию, но вряд ли она могла стать последней.

Памятники кое-какие тоже можно бы успеть открыть к коронации. Пока что из них открыт с немалой помпой только Неизвестный Танк. Увы, за подхалимское предложение поставить в Москве памятник старцу Федору Кузьмичу Павел едва не лишил Шелковникова всех званий и дворянства: памятник, конечно, ставить полагается, но Александру Первому! И гранитный! Уже, кстати, заказано, ставить будем в Санкт-Петербурге, но ведь еще и город не переименован... Словом, сколько дел! Железнодорожную ветку от Брянска к селу Нижнеблагодатскому нужно успеть закончить, сношарь передал, что без этого с места не двинется, поедет только, если всем селом и одним поездом. А предиктора где взять? Как может жить нормальная страна, совершенно точно не зная своего завтрашнего дня? Двести семьдесят миллионов, а из них нужно найти только одного – мало, что ли, народу, неужто ни единого нет? Наверное, все-таки мало, если даже на приличную футбольную команду, где одиннадцать человек, не набирается, – но нужен-то всего один!

Сам Павел о Федоре Кузьмиче думал довольно часто. Павел все еще, хоть и не известно зачем, придерживал в рукаве свой главный, накануне отъезда из Свердловска выкопанный в рисовых залежах козырь – текст письма Александра Первого отцу Иннокентию, с отцовской пометкой на полях, что оригинал “средней” страницы он собственноручно уничтожил. Павел много раз подумывал, а не уничтожить ли ему и копию этой страницы, но все не решался. Во всяком случае – он знал ее наизусть.

“...о. Иннокентий. Менее всего двигало мною побуждение в более поздние времена объявиться моему народу в каком бы то ни было облике. Поэтому на сей раз избрал я местом моего уединения весьма удаленную обитель Св. Симеона, вблизи коей обретаюсь по сей день. Поэтому дивным знамением Небес, непрощенною манною почел я известное вам, конечно же, явление в Красноуфимске моего нежданного омонима, нарекшего себя Федором Кузьмичом. Сей омоним был тогда же бит двадцатью ударами плетей и сослан на вечное поселение в Томскую губернию, в деревню Зерцалы. Как удалось мне проведать, в той деревне мой омоним не жил, но, ища якобы уединения, а на деле, напротив, всемерно привлекая к себе внимание праздной публики, сменил

много мест проживания, даже ходил однажды на енисейские золотые прииски, где лето поработал. Ныне он, как известно мне, проживает на пасеке села Краснореченского, на берегу реки Чулвин, мне совершенно неведомой, у крестьянина Ивана Гаврилова Латышева и отличается отменным здоровьем. Вы, отче Иннокентий, вправе недоумевать, как терплю я сего самозванца, привлекшего внимание мало что не всей России, смерда, прикрывшегося моим ложным именем, дабы прослыть мною, Александром. Кто он, сей старец? Ведь, насколько мне ведомо, даже кое-кто из ныне управляющей Россией горестноплодной ветви дома Романовых принимает этого “старца” за меня. Правда, чего же можно было ожидать, когда по дьявольскому наваждению во главе империи встал девятый из десяти детей обоего пола, дарованных Богом государю Павлу. Провижу, что не без поущения со стороны этих, с позволения назвать их так, скипетродержцев, именно “старца”, а не меня будут считать истинным мною, по его, а не по моей, кончине. Так ведь некогда по мнимой моей кончине верным Саломкою был распущен слух, будто в моем гробу покоится тело бедного фельдъегеря Маскова, а вовсе не барона. Не вижу в сем, отче, ничего, кроме промысла Божия. Домыслы о старце Федоре Кузьмиче, полагаю, отведут глаза нашему ленивому, но, увы, очень любопытному народу. Правда, случай с Масковым мне послан также Небом, но в нынешней истории склонен видеть нечто большее, нежели просто случай. Ценою долгих изысканий верный мой Волконский установил со всею неопровержимостью, что под моим ложным именем скрывается в Томских краях не кто иной, как ирландский инородец Реджинальд Лофтус, сын лорда Лофтуса, на яхте коего я, вопреки еще одной бытующей легенде, совсем не отплывал из Таганрога по мнимой моей кончине. Сей Лофтус долго скитался по Руси, даже примыкал к нечистому хлыстовскому вероучению, по примеру, впрочем, куда более знатных отечественных вельмож, из коих упомяну лишь обер-прокурора Св. Синода Александра Голицына, человека при этом прекрасного, да графа Виктора Кочубея, коего за неизвестные заслуги недостойный брат наш возвел в княжеское достоинство. Нет сомнения, что этот нынешний Лофтус и в самом деле на склоне лет уверовал, что он – это я, Александр, и что он искренне ежедневно простаивает на молитве многие часы, замаливая мои, а не свои грехи. Впрочем, молитвы сего безумца, полагаю, хотя отчасти, но должны достигать престола Божия, ибо ему, многие годы принимавшему участие в хлыстовском дьяволослужении, конечно же, есть что замаливать и на самом деле. Веротерпимость моего царствования, когда расцвели на Руси и хлыстовство, и скопчество, и иные мерзкие ереси, лежит на мне тяжким грехом и не должна быть никогда более допускаема. Безумный Лофтус, принимая себя за меня, однако жизни придерживается вполне достойной. Всех, кто посвящен в эту тайну, а прежде всего Вас, о. Иннокентий, прошу легенды о томском старце не опровергать, пусть его. Однако замечу здесь же, что старец тот владеет и кое-какими подлинными документами. Пожалуй, оно даже и хорошо, ибо способствует народной вере в старца и отводит народное внимание от моей персоны. Пусть же так и будет, доколе сим подлинным моим словам не настанет пора всеместно открыться нашему народу. Тем спокойнее мне в моем Верхо...”



Неделю назад, точнее, шестого дня, кажется, дворянин Шелковников обмолвился, что в Англии наследники Лофтуса грозят, что, мол, в случае реставрации Романовых в России опубликуют какие-то свои семейные документы. В подобном заявлении ничего неожиданного не было, кто только и чего только не заявлял по поводу Дома Романовых за последний год всеобщего увлечения династией. Но содержалось в заявлении нынешних Лофтусов и нечто другое, чистая наглость в заявлении содержалась: лорды и лордята заранее сообщали, что половина стоимости английского имущества в России на 1916 год была бы достаточной компенсацией для них и, получив таковую, они публикацию своих семейных документов могут отложить. Шелковников был очень удивлен смеху Павла по этому поводу, – черт ведь знает этих англичан, что они там у себя хранят. Павел же подумал – знали бы Лофтусы, во что влезают, все бы как один сделали себе харакири. Личность лорда-хлыста была им явно плохо известна и, конечно, не очень украсит семейную честь – это насчет свального греха у хлыстов и еще чего похуже. Половину имущества, кстати, они могут получить и заодно уж принять на себя половину долгов России на тот же год, образовавшихся благодаря бездарному правлению младшей ветви; разницу могут выплатить в любой полновесной валюте. Нет уж, хватит нам Англии: Павел Первый был ею убит, дедушка Александр из-за ее происков сколько лет вынужден был скрываться под чужим именем, понимая, что через год-другой после Таганрога, не в двадцать седьмом, так в двадцать восьмом Англия расправилась бы и с ним. Хватит! Больше в российские дела никакая Англия лезть не будет!

Павел нервно ударил костяшками пальцев по подоконнику, и стало больно. Он заметил, что у топтуна на противоположном тротуаре рука тоже дернулась. Он что же, прямо вот столько времени только за мною и следит? Павел вспомнил слова покойного Абрикосова, что того, который на другой стороне улицы стоит, на пустое место назначить нужно. Ничего себе совет. У меня все места пустые. Даже мое, императорское – и то пустое пока.

Павел устал за день. Не считая четырех сотен страниц исторических трудов, он прочел еще и проект идеологического обоснования перехода России в высшую стадию строительства социализма, привезенный вчера от Шелковникова его армянским родственником. Кстати, этот родственник, как говорит Шелковников, готовит очень хорошо. Черт возьми, как есть-то хочется!.. В проекте Павлу понравилась основная мысль: монархия – тезис, социалистическое государство – антитезис, социалистическая монархия – синтез. Иными словами говоря, понятными народу, социалистическая монархия – это и есть коммунизм. Налицо диалектическая триада, ясней ясного. Но вот остальное... Тяп-ляп, все наспех. Ну в какую безответственность надо впасть, чтобы говорить о нерушимости нынешних границ? Старшие Романовы разве такие границы для России устанавливали? Какое такое братство всех народов и религий, когда даже в самых глухих уголках Африки всем известно, что наилучшая вера – православная? С другой стороны, насчет необходимости сплотиться в единый строй перед лицом грозного внешнего врага – хорошо. Только – а ну как спросит кто, что это за внешний враг? Приготовить врага

немедленно! Впрочем, ума у теоретиков большого искать нельзя, на то они и теоретики. Скажешь им, что плохо – так они вместо “внешнего” накарябают “внутреннего”, а нам только стрельбы в собственной избе недостает! Впрочем, еще в июне спросил Шелковников Павла – как быть с евреями. Допустить ли антисемитизм, или, напротив, дать волю антисионистским выступлениям масс? Павел, брезгливо морщась, сказал тогда: “М-м... Любезный Георгий Давыдович, утруждаете вы мелочами и себя, и меня... Сами же говорили, евреев у нас очень мало. Ну, так и любить их, и дело с концом...” Кажется, шелковниковское ведомство уже спустило на места циркуляр: “Любить евреев!” Наверное, сердобольные крестьяне уже прячут этих самых евреев от чересчур обильной любви горожан и других преисполненных любовью элементов. Можно ли решить такую проблему проще, чем двумя словами? В том, что проблема решена, Павел не сомневался, ибо о евреях с той поры Шелковников больше не заикался.

Еще с осторожного разрешения того же генерала появился – уже в июне – некий товарищ Эдмунд Никодимович Арманов. На кой черт мне его имя-отчество, а даже и фамилия? Молодой, моложе меня. Сообщил, что он заместитель верховного вождя российских национал-большевиков. Что в эмблеме у них две скрещенных Спасских башни. Что хотят они сильную личность. Что престольный праздник для них – день рождения Гитлера. Что много они от меня ждут. Какого черта они от меня ждут чего-то? Слабошерстый – так, что ли? – гуманизм им не годится в исторической перспективе? Больше меня в истории, значит, понимают, а я историк. Вот Гитлер им понравился. Так ведь именно истории, гады, именно истории не знают ни хрена, ни на йоту, ни на грамм! Ведь именно режим их возлюбленного фюрера в исторической перспективе может рассматриваться как раз только в виде самом скверном, слабовольном и гуманном в худшем из значений этого слова! Скажите, был ли шанс у преступника, если он, ясное дело, выживал, но ведь и под автомобилем тоже можно погибнуть, – просидеть при Гитлере в лагере больше двенадцати лет? Именно в такой срок возник и развалился режим. Мы такими мелкими категориями мыслить не можем! Предположите, болваны, что продержался бы режим этот двести лет, – а он просуществовал бы, если бы вообще мог это сделать, не сомневайтесь, – кого бы злейшие враги режима потом посадили на скамью подсудимых в Нюрнберге? Все двадцать поколений покойников-преступников? Или только последних по времени и занимаемой должности? Ну, было бы публичное порицание, всякие там страдательные охи, что прадеды ошиблись. Нет, раз уж вы не смогли устоять – будьте любезны отправиться на помойку истории.

Дурачки вы все с генеральской вашей мечтой и с полоской на брюках. Три тысячи лет рабства в древнем Египте! Военный коммунизм Ван Мана накануне нашей эры в Китае, хотя, понятно, там все тоже быстро медным тазом. Вот это – образцы. Шутки шутками, но создавать государство меньше чем на десять тысяч лет просто не стоит. Ну, пусть продержится оно меньше – скажем, пять тысяч лет. Так ведь не мало все-таки! Игра свеч стоит. Уж если бы что-то и делать по вашей логике, то, коли уж приспичило вам иметь сильную личность,

то бороться нужно с личностью слабой! Вот! Никакого геноцида, если вы не кретины. Только отдельная личность может быть врагом государства, никаких там обобщений, никто не должен предполагать, что он враг людей от рождения. Только в силу своих ошибок, своих преступлений и ошибок отдельная личность становится враждебна государству – тогда ее искореняют. Учитесь! Как раз болтовня о сильной личности и погубила ваш возлюбленный третий рейх!

Кроме того, уже второй раз Шелковников спрашивал Павла – что он думает о фигуре Исаака Матвеева. Павел оба раза отмолчался. А что император может думать о человеке по имени Исаак? Любить его и все тут! Ясно?

Малая подвижность образа жизни уже раздражала Павла. В долгие, но так быстро пролетевшие месяцы жизни в деревне – помимо горизонтальной, так сказать, работы по вечерам – была все же возможность иной раз выйти подышать к реке, воздух там был опять же деревенский, не городской. Ну, и сколько-то физических упражнений перепало на тренировках с Джеймсом. В бывшем посольстве же, помимо опять-таки горизонтальных занятий, имелась только возможность выйти в бедный садик, заросший главным образом иван-чаем, как и у канадского соседа. Воздух здесь был тоже городской, не деревенский. Вернулись регулярные свердловские головные боли. Тьфу, екатериносвердловские. Так что все ж таки делать с Катей? Не любить же ее, она не еврей...

Что с кем делать – не знал Павел и насчет многих других, а не одной только Кати. Посетил его тут как-то раз родной сынок Ваня. По примеру императрицы Елизаветы, близкой родственницы, сестры одной из Павловых прапрапрабабок, выходить к нему Павел не стал, только продержал в гостинной несколько часов, а сам тихом за ним понаблюдал. Понаблюдал и вовсе решил к сыну не выходить, мысленно же лишил раз и навсегда Ивана Павловича Романова права на престол: одновременно в той же гостинной побывала Тоня, потом приходила эта ее подруга, Танька, с мрачным мужем, совсем новым, потому что прежний сидел в сумасшедшем доме в Копенгагене и с ним она наскоро развелась. Почему этот новый – мрачный, понял Павел сразу, мрачность была от похмелюги, с Танькой это состояние для кого угодно неизбежное. А сынуля сидел у окна, это шестнадцатилетний парень, и битый час кому-то язык показывал – тому типу на противоположном тротуаре? Своему отражению? Потом ему Татьяна стала грязные глазки строить из-за спины свежего мужа, так сынуля при всех присутствующих чуть на нее не полез. Павел велел приготовить акт психиатрической экспертизы сына, признать его умственно неполноценным, и побаивался, что придуманный им диагноз даже вовсе и не выдумка.

Привозили в особняк тем же способом и племянника, сыночка Софьи, так сказать, с мужем. Ромео показался Павлу совершенно нормальным парнем – и зачем его на такое барахло потянуло? “Барахлом” Павел сразу окрестил родного племянника, тот произвел на императора вовсе гнетущее впечатление: ему, после практических занятий у сношаря, зрелище любой половой ненормальности было нестерпимо до тошноты, здесь его не обманешь. Виноградной красоты своего племянника Павел вообще не заметил, не видел он

и фантастического сходства Гелия со своей прапрабабкой Скоробогатовой, – а что бы он мог увидеть, если от нее портрета не осталось? Нечего и говорить, что к молодоженам он вообще не вышел, ограничившись ради приличия тем, что через незаменимого Ключа передал какие-то подобранные Тоней на складе подарки. Послал Господь наследничков! В душе Павел очень хотел, чтобы Тоня забеременела, и все меры для этого принимал, собираясь потом, по примеру предков, детей “привенчать”, – по этому обычаю добрачные дети во время венчания держатся за шлейф невесты. Павел решил восстановить положение Петра Великого о престолонаследии, о свободе императора самому назначать себе наследника. Только наследником пока что даже не пахло. Впрочем, Павлу ведь шел только тридцать четвертый год.

Он последний раз поглядел в окно и устало пошел к себе, в уютно належающее кресло под латанией. Человек на тротуаре за окном не шелохнулся. Этого человека раза три за последние сутки кто-то пытался сменить, сколько же дежурство длиться может, но тот был стреляный и не давался, что-то сменщикам из кармана показывал, надо думать, ответственные документы, и сменщики быстро уходили. Терпения этому человеку было не занимать. Он жил один в трехкомнатной квартире на Новинском бульваре. Сводного братца с ним рядом больше не было, но он отлично знал, где и чем его достать. Отец его вообще не интересовал. Он плотоядно глядел на посольского милиционера в летней форме у дверей посольства, и еще на трех других, тоже посольских, маячивших в разных местах дальше по переулку, и иной раз не мог удержаться от того, чтоб не облизнуться. Он ясно чувял приближение своего часа, и что, в конце концов, значили несколько месяцев топтания по сравнению с поставленной высокой целью?

“Цыган – цыганке говорит...” – пропел Павел про себя, собираясь задремать до ужина, который, похоже, раньше семи вечера появиться не мог: еще не меньше часа Тоня будет шить-пошивать, потом на Ключа примерять, потом готовить, потом Ключа дегустировать будет, потом Тоня будет ждать смерти Ключа и, только если ее не дождется, то даст Павлу поесть. За окном скрипнули тормоза, и через краткие мгновения на пороге гостиной, с предварительным, конечно, докладом явился, увы, вместо ужина толстый дворянин Георгий Шелковников. Шелковников, нынче уже опять полный генерал, хотя и очень полный, но от которого рода войск – неизвестно, сам он предполагал, что от инфантерии, хотя совершенно не представлял, что это такое, – вошел к Павлу совершенно бледный, опущенные углы рта дрожали, и на одном из них переливалась оранжевым прилипшая икринка. Павел уставился на нее.

– Государь, – тихо, твердо, без всякого приветствия произнес генерал, – требуется ваше решение и даже вмешательство. Никто, кроме вас, сейчас уже не вправе располагать судьбой родины.

– Докладывайте, – лениво сказал Павел, кивая икринке. Шелковников, несмотря на этот приглашающий присесть жест, остался стоять. Он, оказывается, был способен на сильное волнение.

– Государь, – сказал он, – совершенно подлое и зверское убийство. Ночью на сорок восьмом километре Старокалужского шоссе замучен милиционерами,

ограблен и убит один из лучших наших людей.

– Кто? – спросил Павел менее равнодушно, но все так же обращаясь к икринке. Ему подобное событие было небезразлично, он людей считал нужным беречь, но надо ли при этом так орать? Пусть даже на низких тонах?

Шелковников почти связно, хотя и с множественными повторами, изложил историю ночного преступления. Вчера вечером в родном доме горчичного цвета многие праздновали, то есть отмечали день рождения одного из основателей ведомства, товарища Болдуновского, в этот день ребятам и паек побогаче, и работу на час пораньше, вообще круглый год трудимся, иногда и отдохнуть надо. Кроме того, свои рабочие посиделки в послерабочее время люди ведь используют для внедрения в умы сотрудников идеи скорых перемен начальства и прочих перемен, в том смысле, что у власти необходим сильный человек, и скоро там он уже будет. Генерал-майор Юрий Иванович Сапрыкин, человек очень демократичный, как раз весь вечер именно этим занимался в своем отделе, нечаянно перепоил своего шофера и, с присущей ему подлинной демократичностью, решил ехать домой на метро. Было поздно, и на станциях было пусто; когда генерал-майор выходил из вагона метро на станции “Спортивная”, к нему приладились трое в милицейских формах. На улице его затолкали в машину, отняли у него пайковое шампанское и такой же коньяк, все сразу выпили и даже колбасу съели. (Павел сглотнул.) Когда же попробовал бунтовать – а был, конечно, в штатском – и предъявил удостоверение, его ударили бутылкой по голове, повезли за город, в станционной сторожке убили, мелко расчленили, но закопать не потрудились. Сторож из этой самой сторожки прикинулся в дымину пьяным, так что милиционеры кокнуть его поленились; но, когда они уехали, мигом дозвонился в Москву, и на въезде наши ребятки милиционеров взяли тепленькими. Однако же не прошло и двух часов, как министерство внутренних дел в полном объеме встало на дыбы: к зданию на Стромынке, где убийцы временно ждали своей участи, подъехала едва ли не сотня машин из милиции, гады штурмом взяли нашу явку и увезли убийц куда хотели. А теперь министерство внутренних дел не желает ничего об этом слышать и требует, чтобы разговаривали с министром...

– Ну и говорите с министром, я тут при чем? – раздраженно прервал Павел генерала.

– Государь! – голос Шелковникова зазвучал патриотической медью. – Министр внутренних дел лишен советского гражданства и бежал за границу на дачу. Притом уже давно! Это государственная тайна, вы, увы, не имеете времени слушать западное радио, иначе вы бы давно об этом знали. Милиция представляет сейчас самое страшное препятствие на пути к восстановлению ваших законных легитимных прав! Это мощная, почти неуправляемая и глубоко преступная организация! Изменник родины Витольд Безвредных погибнет на чужбине, но пусть он там хоть подохнет, его страшное наследие необходимо поставить на место и взять к ногтю! Он и его банда уже давно имеют миллиардные вклады в швейцарских банках, они занимаются частнопредпринимательской деятельностью и на нашей родине и за рубежом, прикрываясь звериной шкурой советских мундиров, они убивают, грабят,

насилуют, честных советских... честных граждан России!

Павел посмотрел на него с сомнением. Тогда Шелковников набрал воздуха и выпалил:

– Государь! Нужно кем-то занять это пустое место, ибо они безнаказанно убивают наших людей. Верьте мне, на этом они не остановятся! Нужно назначить на пост, который предатель Безвредных превратил в пустое место! Нужно сделать это немедленно, чтобы к вашей коронации уже был порядок в стране!

Павел вдруг понял. “М-да, пустое место...” – пробормотал он, подошел к окну и поглядел на все так же стоящего на тротуаре остролицего человека. И поманил его пальцем. Тот, даже не удивившись, перешел улицу и направился ко входу в особняк.

– Впустите этого... вашего, – Павел неопределенно показал в окно.

Шелковников понятия не имел, его это человек или чей еще, и с сомнением позвал Сухоплещенко. Тот быстро выбежал на улицу, между подполковником и неведомым типом произошла короткая беседа, после чего оба свернули за угол, ибо вход в особняк “для своих” был там. В гостиной открылась дверь, и Ключоль на подносике внес визитную карточку. Павел взглянул на нее и с большим удивлением протянул генералу.

– Ничего не понимаю... Неужели это женщина?

Генерал потрясенными очами прочел визитную карточку своей жены. Не может быть! Неужели это Елена стояла на улице? Неужели ее гримерное искусство достигло такой высоты?

– Это моя жена, государь... – пролепетал он.

– Простите, – брезгливо бросил Павел. Семейное это у них, что ли? Ах, да, генерал-то армянин...

Отворилась дверь, и на пороге возникла самая настоящая Елена Эдуардовна Шелковникова, урожденная Корягина. Генерал издал длинный вздох облегчения: за ее спиной явственно виднелся Сухоплещенко с уличным типом. Не достигло все-таки искусство Елены такого уровня, чтобы в мужчину превращаться как только приспичит, слава Богу!

Елена с достоинством поклонилась. Павел оценил представительность этой немолодой, но все еще исключительно привлекательной женщины, и сделал два шага ей навстречу. Он не знал, посвящена ли она в романовские дела, но ясно увидел, что явилась она сюда без приглашения мужа. По виду самого генерала он понял также, кто в шелковниковской семье генерал от природы, а кто от этой самой, от инфан... терии.

– Павел Романов, – представил он сам себя, – рад быть вам полезен.

Елена смирила его оценивающим взглядом и, кажется, одобрила. Она была выше него ростом; когда Павел протянул ей руку, она вдруг нагнулась, чтобы ему эту самую руку облобызать, император все-таки, ее сомнения не одолевали, она только что прилетела из Кейптауна, где виделась с предиктором дю Тойтом, – но и Павлу пришла в голову мысль облобызать руку этой женщине как женщине. В следующий миг они резко ударились лбами. Елена рассмеялась.

– Хорошая примета, ваше величество! Это ведь означает, что нам вместе жить и

работать!

Павел, потирая лоб, пожал Елене руку, так оно лучше, без церемоний. Потом глянул на Шелковникова, потом на двоих, толкущихся в дверях с долготерпением на лице.

– Я не помешаю, ваше величество, – произнесла Елена, нимало не стесняясь, без приглашения опускаясь в Павлово кресло под латанией, – сперва закончите с ними. – Павел кивнул, и кто-то из вошедших, кажется, Сухоплещенко, закрыл дверь. Что-то знакомое проступало в лице человека с улицы, острым, тонкогубом, как бы лишенном возраста. Тоня, кажется, нечто как раз состряпала, в эту минуту в гостиной вспыхнул свет люстры, выключатель которой находился в коридоре. Тоня так всегда делала. Павел сглотнул.

– Имя? – резко спросил он.

– Всеволод, – спокойно ответил гость, – фамилия – Глущенко. Из Свердловска. Павел выдержал паузу, хотя все понял сразу и был, пожалуй, доволен. Всем, кроме того, что сесть в родное кресло было невозможно. Ну, можно пока постоять. Предсказание Абрикосова, получается, было далеко не брехней, не впустую трепался умирающий йог. Говорят, только тогда в государстве жить можно, когда при главе правительства есть ясновидящий, то есть футуролог, то есть, значит, все по науке идет. Да и прецедент хороший: все-таки вот он, император, еще до своего явления широким народным массам, уже назначает собственного, очень к тому же важного министра.

– Шелковников, – Павел в последнее время старался усвоить царскую манеру обращения к приближенным по фамилии, – позвольте представить вам Всеволода Викторовича Глущенко, моего... личного родственника. И нового министра внутренних дел.

Сухоплещенко звонко клацнул зубами, никто этого не заметил, кроме Елены, пославшей подполковнику неодобрительный взгляд. Шелковников с облегчением вытер лоб носовым платком: слава Богу, значит, и в нашей организации родственники царя есть, а даже если он и не из нашей организации, то это теперь неважно. Он сделал шаг к министру, протянул руку и, пожимая сухую, тонкую кисть, веско произнес:

– Шелковников. Рад познакомиться. Я надеюсь, вы приступите к обязанностям и не оставите зверское убийство Юрия Ивановича Сапрыкина безнаказанным... За дверью раздался грохот падающего подноса. Дверь отворилась, на пороге стояла Тоня, вцепившаяся зубами в сжатые кулаки.

– Что случилось? – спросил Павел. Отчего это ее так взволновало? Но Тоня уже приходила в себя. Из-за Тониной спины вынырнул маленький Ключь и стал подбирать рассыпавшиеся харчи. Собрав, он попробовал сунуть поднос Тоне в руки, но та его оттолкнула.

– Холосо, холосо... – примирительно забормотал Ключь, скрываясь в неосвященный коридор, – сюкся все скусают, потом плиходи смотлеть, как он умилать будет, если не умлет, музыка иди колмить...

Павел, наконец, сообразил – по какой именно причине смерть какого-то неведомого генерала могла Тоню так поразить. Поскольку в нынешней ее верности он не сомневался, а Сапрыкин, непогребенный и мелкорасчлененный,

лежал в какой-то сторожке, решил с ревностью не лезть. Он выловил из кармана два шарика жидкого валидола и сунул их Тоне в рот. Тоня поглядела на него совершенно собачьими глазами.

Тоня благодарно кивнула и вылетела вслед за Ключем. Павел сел на подоконник, даже одну ногу на него поставил. Шелковников беспрестанно отирал пот со лба, Сухоплещенко являл собою соляной столп, – было ему отчего онеметь, такой ляп приключался с ним едва ли не впервые, выходит, человек, которого он искал столько времени, спокойно стоял напротив особняка, а подполковник принимал его за охранника из собственной службы. Елена ласково озирала присутствующих и курила сигаретку с любимым запахом женьшеня. Только Всеволод испытывал сейчас и неудобство и беспокойство. Ему было невозможно ждать приступления к новым обязанностям. Он их ждал, он их дождался, теперь он все сделает, как задумал, императора он поблагодарит в другой раз. Павел быстро понял его состояние.

– Всеволод, не забудьте в министерстве сказать им, что ваше воинское звание – бригадир, – Павел гордо глянул на присутствующих, интересуясь, поймет ли кто-нибудь значение этого вот уже почти два столетия как упраздненного чина, среднего между полковником и генералом. Сразу давать Глущенко генерала он все-таки не решался. И по лицам понял, что уразумела его ход одна Елена.

– Павлик, – сказала она совершенно по-домашнему, – может быть, я разъясню бригадиру кое-что, чтобы он сразу сориентировался?

Павел кивнул. Он был бесконечно благодарен Елене за излучаемый уют, то единственное, чего был лишен уже почти год, с того самого сентябрьского дня, когда похоронил отца. Павел почуял, что от Елены исходят тишина, спокойствие и какая-то во всем, так сказать, фундаментальность. Слово все они, еще так недавно чужие друг другу и по большей части друг о друге даже не знавшие, внезапно слились в одну семью, одну крепко спаянную боевую фалангу, для которой присутствие Елены так же необходимо, как нужна пальцам соединяющая их ладонь. Попробовал бы Шелковников назвать его Павликом. А для его жены такое обращение к государю было в самый раз. Он почти принял решение пожаловать Елене какое-нибудь боярское звание, но пока не мог придумать, как это сделать, чтобы и мужа ее не обидеть, и лишнего ему не дать ненароком: сделаешь ее графиней, так и генерал станет графом, а ведь и без того получил уже немало. Елена увела Всеволода Глущенко в коридор, тот не сопротивлялся: понял, что женщина эта, кажется, занимает в государстве одно из высших паханских мест, так что отношения с ней должны быть в законе, правильные.

Неизвестно, о чем Елена беседовала с Всеволодом, но вернулась в гостиную она минуты через три, притом одна, а Павел кресло для нее оставил пустым.

– Он уже поехал. Он понятливый. Ты, Георгий, не волнуйся, это совершенно наш человек. У вас, государь, редкий нюх на людей.

Дверь открылась, на пороге возник швейцар.

– Просит доложить о себе доктор медицинских наук Эдуард Феликсович Корягин!

Шелковников полез за вторым платком. Тестя он тоже здесь никак не ждал.



Такой, видимо, день. Из огня да в полымя. Слава Богу, развязался с милиционерами, будут сейчас осложнения с попугаями.

Эдуард Феликсович и впрямь явился сегодня в Староконюшенный собственной персоной. Причем сделал это на свой страх и риск, выяснив, куда именно полагается идти и когда – даже не у старшего зятя, а у одуревшего от кулинарных потуг нынешнего своего внеслужебного положения Аракеяна. Все началось на прошлой неделе, когда в дом закатился Ромео, один, конечно: молодую жену оставил где-то протрезвляться. Дома был, по счастью, опять один дед – это новоиспеченного принца несказанно обрадовало. После первых лобзательно-приветственных акций Ромео, не долго думая, вручил деду копенгагенский подарок, ящичек с яйцом. Пропажи датских писем дед не обнаружил, это Ромео прочел по глазам деда. Сердце деда, признаться, дрогнуло, когда он понял, что внук привез ему яйцо. Но стоило ему ящичек открыть – сердце так же и упало.

– Это чье яйцо? – грозно спросил дед. – Твое?

– Твое... – растерянно ответил внук.

– Мои все при мне! – еще более грозно произнес дед. – Я тебя чему учил? Чье, спрашиваю, яйцо? Какой птицы?..

– Попугая... Так я думал, так мне продали...

– Ты видел когда-нибудь яйцо такого размера у попугаев? Такое огромное – видел когда-нибудь?

– Я думал – это очень большой попугай, поэтому и яйцо большое... Ну, такой же большой, как мамонт против слона... – у Ромео от дедовой атаки в речи вдруг прорезался отцовский акцент, хотя он, как и младшие братья, по-армянски знал две буквы и одно крайне похабное выражение.

– Мамонт? – взревел дед, – Мамонт! Яйцо мамонта, значит, мамонтовое?

– Дед, чье тогда это яйцо? Дорогое же! – совсем растерялся Ромео. Но растерялся, как ни странно, и дед.

– Там поглядим, высижу сперва, – дед повертел яйцо, – попробую.

Ромео сильно заторопился, похоже, с остальными родственниками он не очень стремился свидеться. Дед определил яйцо в инкубатор, стоявший у него в попугайном чуланчике, там, где он учил попугаев разговаривать. И решил, что, кто бы из яйца ни вылупился, пусть он в доме поживет, хоть гусь, хоть канарейка. Вылупления ждать пока было рано. Но ясно было деду, что никакой это не попугай. И тем его обычная мрачность только усугублялась.

Вторая печаль одолела его вчера. Позвонил прямо из зоопарка старый друг-броненосник, попросил срочно приехать и уже в зоопарке, укрывшись за спинкой любимого обоими дедами белоспинного самца-гориллы, поведал Корягину невообразимую историю. Попал в нее он сам по вине давно покойных своих приемных родителей, не сумевших должным образом утаить настоящее происхождение воспитанника. Сидел друг Корягина не за происхождение, а за попытку отколоть Красноярский край – там он жил в те годы – от СССР, и тогдашние спецы до его настоящей фамилии не добрались. А вот нынешние оказались не в пример квалифицированнее. И друг открыл деду тайну своей жизни, которую весь век таил и полагал, что унесет прямо из зоопарка в могилу.

Ан нет.

Оказалось, что лагерный друг-броненосник, которого дед Эдуард добрых четыре года кормил больничными кочерыжками, Юрий-то действительно Юрий, но не Александрович, как всегда считалось, а Арсеньевич, и не Щенков, а, как ни странно, Свиблов. В 1918 году, когда пьяная толпа громила под Брянском усадьбу, где прятались от столичных событий всемогущий Арсений Силич и преждевременно одряхлевший на монтекарловской и тысяча девятьсот пятой почве Сила Димитриевич со своей семьей и приживалами, – в ту самую ночь красноармеец Саша Щенятев, позже ставший Щенковым спокойствия ради, втихую дезертировал. Мальчик он был смысленый и понял, что кто уж очень смело в бой пойдет за власть Советов, тот очень быстро так же и умрет весь, как один, в борьбе за это бесплодное начинание. Намереваясь впоследствии, когда эта самая власть кончится, обеспечить свое будущее, прихватил Саша с собой последнего отпрыска свибловской ветви. Маленький Юра прижился в сибирской деревне, знал свою фамилию и помалкивал, полагая, что со Свибловыми на белом свете все кончено. Но вот недавно узнал он, что не все с ними кончено, ибо в те же зимние дни восемнадцатого года двоюродный брат его родного деда Силы, Андрей Григорьевич Свиблов, спас, а потом еще десять лет воспитывал отца нынешнего, то есть будущего, конечно, императора, Федора Михайловича Романова. Узнал об этом Юрий Александрович от тех, которые его теперь вызвали, сообщили, что все всё давно знают, кулаком по столу стукнули и ... посулили золотые горы. Юрий, выходит, Арсеньевич, которому стукнуло уже семьдесят два, рассказал обо всем этом Корягину, скрутил козью ножку и залился горькими слезами, а белоспинный самец гориллы, чуя беду, грозно зарычал у себя в клетке, еще более грозно бухнул себя кулаком в грудь и стал яростно зевать на деда Эдю, выражая тем самым высшую угрозу. Но дед Эдуард был все же старше Юры, он в их союзе всегда главным был, он дождался, что верный друг заплачет, потом потрепал его по колену и постарался убедить в том, что ведь могли же предложить и нечто гораздо более худшее, нежели золотые горы. К примеру, в прежние времена вызывали и вообще ничего не предлагали, а сразу давали. А тебе, галоша старая, даже время подумать обеспечили, вот ведь сидим с тобой тут на свободе и закусываем, – или же, извини, тебя горилла белоспинная, этот твой самый Роберт Фрост в ту же организацию защищать ходил и зевал на всех? Друг разрыдался пуще прежнего. Пришлось дать по шее. Щенков, успокоившись, поверил, что бравый мужик в штатском, этот самый Дмитрий Владимирович, с которым довелось насчет золотых гор болтать, ничего не имел в виду, кроме того, о чем говорил. А раз так – пусть слушает условия. Нужно ему, чтобы Щенков немедленно стал Свибловым? Так пусть примет во внимание, что перед ним не кто-то, а заслуженный работник зоопарка, знатный броненосовод, человек известный, графский титул и родовые поместья дать кому хочешь можно, а репутация? Дорого стоит она, репутация эта! Так что давай, друг хороший, реветь перестань, ясно объясни, чего он тебе предложил. “А я ему – оставьте меня при броненосцах...” – “А он тебе?” – “А он мне – Свиблово, мол, район хороший, другие поместья тоже вернем, а впоследствии

башню кремлевскую вашего имени тоже выделим, сейчас, мол, это очень важно, чтобы вы все добро назад приняли, оно у нас просто на сохранении было. Намекает, мол, какая-то сверхважная персона ставит условием, чтобы Свибловым все вернули, не то она, персона, что-то там натворит, не то на что-то не согласится, я не понял. А Свибловых нету никого, ни настоящих, ни косвенных, даже за границей никого, они землю любили, тут их всех в нее и положили. Я, мол, один Свиблов. А какой я Свиблов?” – старик разрыдался пуще прежнего. “Не Свиблов, не Свиблов, – успокоил его дед Эдуард, – ты дурак старый”. “Вот я и говорю, – хлюпая носом, ответил броненосник, – не Свиблов. А он мне действительно: размышляйте, мол, дня три, а дальше – уж не знаем, что и предпринимать, если не согласитесь, предпримем что-нибудь. И выписывает мне пропуск наружу. Ну, я сразу к тебе...” – “А я что?..” – “Я решил – не буду графом, если ты не будешь хотя бы князем. Вон, у нас даже слон еще и “Боже, царя храни” петь пытается, а вовсе не только матерится, как в газетах пишут, а майны, то бишь индийские скворцы, вовсе Пуришкевича декламируют...” – “Юра, а ты не?..” Щенков неожиданно обиделся. Из дальнейшей беседы стало ясно, что старый броненосник совсем рехнулся и скорей погибнет, чем примет титул без того, чтобы и дед Эдуард тоже титул получил.

Дед поразмышлял надо всем этим вечером, умножил два на два в связи с тем, что теперь одни только пни в лесу не знают про то, что в России скоро царь будет, посоветовался с попугаем Пушишей, большим специалистом по вопросам Реконструкции, все для себя решил – и взял младшего зятя за вымя. Вымя нынче у Аракеляна слабое было, он занимался одной только кулинарией, прочее его не касалось, да и какие могут быть секреты от семейного начальства, – и, не долго думая, выпалил он деду и адрес в Староконюшенном, и пароль для входа, мол, сходите туда, Эдуард Феликсович, да выясните сами. Дед понял, что без его личного вмешательства Реконструкция, глядишь, расклеится, а он против нее ничего не имел, лишь бы Юра Щенков рыдать перестал и попугаи все здоровы были с внуками вместе. И решил пойти к Романову сам, понятия не имея, чего он может там добиться. Разве что титула?.. Зачем он на старости лет? Вон, Игорь получил. Что толку? Ромео еще больше получил. Что толку? Яиц различать не умеет, тоже мне... Свернув в Хрущевский переулок, он зябко повел плечами, давно не вспоминал, что в Москве такие названия с восемнадцатого века есть, однако же были в России дворяне! Вдруг уперся дед взглядом в неприметную вывеску: “Посольство Великого Герцогства Люксембургского”. Как можно забыть этот дом! Прежний посол вот уже седьмой год как угнан террористами и не найден! Так что вот: ежели хочет император с ним, Эдуардом Корягиным, иметь дело, пусть вызволит этого очаровательного человека! А тогда добро, приму любой титул, Щенкова уломаю, еще и попугая подарю!

– Доктор медицинских наук... – начал было швейцар по второму разу, полагая, что старик замешкался, но тот уже стоял на пороге, обводя глазами, по сути дела, свою собственную семью с небольшими дополнениями, старшего зятя, старшую дочь и с ними... Господи прости, вылитого императора Павла Первого,

только сильно помолодевшего. Ну ладно, Свибловых там прочхали, но как человека с такой внешностью, да еще Романова, прочхали! Впрочем, кажется, он не прятался. Ну, тогда, конечно, и должны были прочхать.

Павел стоял, понятия не имея, кого это еще принесло. Незаменимый Сухоплещенко молчал, положение опять спасла Елена.

– Павлик, это мой папа.

– Очень приятно, – сказал Павел, с достоинством пожимая руку старика. Перед отцом такой милой женщины нечего было становиться в ледяную позу.

– Я по делу, Павел Федорович, – сказал Эдуард Феликсович, опускаясь в уступленное дочерью кресло под латанией, – неувязка с другом моим, с Юрием Свибловым.

Павел поперхнулся.

– Да, с Юрой Свибловым, это мой друг по давним временам. Мы с ним вместе... э-э... служили. Под Воркутой, знаете ли. Тут кто-то из ваших, некто Дмитрий Владимирович, кажется...

Елена и Георгий переглянулись.

– Да, Дмитрий Владимирович... Мучил его, чтобы тот принял на себя станцию метро Свиблово. Ну, а человек он и робкий и ветхий, и я пришел поговорить вместо него.

Павел хорошо помнил условия сношаря и совершенно не хотел жертвовать присутствием единственного приятного ему из родственников на коронации. Он сам дал указание – хоть из-под земли достать любого Свиблова и полагал, что никто пока не найден. А тут – ну и сюрприз. Сухоплещенко молчал, но не краснел. Павел решил действовать сам.

– Ах, вот что... Вот какое дело. Но ведь это и в самом деле необходимо. Нужно, чтобы Свибловы согласились принять назад хотя бы часть реквизированной собственности. По заслугам и потребностям. Да ведь я и сам по прабабке Свиблов!

– Вот что... – протянул Эдуард Феликсович. Это было приятно, что император оказался родственником лучшего кореша по лагерю. Потом вспомнил, что через внука в родственники императору он и сам уже попал, и резко помрачнел. – В таком случае, Павел Федорович, должен вам заявить со всей ответственностью, что без выполнения предварительных условий Юрий Свиблов не примет из ваших рук решительно ничего. Он, впрочем, ставит условие очень вздорное, он требует титул, простите, для меня...

Шелковников беззвучно присвистнул.

– Титул для меня, но я уговорю его эту блажь оставить. У меня, правда, есть свое контрусловие, может быть, вы сочтете его незначительным, но это важно.

Павел склонил голову – мол, слушаю.

– Так вот. Лучший мой друг, посол Люксембурга в... Советском Союзе, Жюль Бертье, вот уже семь... или восемь?... лет как похищен ливийскими террористами.

При имени Бертье за дверью раздался грохот упавшего подноса.

Дверь на этот раз даже и не открылась, но было ясно, что Тоня уронила и второй вариант ужина. Потом раздался жалобный лепет чукчи: “Одна смелть –

холосо, две смелти – лутьсе...” и звуки смолкли. Шелковников отлично помнил, что Тоня в свое время как раз обслуживала этого самого герцога Люксембурга, то есть посла, украли его не вовремя, но смолчал. В нем росло тусклое раздражение против этой девицы. Когда Сухоплещенко подыщет другую? Еще не хватало, чтобы эта шлюха выбилась в царицы! Впрочем, и такое бывало... Надо быть готовым ко всему. Он ощутил прилив яростного голода, но лезть в портсигар при императоре не решался. Император, впрочем, тоже глотал слюну.

– Отлично, – оборвал Павел монолог деда и обратился к генералу. – Что, можем мы этого посла вызволить?

– Можем, – ответила за мужа Елена, – Бертье в Триполи, в Ливии. В черной тюрьме, в каменном мешке и так далее. Муаммарчик требовал за него выкуп атомными бомбами.

Шелковников поглядел на жену со скрытым ужасом и еще – с восхищением. Сам он ничего подобного не знал. Во женщина, а?

– В ваших возможностях, Павлик, обратиться за содействием к дириозавру. Павел вспомнил, что жену ему доставил с Алтая этот самый персонаж нынешних довольно смешных анекдотов, и его передернуло. Но мысль была неплохой, бомбежки каменными яйцами боялись сейчас во всем мире больше, чем атомной войны. Уже ни один политический деятель не имел права сбрасывать летающее чудо-юдо со счетов. Много десятков страшных пятигранников, грозя ужасными вылуплениями, уже лежало в самых неудобных местах по всему миру. И жертвы тоже были.

– А? – спросил он у генерала. Это осуществимо?

– Дириозавр нам не подчиняется... Но есть возможность запросить через дипломатические каналы, все-таки речь идет об освобождении заложника...

– Вот и отлично. Милостивый государь, исполнение вашей просьбы мы гарантируем. А вы уверены, что ваш друг, если все условия соблюсти, согласится? – Павлу испуленно хотелось есть, и потому так же хотелось, чтобы этот нескончаемый поток посетителей иссяк. – Может быть, вы все же согласитесь принять от нас... титул?

Дед покосился на императора.

– В мои-то годы... Подумаю. Но если гарантируете, что вызволите Бертье, то приму, если такая надобность.

– Вы откуда родом?

– Это не выйдет... Я, Павел Федорович, Икарию люблю, вот вы мне там чего не то поскромней подберите...

– Согласен. Всегда рад вас видеть.

Дед понял, что время истекло, и поднялся.

– Георгий, подвезешь?

– Вас довезут, Эдуард Феликсович. Мне надо еще задержаться.

Павел поглядел на генерала, как еж на змею. И снова Елена поняла неловкость положения и нашла из него выход. Она поднялась с кресла и с грацией, которую нечасто встретишь у женщины в ее возрасте, подошла к мужу.

– Георгий, – мягко, но решительно произнесла она. – Дай сюда портсигар. Точней, оба портсигара.

Шелковников горестно, но беспрекословно отдал ей оба, уповая лишь на скорое возвращение Сухоплещенко с другой парой, заготовленной в автомашине. Сухоплещенко исчез. А Шелковников еще больше опечалился: что у нее, у Тоньки этой, руки глиняные, и она подносы все время роняет? Елена тем временем открыла портсигары, взяла в руки и, словно два блюдца, поднесла Павлу, очень удивленно взиравшему на эту сцену с подоконника. Никогда не подумал бы он, что дворянин Шелковников носит при себе два бутерброда с черной икрой в одном портсигаре, два бутерброда с красной – в другом. Но как же это своевременно! В свете того, что Тоня еще когда-а в третий раз пожарит осетрину. Чукча сегодня, видать, уже целого осетра съел.

– Угощайтесь, Павлик, – сладко сказала Елена, – Георгию полезно поголодать.  
– При этом она послала мужу такой взор, что тот и вправду сглотнул слюну, решил поголодать. Вдруг да талия наметится.

Павел в одну минуту истребил бутерброды и почувствовал подъем настроения. Елена с пониманием откланялась, теперь мужчины, если хотят, могут говорить о работе и прочих безделушках. Откланялась и отбыла, совершенно очаровав будущего царя. И Сухоплещенко в гостиную не допустила: пусть Георгий худеет, а Павлик все же перекусил.

Шелковников дожидался, что Павел вернется под латанию и прикроет по своему обыкновению глаза. Потом генерал с трудом выловил из внутреннего кармана сложенные вчетверо листки – плод долгих стараний Мустафы Ламаджанова.

– Титул, государь. Я прочту вслух, как обычно.

– Слушаю, милейший.

– Итак... – Шелковников воровато надел на нос очки и стал читать:

– Мы, кандидат в члены КПСС, простите, сам себя перебыю: рекомендации для вас готовы. Если не возражаете, вам их дает коллектив передового магазина номер 231 в вашем родном городе, в этом магазине работал герой Петров.

– Что с памятником ему?

– Дано указание установить, его родной город на Брянщине...

– Старая Грешня? – быстро переспросил Павел.

– Совершенно верно...

– Вот что, милейший, там уже есть готовый пьедестал, прикажите использовать!

– Пьедестал? – в который раз Шелковников удивился хозяйственности императора, он не ведал, что Сухоплещенко приснопамятный пьедестал давно прибрал к рукам. – Будет исполнено. Я продолжаю. Мы, кандидат в члены КПСС, милостию Божией и миропомазанием Павел Второй, император и самодержец Всероссийский: Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Финляндский... Простите, я, кажется, забыл доложить – через дипканалы стало известно, что Финляндия и в самом деле намерена просить о воссоединении...

– Сами осознали... Хорошо... – пробормотал Павел. – Дальше, дальше.

– Так... Царь Финляндский, Лапландский и Аландский, наследственный победитель Гангутский, Царь Польский, Царь Херсонеса Таврического

Крещального, Царь Неаполитано-Скифский и Всея Тавриды, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский и Подольский, Государь и Великий Князь Нова-города Низовския Земли, Великий Князь Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Великий Герцог Курляндский, Князь Естляндский, Лифляндский, Семигальский и Самогицкий, Архипелага Западно-Естляндского Наследный Господин, Князь Гродненский, Брест-Литовский, Могилевский, Витебский, Борисовский, Оршинский, Несвижский, Минский, Слуцкий и Шкловский...

– В самом деле так? – спросил Павел, открывая глаза.

– Если угодно, можно убрать... Убрать?

– Шкловский – уберите, никому не нужно... Слуцкий – пожалуй, оставьте.

Шелковников черкнул на листке и продолжил:

– Так... Барон Бродский, Государь и Великий Князь Мстиславский, Князь Черкасский, Князь Полтавский, Харьковский, Сумской, Юзовский, Винницкий, Екатеринославский, Житомирский, Галицкий, Станиславский, Елисаветградский, Луганский, Князь Карпатский и Авратынский, Великий Лесничий Беловежския Пуци, Верховный Блюститель Аскания-Новы, Гетман Николаевский, Великий Князь Ровенский, Тернопольский, Херсонский, Буковинский и Гуцульский, Граф Измаильский и Татарбунарский, Граф Мариупольский, Таганрогский, Герцог Бирзулинский и Крыжопольский, Великий Пахан Одесский...

– Что? – заорал Павел. – Великий пахан? Это вы сами, дворянин, сочинили, или кто из доброжелателей помогал?

Шелковников похолодел. Ну и подсиропил чертов татарин! Думал, никто читать не будет? На три месяца без прогулки оставлю! А сам, чистосердечно сорвав очки, моляще сложил руки на груди. Павел быстро остыл, потянул носом: снизу просочился духовитый намек на осетрину – и кивнул: мол, вычеркните Крыжопольского вместе с паханом и читайте дальше. Шелковников тайком тоже вобрал в себя осетринный дух, но безропотно продолжил чтение.

– Граф Мелитопольский и Бердянский, князь Павлоградский, Кременчугский, Миргородский, Батурицкий, Аккерманский, Господарь Бессарабский, Великий Боярин Тираспольский, Бендерский, Белецкий, Дубоссарский, Каларашский, Ясский, Кагульский и Рыбницкий, Всезоркий Серпентолог Острова Змеиноного и вод Понта Эвксинского всех иных островов Хранитель, Князь Корельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Князь Великолуцкий, Курский, Белгородский, Калужский, Тульский, Воронежский, Брянский, Алешенский, Старогрешенский...

– Это вычеркните. Этот титул я отдаю.

– Есть! Продолжаю. Орловский, Екатеринодарский, Тьмутараканский...

– В скобках укажите – Темрюцкий.

– Есть! Продолжаю... Новороссийский... Может быть – Малоземельский?

– Ничего не мало, в самый раз! Оставьте как есть. Дальше!

– Есть! Сочино-Адлерский, Ставропольский, Адыгейский, Хунзахский, Ца...

Ца-та... извините, Цата-ныхский, язык сломать можно, простите, Кой...

Простите, Койсублинский и... Батлухский...

– Вычеркните все это, напишите – Аварский. Одно и то же, а дробные титулы пригодятся при восстановлении племенного дворянства!

Шелковников посмотрел на Павла с настоящим уважением. Как могло так получиться, что этот человек до сих пор преподавал в какой-то занюханной школе? Редко генералу доставляло удовольствие, что кто-то знает о том, о чем он сам не знает. Но царь все-таки!

– Лезгистанский, Тегейский, Анзацкий, Адыгейский, значит, э-э... Хакасских, Карачаевских, Чеченских и иных Горских, также и Татарских князей Наследный Государь и Обладатель, Верховный Зайсанг Калмыцкия земли, Князь Тихорецкий, Майкопский, Владыка Тамбовский, Князь Камышинский, Великий Герцог Всея Мордовии Мокшанския и Эрзянския, Князь Чувашский, Князь Костромской, Князь Вологодский, Князь Рыбинский, Серпуховской, Лопасненский, Князь Архангельский и Холмогорский, Белозерский...

– Это чужой титул. Вычеркните.

– Есть! Удорский, Обдорский, Кондийский, Вишерский, Соль-Вычегодский, Усть-Сысольский, Печорский, Воркутинский, Ненецкий, Североземельский... Как вы, государь, просили – этой территории мы оставляем советское название...

– Еще не хватало напоминать, что этот подхалим назвал ее Землей Николая Второго... Вы продолжайте.

– Продолжаю... Таймырский, Ямальский, Хантыйский, Мансийский, Тюменский, Властитель Пензенский, Князь Саратовский, Князь Иваново-Вознесенский, Владыка Царево-Кокшайский, Князь Удмуртский, Башкирский и Вогульский, Князь Тетюшский, Вышневолочокский, Арал-Денгизския воды Блюститель, Собственник Меотидския Акватории... Может быть, просто Меотидский?

– Может быть... Дальше!

– Князь Соль-Илецкий, Орский, Оренбургский, Челябинский, Великий князь Екатеринбургский, Князь Омский, Томский, Ново-Николаевский, впрочем, хорошо ли, государь?

– Пока да... Никто не поймет. Но переименуем при первой нужде. Дальше!

– Барнаульский, Бийский и Протчего Алтая Неоспоримый Владыка...

– Вы там куда с Неоспоримым раньше времени? А Князь Симбирский? А Князь Самарский? А Князь Хвалынский?

– Сейчас впишу... Дальше. Покровитель Кулундинский, Васюганский, Барабинский, Глава Белоярский и Норильский, Протектор Ачинский и Нерчинский, Граф Эвенкийский, Повелитель Верхнеудинский и Агинский, Князь Читинский, Хабаровский, Владивостокский и Приморский, Верховный Шаман Автохтонно-Сихотэалиньский, Учредитель Сахалинский, Барон Автономно-Еврейский...

– М-м... Нет. Барон Автономно-Еврейский – перебор, милейший. Нехорошо. Вот что, возьмите этот титул себе!

Шелковников обалдело поморгал.

– Я недостойн, государь...

– А я, значит, достоин? Словом, уберите, оставьте на черный день, читайте



дальше.

– Есть! Князь Шантарский, Тугурский, Магаданский, Якутский, Алданский, Великий Герцог Анжуйский, то есть Великий Герцог Островов Анжу, дальше – Барон Врангель, то есть, простите, Барон Острова Врангель...

– Острова все выкиньте. Пригодятся как подарки.

– Есть! Эрцгерцог Францисофлянский и Острова Рудольф такожде... Впрочем, это все острова, я понял... Итак! – Шелковников набрал воздуха, но язык его почти уже не слушался, во рту пересохло. – Князь Карякский и Керекский, Камчатский, Курильский, Индигирский, Верхоянский и Нижнеянский, Батыр Вилюйский, Князь Усть-Илимский, Самоедский, Сургутский и Всея Северная Страны, Верховный Берендей Всех Неведомых и Сокрытых, Реликт Аинский...

– К дьяволу!

– Есть! Царь Туркменский, Тянь-Шаньский, Памирский, Каракумский и Балхашский, Владелец Иссык-Кульский, Царь Абескунский и Владелец Каспийския воды, Чрезвычайный и Полномочный Удельный Хан Киргиз-Кайсацкия Орды, Повелитель и Государь Гурьевский, Петропавловский...

– Пожалуй – Павлопетровский.

– Есть! Павлодарский, Уральский, Семипалатинский и Семиреченский, Князь Аму-Дарьинский и Сыр-Дарьинский, Кокчетавский...

– Нет! Синегорский!

– Есть! Учредитель Краснодарский, Князь Акмолинский, Актюбинский и Всея Целинная и Залежная Земли, Князь Усть-Каменогорский, Аулие-Атинский, Перовский...

– Лучше по-старому – Ак-Мечетский. К чему злить мусульман? У нас и так русское меньшинство...

– Есть! Отец Ошский, Князь Пишпекский, Джелал-Абадский, Горно-Бадахшанский, Дюшамбинский, Асхабадский, Ташаузский, Небит-Дагский, Байрам-Алинский, Владетельный Маркиз Карагандинский и Чимкентский, Всемощный Хан Чарджуйский, Бухарский, Кокандский, Хорезмийский, Самаркандский, Хивинский и Термезский, Барон Учкудукский...

– Барон Учкудукский... М-м, милейший. Снова перебор. Это вы возьмите себе. И не смейте отказываться! Жалую вас бароном Учкудукским!

Шелковников совсем без восторга сделал что-то похожее на поклон и продолжил, констатируя про себя, что хоть и фиговый, а все же барон.

– Почетный Надзиратель Анджеро-Судженский, Усятинский, Ак-Чурлинский, Явасский, Повелитель и Государь Иверския Земли, Карталинских и Грузинских царей Наследный Государь и Обладатель, также царь Имеретинский, Колхидский, Абхазский, Нурийский, Князь Тифлиссский, Кутаисский, Бессултанный Бейлербей, Тысячбунчужный Паша Батумский...

– Отлично, генерал, отлично...

– Царь Эриваньский, Александропольский, Караклиссский, Вагаршапатский, Карсский, Трапезондский, Эрзурумский и Баязетский, Ванский, Битлиссский, Урфинский, Куратор Араратский и Всея Восточная и Иная Анатолии, Князь Нахичеванский, Бакинский и Шемаханский, Царь и Благомощный Властитель Ленкоранский, Князь Елисаветпольский, Алагезский и Ахалцыхский, Друг

Товадынский, Царь Аланский, Великий Дerviш Бабайский, Шах Пехлевийский и Шехсеварский, Наследник Норвежский, Шпицбергенский и Ян-Майенский, Царь Великия Бактрии, Князь Померанский, Царь Польский, Князь Белостоцкий, Львовский, Краковский, Великий Герцог Данцигский и Кашубский, Герцог Шлезвиг-Голштинский, Великий Монгол Халхасский, Герцог Сторманский, Дитмарсенский и Ольденбургский, Великий Герцог Тобагский, Султан Кабульский, Император Маньчжурский, Джунгарский и Синцзян-Уйгурский, Барон Ургинский, Царь Американский, Великий Князь Ново-Архангельский, Великий Князь Иссанахский и Унимацкий, Стихинский и Колошский, Князь Командорский и Алеутский, Граф Свято-Францышкский...

– Подержите, барон, все это в запасе. Насчет Америки это мы еще подумаем. Есть варианты.

– Есть! Король Гавайский, Великий Вождь Папуа-Новогвинейский, Государь Еверский, Светлейший Негус Абиссинский, Государь Аделийский, Великий Брандмейстер Огненные Земли, Великий Кузен Сальварсанский, Авогадор-Дожепостановитель Венецианский и Генуэзский, Хан Половецкий, великий каган Хозарский, Гетман Всеместный, Атаман Кошевой, Куренной, Наказной, Сельский и Станичный совокупно, Верховный Курбаши, Верховный Ливонского Ордена Престолюблюститель Бессрочный, Король Прусский, Великий Магистр Державного Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, Лучший Друг Китайский, Преображенского Полка Полковник, Далай-Секретарь, Богдо-Секретарь такожде Тибетский, Верховный Свободновыборный Адмирал Красного и Синего и Белого Флага, Алн Арнаутский и Шкипитарский, Попечитель Всемирные Гистории, Всея Великия и Малыя и Белья Руси Альфа и Омега!

Шелковников умолк, вытер пот, окончательно заливший глаза под очками. Ох, тяжко!

– А “прочая, прочая, прочая”? – спросил Павел недоуменно.

– Может быть, хватит, государь? Куда уж “прочая”?

Павел подумал.

– Нет, барон. Вставьте “прочая”. Кто поручится, что титул полный? Смотрите в будущее. Уверяю вас, что титул, скорей всего, неполный. Пусть перепишут от руки начисто и принесут мне. Почетче только. Пожалуй, вариант почти чистовой. Благодарю вас, барон!

Шелковников встал и, насколько позволяла не сложившаяся даже при сегодняшнем голодании талия, поклонился. Павел опустил веки. Шелковников подумал, что должна же быть на кухне еще осетрина, не всю же скормили чукче! Ему представился Клюль, проглотивший разом целого осетра, сам с выпученными глазами и торчащим изо рта осетровым хвостом, – и сразу стало генералу не до еды. И тут дверь снова отворилась. Сама по себе. Шелковников вспомнил, что император ее запер, и похолодел.

На пороге сидела небольшая, очень пыльная, очень худая свинья и поводила носом, видимо, лоя кухонный дух, очень сильно струившийся по особняку. Весь вид ее выражал классическое: “А что это, господа мои, вы тут без меня поделываете?” За свиньей появилась темная женская фигура.

– Вот я и пришла, – сказала татарка, входя в комнату, – что ж вы дурака убогого не искали, что ж вы даже на его место никого не назначили? Иди сюда, Доня моя... Мне бы к отцу пропуск, люди вы большие, а забыли, что старый человек в подземельях без пользы лежит... Выписывайте уж скорее...

В коридоре раздался грохот: при виде задумчивой свиньи Тоня опрокинула поднос в третий раз...

## Павел II День пирایی Часть 15

*Евгений Витковский*

XV

...в прошлом году ты чуть не погубил своего доверителя, когда в прошении к эмиру, вместо “величество”, ты написал “яичество”!

Леонид Соловьев. Повесть о хожде Насреддине

Паровозный гудок почти непрерывно вонзался в сырой осенний воздух, туманно пластавшийся над подмосковными поселками. Гудок был именно паровозный, несмотря на то, что этот вид транспортной фауны не чадил на российских просторах уже много лет. Но по требованию высочайшей особы, ради которой этот невиданный поезд в четыре сотни вагонов был сформирован, волочь его обречены были двенадцать более или менее мощных паровозов: уж какие раритеты новое министерство железных дорог отыскало пригодные для нужд Реставрации, даже с Финляндского вокзала из-под стекла пришлось паровоз вытащить и к делу приспособить, даже одну «кукушку» пригнали из Нижнего Тагила, где она стояла в музее на станции Сан-Донато. Жаль, не нашлось еще дюжины-другой: паровозы еле-еле справлялись со своей работой, растянувшийся на четырнадцать километров поезд шел очень медленно, давая возможность многочисленным зевакам у железнодорожного полотна в подробностях разглядеть невиданный эшелон, везущий в Москву богатое село с Брянщины в полном составе, со всеми пожитками, со всем скотом, иначе говоря, с двумя сотнями коров, быками и отдельным вагоном бычков на убой в праздник, с козами, свиньями, овцами, с несчетной птичней, в абсолютном большинстве куриной, с сельскохозяйственной техникой, с клубом, с кинозалом, с сеном и прочим кормом для скота на всю зиму и весну, с кузницей и кузнецом, с двумя десятками лошадей, с кошками и собаками, с увязанными в узелки, – чтобы на новом месте для счастья и богатства по традиции выпустить, – не любящими холода черными тараканами, и, главное, с деревенским сношарем. Поезд жил почти обычной сельской жизнью; бабы, вставая в три часа ночи, доили коров, задавали им корма, собирали яйца, процеживали молоко, стряпали и стирали, а иной раз, пользуясь чрезвычайно длинными остановками в более чем пятидневном пути, выходили с избытками продовольствия на многочисленных стоянках и продавали молоко, сметану, творог, вареную картошку, пироги и блины обалделому населению, вышедшему на невероятный экспресс поглазеть. Впереди поезда катились двенадцать открытых платформ с

охраной; новенькие ярко-голубые мундиры Личной Императорской Гвардии тоже народу пока что не примелькались, а гвардейцы строго помалкивали, соблюдая секретный приказ, – ни в какие контакты с населением не вступать, даже в половые, и о том, что они не простые гвардейцы, а Его Императорского Величества, не распространяться. В числе четырех сотен вагонов были самые разные: спальные СВ, мягкие и другие гражданские, вплоть до чуть живых столыпинских с печкой посередине, – уж какие нашлись, из таких поезд и пришлось формировать; шли в нем и товарные с надписями “сорок человек – восемь лошадей”, еще с Первой мировой не выскобленными, и современные рефрижераторы, наспех переоборудованные, который – в кинозал, который – в кузницу, который – в самогонварительный цех; в десятке цистерн вез сношарь в Москву также выкачанную по его требованию Угрюм-лужу, вместе с золотоперым подлещиком, ибо не мог сношарь бросить на Брянщине верного друга стольких прожитых лет, выдающуюся говорящую рыбу.

Гудок головного паровоза сливался с отдаленным воем хвостового, того самого, что с Финляндского вокзала, а им натужно вторили пенсионные голоса остальных, более или менее поровну растасованных в разные места бесконечного состава. Вагонов-ресторанов в поезде, конечно, не было, но весь поезд непрерывно ел: чадили керосинки, извергая сизые пламена, молчаливо калились электроплитки, дымились специально переложенные печи в столыпинских вагонах – наподобие русских; на полки к блаженствующим мужикам рекой текли блины вслед за оладьями, яичницы за щами, творожники под первач, курники под наливку. Но что правда, то правда, яичными блюдами бабы мужиков баловали не очень-то, яйца в Нижнеблагодатском шли мужикам на прохарчение только тогда, когда возникало сомнение в их свежести. Однако же бесчисленные банки консервированных грибков и огурчиков отдавались в полное распоряжение сильного – хотя ленивого – пола: нынче село могло себе позволить не экономить. В отдаленном вагоне ехал сельский магазин, довольно бойко торговавший необычными товарами, наподобие прозрачных парижских лифчиков и южнокорейских видеоманитофонов. Случались и в прежние годы в селе непредвиденные западные товары, но сейчас по специальной разнарядке за подписью лично генерала Бухтеева сельмаг был снабжен лучше обычного, в него завезли японские сандаловые веера и даже подсолнечное масло.

Мужики ели много, бабы меньше: у них и забот в поезде было значительно больше, чем у мужчин, которым только бы глаза залить да на боковую, это, ясно, не считая глядения в телевизор, который заранее втиснули в каждую купе-избу, – а по всем программам шли сейчас бесчисленные фильмы из истории России, либо же умные лекторы вели циклы бесед, к примеру, на тему – “Повести о диалектическом материализме”, в них нетрезвому населению доказывалась скорая и неизбежная эпоха перехода к новой фазе общественного развития под руководством лучших людей страны, которые все в партии. Трезвая и лучшая часть населения поезда в телевизор, однако, времени смотреть не имела, – не ровен час, блины пригорят, молоко скиснет, стоянку пропустим, сметану продать не успеем. Да и чушки-буренушки требовали немало внимания, тем более, что не имелось никакой ясности, где их можно будет

разместить в Москве. Под жильё селу отвели гостиницу “Россия”, – а вот есть ли при ней хороший выгон для скотины? Пока в хлеву постоят, хлев-то при гостинице, конечно, есть, а весной как быть? А гумно хорошее ли? А раки в реке крупны ль?.. Сколько ж всего неизвестного!..

Поезд шел уже который день, напрочь остановив всякое движение на участке Брянск–Москва. Ужин переходил в завтрак, потом непременно оборачивался обедом, а тот заканчивался как ужин. Хмель чередовался с опохмелом, щи с блинами, Калуга с Малоярославцем, и селу начинало казаться, что ехать оно будет всегда. Между тем станции становились все более пригородными и частыми, и поездка, как все прекрасное на свете, близилась к концу. Радист в голубом мундире, давно очумевший от щедрого угощения со стороны невиданных пассажиров, сдуру объявил по поезвному радио, что поезд прибывает в столицу нашей родины город-герой Москва, но сношарь через посыльную бабу Настасью передал ему, чтоб не путал, где чья родина, потому что его, сношаревой, родиной Москва не была отродь, император тоже не отсюда, так что пусть к селу не примазывается, а в утешение пусть вот выпьет четвертинку черешневой да умолкнет вместе со всей говорильней.

Внешняя железнодорожная охрана, тоже вся в мундирах Его Императорского Величества Железнодорожных Сообщений, невдалеке от Калуги обнаружила под рельсами большую фугасную мину, и, пока саперы ее обезвреживали, поезд шесть часов простоял в чистом поле. Мина так и не смогла взорваться, оказалось, что заложена она была не теперь, а больше двадцати лет тому назад, и взрывать ею собирались совсем не князя Никиту, а кого-то другого: судя по срокам, тоже Никиту, но не князя. Так за двадцать с хвостиком лет ее никто не подорвал и вообще не видел. Мину с триумфом поместили в поезд, и деревенский кузнец на досуге, между блинами, нарезал из нее на диво удобных пепельниц, которые недешево распродал на перроне в Малоярославце, где поезд простоял полтора часа. Почти все пепельницы, были, понятное дело, тут же перепроданы в Москву, оттуда – дальше, и снова дальше, и все время росли в цене, ибо исторически-сувенирная их ценность ни у кого не вызывала сомнений. Но, не считая происшествий с миной и пепельницами, шестидневный путь от Брянска к Москве проходил по начальному замыслу. Октябрь на земле вот-вот собирался превратиться в ноябрь, когда поезд достиг рубежей Подмосковья. Впрочем, ходили упорные слухи, что со дня на день введут старый стиль календаря, и тогда, глядишь, ноябрь имел шансы опять превратиться в октябрь.

Сношарь сидел в розовых подштанниках в своем СВ, не без любопытства поглядывал в бронированное окно и по привычке ковырял в носу. Вагон был у него, конечно, отдельный, но несколько купе в нем пришлось выгородить присланной из Москвы охране. Сколько сношарь ни сопротивлялся, говоря, что бабы его куда надежней оберегут, чем эти столичные хрены, пардон, добрые молодцы, но пришлось соглашаться. Старая дура Палмазеиха, однако, проявила еще до отъезда из Нижнеблагодатского невиданную энергию и сформировала женский охранительный батальон, вооружила его закупленными в соседней воинской части “толстопятовыми” и гранатами. Теперь она посменно несла со

своими бабоньками караульную службу: стерегла куриные вагоны и, что ни час, заявлялась в сношарев вагон проверить – чтоб эти уголовники в голубых мундирах яичную очередь к отцу нашему не лапали и на работе ему не мешали. Охрану, прибывшую из Москвы, возглавлял щеголеватый подполковник хохлацкого вида, с которым сношарь неожиданно быстро нашел общий язык и стал отсылать на охранничью половину вагона ежедневно одну-другую оштрафованную бабу. Сухоплещенко понимал, что его присутствие в сношаревом вагоне носит характер чисто символический: на жизнь великого князя Никиты Алексеевича решительно никто не покушался и вряд ли такое вообще было мыслимо. Женщины Нижнеблагодатского защищали сношаря своего надежней, чем Китайская стена.

Ну, само собой, в отдельном двухместном купе того же вагона ехала в Москву на коронацию Павла Романова и любимейшая сношарева курица, Настасья Кокотовна. Но все-таки обо многом жалел сношарь из того, что взять с собой не удалось, что пришлось бросить дома: водокачку Пресвятой Параскевы-Пятницы, нынче превратившуюся в охраняемый государством памятник заветной старины, к примеру, – хотя, понятно, вагон-церковь в сношаревом поезде имелся, да и вода в кранах не иссякала. Не удалось увезти Верблюд-гору, овраг с поспешной тропочкой, синие засморозинные дали, богатое болото у Горыньевки, на котором нетрезвый председатель Николай Юрьевич домашних уток стрелять наострился, да и самого Николая Юрьевича тоже пришлось оставить по полной его непригодности к показу в Москве честному народу. Куда-то был увезен еще за месяц до отъезда и сельский милиционер, старшина Леонид Иванович, человек тихий, – думалось сношарю отчего-то, что не в Москву увезли Леонида Ивановича, вовсе не в Москву. Но и Господь с ним. Без милиции прожить можно. Без всего можно. Без баб только нельзя. Но бабы ехали вместе с хозяином, как полагается. Сношарь собирался прожить в Москве зиму, а по весне всем селом вернуться домой, – если, конечно, Паша не умудрится и все оставшееся в Москву тоже перевезти, ну, разве что кроме синих засморозинных далей, это мы понимаем, это трудно, хотя хорошо бы их тоже перевезти. А вот Николая Юрьевича можно не привозить, да и Леонида Ивановича искать не нужно – все ж таки доверие им неполное, потому как мужского они пола. Ну, а пока что в осиротевших без сношаря и населения избах Нижнеблагодатского было предложено расквартировать личный Его Императорского Величества Преображенский Ракетный полк, как только он сформирован будет.

Магнитофон в соседнем купе, у Кокотовны, исполнял изрядно уже надоевшее “Прощание славянки”, коим был с первого сентября временно заменен государственный гимн. Радио играло “Прощание” не только в шесть утра и двенадцать ночи, а еще и днем его два-три раза непременно да прокручивали по любому поводу. Музыку в последнее время, куда ухо ни сунь, можно было услышать только самую что ни на есть патриотическую, чтобы русский народ часом не забыл о подвигах своих, о доблестях, о славе, а особенно о славе русского оружия. Палмазеихин автомат Толстопятова о той же самой славе излишне часто напоминал самому сношарю, убежденному пацифисту, и его

коробило. Но Кокотовну, видать, марши не раздражали. За окном медленно проплыла надпись над пригородной платформой – “Мичуринец”, с отломанными первыми двумя буквами, третья буква тоже была повреждена и висела на одном гвозде. “Переименовать, что ли, не успели?” – подумал сношарь. Робкий стук в дверь вернул его к делам более насущным.

– Князь, – тактично сказал Сухоплещенко сквозь дверь, – пора одеваться.

Прибытие на Киевский вокзал через сорок минут.

– А ты вали, вали! – грубо оборвал подполковника бас Палмазеихи, – отец наш сам знает, когда одеваться, когда раздеваться!

“Еще застрелит...” – подумал сношарь и рявкнул:

– Тихо, баба! Не встречай! – и с сомнением перевел взор на разложенный перед ним вдоль полки парадный, по мерке сшитый мундир с аксельбантами. Не хотелось влезать в него, но нужно было. Потому как обещал. Сношарь помнил, что не сегодня-завтра предстоит ему получение специально для него разработанного Павлом ордена “Отец-герой”. Представил почему-то, как вступает он в Кремль в одних подштанниках, и там ему на эти самые подштанники орден нацепляют – спереди, посерединке. Сношарь вздохнул и стал облачаться. Камердинера он, понятное дело, на пороге девятого десятка заводить не стал. Разве что камердинершу, да жалко бабу пустым делом занимать, вон у них сколько хлопот в поезде, да еще в долгах сидят друг у друга по яичной линии, говорят, потому как куры в поезде несутся хуже, чем на воле, вон, как давеча в вагон-баню ходил, так бабы жаловались. Ну, ничего, подъезжаем уже. Увы, мундир на сношаре сидел, как седло на корове. “Хорошо, хоть не фрак”, – печально подумал старик.

Сношарь был в Москве в одна тысяча девятьсот семнадцатом, совсем еще юношей, жизненного своего призвания не осознавшим. Не очень ему хотелось теперь сюда возвращаться, но дал слово – держись. Скоро снова курячий Козьма-Демьян, где же ребятишки раков наловят? Растоптухи кто выиграет? Но, впрочем, как раз последнее можно было заранее предвидеть, наверняка. Сношарь скривился.

За окном проплыли какие-то синеватые, не железнодорожные вагоны, параллельно полотну шла линия открытого метро, какового сношарь, ясное дело, никогда в жизни не видел. Однако чутьем понял – метро. Тут поезд скрипнул и остановился окончательно. Где-то далеко позади, больше чем в тринадцати километрах, натужно взвыл и, похоже, окончательно скончался доходяга с Финляндского вокзала, тот, что финской серии Н2. Весь ковчег прибыл в Москву, хотя хвостовые вагоны прибыли пока еще только в Подмосковье.

Перрон был оцеплен, никакие другие поезда в этот день на рельсы Киевского вокзала не допускались, немногие недоразогнанные зеваки зевали не на только что пришедший состав, длину коего оценить можно бы сейчас разве что с высоты птичьего полета, а на почти никем еще не виданную униформу императорских гвардейцев. Военной выправки ребятам явно не хватало, не успели еще привыкнуть к мундирам, потому как на прежней работе им полагалось ходить в штатском. Но на новой работе платили втрое, кормили

только импортным и экологическим, да к тому же обещали раз в году зарплату выдавать золотыми рублями новой чеканки, не то с двуглавым орлом, не то с трехконечной мерседесовской звездой – никто еще не видел, но, говорят, уже чеканят. Это были пока, впрочем, одни слухи и обещания, пока что настоящими были только несетевые харчи, мундиры и мощные “толстопятовы” о девяти складных стволах. Стрелять гвардейцы умели классно, даже из лука – изогнутыми стрелами за угол вслепую. Бумеранг тоже метали хорошо. И начальству, морщись не морщись, приходилось терпеть фатальное неумение ребяток щелкать каблуками.

Премьера нынче в стране, говоря начистоту, не было никакого. Формально пост генсека занимал дряхлый старец Дарий Шкипитарский, человек, удобный во всех отношениях, кроме одного: Дарий был столь дряхл, что, не дожидаясь инфарктной фабулы, мог ненароком помереть и сам по себе. Его пресс-секретарь в Кунцевскую больницу даже не заезжал, а все, что нужно сообщить, получал в приемной у маршала Советского Союза Ливерия Везлеева, а иной раз и у другого маршала, Георгия Шелковникова, в последнее время резко перешедшего с третьих ролей в правительстве на одну из первых: даже не став настоящим, не-советским генералом, решил Георгий Давыдович напоследок еще и помаршалствовать, благо Паша-импераша усмехнулся и пожаловал просимое, к тому же после исчезновения Ивистала Дуликова бронетанковый маршальский жезл остался без хозяина. Ни в какой танк Георгий Давыдович, конечно, не поместился бы, но приятно было ему забрать погоны сгинувшего бесследно врага. Шелковников помнил, что маршал – это еще далеко не высший чин в империи: царь-царем, а канцлер, канцлер... Слово-то какое!

Встреча великого князя на перроне по щекотливости положения обречена была на известную камерность, даже опрощенность. Словно бы прибыл в Москву обычный знатный колхоз с Брянщины. Образцово-показательный, говорят, на ВДНХ его поселят в павильон, видать, “Космос”, он самый большой, да и успехов в смысле космоса что-то давно уже никаких нет, поселят весь колхоз в тамошнее пространство, пусть он показывает, что умеет выдающегося. Так что встреча села-колхоза на Киевском вокзале была возложена на личного представителя маршала Шелковникова, полковника КС Игоря Мовсесовича Аракеляна. Тайна букв “КС” оберегалась чуть ли не тщательнее всех иных государственных тайн, едва ли пять человек, в их числе почти одни только члены корягинского клана, знали их настоящее значение: “Кулинарная Служба”. О присвоении именно такого чина взамен предложенного генерал-майорства ходатайствовал сам Аракелян, и Павел, уже вкусивший разок-другой под строжайшим присмотром Тони от деликатесов полковничьей экономической кухни, такую просьбу удовлетворил, усмехнувшись. Спокойствия своего, правительственного и государева ради Ливерий Везлеев нафаршировал Москву войсками, притом теми самыми, которые так запасливо сконцентрировал на Валдайском плацдарме сгинувший Ивистал. Войска безропотно подчинились министру обороны, как только убедились, что преемника своему черному делу мятежный маршал не оставил никакого. Форму большинству офицерского состава выдали уже новую, голубую или оранжевую.



Так что вряд ли кого-то могли удивить погоны Аракеляна, на которых вместо трех звездочек красовались три витых палочки, нет никому дела до того, что это шампуры. Ну а необходимость кулинарной службы в обновленной Российской Империи была самоочевидна. В недалеком будущем Аракелян рассчитывал занять пост ректора Военно-кулинарной академии при Генеральном штабе.

Завидя на перроне своего бывшего псевдона начальника, сменившего ныне род войск, Сухоплещенко соскочил с подножки и откозырял. Синий мундир подполковника личной Его Императорского Величества Гвардии сидел на нем как влитой, без единой складки, да и сам подполковник был неизменно помалороссийски элегантен в любом мундире или вовсе без такового, – так что сношарь в своих эполетах должен был смотреться рядом с ним, как чучело гороховое, однако происходило совсем обратное: ни один мужчина рядом со сношарем даже называться-то мужиком не имел права, это и слепому ясно было. Это с первого взгляда ясно стало и Аракеляну, и он с удовольствием подумал, что наконец-то хитрожопый хохол бледный вид имеет. Сношарь на кавказского полковника поглядел с большим сомнением, ничего не сказал и ни шагу навстречу не сделал, однако пропустил вперед Палмазеиху. Та, несмотря на свои шестьдесят не то с гаком, не то без гака лет, по-боевому взяла на караул, лихо оттягивая носки сапог, промаршировала в развевающейся телогрейке перед голубым почетным строем и отдала Аракеляну честь. Тот уже давно ничему не удивлялся, подал знак, и духовой оркестр грянул “Прощание славянки”. Сношарь тоже прокосолапил мимо караула, ни слова Аракеляну не сказал, буркнул только в пространство: “Куда?..”, примерился так и эдак, на переднее сиденье и на заднее, избрал для спокойствия все-таки задний вариант и влез в личный свой, Павлом специально выделенный ЗИЛ, – впрочем, машине этой скоро предстояло переименование в ЗИП, завод, таковые выпускавший, был уже по-тихому переименован в “имени П. Петрова”. Аракелян сношарю не понравился. Черный какой-то, весь из себя думает и закваска в нем не своя, не романовская, не свибловская, не сношарская. Не может с такого мужика настоящей радости бабам получаться. Отчасти неправ был сношарь. но не о том речь.

Не отъезжали очень долго: сношарь ждал, что погрузят на другие машины его личный скарб – Кокотовну, понятное дело, в отдельную “волгу”, еще полуроту женской охраны, корзины со свежими, снесенными в поезде яйцами, которые Пантелеич на воскресную баню собственным телом заработал, еще кой-чего, – хотя, вообще-то, основные вещи из нижеблагодатской избы перебросили в Москву вертолетами заранее, чтобы к приезду был как есть готов Никите Пантелеевичу домашний уют. И к тому моменту, когда длинный кортеж наконец повлекся по наглухо оцепленным улочкам из тех, что поуже, – пронеси Господи, показать великому князю Калининский проспект, даром что почти уже переименованный в Калиновский, в честь сгоревшего моста через Смородину, – к бывшей улице Разина, нынче уже известной как улица Дважды Великомученицы Варвары, и время настало, в общем-то, обеденное.

Москва и на этих улицах, и на всех других жила своей обычной безумной жизнью и по случаю излишней нафаршированности гвардией не чувствовала

единственно реальной – кроме неожиданного снижения цены на появившиеся в магазинах дрожжи – происходящей в ней перемены: не замечала Москва, как неуклонно тает и уменьшается до пренебрежимо малой величины количество наличной советской милиции. Водка не дорожала: Павел даже думать о повышении цен на нее запретил, он-то, историк, отлично знал, что любое антиалкогольное движение сверху приведет к тому, что верхи станут самыми низами, а низы, еще того хуже, верхами, все это отлично разобрал древнекитайский философ Лао-цзы, ничего с тех пор не изменилось, – а что милиционеров меньше стало, так ведь и они люди, пьют, как все, небось – так, наверное, думали те, кто вообще о существовании милиции еще помнил. Москва, да и вообще Советский Союз, доживали свои последние дни при старом названии, старом флаге, старом гербе, старом гимне, при очень-очень старом, хотя и новом генсеке. Что все это вот-вот переменится – догадывались единицы, но и те, как водится у русских людей в последнюю тысячу лет, все равно ни во что не верили, и уж во всяком случае не верили в то, что может стать лучше. Ибо, как ни крути, русскому человеку не может быть лучше никогда. Ибо, как справедливо заметил один очень умный человек, у русского человека всегда плохое настроение. Что в России ни происходит – происходит оно только по этой причине.

По Москве при этом многие ходили, и многое ходило. Ходили по ней, как обычно, слухи о повышении цен на путевки вокруг Европы и на яйца, и слух о понижении цен на портвейн по два семьдесят; ходили военные в старых и новых формах, строем, с песнями и без песен, а также организованными группами на экскурсию и одиночками по бабам, и еще на Соколиную Гору на анализы по поводу страшной болезни, которой заболела капиталистическая система и которой социализм боялся; ходили сплетни об Алле Пугачевой, которая теперь всю концертную программу исполняет спиной к залу, потому что рыдает; ходил слух о том, что скоро посреди Манежной площади в честь чего-то очень важного зажгут вечный бенгальский огонь, не то мы введем войска в Бенгалию, потому что из Белуджистана мы их выведем, нас там бьют и, в общем, делать там не хрена; ходили, конечно, анекдоты, в первую очередь самая популярная серия о дириозавре, ну, потом про Василия Ивановича, про Красную Шапочку и опять-таки про Аллу Пугачеву; ходили по Москве ее удивительные коренные жители; к примеру, презрительно минуя блочные дома, часто брел в дома кирпичные молодой человек с бородкой полумесяцем и кожаной сумкой, из которой торчал валенок, вставленный в другой такой же, и встреча с этим человеком сулила много хорошего, но лишь хорошим людям; а по пятницам неуклонно ходил в церковь некий другой человек, иудей от рождения, но крещеный, и тем самым являл собой ходячий синтез тезиса и антитезиса; ходили также разнообразные шпионы, посещая условные точки и явочные квартиры, например, чуть ли не ежедневно резидент сальварсанского режима Авдей Васильев, еще недавно доглядавший маршала Ивистала, а нынче без успеха пытающийся уследить за подселенной во флигель выморочной Ивисталовой дачи ясновидящей женщиной Нинелью и ее ручной свиньей Доней, встречался с алеутом-сепаратистом, который в Москве чукчу изображал

и сам чукчанские анекдоты сочинял, по имени Ключь Джереми, – встретиться им удавалось далеко не всегда, а когда и удавалось, то сказать друг другу было в общем-то нечего, информация у обоих была одинаковая, и они, чтобы убить время, распределяли между собой места и портфели в будущем правительстве независимой Аляски, создание которой безапелляционно предсказывал президент Хорхе Романьос со слов предиктора Класа дю Тойта; ходили также концентрическими кругами вокруг метро “Свиблово” два старика, Корягин и Щенков-Свиблов, тяжело вздыхая из-за того, каким новостроечным дерьмом оказалось загромождено древнее поместье, ибо условие, ими поставленное, было исполнено: через сложное посредничество императора Павла, Джеймса, Джексона, Форбса и ван Леннепа удалось убедить дириозавра разбомбить проклятую столицу Ливии, вонючий город Триполи, исполинскими яйцами; на сороковом яйце диктатор террористического гнезда угрюмо капитулировал и выдал пленника, после чего чуть живой люксембуржец был переправлен на родину, прямо в объятия великого герцога, – и вот теперь приходилось держать свое обещание, принимать назад родовую вотчину, Свиблово, в котором за три дня блужданий старики не нашли ну буквально ничего, мало-мальски радующего душу, и Щенков начал сокрушаться о том, что он, предположим, не Останкин, не Царицын, на худой конец, даже не Голицын; дед же Эдя тоже сокрушался, но не так сильно, ибо последняя порция попугаев продана у него вся с ходу и по новой, повышенной цене, всю ее купил некий креол из Латинской Америки и еще заказал, а привезенное непутевым внуком яйцо уже развылупилось, и вылезло из него далеко не худшее, что можно было ожидать, бойцовый петух там оказался, и дал дед петуху язвительное имя Мумонт, и оставил жить в учебно-попугайном чулане до выяснения своего к петуху отношения; грустно было Эдуарду Феликсовичу лишь оттого, что с одной стороны друг-броненосник, с другой старший зять, а с третьей Павел Романов прицепились к нему, как три банных листа к заднице, чтобы он титул на себя возложил, и раз хочет он такой получить в Икарии, то вот есть свободное звание хана Бахчисарайского, можно получить хоть сию минуту вместе с тамошним старым дворцом, очень хорошая выйдет попугайня, только окна надо будет по старому образцу переделать, а-ля сношарь, потому что императрица Екатерина со злости, что настоящего сношаря себе найти не может, там окна новые прорубила и дворец изуродовала, – ну а дед ханом становиться стеснялся; слонялся по столице досрочно выкарабкавшийся из лагеря малосрочник Хуан Цзыю, новый министр проводил амнистию за амнистией, он освобождал лагерь для новых постояльцев, – Хуана именно в Москву направили директивой из Пекина, не то еще откуда ему там команды посылали, и искал он пропавшего императора Михаила, неизвестным образом бежавшего из перевоспитательного дома в Западном Китае; искал он еще и незаменимого Степана Садко, ибо и этот сбежал куда-то, и не иначе, как сюда, в Москву, поближе к Минздраву, – а за Хуаном ходила с тремя детьми мал мала меньше верная Люся и размышляла, как бы ей сказать мужику о том, чтоб скорее дворником устраивался, потому что сейчас этой категории теплый подвал под жилье дают, и о том, что четвертое дите уже встало в близкие планы, и еще размышляла, что же она об

этом российском бардаке может доложить маньчжурскому правительству в изгнании, чьи интересы она представляла в оном бардаке; также ходили по Москве и потоки почти легального, типографским способом отпечатанного самиздата, преимущественно на темы Дома Романовых, всякие не особенно убедительные воспоминания Пьера Жийяра о последних днях царской семьи младших Романовых, а также размышления знаменитого романиста Виталия Мухля о том, как открылось ему в озарении, что все Романовы всегда только и делали в России, что шпионили; хорошо перепродавались труды лауреата Пушечникова, но с ними успешно конкурировал роман Освальда Вроблевского “Анастасия”, его тоже потребляли за милую душу, особенно женщины; раскупалась также и наглухо запрещенная книга Абдуллы Абдурахманова “Заговор несправедливых”, в которой автор как пить дать обещал, что в случае реставрации Дома Романовых, какого угодно, хоть младшего, хоть Старшего, ни Западная Европа, ни Горная Тува ничего хорошего от этого могут не ждать, наконец, ходили, затмевая популярностью все перечисленное, книги Евсея Бенца сериала “Ильчиада”, за одно лишь хранение которых органы правосудия все еще давали три года, несмотря на то, что две сотни экземпляров “Ильчиады” маршал Шелковников уже украсил дарственными надписями с завитушкой: “С дружеским приветом – Евсей Бенц”, один экземпляр был подарен Павлу Романову, – ну, конечно, ходила еще книга Эдмунда Фейхова о бедственном положении негров в СССР, а также ходил по своей квартире – а не по Москве – советский негр Мустафа Ламаджанов и увлеченно стряпал новую книгу на новую тему, согласованную с шефом, – за эту удачную тему по распоряжению Шелковникова Мустафа был награжден благосклонным визитом двух конькобежек из Большого театра; еще ходили по Москве два десятка наконец-то отпущенных, после года превентивной отсидки, вокзальных инвалидов, про которых, по полной их ненужности, за этот год просто никто не вспомнил, теперь они снова предлагали услуги пассажирам-бедолагам, и те, случалось, к этим услугам прибегали, чтоб уехать куда подальше из паскудной Москвы, где того гляди чего-нибудь случится; ходили, наконец, многочисленные эс-бе во главе с незаменимым вождем Володей и его новой подругой, ирландской терьершей Душенькой, – эс-бе ходили, почти уже не опасаясь отлова, потому что министерство коммунального хозяйства было строго-настроено предупреждено о необходимости умножения поголовья служебно-бродячих в свете необходимости хорошо вынюхивать, нюхая подчас такое, что и не всякая собака нюхать согласится, и, если вы этого сами нюхать не хотите, то будьте любезны собачек беречь, – эс-бе и нюхали, и размножились вволю; наконец, совсем не ходил, а сидел на телефоне вот уже больше года некто абсолютно неизвестный, методично перелистывая большой телефонный справочник Москвы, звоня всем подряд, всем, всем, всем, и настойчиво предлагая купить незадорого крест чугунный намогильный и еще большую гирию, тоже чугунную, но желтую, требовал ультимативно и безрезультатно. Ходили поезда метро и трамваи, ходили студенты на лекции и шахматисты на турниры, вообще жизнь шла своим чередом, и лишь часы на Спасской башне ходили не совсем так, как всегда, ибо отсчитывали они время не новейшей

истории, той, которую все еще преподавали в советских школах, а историю сверхновую, которую нигде преподавать еще не начали, кроме закрытых семинаров для наиболее ответственных работников, – да и вообще о том, что история уже не новейшая, а сверхновая, официально еще не объявляли. И вот, миновавши Спасскую башню и куранты, на которые сношарь даже и не глянул, он время и так чувствовал, подъехал кортеж великого князя к тесной на вид каменной избе, переоборудованной нынче в Дом Боярина Романова: здесь сношарю предстояло жить и работать в ближайшие месяцы. Дом был отремонтирован и начищен до блеска, окошки переделаны на слуховые, и уж, конечно, всякое движение на улице перед домом было закрыто наглухо; охранялась улица, конечно, не милицией, а гвардией в голубых мундирах, и скоро, как знал сношарь, тут должно было охраны существенно прибавиться за счет бабской нижеблагодатской гвардии, которая такой ответственный пост синим мундирам, конечно, никогда на откуп не отдаст. Наметанным глазом сношарь одобрил то, что между домом и селом, гостиницей то есть, наличествует самый настоящий овраг, и церковей несколько, одна даже похожая на покинутую водокачку. Зажав подсунутых вовремя небезызвестной Настасьей двух черных тараканов на счастье, он важно прошествовал в дом. Прямо с порога он пустил перед собой тараканов, те быстро сориентировались и, черными лапами по наборному паркету семеня, забились в какую-то щель. Сношарь недовольно поковырял пол носком ботфортов: не заставлять же людей прямо так вот сейчас же и доски перестилать, какого черта здесь наборный паркет, вовсе это не в традициях; заглянул в просторную горницу, похожую на ту, что была у него в деревне, только с крещатым потолком. Тут мастера всерьез постарались, чтобы похожа была на прежнюю, ну, побогаче разве только вышло. Печь – синими голландскими изразцами, всегда такую хотел. А кровать зато – своя, старая, рабочая, продавленная. В углу тускло отсвечивал Хиврин поднос-гонг. И еще стояли посреди горницы трое. Незнакомая высокая, очень в соку, в самый раз то есть, женщина с полотенцем вышитым, на полотенце – православные хлеб-соль. И двое чрезвычайно знакомых мужиков, верных сотрудников и подмастерьев. С первого же взгляда поразило сношаря то, что лица и у Павла, и у Джеймса отливали синевой, потом понял, что это печь отсвечивает, – но Джеймс был еще и очень нетрезв. “Москву они всю, что ли, обслуживают?” – подумал сношарь и остановился, не зная, что теперь делать. Бабья охрана – Настасья-Стравусиха, Настасья небезызвестная, Палмазеиха тоже, и еще другие, наверное, ведь уже “толстопятовых” на хлебосольных москвичей наставляют. Только еще перестрелки в избе не хватало.

– Брысь! – гаркнул сношарь через плечо и с легким поклоном принял у Тони каравай, со всеми церемониями отламывания и съедания соленой корочки. Потом облапил и Тоню, а доцеловав, наградил обычным взором – мутным и ласковым, Тоне очень знакомым. Тоня от взора этого даже дрогнула слегка, и Павел, все заметивший, дрогнул тоже. А сношарь, ни минуты не сомневаясь, обратился: – Здорово, Настя. – Павел похолодел и пожал седую лапищу.

– Это Тоня, Никита Алексеевич, Тоня, а не Настя, Тоня! – сказал Павел. Сношарь уже пожимал руку Джеймсу, который покачивался и кивал.

– А, брось. Всяка баба – Настасья, покуда в ней огонь горит. А в такой да лебедушке?.. Не поверю. Ну, здравствуй... Акимушка. Что насосался-то, аль с переутомления? Что отдыху-то не берешь в неделю хоть раз? Совсем обрусел, до свинства даже...

– Такая у меня... работа, Никита Алексеевич, – с трудом проговорил Джеймс, хрипло напрягся – и, конечно, мигом протрезвел. Но синева с лица не убиралась. И Павел тоже был немного синеват, – не отсвечивала одна только Тонька. Сношарь подумал – а он-то сам как, отсвечивает или нет? Но изразцы уж больно были хороши. “Ну и буду синеватый, узнает меня деревня и синим!”

– Состою, знаете ли, в свите... – договорил Джеймс, хотя никто из присутствующих прежней его реплики не помнил.

– Так, так, – ответил сношарь, садясь на кровать и начиная стаскивать ботфорт, – а то перебирайтесь ко мне, клеть вам выгорожу, соломы насыплю, по-царски заживете, как ране... Аль нехорошо было?

– Очень хорошо! – быстро сказал Павел, одергивая Тоню, которая попробовала рвануться к сношарю, помочь насчет ботфорта, но сношарь справился сам и теперь деловито разматывал портянку. В избе он всегда ходил босиком. – Как доехали, Никита Алексеевич? – Не заметил я, милок, езды-то. Мне не про езду думать полагается, а про другое кое-что. Человек я, сам знаешь, рабочий, спал в поезде часа по три, бабы-то прям озверели. И наценку им давал, а ничего, все получалось. Вон, Настасья чуть не на год вперед яиц позанимала, а все ей мало...

Павел как можно скорей хотел сменить тему, даже и не поинтересовался, какая это из многочисленных Настасий влезла в такие немислимые долги, но сношарь извлек ногу из второго ботфорта и не унимался никак:

– Право, давайте ко мне на солому. В поздоровление. Засморозинных далее только тут за рекой нету, а в них после работы глянуть надобно бывает иной раз. Вон, Настя... фу, Мохначева, да еще эта... Настя... все про тебя спрашивали... и про тебя тоже... Жмут! – вдруг сменил тему сношарь, отбрасывая ботфорты.

– Сегодня же пришлют новые, – немедленно отреагировал Павел.

– Да нет... я уж так... Мне бабы сами стачают, знатно у меня эта... Настя чеботарит-то... Да что ж мы сидим всухую, а? – сношарь пошарил за кроватью и довольно извлек из-за нее четверть черешневой. – Уж ты... Настя, – обратился он к Тоне, – не обессудь: питво это мужиковое. Ты с него прям на дерево полезешь. Ты с него на бабу полезешь.

– Да-да, – сказал Павел, – не надо тебе этого пить, Тоня. Ты скажи, чтоб на стол подавали скорее, там полковник уже управился, наверное.

Сношарь одной рукой поднял тяжелую четверть и ровнехонько налил две стопочки черешневой доплна, себе же – на доньшко. “Слабеть старик не собирается”, – с удовлетворением и с неукротимой ревностью подумал Павел. Отчего-то грыз его нещадный страх, что Тоня начнет к сношарю бегать, – будь он, Павел, хоть пятьдесят раз император. Хотелось также думать, что инструкцию по употреблению черешневой Тоня пропустила мимо ушей. Этого еще не хватало.

Тоня засновала между горницей и кухней, никакого внимания не обращая на грозно наставленные из сеней дула автоматов. Однако едва успела она принести поднос-другой жратвы, как за окном послышался лязг останавливающегося тяжелого фургона. “Ага, – подумал Павел, – наконец-то”. Он надеялся, что хотя бы этот сюрприз отвлечет сношаря от Тони. Впрочем, можно ли будет чем-то отвлечь от сношаря Тоню, сказать было трудно. На пороге возникла донельзя боевитая старая дура Палмазеиха (не такая, значит, дура, просто талант проявить раньше случая не имелось) и доложила, что черный, как черт, мужик приехал на здоровенной машине и в избу прется. Сношарь удивленно поглядел на Павла.

– Никита Алексеевич, – мягко сказал Павел, – убедительно прошу вас пригласить к столу высокого гостя. Это личный представитель вашего сына Ярослава Никитича и одновременно временный поверенный в делах республики Сальварсан в Москве.

– Черный-то почему? – пробормотал сношарь недоверчиво, но согласие дал и придвинул к столу еще один стул. Долметчер, правда, объявился не сразу: впереди него, явно подталкиваемые дулами бабьих “толстопятовых”, вошли два грузчика и положили на паркет, немилосердно его царапая, большой плоский ящик, наподобие тех, в которых возят фрукты. За ними с прижатой к груди шляпой вошел высокий креол, поклонился и произнес фразу по-английски. Джеймс воспрял из апатии и перевел:

– От имени вашего старшего сына, президента Джорджа Романьоса, глубокоуважаемый великий князь, его личный посланник мистер Доместико Долметчер просит вас принять в дар десять тысяч наилучших латиноамериканских яиц!

Сношарь недоверчиво оглядел гостя, потом еще более недоверчиво уставился на грузчиков, аккуратно снимающих верхние доски ящика. До содержимого Долметчер никого не допустил, сам вынул из опилок нечто некруглое и, не раздеваясь, присел на придвинутый сношарем стул. Затем креол аккуратно положил яйцо на стол перед хозяином избы.

– Это же вымпел лунохода... – сказал Павел. Долметчер укоризненно глянул на него и перешел на русский язык, очень умеренно перевирая ударения в ключевых словах.

– В качестве дара президент Хорхе Романьос преподносит своему почтенному отцу ни в коем случае не десять тысяч вымпелов бывшего советского лунохода. В качестве дара президент Хорхе Романьос преподносит своему почтенному отцу десять тысяч лучших латиноамериканских яиц, высокое качество коих гарантируется их пятигранностью.

Павел вспомнил, что пятигранными яйцами дириозавр как раз и бомбит всех, кто ему не нравится или кого раздолбать надо, и поежился: не дай Бог, взрывчатые. Но сношарь пятигранное яйцо взял, с интересом повертел и даже понюхал. Помедлил, потом решил и выпалил:

– То-то! Мой он, законный. Старший! Ярослав, никакой не Джордж, не Хорхий, голову не морочьте! Незаконный бы ни в жисть не догадался. Хотя ты, любезный, и другого цвета, но думаю, от моей черешневой не откажешься?

Тоня тем временем, игнорируя и Долметчера и пулеметы, закончила накрывать на стол, водрузив в центр большое блюдо красных раков. Долметчер грациозно взял рюмку, погрел в руке и выпил, закусив рачьей клешней. Павел налил Тоне коньяку и жестом пригласил садиться. Аракелян на кухне еще чем-то гремел, ибо знал, что к императорскому столу он, при всем своем дворянском достоинстве, с тремя звездочками в гербе, появляться все-таки рылом не вышел. Сношарь тоже выпил чуть-чуть, без тоста, и поискал на столе – чем закусить. Одна из мисок его заинтересовала, он дотянулся и взял оттуда кривыми пальцами щепоть обильно политого майонезом салата. Медленно прожевал и грозно уставился на Павла.

– Котора баба готовила?

– Что-нибудь не так? – встревожилась Тоня.

– Не так? А ну зови, кто готовил!

Тоня, злобно предвкушая позор Аракеяна, – ибо знала, что удерживают полковника на высоком посту не родственные связи, а кулинарное мастерство, – с согласия Павла привела полковника прямо как был, в фартучке.

– Ты чего тут настряпал?

– Салат оливье...

Сношарь подбоченился, один глаз закрыл, другой прищурил.

– А горох как – сам метал? А картохи почто напхал? Огурец соленый? Ты это как назвал? Оливье? Если это оливье, тогда я генерал!

– Никита Алексеевич, – подал голос Джеймс, уповая на свою давнюю со сношарем дружбу: скандал в присутствии представителя недружественного Соединенным Штатам государства был совершенно неуместен, – звание генерал-аншефа император присвоил вам еще в сентябре.

Сношарь молчал, полковник бледнел, краснел и чернел поочередно.

– Такой рецепт... – пролепетал он.

– Рецепт? – рявкнул сношарь, привставая. – Ничего не знаю про рецепт, но только в прошлый раз в салате оливье икра была, а не горох! Едал я оливье, можешь поверить! Все вы тут позабыли, городские, рецепт даже салата любимого утеряли... – горестно закончил сношарь. Видимо, в числе тайно ожидаемых московских радостей у него числился памятный с детства богатый салат.

– Отчего же, – вдруг уверенно подал голос креол, поигрывая пустой рюмкой, – надо взять два рябчика... примите во внимание, что архангельский рябчик лучше и упитаннее олонцекого... один телячий язык, четверть фунта паюсной икры... Лучшие сорта икры надо закупать на месте, в дельте Волги, если желаете, могу сообщить адреса мастеров засола...

Павел вспомнил, что за одним столом с ним сидит как-никак владелец знаменитого “Доминика”, и несколько смутился. Но увидев, как потеплело лицо сношаря – еще бы, ведь это посланник его собственного, публично признанного законным сына, воскрешал забытый рецепт, – сверкнул глазами на Аракеяна. Тот быстрым официантским движением выхватил из кармашка передника блокнот и стал записывать медленную речь Долметчера. Тот, скосив пустые глаза на блюдо с пламенными раками, продолжал:



– Еще отварных раков двадцать пять штук, можно и таких приблизительно, но вообще из русских раков брать изначально не зеленоватых, а этаких черноватых, весьегонских, они лучше, лапки у них снизу красные, и варить их нужно иначе: сполоснуть в холодной воде, положить в крутой соленый кипяток и туда же опустить брусок докрасна раскаленного железа, а с ним еще и пучок укропа, – замечу, что примененный вами мускатный орех в салате оливье не используется вовсе... Варить полчаса, не менее. И еще: если раков нет по сезону, можно использовать банку омаров, очень хороши гавайские. В крайнем случае – банку крабов, но ни в коем случае не индийских, они горчат... Ваши дальневосточные вполне сойдут. Так, использовать еще полбанки пикулей, лучше собственной заготовки по обычным рецептам, но советую помимо простых, то есть мелкой моркови, корнишонов, молодой кукурузы и прочего, всенепременно положить и семена настурций. Без них в салате господина Люсьена Оливье пикули не явят должной вкусности. Еще – полбанки сои кабуль, ее придется готовить вручную, из отварных соевых бобов, кайенского перца, мадеры... Я могу показать.

Аракелян явно понятия не имел, какая соя в Кабуле, но истово скреб карандашом по бумаге. В глазах Тони, не угасая, горели адские огоньки.

– Два свежих огурца... Записали? Ваши нежинские хороши, но в Сальварсане есть более душистый сорт, “эрмано дель пуэбло”, мы к коронации доставим должное количество, должны поспеть... Ну, пять крутых яиц, полфунта каперсов. И ко всему этому самый простой соус провансаль: французский уксус, ваш кавказский винный тоже хорош, еще сырых два желтка, фунт масла Корлеоне. Посолить розовой солью. Все.

– Лучше вовсе не солить, – умиленно закончил сношарь, с чувством налил креолу вторую рюмку черешневой, – я-то соли не употребляю. И тебе, милоч, не советую. Дольше в силе будешь. Выпей за мое здоровье и за свое тоже.

– Можно и не солить, – миролюбиво согласился Долметчер, рюмку выпил, открутил у рака вторую клешню, закусил, – яйца все же лучше брать пятигранные.

– Все запомнили, уважаемый? – грозно спросил Павел полковника. – Никаких в другой раз горохов и картошек! Чтобы строго по рецепту! И примите отсюда это ваше... неудачное произведение! – Павел с некоторой грустью проводил взором исчезающий вместе с полковником за дверью салат. От рыбы он уже осатанел, а Тоня позволяла полковнику готовить только то, за чем сама могла уследить: в частности, это был как раз салат оливье на картошке, состряпанный, честно говоря, вовсе не Аракеляном, а Тоней; ну еще попадала на стол к императору рыба во всех видах, ну и раки по сезону, как выразился дипломат-ресторатор, а Тоня их почему-то считала сильным противоядием. Ох, жизнь...

Выпили еще по одной, сношарь, беря с блюда вареного рака, совсем по-семейному поведал креолу, что, когда Угрюм-лужу вычерпывали, то на дне ее огромный рак обнаружился, ну с индюка хорошего, не соврать тебе, этот вот тоже большой, но тот поклевшевитей был, велел я его тогда в Смородину отпустить на развод, пусть породу поддерживает, да и вообще знатные раки у

нас там, приезжал бы, милоч, воздух у нас, дали засморозинные. Впрочем, лицо креола ничего не выражало. Он сжевал еще две клешни, потом вдруг чем-то обеспокоился, встал и откланялся: видать, черешневая настойка пробудила в его организме некую спешную потребность, его уже видели в Большом театре с очень высокой скандинавкой. Ощущал ее и Павел, к тому же он помнил, что после контакта с очерешненными по сношаревой воле мужиками женщины начинают искать утешения именно что у самого сношаря – и было ему весьма неловко. Сношарь-то с ним всей своей деревней делился, не жадничал.

Худо ли, хорошо ли, но наконец отобедали. Черная “волга” увлекла совершенно синего, исхудавшего Джеймса к исполнению наказной службы при Екатерине Романовой, урожденной Бахман, женщине ласковой, требовательной и очень обиженной невниманием законно-советского супруга; черный ЗИП увлек Павла и Тоню в Староконюшенный, где они жили пока что, – Павел хотел сохранить этот особняк для себя, но все-таки понимал, что скоро придется переселяться в какое-то жилье попросторнее. Сношарь остался один, обвел взором новую хату, увидел, что Кокотовна уютно обживает голландские изразцы на печи, и взор его наконец-то доскользил до исключительно начищенного гонга. “Пусть кто другой себе выходные устраивает, – а мне о людях думать надо. Вон баб неухоженных сколько, пулеметы понаставили, того гляди, пришьют кого-нибудь по неудовлетворенности”.

“Стоило, княже, ехать за тридевять земель за гороховым салатом? Стряпать, вишь, не умеют даже. Черешневую почто на всех базаришь?” – ехидно спросил в сношаревой душе Лексеича Пантелеич.

“Не салатом единым человек жив, – резонно отвечивал Лексеич. – Рецепт вон у сынка-то назубок знают, даже которые черные, сынок-то яйца небось сам отбирал, с пониманием. Доказал мне Ярька свою законность, ничем бы не доказал другим, старче, а яйцами доказал! А здесь деревня большая, кого, глядишь, и ремеслу обучу. Неужто здесь ни у кого таланта нет? Не поверю. Искать буду”.

“Ищи, ищи, – пробурчал посрамленный Пантелеич. – Работать пора, вот что я тебе скажу”. Сношарь почесал переносицу, дотянулся до гонга и легонько в него тюкнул. Тут же из-за двери, к большому сношареву изумлению, возникла Палмазеиха, уже без телогрейки, хотя все с тем же семиствольным “толстопятовым”. На одном из стволов висела немалая кошелка с яйцами.

– Ты чего? – спросил сношарь, – ведь уже лет двадцать, коли правильно помню, того... не записывалась?

Палмазеиха лихо сверкнула помолодевшими глазами. Сношарь все понял и тоже подарил ее взором мутным, но ласковым. “Тряхнем стариной, – говорил этот взор, – ружьецо-то сыми”. Палмазеиха застеснялась. “Без ружья не может”, – понял сношарь, кивнул и стал вылезать из мундира.

Село тем временем въезжало в предназначенные ему апартаменты. Роль старейшины в отсутствие как сношаря, так и пьяного Николая Юрьевича взяла на себя в переехавшем Нижнеблагодатском, конечно, старая бабка Хивря, она же Феврония Кузьминична, которая первым делом велела оборудовать себе в медпункте родильню; чай, не меньше раза в неделю приходилось ей исполнять

важные свои повивальные обязанности, а в другую неделю, глядишь, и трижды, и уменьшения числа таких событий в Москве она не предвидела. Соседний с домом боярина Старый Английский Двор приспособили под сношареву клеть – сено сложить, чтобы подмастерья делом заняться могли, как время найдут.

Село тем временем вселялось в гостиницу. На семью выдавалось по три-четыре номера, скот загоняли в начисто вымытые гаражи, отлично было приспособлено под свинарник помещение бывшего валютного магазина “Березка”, коров пока загнали в западный вестибюль, и, видать, там какое-то время буренушки обречены были постоять, позже их собирались перевести в ресторан. Один из залов кинотеатра “Зарядье” так и был киношкой оставлен, колхозный киномеханик Настасья Башкина пошла осваивать новую аппаратуру; большой зал новый сельский батюшка, отец Викентий Мощеобрященский, пока что осваивать не дал, рояль велел вынести, иконостас, царем подаренный, поставить. Отец Викентий как-то сразу вписался в село, заменил бесследно исчезнувшего милиционера Леонида Ивановича, тоже человека тихого, но батюшка в селе все-таки не в пример нужней милиционера.

Отец Викентий рассмотрел близорукими глазами, что церковью вокруг бывшей гостиницы видимо-невидимо, и отправился по ним с ревизией: негоже все-таки детей в бывшем кинозале крестить. Долго ходил, а потом вернулся с твердым решением – пусть отдадут под сельские нужды прекрасно отреставрированный храм Покрова Богородицы на рву, иначе говоря, собор Василия Блаженного. Когда сообщил он эту новость прихожанам и сильно обалделым охранникам, Сухоплещенко пришел в смятение. Мало того, что весь Васильевский спуск пришлось отдать под сельский выгон, снимать асфальт и траву озимую сеять, мало того, что на Москворецком мосту уже противотанковые ежи стоят – так еще и Василий Блаженный!.. Сухоплещенко попробовал ринуться за разъяснениями к самому великому князю, – может, образумил бы свою семью-село, но вход к сношарю в этот поздний час мужикам уже оказался закрыт, подполковника не пустили даже за первую из трех линий бабьего оцепления. Сухоплещенко вынужден был все отложить до завтра и пошел присматривать за перегонкой овец в нижние этажи президентского корпуса. Одно было хорошо в этой деревне – бабья дисциплина. На ухаживания подполковника никак не реагировали даже те, которых в поезде сношарь оштрафованными к подполковнику уже посылал раз-другой. Без распоряжения князя Никиты бабы Нижнеблагодатского любовью не баловались.

А в огромный концертный зал бывшей гостиницы “Россия” тем временем вселялась исполинская нижнеблагодатская куроферма. И куры, хоть и не успели еще толком освоиться с новой яйцесметной территорией, с места в карьер пошли нестись прямо в обивку бархатных кресел. Иные яйца скатывались по ступенькам амфитеатра вниз, к сцене, но разбивались очень немногие: куры “Царского Яйца”, как теперь именовался колхоз, и коллективные, и частные, неслись аккуратно и интересы своих хозяек блюли строго. Медленно шла вдоль рядов жена сельского кузнеца, Бомбардычиха, собирала яйца в подол и, подсчитывая их, шевелила губами. К сношарю она была записана на завтра и хотела обеспечить и себя, и других, кому была должна раньше, за счет процента

на бой-меланж: кладут ведь куры куда ни попадя, может, какое и разбилось, с очень большой высоты падая, долго ль до беды, а там кто проверит. И красным рубинчиком мерцала в полутьме зала табличка – “Запасный выход”. Все остальные были по распоряжению Хиври заколочены: чтобы всякие в святая святых колхозной жизни “Императорского Яйца” без пропуска не шастали. Еще того гляди кур перещупают, перепугают, еще того гляди куры нестись перестанут. Еще чего.

## Павел II День пирایی Часть 16

*Евгений Витковский*

XVI

А меня какая инструкция предусмотреть может?  
Михаил Кураев. Ночной дозор

Артур Форбс, облаченный в китайский халат, сидя и не закрывая глаз, спал за резным столиком у себя в частной квартире и видел при этом длинный и содержательный сон. В углу кабинета дрессированный аист Вонг тоже дремал, стоя на одной ноге и закатив один глаз, другим озирая сунские свитки, почти сплошь покрывавшие теперь стены кабинета, ибо Форбсу в последнее время удалось значительно пополнить свое собрание. Аисту, кажется, такое количество свитков мнилось излишним, он был настроен западнически, но Форбсу об этом не говорил.

А генералу тем временем снилось, что будто бы добрались наконец-то до земли представители той самой разумной и сильно пьющей инопланетной расы, которую нащупал в просторах галактики алкогольно обостренный ум индейца Джексона, те самые гуманоиды, которых в официальной документации давно уже именовали алкоголианами. Будто бы явились они с целым космическим флотом вторжения, нафаршированным разнообразными ужасными видами оружия, лазерными пушками и пятигранными бомбами – словом, для землян и речи не могло идти об обороне. Причина их появления была сообщена вампиром Кремоной, который в генераловом сне влетел в окно в образе дрессированного аиста; Форбс еще подумал, что у него уже есть один, но потом Кремона стал нормальным трупом и доложил, что алкоголиане у себя все спиртное уже выпили и прослышали, что планета Земля чрезвычайно богата алкогольными напитками, притом очень разнообразными, и вот они наскоро снарядили космический флот и решили эту самую Землю колонизировать, оставляя человечество без выпивки и без независимости одновременно. Положение во сне получалось ужасное, но тут опять-таки в образе дрессированного аиста, – “Откуда их столько на мою голову?” – думалось генералу во сне, – влетел к нему в окно венгерский волшебник Рухим Тодоран, до сих пор числившийся вовсе бесполезным, ибо только и умел, что превращать

этиловый спирт в дистиллированную воду. Тодоран, стоя на одной ноге, отрапортовал, что это Бустаманте его превратил в аиста и пригрозил так оставить, если он не превратит сию же минуту все спиртное на земле в воду, каковую процедуру он, Тодоран, сразу выполнил, но Джексон рвет и мечет. И увидел тогда во сне генерал неким всемирным зрением, как, не обретя на земле желанных винных рек с закусковыми берегами, наспех обругав людей самыми скверными китайскими словами, отбывают пришельцы прочь, колонизировать кого-то другого, тоже, видать, пьющего, но человечеству пока неведомого. И полный тогда настает в Штатах и в Канаде порядок, в Китае воцаряется конфуцианство, в России – Романовы, притом такие, какие надо, и такая во всем благостность разлита, что нужно это отметить, можно налить себе по этому случаю чашечку ароматического вина “Таньхуа” и провести ночь любования чем-нибудь возвышенным, например, коллекцией дрессированных аистов, что ли... Ах, да, вина-то уже нет и больше не будет, то-то Джексон рвет и мечет и работать не хочет, выходит, попало человечество из беды в несчастье, даже аисты сплошь ненастоящие...

Здесь генерал сердито пробудился: очень уж приснившаяся ситуация напоминала ту, которая имела место в действительности. И в самом деле: последний год принес Соединенным Штатам неслыханную, почти не ожидавшуюся удачу: практическую, а со дня на день и номинальную реставрацию Дома Старших Романовых. Это избавляло Штаты, по мнению обоих предикторов, от угрозы поглощения Россией путем внедрения оной в величайшее государство Запада. Такое ли уж, впрочем, величайшее, если даже с латиноамериканской козьявкой справиться не может, а козьявка эта еще вчера была просто нищей дыркой посреди Южного материка? А предиктор твердит к тому же, что в будущем козьявка эта будет лишь расцветать и крепнуть, нанося Штатам поражение за поражением, и ее угроза будет портить нервы преемникам Форбса не одно столетие. Возникает законный вопрос: если нет надежды с козьявкой справиться, так, может быть, и не бороться с ней, а по старинному советскому рецепту сделать вид, что просто нету никакой козьявки, да и все? Нет, отвечивал ван Леннеп, США боролись с Сальварсаном, будут и в будущем бороться, а если не будут, то потерпят такой крах, такое поражение в борьбе с некоей болезнью, что спасет их только Сальварсан, а потом превратит в свой сырьевой придаток. Так что бороться нужно, иначе уважать не будут. Президент Хорхе Романьос стоял в горле у Штатов этакой китовой костью. Не успели Штаты еще и отреставрировать толком в России законный царский дом, как Романьос уже оказался двоюродным дядей императора.

И откуда только этот Сальварсан взялся? За последние два десятилетия Штатам не удалось внедрить в это государство ни единого настоящего резидента, а прежние все ссучились и продались хунте Романьоса за миску рыбного супа. И к России Сальварсан тоже тянул загибающие лапы, имелись данные, что Москва, Ленинград, Киев и даже такие мелкие волжские города, как Мишин и Сарепта, буквально завалены сальварсанскими сардинами, пледами, кроссовками, консервированным льдом; даже броненосцы-армадильо по немалой, конечно, цене, но уже в России продаются. Авиалайнеры воздухоплавательной компании

“Эр-Сальварсан” создали воздушный мост между аэропортами Сан-Шапиро и Шереметьево-2 и буквально завалили Россию всем, чего эта небогатая страна столько десятилетий была лишена. Небогатая, конечно, по сравнению с Сальварсаном. Впрочем, по сравнению с Сальварсаном небогатой страной чувствовали себя даже Соединенные Штаты. Экономисты Форбса высчитали, что подобная экономическая помощь России, решишь на нее пойти Штаты, разорила бы их в течение месяца, вызвала бы падение демократического строя и водворение на Капитолийский холм некоей авторитарной альпинистки неуставленного пола. Деньги лучше было вкладывать не в Россию, а в Элберт, в институт оптимизации истории, хоть и обходился он ненамного дешевле, зато был стабилен и, главное, у себя дома.

И ничего с Романьосом сделать не удавалось. Ведь именно из-за него грозил не состояться исторически столь необходимый тысячелетний американо-российский союз! К Романьосу подсылали убийц, причем всех основных сортов, какими в покушениях обычно пользуются: личных врагов того, кого надо устранить, хорошо оплачиваемых профессионалов и маньяков-террористов, которым все равно кого убивать, лишь бы прикончить. Представители первой категории все, как один, по прибытии в Сальварсан немедленно раскрывали себя как намного ранее завербованные агенты Романьоса, инсценировавшие личную вражду, и к вечеру обычно уже выступали по сан-сальварсанскому телевидению с разоблачениями грязных махинаций ЦРУ против суверенного государства, числящегося развивающимся. Представители второй категории убийц вели себя проще и хуже: немедля по прибытии в Сан-Шапиро они продавались Романьосу за все ту же рыбную похлебку, нанимались в садовники, шоферы и судомойки к коренному населению, ну, а в свободные дни опять-таки выступали по телевидению с разоблачениями. Третья категория, террористы, возвращалась в США, аккуратно расфасованная в добротную цинково-сатиновую тару: цинковыми были гробы, сатиновыми звездно-полосатые флаги, которыми в Сальварсане не забывали накрыть каждый гроб. Убить Романьоса, похоже, было вообще невозможно, даже пытаться это сделать не имело смысла, но ван Леннеп хладнокровно предсказывал, что США будут бороться за невыполнимую эту мечту и в будущем и будут неизменно терпеть крах, – ну, с ясновидящим не поспоришь, Штаты боролись, терпели крах, так что все предсказания сбывались, а это главное. Романьос наливал своей знаменитой нефтью на Доминике пока еще советские, но уже почти Его Императорского Величества Военно-Торгового Флота танкеры и слал в Россию своему племяннику подарки – от пятиугольных яиц до контейнеров со свежемороженой пирайей для президентско-императорского стола в день скорой коронации императора Павла Второго. Штаты грустно штопали экономику нищих соседей Сальварсана в надежде хоть на какой-нибудь конфликт, способный пошатнуть мощное положение этого мерзкого куска сельвы.

В других местах планеты дела США выглядели тоже не блестяще. Опять-таки из бюллетеня ван Леннепа было известно, что в ближайшие месяцы мощный государственный переворот сотрясет третье по значению государство Северной Америки – богатейшую Гренландию. В Нууке личной охраной бывшего

советского министра внутренних дел Витольда Безвредных будет арестован, заточен в глубь айсберга и отправлен плыть на все четыре стороны бывший президент Гренландии Сендре Уперनावик. Сам Витольд немедленно объявит Гренландию империей, переименует Нуук в Великий Кутуз, государственным языком объявит русский и немедленно коронуется как Витольд Первый, император Калалитский, Нунатский, Элсмирский, Девонский и Свердрупский, Северного Магнитного полюса Блюститель и еще до черта всяких титулов, Форбс их не дочитал, – хотя, как позже оказалось, зря не дочитал. И заранее было известно, что этого Витольда император Павел по совету клики Романьоса еще и пригласит к себе в Ореанду.

Ну, а с другой стороны Североамериканский материк сотрясали волнения невесть откуда взявшихся сепаратистов: эскимосы и атапаски Аляски уже провозгласили где-то в центре этого сорок девятого штата США независимую Юконскую Республику. Запрос ван Леннепу – что же из этого дела будет – посылать было боязно. Без ясновидящего все было видно очень ясно. Лучше ведь иной раз будущего не знать, особенно тогда, когда может оно оказаться неприятным. Интересно, под чей скипетр эта Юкония запросится – под российский или под гренландский? А много ли разницы, оба московской выделки. Куда ни плюнь – везде эти русские. Вертолет, телевизор, Бруклинский мост – ведь они, именно они это все американцам подарили. И даже эскиз однодолларовой купюры. Если бы в руках генерала был сейчас доллар, он бы его с омерзением отшвырнул. Как ему надоела Россия. Как он хотел в Китай. Про другие концы планеты ничего утешительного сказать было тоже нельзя. Челночная дипломатия бородатого Хура Сигурдссона, худо-бедно, медленно-медленно, но зато неуклонно плывшего то в одну страну, то в другую, давала результаты: Хур объединял острова в океане в единую, все усиливающуюся федеративную империю, конечной целью этого формирования было присоединение всех к Сальварсану – на любых условиях. И Хур, и все удельные владыки знали, что бедных родственников Романьос не признает, – а уж обнаружась они, как в России, то наспех превратит их в богатых родственников, – и стремились к федерации одновременно сильной и богатой. Однако челночная дипломатия грозила дать течь: секвойя Хура основательно подгнила, и ему требовалось срубить новую. Вдоль всего западноамериканского берега Форбс разбросал наблюдателей, и при малейшем намеке на появление Хуровых агентов с топорами в опасной близости имелась инструкция: агентов хватать, доставлять в глубочайшие недра Элберта и там оставлять до лучших времен. Но еще вермонтский слепец говорил о том, что Хур своего добьется. И Форбс размышлял теперь – что это такое “свое” для Хура.

Было среди тревожных известий одно чуть обнадеживающее. Россия, как и прежде, не имела своего предиктора, и ван Леннеп утверждал, что в ближайшее время иметь не будет. Прежний их прорицатель, Абрикосов, которого в Элберте никогда не принимали всерьез, ибо тот уже много лет ничего не мог сказать с уверенностью, его великие посвященные мира сего сильно ободрали, когда он попытался ободрать их сам, – прежний прорицатель умер с полгода тому назад, а женщина-предиктор, появление которой ван Леннеп назначил на истекшее

лето, Штаты не интересовала, так как ни с советской властью, ни с имперской сотрудничать не будет: потому что, во-первых, сумасшедшая, и во-вторых, себе на уме. Еще хорошо было в делах Элберта и то, что проблема пополнения оборотневых кадров оказалась полностью решена. Аксентович-Хрященко трудился, не покладая, так сказать, рук, в недрах горы же была оборудована специальная площадка молодняка для оборотенят. По достижении половой зрелости оборотенята могли по собственному желанию, – или по приказу начальства, – принять любой другой облик, в том числе и человеческий. С огромным интересом ждал Форбс оборотня-слоненка, которого меньше чем через полгода обещал принести скучающий на морковно-картофельной диете оборотень Лавери, – ему в образе слониhi любая другая пища сулила неприятности, он мог превратиться во что-либо принципиально отличное от пожилой слониhi, которую сейчас являл собою. Именно у этого слоненка должен был теоретически обнаружиться такой необходимый Соединенным Штатам, особенно после последней неудачи Порфириоса, дар превращения в толпу.

Так что в целом дела Института аутентичной оптимизации шли лучше, чем международные. Огорчала генерала более всего тяжелая болезнь, постигшая чуть ли не лучшего из магов – господина раввина Мозеса Цукермана. Отчего-то с той самой ночи, когда в Москве тихо скончался от грохота майского салюта никому не нужный полковник-недопредиктор, захворал драгоценный маг. Именно этому больному сегодня собирался нанести визит Форбс, для чего требовалось подняться лифтами на добрых три километра, в высокогорный изолятор. Мысль о визите вернула дремлющего генерала в мир действительности, и он увидел, что дрессированный аист – всего один – по кличке Вонг в углу кабинета сменил ногу: значит, было сейчас три часа пополудни по Скалистому времени. Форбс оглядел кабинет и понял, что все прочие аисты были только грезой, наваждением. Впрочем, быть может, аисты-то были как раз на самом деле, а вот нынешняя якобы действительность – сном, приснившимся какому-нибудь одинокому аисту где-нибудь в Ханькоу на крыше бедной китайской фанзы, когда-то во времена династии Цинь?

Пора было навестить Цукермана, хотя великий негативный маг приходил в сознание лишь на несколько минут с промежутками в шесть часов, не более, и застать его в эти минуты просветления было бы еще большее, чем слушать многочасовые путаные воспоминания, которыми заполнял Цукерман свои часы помрачения. По большей части он варьировал в них несколько историй из тех времен, когда работал в политотделе армий Южного фронта, – еще до того, как в пятьдесят первом в Берлине решил он сменить погоны советского майора на погоны майора американского. А в минуты просветления начинал Цукерман горько сетовать на проклятого советского махатму, клял себя за то, что прошлой зимой упустил газообразного мальчика-шпиона, погнавшись за бесполезным умением летать, и вот теперь мальчик все своему махатме наябедничал, и тот, чтобы сделать ему, Цукерману, грандиозные цурес, взял и умер, всучив ему, раввину, кроме своих гойских штучек, еще и гойские свои помрачения. Цукерман плакал, ругался и требовал, чтобы все-все маги быстро сели в кружок



и быстро воскресили этого советского неясновидящего полковника; Форбс уже запрашивал по этому вопросу Ямагути, ван Леннепа и Бустаманте. Ямагути побеседовал с охотно откликнувшимся Абрикосовым и передал, что тот назло всем жидам не только не воскреснет, а еще больше умрет, – смысла этого выражения медиум разъяснить не сумел. Бустаманте возразил, что лично он как маг стоит выше мелких националистских дрызг и если надо будет, то предиктор Абрикосов не только воскреснет, а еще и козлом прыгать будет. Слово осталось за ван Леннепом, и получилось, что Соединенным Штатам все-таки выгодней потерять своего мага. Россия предиктором все равно рано или поздно обзаведется, но лучше поздно, чем рано. Тогда Форбс наложил вето на воскрешение Абрикосова и тут же заработал чувство глубокой и неизбывной вины перед всеми евреями на свете. Даже собственную прогрессирующую подагру он перестал лечить; в высокогорном госпитале Элберта трудились только шаманы-целители из племени ирокезов, да несколько филиппинских хилеров, а Форбс желал лечиться только у евреев. Он приказал перебрать всех евреев со склонностями к волшебству, даром что как раз оное религия им и запрещает, найти среди них специалистов по подагре и доставить в клинику в Элберте: как врачей он их нанять не мог, а вот половина вакансий для волшебников всегда пустовала. Но пока что ни одного найти не удавалось: врачи оказывались либо не евреями, либо не волшебниками, либо не специалистами по подагре. Дело еврейских врачей в Элберте стояло открытым, а подагра прогрессировала.

С большим трудом переоделся генерал в военную форму и доплелся до лифта, который перенес его на один из самых верхних ярусов Элберта. Там по коридорам сновали горбоносые люди в вывернутых медвежьих шкурах и с перьями в волосах. На плечи Форбсу тоже набросили вывернутую шкуру гризли и провели его в глубокий естественный грот, – там, освежая воздух, бил исторгнутый Тофаре Тутуилой родник, и посредине озера, привязанный к ложу зачарованными лианами, возлежал бледный как смерть Цукерман и безостановочно бредил. В буйные мгновения маг пытался разорвать лианы, тогда вокруг него неслышно возникали ирокезские целители, замыкались кольцом и тихо начинали скандировать какое-то одно, неизобразимое европейскими литерами слово. Цукерман стихал, засыпал, и блики, бросаемые фонтаном, играли на его лысине, обрамленной седым венчиком былых кудрей.

Форбс в который раз поразился: до какой же степени Цукерман перестал походить на еврея, как появляется на его лице сходство с давно покойным советским неясновидящим полковником. Ограбленный по всем чакрам, ежедневно и ежечасно мстил полковник тому, кто забрал все его умения и обратил на службу Штатам, у которых даже на долларах сплошь масонские символы. На службу, значит, величайшей державе Западного мира. Величайшей ли? Форбс вспомнил Сальварсан, и на сердце его заскребли кошки.

– ...И после наступления меня позвали всех их допрашивать, а было их ойо-ей!  
– бредил Цукерман на чистом русском, так что генерал понимал не все, но это было лучше, чем знаменитый жаргон Цукермана. – Поднимают меня в три часа, а я, как всегда, голый сплю и зубы в стаканчике. Взял я стаканчик, форму

набросил и пошел. А там штурмбанфюрер, идеологический весь такой, гестаповатый. Я ему – вопросы, а он мне – лозунги. Тогда я разозлился и спрашиваю его: “Кеннст ду, знаешь ли, вер бин их?” Он подумал и говорит: “Русшиш оффицир”. “Рихтих, – говорю, – вер бин еще?” Он подумал, говорит: “Большевист”. “Рихтих, – говорю, – вер бин еще?” Он думал, думал – “Вайс ниht”, – говорит. Больше не знает. Я тогда встал над ним, зубы вставил, щелкнул, да как заору во весь голос: “Их бин ю-у-у-у-де! Я евре-ей!” – Цукерман вытянул губы трубочкой, как вампир, вопль его был слышен на весь этаж, и тогда, словно бы прямо из стен, стали появляться молчаливые индейцы. – Сразу раскололся, понял, что я его буду есть!

Вопль Цукермана понемногу затих, перешел в бормотание, – бывший великий маг засыпал под заклинанием ирокезов. Оставаться здесь дольше генералу не имело смысла. Забыв даже снять шкуру гризли, которую в госпитале выдавали посетителям в качестве больничного халата, Форбс ушел в лифт, еще раз усугубив в своей душе вину перед всеми еврейскими волшебниками в мире, – по конфуцианской своей темноте он не знал, как относится иудаизм к волшебникам и отчего их среди евреев так мало. Генерал тяжело опустился в кресло и взял непослушными пальцами сложный аккорд на пульте вызова: чем там японец ни занят, пусть идет сюда. Вон, молодые люди в автобусах теперь от чувства национальной вины предков неграм даже места уступают. Так это коренные англо-саксонские американцы! Отчего древний китаец должен терзаться из-за евреев? Не было их в Китае!..

Японец не торопился, но и не медлил: он пришел через четверть часа, как всегда – важный и подтянутый, и как всегда – с закрытыми глазами. Отвесив подобающий поклон, он опустился в предложенное кресло и сцепил пальцы на животе.

– Приношу мои извинения, – сказал он, – за недостаточно поспешный приход. В настоящее время под знаком Весов наблюдается столь оригинальное расположение небесных светил, что имеется почти уникальная возможность собеседования со всеми интересными нам обитателями загробного мира, кроме тех, естественно, кто устраняется от собеседования. В частности, не далее как час тому назад нас удостоил кратким собеседованием султан Хаким. – Японец резко опустил подбородок на грудь, словно кланяясь султану.

– Простите... кто? – не понял Форбс. Еще султана не хватало.

– Султан Хаким, – повторил японец, – из династии египетских Фатимидов. Жил в брэнной плоти около тысячи лет назад. В мире духов я встречаю его впервые и, признаюсь, поражен глубиной и яркостью мышления этого султана. В Европе он известен под именем Абу али аль Мансур, но это лишь приблизительное звучание имени. Он оставил престол примерно в возрасте тридцати пяти лет. Полагаю, в институте оптимизации истории о нем мало что известно – он ввел строгий запрет на спиртные напитки и не отступал от него.

– Ямагути-сан, – сказал Форбс, – смею ли предположить, что данный дух сообщил вам нечто важное из наиболее интересующей нас ныне области? Из области, имеющей касательство к Дому Романовых?

– Отнюдь нет.

– Тогда, Ямагути-сан, простите, возможно, он дал вам некие советы, коими в настоящее время мы можем воспользоваться с выгодой для нашего дела? – Форбс был по-древнекитайски терпелив, но необходимость слушать долгие речи о каком-то султана его тяготила.

– Отнюдь нет.

– Тогда о чем же вы изволили беседовать с высокочтимым султаном?

– Видите ли, Артур-сан, в годы своего земного правления высокочтимый султан Хаким около двадцати пяти лет повелевал подданным спать днем, а трудиться ночью, и ввел еще очень много необычного. Потом он объявил подданным, что они недостойны такого повелителя, сел на осла и уехал... Он не уточнил, куда, но, судя по тому, что он удостоил меня разговором в загробном мире, в свое время он все-таки умер. Секта низаритов считает его святым.

Форбс что-то вспомнил. Совсем недавно в бюллетене ван Леннепа промелькнула строчка о том, что ближневосточная секта занзибарских, что ли, низаритов в ближайшее время попросит разрешения переселиться в Россию, поскольку новые Романовы ведут свое происхождение от старца Федора Кузьмича, а ведь тот в известном смысле, символически, так сказать, тоже сел на осла, послал своих недостойных подданных куда подальше и уехал... еще подальше. Форбс тогда и думать не стал над этой фразой – секта как секта, пусть едет куда хочет, никогда про нее не слышал. А вот поди ж ты. Ямагути молчал, Форбс решил снова нарушить тишину – авось медиум расскажет еще хоть что-нибудь важное.

– Ямагути-сан, не высказывал ли высокочтимый султан каких-либо мыслей, могущих обогатить наше брренное бытие?

– Конечно же, – откликнулся медиум, – он сказал мне, что его подданные были недостойны такого султана, как он, что нынешние низариты недостойны такого святого, как он, что подданные императора Александра были недостойны такого императора, как Александр, а нынешние русские недостойны такого императора, как Павел Романов. Дальнейшую часть речи султана я не могу воспроизвести. Арабский язык чрезвычайно богат ругательствами. Японский язык чрезвычайно беден ругательствами.

Рефрен насчет ругательств генералу приходилось выслушивать при пересказах собеседований медиума с добрыми девятьюдесятью духами, но обрисованный столь немногими словами образ египетского султана даже Форбса заставил поежиться. Ну что же, может быть, и сотрудники Элберта недостойны такого руководителя, как Форбс?

– Еще, – закончил медиум, – султан в очень дружелюбной форме сообщил мне, что институт оптимизации истории достоин такого медиума, как Ямагути. После этого султан воссел на загробного осла и удалился.

“Еще бы”, – подумал Форбс, а вслух сказал:

– Глубокоуважаемый Ямагути-сан, мне думается, что высокочтимый султан был прав. Ваша помощь неоценима. Ваше денежное довольствие будет повышено. Я поставлю вопрос о скорейшем присвоении вам следующего воинского звания. Смею спросить, с кем еще из высокодостоинных духов изволили вы беседовать при столь благоприятном расположении светил?

– Отвечу охотно. Со мною имел длительное собеседование также дух побочного родственника императора Павла Второго, дух знаменитого советского ученого Соломона Керзона. Он сообщил мне, что порывает со своей земной профессией.

Про такого родственника у Романовых генерал что-то помнил, но к лечению подагры эта профессия отношения не имела, так что и этот контакт медиума, похоже, больших перспектив не сулил. Тем не менее генерал вновь предельно вежливо спросил:

– Смею ли осведомиться о причине столь неожиданного решения?

– Дело в том, что в брэнной жизни почтенный Керзон-сан специализировался на изучении биографии весьма известного русского поэта Пушкина. В загробном мире дух этого поэта встретился с глубокоуважаемым духом Керзона и потребовал его... Как бы это поточней сказать по-английски? К барьеру. Вызвал его на загробную дуэль. Но высокопочтенный дух Керзон с негодованием от дуэли отказался. Этим вызовом, кстати, глубокоуважаемый Керзон был разгневан и повторял, имея в виду весьма известного русского поэта Пушкина: “И этот человек выдавал себя за семита!” Господин дух Керзон сообщил также, что ему удалось отыскать в загробном мире дух зайца, перебежавшего Пушкину дорогу при неких важных обстоятельствах. Теперь Дух Керзон регулярно проводит беседы с духом такового зайца и планирует создать монографию, где будет наконец-то выведен коэффициент перебегаемости зайцев в России.

– Смею ли осведомиться, пожелал ли почтенный дух Керзон передать в брэнный мир еще что-либо важное?

– Да. Почтенный дух Керзон передал в брэнный мир, что просит и ныне, и в будущем, и желательно также в прошлом, считать его монархистом и сторонником Дома Романовых.

Форбс оживился: ну не утешительна ли новость о том, что некий ученый еврей стал сторонником Дома Романовых!

– Осмелюсь спросить: имели ли вы также собеседования и с другими духами?

– Да. Я имел собеседование с духом позапрошлого секретаря генеральной... Я правильно запомнил? Генеральной партии Советского Союза. Он также убедительно просил посмертно считать его сторонником монархии в России, и что он очень сожалеет о невозможности лично и брэнно короновать от лица народа и партии нового императора.

– Это чрезвычайно важные сведения, Ямагути-сан. Но, поскольку положение светил столь неожиданно благоприятно, возможно, вы имели и другие собеседования.

– Да. Со мною пожелал побеседовать дух Абрикосов, покойный русский предиктор. К сожалению, этот дух говорил на совершенно непонятном языке, как я почувствовал, назло кому-то в брэнном мире, не исключая даже, что мне, или, к примеру, вам. Собеседование длилось довольно долго, но его содержание, к великому сожалению, осталось мне неизвестно.

– Осмелюсь спросить: может быть, при столь благоприятном расположении светил вы имели также и другие собеседования?

– Да. Я имел собеседование с духом некоего еще не вполне внедрившегося в загробный мир лица: дело в том, что его брэнную оболочку до сих пор поддерживали реаниматоры в клинике украинского города Кировограда. Высокочтенный недовнедрившийся дух произнес длинную речь, содержание которой я не могу воспроизвести, ибо японский язык чрезвычайно беден ругательствами. Русский язык, напротив, чрезвычайно богат ругательствами, те же черты характерны и для украинского языка. В общих чертах могу лишь передать просьбу данного лица, чтобы ему дали наконец умереть полностью, как всем нормальным людям.

Форбс начал терять древнекитайское терпение.

– Осмелюсь спросить – при столь благоприятном расположении светил вы, возможно, имели собеседования также и с другими духами?

– Отнюдь нет. Как раз в этот момент снова появился на своем загробном осле дух султана Хакима, и сказал, что все собравшиеся недостойны беседовать с медиумом Ямагути, и всех разогнал. На сегодня, увы, все. – Японец снял очки, но глаз, конечно, не открыл. Больше он на сегодня, похоже, ничего сообщить нового не мог.

– Искренне благодарю вас, Ямагути-сан, – со всей мыслимой сердечностью сказал Форбс, пожимая руку медиуму. Потом японец с достоинством удалился. Однако ж и зануда этот японец. Но замены нет.

Форбс остался в размышлении. Институт создавался ради борьбы с русской опасностью, а не ради соперничества с третьей политической силой. Впрочем, во главе Сальварсана стоял хоть и диктатор латиноамериканского типа, но по крови был он все же русским и являл опасность. Форбс набрал на пульте сложный аккорд. Сейчас ему требовался совет нейтрального мага, а таковым на весь Элберт, и то с натяжкой, мог считаться только застенчивый полинезиец. Именно он материализовался из воздуха в кресле напротив генерала. У себя на Самоа он и понятия не имел о телепортации, не нужна была, там все близко, но в Элберте быстро ее освоил.

Еще совсем молодой, едва ли тридцати лет, темнокожий полинезиец абсолютно игнорировал европейские правила приличия. Он носил лишь красную набедренную повязку, да и ту, чуть становилось жарко, снимал и повязывал на голову. Зато он любил украшаться гирляндами самоанских и таитянских цветов. Для их выращивания в самом нижнем ярусе Элберта пришлось выдолбить солидную оранжерею: творить цветы среди всех магов Элберта умел только Бустаманте, но обслуживать нижестоящего, по его мнению, да еще расово неполноценного мага он никогда бы не стал.

Тофаре Тумасесе Туилаэпа Тутуила, уроженец ослепительного острова Савайи, пожалуй, мог бы творить для себя цветы и сам, однако натура его была полна не одной лишь застенчивости, а еще и неповторимой, никому в мире больше не присущей, кроме уроженцев Южных Морей, лени. Дорогой и сложный контракт, который заключило с ним правительство США, гарантировал магу ежедневное трехразовое свежее одеяние из родных цветов. Что поделать, маги капризны, – все эти цветы Тутуилы по сравнению с капризами Бустаманте были и впрямь лишь цветочками, разве что тропическими. Например, в контракте

Бустаманте имелся параграф, дававший магу право не исполнять приказы начальства, если маг не считает их совместимыми со своим достоинством. И еще параграф, по которому маг имел право орать на начальство. Как раз этого сейчас усталый, отягощенный подагрой и комплексом вины перед Цукерманом Форбс не вынес бы. Именно поэтому он предпочел итальянскому чародейству полинезийское.

Тофаре был малоросл, глаза имел миндалевидные, и еще носил крошечные пушистые усы, отчего был похож на чрезвычайно красивого сиамского кота, зачем-то обвязавшего голову красной тряпкой. Он с любопытством посмотрел на Форбса и сложился в поклоне.

– Я готов служить вам, господин генерал, всеми силами моего Ка, моего Ку, моего Ки. Я весь внимание.

– Мистер Тутуила, – начал Форбс официально, подозревая, что маг несет ахинею, и никаких какуки на самом деле нет, – вы знаете, что политика некоторых государств идет вразрез с интересами вашей новой родины.

– Моя новая родина, господин генерал, – острова Самоа. Древняя родина моего народа, острова Хаваики, погрузилась на дно Тихого океана тогда, когда ваша прежняя родина, Австралия, даже не была открыта европейцами.

– Я имею в виду ваше сверхновую родину, мистер Тутуила, а именно – Соединенные Штаты. Вы как высокообразованный маг, видимо, поставлены в известность, что Восточное Самоа собирается стать пятьдесят первым штатом США?

– Я проинформирован о том, что Восточное Самоа планирует стать пятидесятым штатом США приблизительно тогда же, когда независимая Юкония, бывший штат Аляска, подаст заявление о приеме в ОЗОН.

Форбса перекосило. Уж не мог смолчать, непременно нужно соль на раны сыпать. Но беседу полагалось продолжать.

– Насколько установлено экспертизой при вашей вербовке, ваши магические возможности практически не ограничены. Вы обязаны исполнять также приказание начальства, то есть мои. Это прописные истины, однако мы с вами ни разу не испытали вашей способности создать живое существо на большом расстоянии.

Полинезиец пошевелил пушистыми ресницами и усами, – мол, тоже мне фокус. Он был ленив даже в разговоре.

– Итак, мистер маг, прошу вас, если... сочетание светил благоприятствует, разумеется, немедленно сотворить в личных покоях президента республики Сальварсан Хорхе Романьоса сто пятьдесят кобр. Половозрелых, разумеется.

Полинезиец и ухом не повел, лишь снял откуда-то с бедра цветок банана и неспешно ощипал его, словно выясняя, любит его кто-то или не любит.

– Готово, – сообщил он, дощипав лепестки.

Форбс нажал на клавишу вызова предиктора. На экране возникло недовольное лицо голландца, тот сидел за компьютером и одним пальцем вытюкивал очередной бюллетень.

– Геррит, – обратился Форбс к экрану, – желательно сейчас же узнать результат, который последует вследствие того, что в личных покоях президента

Хорхе Романьоса только что возникло большое количество очень ядовитых змей.

Светловолосый предиктор только отбросил прядь со лба и скучным голосом ответил:

– Спустя две недели, генерал, вы получите воздушной почтой контейнер, содержащий триста банок пищевых консервов сальварсанского производства. В них будут замаринованы в розмарине и кокколотовом уксусе все ваши змеи. Причем из двух недель одиннадцать дней уйдет на маринование, и лишь три – на пересылку. Замечу, что сальварсанские маринады всегда были излюбленным кушаньем уроженцев Восточного Самоа...

Полинезиец радостно закивал: ну, хоть какая-то удача, бесплодное покушение на Романьоса привело к тому, что маг покушает вкусного.

– А теперь простите, генерал, я могу опоздать составить бюллетень. – Экран предиктора погас.

Ради очистки совести Форбс решил покуситься на Романьоса еще разок. Ну хоть один.

– Прошу вас... если расположение светил благоприятствует, организовать прямое попадание средних размеров аэролита... в черепную кость президента Хорхе Романьоса.

Полинезиец с грацией оцелота оципал болтавшуюся у него под пупком хризантему. Еще не дождавшись дощипывания, генерал нетерпеливо вызвал предиктора. Сильно помрачневшее лицо голландца не сулило ничего хорошего. Не интересуясь вопросом Форбса, он заговорил.

– К вашему сведению, генерал, личная коллекция Хорхе Романьоса уже насчитывает двадцать один метеорит, попадание которых без вреда для здоровья выдержал организм президента. Ваш – двадцать второй, через час уже будет в витрине. Кстати, когда вы засылали кобр в личные апартаменты президента, он инспектировал сиротский зубоврачебный приют в городе Эль Боло дель Фуэго. Вообще, если желаете постичь настоящую суть личности президента Романьоса, разгадайте сперва значение культовой картины, висящей за спиной президента в его зеркальном кабинете. А сейчас, генерал, прошу меня не тревожить. Поэкономьте федеральные средства: каждая минута моего времени стоит американскому налогоплательщику почти пять миллионов долларов. Всего доброго, генерал. – Экран погас.

Форбс надолго задумался. Его рука уже приготовилась совершить над пультом очередной десяток сложных манипуляций, дабы немедленно явились в кабинет все маги и колдуны и сию же минуту разгадали значение таинственной картины в логове Романьоса. В этот миг из коридора донеслись удивительные звуки: топот, грохот, хрюканье, потом уже много что претерпевшая дверь Форбсова кабинета была высажена тяжким ударом – будто слон лягнул – и внутрь стало вваливаться весьма неординарное общество. В кабинет к Форбсу явилась смешанная группа чертей и свиней. Черти были зеленые, с рогами, копытами и хворостинами, и было их семеро. Свиньи были тоже обыкновенные, розовые, все сплошь западноевропейской породы ландрас, не особенно крупные – их было двенадцать. Где-то за ними в проломленных дверях мотался О'Хара, всем

своим видом демонстрируя, что все это чертовское свинство есть свинская чертовня и ничто другое, он-то и хотел бы не пустить их к генералу, но ведь форс-мажор, фактор непреодолимой силы он же, семь чертей на одного суеверного ирландца как-то многовато, о двенадцати свиньях и говорить нечего, хоть разжалуйте меня, а я не устоял. Форбс обозрел ввалившийся к нему кошмар, и прежде других чувств было у генерала оскорблено обонятельное: взволнованные переменной обстановки, свинки немедленно стали гадить, и у всех обнаружился обильный понос. Удушливый запах тропических цветов, шедший от одеяния полинезийца, лишь усугублял омерзительность запаха. Кто-то из свинок уже ел гардину, закрывавшую декоративное окно кабинета, – на самом деле смотрело оно в тысячефутовую каменную толщу, еще кто-то с хрустом отгрыз лопасть вентилятора, – а на него Форбс возлагал последние надежды, еще кто-то яростно принялся чесаться о ногу генерала; других заинтересовали цветочные гирлянды, облачавшие волшебника, но тот ловко всплыл под потолок; свиней это лишь раздражило, и они принялись подпрыгивать, норвя орхидею-другую все-таки слопать. Форбс, конечно, многое в жизни повидал, но его слегка затошнило.

Еще худшее зрелище являли собою черти. Были они болотно-зеленые, с кариозными рогами, с репьями в хвостовых кисточках. Судя по очертаниям фигур, было тут три чертовки и четыре черта, из них старший – грузный, грязный и к тому же в дымину пьяный. Черти повалились в кресла по углам кабинета, кому-то места не досталось, он попытался устроиться на ковре, уже покрытом изрядным слоем свинячьего навоза. Толстый черт остановился посреди кабинета, яростно хлестнул себя по ногам хвостом – и отдал честь. Выговорить он не мог ни слова.

– Отставить! – рявкнул Форбс, прекрасно понявший значение происходящего. Мог бы, пьяный мерзавец, в кабинете начальства наваждения и не делать. Гаузер послушно отставил, комната заволоклась дымкой, через мгновение и он, и шестеро других чертей предстали перед генералом в натуральном виде. Оглядев всех семерых, Форбс пожалел, что отменил наваждение: в качестве чертей московские “семеро пьяных” были похожи хотя бы на чертей. В качестве людей они оказались еще хуже.

Группа Гаузера потратила несколько месяцев, бродя по селам вокруг озера Свитязь и собирая детишек Рампаля, нагуливавших сало для рождественского убоя в польско-украинских селах. Свинок пришлось частично украсть, частично купить; если хозяин упирался и не отдавал боровка ни за какие деньги, имея при этом во дворе полдюжины злющих псов – там приходилось являться под видом голодных антимооскальских партизан, инспекторов рыбнадзора, ну а в двух случаях просто взять усадьбу штурмом, кое-кого даже и перестрелять ненароком. В спешке свиней набралось до шести десятков, и лишь после проверки соком чиримойи, один запах которой способен повергнуть любого оборотня в обморок, а для простой свиньи даже приятен, выделилась дюжина подлинных детей дириозавра. Остальных сорок девять хрюшек оборотистый Герберт Киндзерски отвез от греха подальше, в город Чертков – на Тернопольщине, что ли – и в базарный день распродал. Потом семеро



свитезянских чертей вооружились хворостинами и неторопливо погнали оклемавшихся от запаха проклятого растения рудбекии, она же “золотой шар”, свиней в Закарпатье, к венгерской границе. Венгерский Гаузер знал, как родной; ругался на нем даже без алкогольного заряда, и границу группа легко одолела, так же не спеша доковыляли до самого Будапешта. Там Гаузер рассчитывал с помощью обычного наваждения погрузиться на самолет американской авиакомпании и убраться в Штаты, где все само собой образуется и не нужно будет за всеми этими трахаными чертями приглядывать. План его удался вполне, таможенники поступили, увидев их, по-разному: одни пошли опохмеляться, другие протрезвляться, третьи запили по-черному, четвертые записались к психоаналитику на прием. Таможенным собакам Гаузер сделал особое наваждение, обонятельное, человеку необъяснимое. Такое, чтобы псы всего лишь нос воротили. Они и отворотили, Гаузер приказал Герберту бросить к лешему мешок с пустыми бутылками, все равно их в Штатах не принимают, и топтать по трапу. Щедро обгадив трап, свиньи и черти погрузились в “Боинг-747”, а на следующий день получили возможность обгадить богатую почву Соединенных Штатов Америки.

Встретивший группу Мэрчент убедился в худших подозрениях: группа Гаузера спилась окончательно. И, хуже того, кто-то из баб чуть не стал поить водкой свиней, а ведь любая мощная доза алкоголя превратила бы свинку в половонезрелое человеческое существо, доверять присмотр за коим группе зеленых чертей было бы крайним безрассудством. Необходимость в русском языке у группы давно отпала, но организм Гаузера требовал все больших и больших доз алкоголя, и теперь для общения с майором нужен был еще и переводчик с русского. Отчаявшись что-либо сделать самостоятельно, Мэрчент запихнул всю чертовски-свинскую группу в грузовой самолет и отправил в штат Колорадо. И вот теперь, стоя посреди кабинета генерала Форбса в хламиде, некогда бывшей благородным мундиром американской армии, Гаузер решительно не мог вспомнить ни одного слова по-английски и лишь с отчаянием бормотал русские и венгерские ругательства. Спутники его были немногим лучше, а навозу в комнате все прибавлялось. Кто-то из свиней уже вывернул паркетину-другую и пытался выкопать из-под дубовых досок хоть что-нибудь – скорее всего, желуди. А еще одна свинка отгрызла горлышко у заветной бутылки в баре и с аппетитом всосала полпинты доброго старого бурбона.

Форбс увидел то, чего ждал, но не в своем же кабинете и не в окружении обгадившихся свиней, пьяных чертей и болгарского шпиона, да еще с висящим под потолком полинезийцем, увитым в гирлянды тропических цветов. Возле дверцы кабинетного бара, там, где только что нагличала молодая, упитанная хрюшка, сидело и орало чумазое и голое человеческое дитя – женского, кажется, пола. Для обратного перевода в антропоморфное состояние из зооморфного оборотню обычно требовался стакан виски. Но на исходной ступени в прежние годы были известны в основном оборотни мужского пола, способные трансформироваться в женщин, – чем и пользовался Аксентович-Хрященко, пока его самого к делу не приставили. А сейчас впервые в жизни Форбс увидел возникновение оборотня-женщины! Лишь в китайских легендах имелись

прямые указания на то, что они существуют, но до сих пор институту Форбса не удалось завербовать в сектор оборотней ни единой женщины-лисы, кицунэ, не говоря о более редких видах, Порфириос даже полагал, что они вообще вымерли, как трилобиты. Женщины всегда были так нужны! Порфириос... Сердце генерала защемило. В душе он даже не очень осуждал престарелого дезертира, который добрался через Бразилию до Сальварсана, превратился в огромную толпу и ввалился в державу Романьоса, во все тридцать тысяч глоток требуя политического убежища, которое подлый президент старику и предоставил. Форбс надеялся, что эта орава хотя бы усложнит жизнь президенту, но ничего подобного, из Порфириосов получились превосходные армадильовые гаучо, иначе говоря, пастухи броненосцев. Раньше само присутствие Порфириоса вселяло покой в Форбса. Теперь его присутствие вселяло покой в исполинских и когтистых ленивцев – но, увы, в недружественном Сальварсане. Ван Леннеп намекал, что Порфириос, возможно, сбежал в Южную Америку не весь, что с ним еще можно попытаться договориться... Но у Форбса слишком болели суставы.

Итак, бывший завсектором трансформации ныне пас броненосцев, а Форбсу до поры до времени предстояло пасти свиней, будущие бесценные кадры, племенной фонд оборотней. Генерал, игнорируя даже загаженность своего пульта связи, вызвал секретарей Бустаманте.

– Всех – на площадку молодняка! – бросил он и отключился: ясно как день, что весь институт уже знает о том, что у главного случилось в кабинете. Сейчас – все по инструкциям. Временно нетрудоспособную группу “семеро пьяных” – в профилакторий, на отдых, Гаузера – представить к следующему званию и курсу лечения от алкоголизма. Верховному магу Бустаманте – заняться свиньями, приготовить их к половой зрелости, переоборачиванию в кинозвезд и направлению на дальнейшее оплодотворение. Завсектором трансформации Аксентовичу-Хрященко – подготовиться к оплодотворению, выбор кинозвезд оставить на его усмотрение, но лишнего разнообразия не допускать, с Б. Б. и Целиковской у него выходит почти всегда, а с индийскими кинозвездами пусть даже и не пробует больше, возраст свой все-таки учитывать надо. Предиктору...

Ну, ясновидящий сам дает инструкции, а откуда они у него – неважно. Самому генералу Форбсу... Что, собственно говоря, в данный момент должен делать лично Артур Форбс, бессменный руководитель Института Форбса? Где на этот счет инструкция?..

Спасаясь от тропической вони разгромленного кабинета, генерал вышел в коридор. Какая удача, что он так и не скинул с плеч выданную медиками-ирокезами шкуру гризли: и обгрызли, и обгадили свиньи именно ее! Форбс с отвращением сбросил шкуру с плеч – в покинутый кабинет. Толпившиеся в коридоре лаборанты быстро юркнули кто куда мог. Попадаться на глаза шефу, пережившему явление чертей и свиней, никому не хотелось. Древний китаец в душе генерала тоже куда-то спрятался: видать, и ему не хотелось подворачиваться под горячую руку Форбсу, не понимающему: что именно в данный момент должен делать он сам? Но какая-то неповоротливая фигура в конце коридора все же маячила. Форбс присмотрелся к фигуре и не поверил

глазам. Неторопливо, как-то покачиваясь – то ли от геморроя, то ли от плоскостопия, – навстречу генералу двигался одинокий, немолодой, полноватый студент мормонского колледжа. Это был дезертир Порфириос, но потряс генерала не факт появления дезертира, а то, что Порфириос был один. Генерал-то отлично знал, что плоть престарелого человека-толпы давно уже не уменьшается даже в полдюжины тел, а сейчас по коридору брел именно один Порфириос.

Генерал остановился. Не дойдя до него на три шага, остановился и Порфириос, он поднял глаза от предмета, который перед этим разглядывал, от виниловой пластинки-гиганта в ярком конверте. Порфириос густо покраснел и виновато улыбнулся. Генерал повода для улыбок не видел.

– Мэтр Порфириос... Вы – Порфириос? – спросил он в упор.

– Кусок его... – пробормотал мормон. – Простите, это не из Шекспира, но именно кусок...

– Так вы – не весь Порфириос?

– Не весь...

– А весь где?

Мормон вовсе покраснел и потупил взоры.

– В Сальварсане? – снова в упор спросил генерал.

Мормон вновь ничего не ответил – и без того все было понятно. Этого Порфириоса не имело смысла даже брать под стражу: невозможно арестовать одну тридцатитысячную часть человека, не прославив при этом идиотом. Генерал слыть идиотом не хотел и решил сделать вид, что ничего вообще не произошло.

– Рад видеть вас, мэтр Порфириос, – сказал Форбс, – чем обязан вашему визиту? Вы ведь как-никак на покое, а Колорадо – не ближний свет, да и климат у нас... сами знаете. Так чем обязаны?

– Заехал вот, купил. Хочу автограф попросить, – мормон протянул генералу конверт с пластинкой, – замечательно он свистит!

Эту пластинку Форбс в подарок получил раньше. Вампир Кремона на этот раз аранжировал для своих просверленных зубов старинные русские военные марши. Первым на диске помещался, само собой, тот марш, который дал название всей пластинке: “Прощание славянки”. С конверта смотрела довоенная, еще прижизненная фотография Кремоны. Таким Форбс его никогда не видел, завербован вампир был уже после гибели под бомбежкой. Мальтиец был хорош собой.

– Что ж, мэтр Порфириос, кланяйтесь от меня... остальной вашей части.

Мормон ухватил пластинку, кивнул, поспешил прочь.

– На кой черт им славянки? – пробормотал генерал, провожая оборотня взглядом.

В душе генерала вновь наступил покой. Ну, прошел рабочий день как в сумасшедшем доме: но ведь только так и может быть у этих европейцев. Пора в Китай. Хотя бы в тот, что в кабинете.

## Павел II День пирайи Часть 17

*Евгений Витковский*

XVII

Шерин да берин, лис тра фа.

Фар, фар, фар, фар...

Александр Сумароков. Хор ко гордости

“Хороший подарок наступающему всенародному празднику сделали селекционеры Крайнего Севера. Ими выведен новый сорт озимой пальмы. Поэтому, несмотря на позднюю осень, клумбы и газоны нового московского зоопарка, строящегося руками специалистов из братских стран, еще до начала близких торжеств украсят пышные изумрудно-зеленые пальмовые ковры... О новостях спорта...”

Рванул ветер, полуоткрытая дверь обезьянника затворилась, и новости спорта остались за ней – там, где у мастеров из братской императорской Японии на штабеле метлахской плитки вещал транзисторный радиоприемник. Старики этого не заметили; погруженный в неизбывную свою, удивительную по нынешним временам меланхолию граф Юрий Арсеньевич Свиблов-Щенков только уронил слезу в прутья стоявшей у его ног клетки, а молодой голенастый петух, в клетку помещенный, эту слезу зачем-то склевал. “Ничего, не отравится, слеза у Юрки нынче жидкая идет”, – подумал Эдуард Феликсович Корягин, вот уже две недели как принявший на свои плечи бремя титула хана Бахчисарайского. Ни графу, ни хану было сейчас не до новостей советской науки и советского спорта, пусть даже эти новости касались газонов и клумб того самого московского зоопарка, в обезьяннике коего в данный момент оба старика горевали, изнывая под гнетом насильно всученных титулов.

Графа томило сейчас на белом свете все, а хана – непристроенный петух. После освобождения из ливийской тюрьмы несчастного люксембуржца Корягин, согласно данному обещанию, вынужден был принять достаточно громкий, но изрядно попахивавший самозванством титул хана Бахчисарайского, титул мусульманский, но император заявил, что в его державе любой титул почетен и не имеет отношения к вероисповеданию. Юрий Александрович Щенков, тоже согласно данному обещанию, превратился в Юрия Арсеньевича Свиблова: только и выклянчил, что возможность позади своего имени добавить привычное “Щенков”, но уж зато впереди имени пришлось добавить очень боязное слово “граф”. Тем самым последние препятствия к коронации устранялись, великий князь Никита Алексеевич согласился почтить своим присутствием коронацию внучатого племянника. Невероятный поезд приволок князя вместе со всем его семейством в Москву, теперь князь намеревался нанести визит вежливости последнему Свиблову, но компетентные органы надеялись, что у князя на это деяние времени не хватит, ибо его рабочий день в Москве сразу оказался загружен до предела. Резиденция последнего Свиблова теоретически имела место в родовом и наследном селе Свиблове, но была еще не вполне отстроена;

почти всю территорию имения отвел высокочтимый граф под зоопарк, и, коль скоро их сиятельству угодно именно так, оный зоопарк должно было отстроить, заселить и озеленить, пусть даже при помощи новейшей советской пальмы, выведенной в селекционных лабораториях Его Императорского Величества Крайнего Севера.

Свиблово, древнее поместье столбовых дворян Свибловых, получивших из рук государя Иоанна Шестого еще и графское достоинство, располагалось в самом деле на крайнем севере – на крайнем севере столицы. Именно туда пришлось переезжать тварям зоопарка, что теплолюбивыми животными принято было, понятно, без большого восторга, например, всемирно известной московской коллекцией крокодилов. В прежние годы покойный Моссовет сулил зоопарку переезд на юг Москвы, в благодатные поля Битцы, только отдали еще тогда же, при Советах, эти благодатные поля под застройку жилыми башнями, увы, некому оказалось вступить за наследные права, выморочной оказалась Битца: последний боярин Яков Захарьевич Битца сложил голову на плахе в опричнину царя Иоанна Четвертого вместе с небезызвестным Вяземским: нашел, видите ли, время укорять царя за любовь к бритому братцу какому-то. Кто был этот бритобратец – неведомо, но если это броненосцы назывались в те времена так – то, видать, царский был броненосец, а боярин на него глаз положил, ну, царь голову боярину и отрубил, броненосец, если он царский, то уж только для царя. Для последнего в роду графов Свибловых, – а с ним род, увы, должен был угаснуть, но хорошо, что хоть последний в роду увидел своими глазами торжество справедливой монархии, – для Юрия Арсеньевича броненосцы были делом привычным и любимым. Вот уже больше четверти века он ими в московском зоопарке заведовал. Тихие были времена, и вдруг кончились они в одночасье, пришлось принимать в принудительно-личное владение это свое злосчастное родовое имение, восемьдесят шесть с половиной гектаров неосвоенной земли, местами под зоопарк вовсе непригодной. Одних только жилых хрущобин сколько снести пришлось, прости Господи, а булочных-кинотеатров!..

Сейчас что справа, что слева, что со всех других сторон были в Свиблове почти одни сплошные котлованы, рытвины и бечевки на колышках. Возведен был и шестиметровый забор вокруг всей территории, от коей по личной просьбе правительства должен был граф отрезать себе еще и кусок земли под будущую резиденцию. Отрезал, хоть и жалко было, неудобницу в гектар, в таком месте, что зоопарку совсем уж ни к чему не годилось, разве что шалаш там поставить, привычный по таежным временам, вся разница, что лапник в Свиблове имелся пока что исключительно пальмовый, – но и такой на крайний случай годился. Шалаш-резидентными делами граф твердо приказал заниматься в последнюю очередь. В первую голову – животные. Были перевезены уже на почти что свое место клетки с невымерзающими птичками и с морозостойкими обезьянами, каковых всего один только сорт имелся. Вид у зоопарка был еще совсем неблагоустроенный, но граф понимал, что только Москва не сразу строилась, а свибловский зоопарк не москвичи строят, а японские концессионеры с участием сальварсанских специалистов: и те, и другие обещали, что к коронации,

назначенной на двенадцатое, будет зоопарк цвести и пахнуть всем тем, чем пахнуть зоопарку положено. Пригласили бы таких специалистов, когда Москву строили, – она бы тоже, глядишь, построилась значительно быстрее, так что ни татары, ни поляки, ни французы ее, глядишь, пожечь бы не исхитрились.

Площадь зоопарка, увеличившуюся по сравнению с прежней больше чем в восемь раз, предстояло заселить, а не очень кем пока что было. Имелось место здесь и для гиппопотама, и для носорога, и для жирафа, и для одногорбого верблюда, он же дромадер, и для умной обезьяны шимпанзе-бонобо, которая психопатка и поэтому ее от других обезьян отдельно держать надо, и даже для дельфинов: короче говоря, для всего того, чего уж сколько поколений московских детишек в любимом зоопарке не имело возможности видеть. Последняя носорожиха померла в трудно припоминаемые времена «до без царя», как теперь говорили, от рожи, бывает такое воспаление у носорогов, панэпизоотическое оно по природе, а и вообще было у нас специалистов по болезням носорогов на всю великую страну – раз, два, да и обчелся. Бегемотов тоже последних в Казань продали, просто некуда ставить было. До дельфинов ли в такой нищете! Нынче же для скорости оборудования дельфинариума решили откусить кусок от метрополитена. Туннель перерезали и вскрыли, и получившуюся продолговатую дыру японцы, люди расторопные, вот уже нынче вечером обещали закончить облицовкой. И жирафятню тоже к вечеру достроить обещали, вот ведь уж сколько лет, как не по зубам и не по карману было такое здание зоопарку, больно уж сложная положена ему конструкция. Во-первых, должно оно быть просторным, любит жирафа бегать направо и налево. Высоким должно оно быть: шесть метров роста у жирафы, да два прибавить на спаривание, но сверх этих восьми много прибавлять тоже нельзя, в слишком высоком помещении жирафа смотреться не будет, будет она в слишком высоком помещении, бедная, мотаться, как хризантема в проруби. В прежние годы, до при царе то есть, со средствами у зоопарка было вообще не очень. Дай-то Бог раз в год удавалось ван ден Бринку в Голландию бартером проткнуть моржа-другого с отстрелянных лежбищ, в обмен одного-другого какого не то гиацинтового ару получить, чтобы было чего к ноябрьским либо к майским сактировать лучшему другу зоопарка, Эдуарду Феликсовичу Корягину. Имелись ведь тогда и в рядах сотрудников зоопарка очень сознательные элементы, понимавшие неизбежность окончательного торжества в России социалистической монархии, – в просторечии “коммунизма”, как раньше говорили, – заботились эти элементы об интересах семьи, близко стоящей к Дому Старших Романовых, с этим Домом породнившейся и оттого уже сейчас занявшей одно из ведущих мест в нашем светлом завтра. Именно зоопарк в это светлое завтра вступил раньше всех. Темное вчера уже готово было забыться как страшный сон переходного периода, а как там было позавчера, не до без царя, а при неправильном царе до без правильного царя, вспомнить было уже очень трудно, хотя кондор Гуля, облысевший и потому особенно недовольный северным климатом Свиблова, мог бы повспоминать и эти времена, вместе со своим неотлучным опекуном, заслуженным кондорщиком РСФСР, доглядавшим своего питомца с начала века и в директора зоопарка выбившимся

по выслуге лет. Однако по просьбе графа Юрия кондорщика вышвырнули на личную, имперского значения пенсию, а его место отдали прежнему главному инженеру зоопарка Льву Львовичу: этот был графу симпатичней других сослуживцев гораздо. Правда, Гулю оставили под почетным надзором прежнего директора, и шел по зоопарку глухой ропот, что поступили со стариком негуманно: могли бы ему Гулю на дожитие и сактировать: птица старая, квелая, до двадцать первого века не дотянет, новую покупать придется, так что лучше б избавиться сразу от обоих, и гуманнее, и экстерьернее, и престижу зоопарка в мировом кондороводстве определенно не во вред.

Льву Львовичу отломилось директорское место лишь по той причине, что считал его граф Юрий настоящим человеком. Часто распивали они на пару в будке у свиньи-бородавочника спирт, разводя его прямо в поилке, гиацинтовых тоже активировали вместе, ведь не чем-нибудь рисковали, активируя в руки частного лица социалистическую собственность, а много чем. А вот теперь за это патриотическое должностное преступление получил Лев Львович и директорское место, и дворянское достоинство, и герб – золотая решетка на лазурном фоне, а внизу спящий лев, и придворное звание камер-фурьера, что по-военному означает полковника. Получил он право и выпивать в рабочее время, но только в качестве личной, не наследственной привилегии. Как раз в данный момент Лев Львович пользование этой своей не могущей быть переданной по наследству привилегией осуществлял: вместе с Арием Львовичем и Серафимом Львовичем водворились они в пустующую пока что клетку бородавочников, а вот граф Юрий от возможного соучастия в Львовичевой привилегии отказался. Лагерные друзья Эдя и Юра расположились в предбаннике обезьянника, уже функционирующего, поэтому правильно пахнущего и оттого уютного. День начался как будто нормально, с ранья, слышал граф, главный гиббон долго и самозабвенно пел, а это на новом месте примета из наилучших; время близилось к одиннадцати, то есть к завещанному от Петра Великого “адмиральскому часу”, когда православные люди чарку водки выпить должны, – но нынче граф был, по обыкновению своему, безутешен, до того притом, что даже водки не хотел. Нынче, как и почти во все иные новые, свибловские дни, явился к нему на посиделки хан Бахчисарайский, единственный человек, присутствие которого несколько умеряло графскую ипохондрию.

Вот уж несколько недель кряду, заверша утренние дела по уходу за попугаями, садился Эдуард Феликсович в метро, доезжал до выставки “Выставка Достижений Его Императорского Величества Народнопользуемого Хозяйства”, – официально станция носила еще старое название “ВДНХ”, но новое, готовое открыться взорам москвичей и гостей столицы в день коронации, просвечивало из-под стыдливо заклеивающей его бумаги. Оттуда нужно было ехать наземным транспортом, метро было перерезано постройкой дельфинариума, который был империи нужней. В спецмашину садиться дед отказывался, начитавшись в газетах про всякие похищения, да судьбой люксембургского друга навсегда ушибленный. В машине он был бы спокоен, если б за рулем был, скажем, любимый внук Рома, но тот, после копенгагенского конфуза с неудачно

купленным яйцом, из коего вылупился бойцовый петух Мумонт, оказался вместе с молодой женой упечен в какой-то лагерь, недалний, но зато очень строгого дачно-правительственного режима. Автобус к новому зоопарку тащился долго и был весь насквозь липовый: все пассажиры – мужики, всем лет по тридцать, ну ладно, но где ж такое видано, чтобы в девятом часу утра у каждого из пассажиров на правой руке ежедневно торт “Прага” висел. В вагоне метро пассажиры были другие, хотя такие же, но к вертухаям Эдуарду Феликсовичу не привыкать было, он их еще в лагере не замечать научился. В зоопарке, честно говоря, по личной просьбе императора, но и не без удовольствия, – проводил хан час-другой, куда ипохондрия переходила у графа в сонливость, и ехал домой тем же путем, сдавши Юрия Арсеньевича Львовичам. Были ведь у него и свои заботы, и как раз с одной из них мечтал он сегодня разделаться. Узнав, что основные помещения в новом зоопарке вот-вот будут достроены, решил Корягин насильно сактировать в пользу государства небезопасный подарок внука. Ибо грозен бойцовый петух сам по себе и небезопасен в деле разведения гиацинтовых попугаев в особенности, как со стороны простой техники безопасности, так и со стороны хотя и маловероятного, но все же возможного межотрядного скрещивания: в том, что оно возможно, уверял дед Федор Фризин в свой последний неудачный заезд, пришлось ему, бедному, обоим жако по четыреста толкнуть, а это, считай, что даром отдать. Межотрядное скрещивание, а именно возможность получения кладки гибридных куро-попугайных яиц, вещь по науке, конечно, невозможная, но иные авторитеты, как, в частности, непререкаемый для Фризина Тартаковер из Сиднея, в принципе его не отрицают. Под давлением австралийского авторитета решил Корягин с голенастым и симпатичным Мумонтом расстаться. Не варить же из бойцового петуха лапшу-то, в самом деле, дура Ираида именно это предложила, даже Игорь ее отругал, поумнел, ничего не скажешь, дворянин Лубянский.

Дед Эдуард собирался посидеть в зоопарке не больше чем обычно, потом двигаться домой: обещала за ним сюда заехать дочь Елена. Ей как шоферу он тоже доверял, вообще с полными основаниями на то считал ее самым надежным человеком в своей семье, только грустил, что мало интересуется она попугайным делом. Так что сейчас имелось две задачи: как-то успокоить безутешного Юру и как-то сактировать в пользу государства костистого представителя семейства куриных, но так, чтобы все-таки и государство из него лапшу не сварило. Поэтому в чистоту помыслов Серафима Львовича и особенно Ария Львовича, когда оба зайдут за третью бутылку, вряд ли поверила бы даже самая заваливающая Красная Шапочка, а не то что Хан Бахчисарайский. Щенков ронял слезы в клетку Мумонта.

– Ну-ну, – ответил дед Эдя на очередную иеремиду, – хуже бывает. Зять мой старший, не помню, рассказывал ли тебе, схлопотал титул, смех сказать, барона Учкудукского. Четыре месяца просил замены, так Павел Федорович пригрозил ему, что барона поменяет на маркиза, но все равно родовой Учкудук чтоб лелеял. Георгий заткнулся, вот и ты бы тоже. В лагере, сам помнишь, хуже было. Погляди, что у тебя броненосцы лопают, да прикинь, мог ли я тебе такой



пак в сорок седьмом определить...

– Доктор наук называется, – фыркнул сквозь слезы граф, – попал пальцем в небо. Да будет тебе известно, что броненосцы мои, кроме десятидневошной конины, ничего не жрут! От природы к падали пристрастны. Поглядел бы да понюхал, когда корм им задаю...

– Во дурень! Во память короткая! – сердился хан. – Ни фига, что ль, уже не помнишь? Да где ж я тебе конины бы взял в сорок седьмом, хоть бы и десятидневошной? Нет, не впрок тебе лагерь пошел, плохо тебе там было в доходягах, плохо тебе тут в графах... Ну чего рыдаешь, дура старая? Ты бы вот помог мне лучше. Негоже мне из этого красавца лапшу варить. Игорец вон уже на него глаз точит, – соврал хан, – а Ромка узнает, так с горя еще что-нибудь угонит. Дредноут, атомоход, он придумает. Словом, давай, давай, помоги сактировать. Запиши, что возвращаю гиацинтового, выздоровел после тщательного ухода...

Граф посерьезнел.

– Это с Львовичем оформим. Только Львович уже в восемь утра первую начал, сейчас он своей фамилии не выпишет. Ждать надо.

– Может, протрезвить его чем можно?

– Куда... Ждать надо. Он к обеду проспится у бородавочников и пойдет за следующей. А я его по дороге перехвачу. Оформим куру твою, скажем, кондором. Годится? Ты мне его оставь, я присмотрю.

Перспектива оставлять петуха даже на час-другой в неоформленном виде, не как казенное имущество, стало быть, все-таки скорей лапшой, чем кондором, деду Эде не улыбалась, и он стал думать, как ему и петуха все-таки сдать официально, и вовремя с Еленой уехать, чтоб не пилить общественным транспортом. Однако в это время за стеной обезьянника раздался выстрел, сразу следом еще один, а потом – короткая автоматная очередь. Деды, не сговариваясь, наставили ладонь к тому уху, которым слышали лучше, – к левому. Оба слышали левым лучше после лагерной беды, когда кум, упившись взятым из НЗ неразведенным спиртом, решил проверить, кто у него из казров еще и скрытый толстовец. Для этого всем предполагал он врезать по правому уху, а кто подставит левое – тот толстовец и тому еще десятку, стало быть. Второе ухо не подставил куму никто, на полшеренге кум упал и посинел; как потом патологоанатом лагеря Корягин обнаружил, вместо спирта кум пил невесть откуда взявшийся этиленгликоль, при коем первым признаком отравления является посинение трупа. “А вот не пей без спросу, на чем не написано”, – злорадно думал Эдуард Феликсович, штопая начальничий труп и нимало не заботясь, что ему самому за умышленное убийство могут ой что припать. Матушка-гравиданотерапия на всю Воркуту была в одних только его умелых руках, никто другой ею не владел, а нужна была всем, даже тем, кто рад бы его съесть живьем, с костями и тапочками. Однако же часть слуха в правом ухе будущий хан Бахчисарайский от той неприятности все же утратил.

Левое ухо со всей возможной точностью осведомило каждого старика, что в зоопарк прибыли какие-то новые лица, да еще, глядишь, с оружием в руках, раз стрельба пошла. Притом, хотя и крайней грубостью содержания отличались

доносившиеся крики, лица эти явно принадлежали прекрасному полу, – если, конечно, не прибыл на коронацию Павла Второго его почти тезка, Папа Римский, и его концертный хор отчего-то в первый же день обуялся желанием воспеть территорию нового московского зоопарка. Замолк транзистор у японцев, видимо, прошитый очередью из автомата. Японцы, как люди к таким вещам привычные, конечно, тут же легли себе на дно дельфинариума, руки за голову – так что больше стрельбы не было, да и первые выстрелы преследовали скорей цель внушения серьезности происходящего. Зоопарк все-таки не для охоты, и тут вам не Красная Пресня. Дверь обезьянника распахнулась, и на пороге выросла бодрая, газырями по-кавказски крест-накрест перепоясанная баба в меховой телогрейке, – не молодая, но очень боевитая.

– Вот они! – указала баба штыком на оцепеневших дедов и повернулась к ним спиной, загораживая выход. Свиблов-Щенков превентивно зарыдал, дед Эдуард сильно двинул его локтем в бок: “Брось, небось, порядки новые такие, все образуется. Впервой что ли?” Баба взяла на караул и отступила в сторону. В обезьянник вкатилась с немалой силой брошенная ковровая дорожка, конец ее лег прямо у ног стариков. В проеме, окончательно застя свет, появился представитель сильного пола, облаченный в дорожную шубу из неизвестного, совершенно синего на просвет меха, однако с обнаженной головой, так что лысина представителя сильного пола вся переливалась в лучах солнца поздней осени. Пожилая баба, исполнявшая, судя по всему, также и функции церемониймейстера, прямо из положения “на караул” сделала книксен и объявила дедам в недрах обезьянника:

– Его высочество великий князь Никита Алексеевич!

– Чего говорить будем? – быстро спросил Щенков, но дед Эдя уже отвечал:

– Его сиятельство граф Юрий Свиблов просят пожаловать высокого гостя.

– Благодарю вас, ваше ханское величество, – с достоинством проговорил сношарь, намекая, что титулы вассальных владык уважает; породы дед Эдуард был не сношарской, но пользу этого человека в государстве Пантелеич осознал уже давно. К тому же и титул у деда Эдуарда был с гаремным оттенком, и сношарь подумывал: не испробовать ли кого из многочисленного потомства Корягина на предмет помощи по основной работе. – Милостивый государь граф Юрий! – продолжил сношарь. – Приношу извинения, что лишь теперь наношу визит. Прошу в качестве извиняющей компенсации принять от меня вашу наследную собственность, которую все эти горькие годы я оберегал!

Щенков промолчал. Корягин чувал, что еще хоть один титул, хоть один гектар поместий – и старого лагерного друга хватит кондратий. Поэтому прошептал по-лагерному: “Терпи, сволочь!” – и Щенков склонил голову, стойко решив принять любой удар судьбы ради личного друга.

– Тащите, бабы, – распорядился сношарь. – Бабы ловко втащили в обезьянник два увесистых ящика, обернутых в сукно, и поставили к ногам недовольного Мумонта. – Дозвольте, граф, возвратить вам рождественские безделушки ваших предков! И сразу просить прощения позвольте, что у черного волхва по правому ботфорту трещинка наметилась, но все прочее в целости. Распаковать!

Через немногие секунды на брошенном поперек красной дорожки текинском

ковре засверкала вся рождественская сказка свибловского леса, краса села Нижнеблагодатского, предмет большой зависти американского шпиона Джеймса Найпла. Даже обезьяны примолкли, озаренные отсветами старинного уральского цветного дутья. Щенков сперва онемел, потом, как и следовало ожидать, зарыдал в три ручья.

– Дедушка рассказывал... А я так и не видел... Бабушка пела... – прохлюпал заведующий броненосцами, и дед Эдя решил, что пора вмешаться:

– Граф растроган оказанным вниманием, ваше высочество. Он не сомневается в подлинности реликвий, и они займут достойное место в его коллекции. В качестве... – дед Эдя затих на четверть секунды, затем, посещенный внезапным озарением, вдохновенно закончил: – В качестве ответного дара, ваше высочество, просим принять племенного бойцового петуха наилучших кровей Королевства Датского! – обеими руками дед подхватил клетку с Мумонтом и, спиной чувствуя наставленные на него бабьи пулеметы, просунутые сзади в вентиляцию, подтащил петуха к стопам сношаря, обутым в разношенные сапоги без каблуков. Сношарь придиричиво оглядел петуха, постучал кривым пальцем по клетке.

– Добрый кочет. Знатный подарок. Премного благодарствуем, – деревенским тоном закончил сношарь, ибо Алексеич перед благостным видом бойцового петуха сейчас явно спасовал перед Пантелеичем. – Настасья, – позвал он, от дверей безошибочно отделилась пожилая баба в газырях, – прими дар. Звать его будут...

– Мумонт! – подсказал Корягин.

– Э? Ну, пушай, Мумонт, стало быть, борозду не попортит, хочь и молод. Как, бабы? – спросил великий князь у спутниц.

– Никак нет! – гаркнули военизированные бабы хором.

– Приятно было познакомиться, князь, то есть граф... – начал сношарь, когда клетку с петухом унесли, а игрушки снова уложили по ящикам, в продолжение какового действия Щенков непрерывно крест-накрест утирал слезы, то правым кулаком с левого глаза, то левым с правого. – Только приношу извинения, дела меня ждут, срочная работа.

– Так точно! – не стерпев, брякнула старшая Настасья. В иное время, ох, не сошло бы это ей с рук, но сейчас сношарь отчего-то и ухом не повел на такое нарушение субординации.

Сношарь поклонился и быстро исчез в дверном проеме вместе и с бабьим эскортом, и с ловко выдернутой из обезьянника ковровой дорожкой. К счастью, уходя, уносил сношарь и петушиный камень с сердца Корягина, оставляя на память о себе два ящика драгоценного фамильного стекла Свибловых. Щенков, хоть и был на рыдательном взводе и по этому случаю, – как и по любому другому, – но пролепетал сквозь слезы, что все-таки его шалаш из пальмового лапника – не место для хранения таких ценностей, и хозяйственно утащил оба ящика в клетку к белоспинному другу, за самую длинную полку задвинул, под такой охраной всего спокойнее. Но когда запихивал ящики поплотней, подальше – неожиданно сдвинул забытое ведро, а за ним нашлась значенная, чуть ли еще не сентябрьской покупки, поллитровка, не открыть которую в такой

светлый день было просто глупо. Щенков утешенно протер бутылку поллой пальтишка и принес ее в предбанник, где Корягин недоуменно соображал, – где ж это Елена? Пора бы уж и забрать ей отца отсюда, раз Юрка в себя пришел и меньше ноет. Корягин глянул на бутылку и похолодел: не хватало еще гидролизный спирт пить, им и клетки-то попугаям мыть опасно. Щенков все-таки настаивал, но тут протелепался мимо открытой двери гориллятника Львович вместе с двумя другими Львовичами, Щенков их окликнул, они с радостью хлынули к дедам. Налили по наперсточку и по второму, Эдя чокался перстнем, все время размышляя, где ж это Елена, когда время уже чуть ли не обеденное? Японцы, кажется, все свои художества в дельфинариуме почти доклали. Делать Корягину в зоопарке дальше было решительно нечего, он слушал долгие жалобы Львовичей на семейную жизнь, отмечал, что у него самого с семейной жизнью как-то странновато, но все же не так погано, – вот что значит овдоветь вовремя! – и дочки неплохие, и внуки ничего, научить бы их только отличать куриные яйца от всех других и все другие между собой. А как все-таки удачно великий князь подвернулся, он-то лапшу из Мумонта не сварит!

Слухи про сношареву деревню, занявшую все историческое Зарядье, ходили по Москве самые невероятные, но для Корягина имело ценность лишь то, что там хорошо относятся к курам. Между тем, видать, не зря был перекрыт Москворецкий мост, и со стороны Китайского проезда тоже к бывшей “России” закрыты все подступы; везде стояли плотные заграждения из синемундирных гвардейцев, за спинами у них виднелась нейтральная песчаная полоса, насыпанная, как на советско-китайской границе, вручную, бабы сами ее сделали, чтобы следы оставались, если кто рванет через эту своеобразную запретку; за полосой стояли противотанковые ежи, а за ними – кордоны бабьей гвардии с семиствольными “толстопятовыми”, баллонами нервно-парализующей “жимолости” и гранатами “Ф-один”. На выстрел не подступиться. Все это организовали бабы не зря, слух по Москве про чудомужчину “сношаря” пополз невероятный, имели место несанкционированные выступления женского населения, даже митинги и сходки, чаще всего в женском туалете на Петровке, там какая-то фарцовщица божилась, что позавчера только из-под их высочества отряхнулшись. Имелись случаи попыток пролета в Зарядье на самодельных воздушных шарах, прополза сквозь канализационные трубы и других серьезных диверсий. Однако и синие гвардейцы, и бабий батальон, кажется, почти все покушения на драгоценное рабочее время сношаря сумели пресечь. Кроме двух, ну, трех случаев: одна баба умудрилась влететь в печную трубу Дома Романова из затяжного прыжка с парашютом с трех тысяч метров, – кажется, была баба чемпионкой мира по этим прыжкам, – да еще кошелку с яйцами не побила, ну, такую камикадзиху Лука Пантелеевич брал под свою защиту, и ему перечить было опасно. Из-за этого случая и еще из-за одного или двух страсти в Москве накалялись, и кое-кто боялся, что, когда ринутся толпы баб из Замоскворечья, сомнут противотанковые ежи, новая Ходынка будет, и еще хуже. Но пока что все ограничивалось грозными слухами.

Конечно, не все московские бабы намеревались идти на штурм Зарядья, но многие готовились. Лишь очень немногих женщин Москвы сношарь более или менее не интересовал. Не занимал сношарь мыслей как раз одной из дочерей Корягина, старшей, Елены. Мысли ее были куда более важными, не до плотских радостей было нынче жене без пяти минут канцлера Российской Советской Социалистической Империи – или как она там называться будет? – Георгия Шелковникова. Помимо того, что была Елена Эдуардовна женой своего мужа, она ведь была еще много кем: и агентом английской разведки ми-шесть, и хозяйкой борделей, и содержательницей опиумных курилен, и владелицей подводного ресторана в эмирате Шарджа, – а еще имела весьма высокое звание Посвященного Восемнадцатой степени, что очень и очень немало для лилового старогренландского масонства, к которому принадлежала солидная ложа “Лидия Тимашук”, где Елена Эдуардовна носила чин Пособляющего Поместного Мастера-вредителя. Девятичленная, а значит, очень труднодоступная ложа основана была еще в славные годы победы над культом личности врачей-вредителей; и, кстати, именно в память этой победы все члены ложи прибавляли к своему званию почетно-символическое слово “вредитель”. И сейчас персональный мужнин ЗИП катил Елену Эдуардовну в сторону Кудринской площади, неизбежному месту свершения судеб российской Реставрации, – на заседание ложи.

Странных людей объединяла эта ложа, – возможно, знай о ее существовании Георгий Давыдович, он счел бы их еще более странными, – но жена тщательно следила, чтобы мужа подобной лишней информацией не беспокоили. Более всего странным показался бы барону Учкудукскому председатель ложи: венерабль-вредитель тридцатой степени посвящения Владимир Герцевич Горобец. Более того, очень удивил бы барона тот факт, что и заместитель Горобца, поместный мастер-вредитель Елена Шелковникова, тоже ничего, ну решительно ничего не может выяснить толком о личности Горобца, – кроме того, что он возглавляет как минимум две масонских ложи, каждая из которых полагает себя в смертельной вражде с приверженцами другой и, более того, полагает таковых врагов-приверженцев давно изведенными под корень.

Среди других членов ложи были люди столь же неожиданные, – за исключением, быть может, хранителя печати ложи, секретаря-вредителя, которым вот уже лет десять числился известный всей Москве экстрасенс-психопат Хамфри Иванов, личность глубоко бородатая и властолюбивая. Должность стюарда ложи здесь с давних пор занимал Валериан Абрикосов, близкий друг Хамфри Иванова, но из-за происков мирового еврейства и чувашства ложе приходилось сноситься со своим великим попрошам через какого-то американского медиума, соглашавшегося принять послание к Абрикосову и передать его ответ только по личной просьбе президента США, с которым Горобец был какими-то масонскими делами немного связан. Последнее заявление Абрикосова сводилось к тому, что присутствовать на собраниях ложи он больше не может, слишком уж он давно умер и потому отдохнуть хочет; поэтому, согласно уставу, должность стюарта ложи, великого попрошья становилась вакантной. Следовало незамедлительно избрать нового

великого попросая, неявка на заседание ложи каралось смертью и выговором с занесением в карточку партучета. Так что обречен был дед Эдуард сидеть и дожидаться свою дочь в зоопарке, покуда не выяснится, кто же все-таки должен занять пост великого попросая ложи “Лидия Тимашук”; кандидатов было двое, и оба относились к числу достойных, весьма протезируемых лиц.

Елена Эдуардовна остановила ЗИП возле планетария, никому не кивнув, прошла в комиссионный магазин, торговавший импортными магнитофонами, там привычной дорогой удалилась в кабинет директора. Директор молча склонил голову и быстро выскочил из кабинета, оставив Елену Эдуардовну одну. Она заняла его кресло, мельком взглянула в зеркало пудреницы, подвинула к себе допотопный “Ремингтон” и одним пальцем, стараясь не повредить маникюр, напечатала, – притом никакой бумаги в машинку не вложив:

### ПЕРЕТУ ПЕРЕНОН

Повинуясь раз и навсегда заданному коду, директорское кресло унесло Елену Эдуардовну в глубокие подземелья под магазином. Спуск был скоростным, но все же длительным, в конце концов Елена Эдуардовна очутилась в белом и чистеньком помещении, ни дать ни взять ординаторская в институте имени Склифосовского, – там кресло остановилось, а когда Елена Эдуардовна соизволила его освободить, унеслось ввысь. Дальше по чину ложи полагалось четверть часа “одиночного радения”: теоретически считалось, что Елена Эдуардовна, стоя на одной только пятке правой ноги, вертится очень-очень быстро, так, чтобы даже лица нельзя было увидеть, а превратилась бы почтенная канцлерша как бы в белую колонну. После этого разрешалось еще – по желанию – поговорить неведомыми языками, но не обязательно. Елена Эдуардовна была воспитана в традициях реалистических, хотя и теософских, и, ясное дело, ни на какой пятке не крутилась: отведенные на это занятие четверть часа употребила она иначе: вызвала из стены некое существо в белом балахоне а-ля ку-клукс-клан, которое и подправило ей износившийся за день маникюр. Что же до говорения иными, неведомыми языками, то не без основания полагала Елена, что в ее ложе займутся этим другие.

Елена Эдуардовна никогда не опаздывала, если куда было назначено. По истечении всех приготовительных сроков и ни секундой позже поднялась она, переоблачилась с помощью ку-клукс-кланоподобного существа в просторные белые одежды, положенные заповедными гренландскими уставами, и, изредка поворачиваясь вокруг своей оси, – для тренировки, не более, – пошла длинным белым коридором, уровень коего понижался и повышался без всякой видимой причины. В отличие от подвалов Хитровки, за столетия под чьими только флагами не побывавших, кудринские катакомбы спокон веков служили одной цели: были тут винные подвалы, заложенные кем-то в прошлом столетии, потом более или менее по тому же назначению использованные гранд-очаровашкой маршалом Берией, чей дом располагался рядом; позже часть подвалов досталась высотному гастроному. Но только часть, и самая сырая, та, что поближе к речке Пресне, вообще-то заключенной в трубу, но в старом зоопарке протекавшей свободно, выдавая себя за пруды. Остальная часть подвалов, приблизительно

девять десятых, принадлежала масонской ложе. Были подвалы не особенно глубокими, но на диво просторными, из-за них даже подземного перехода через Садовое кольцо возле Кудринской нельзя было построить. Там, за тысячами сорокаведерных бочек бастра и мальвазии, то есть, конечно, сплошного абрау, но древние запреты ложи не разрешали думать и выражаться современными символами, – располагалась комнатушка, где ложа “Лидия Тимашук”, или, иначе, Ложа Жены Великой Добродетели, проводила свои агапы, – иной раз даже с водочкой.

Одновременно с поместным мастером-вредителем через несколько дверей вошли в комнатушку шесть из девяти членов ложи. Свое председательское место давно уже занимал венерабль-вредитель Горобец, или, по-здешнему, брат Владифеликс Виссарэдмундович. Напротив него, на другом конце длинного деревенского стола, сидела пожилая, даже очень пожилая женщина, чье присутствие в масонской ложе было загадкой даже большей, чем сам Горобец. Звали ее просто Баба Леля; носила она с самого, кажется, основания ложи звание ритора-витии и каждый раз поднимала бунт, если кто-либо в обращении ронял привычное масонскому уху “сестра-вредительница”. “Никакая не вредительница! – вскипала Баба Леля. – Сам ты вредитель”, – и допустивший оплошность, памятуя, что это чистая правда, что он самый настоящий почетный вредитель, а Баба Леля старейший член ложи, смущенно умолкал. Беря в руки любой предмет, вручаемый ей во время агапы-заседания, Баба Леля говорила загадочное заклинание: “Беру и помню”. Известно было о ней совсем немного: что живет она под Москвой, что она вдова сельского учителя, мучится подагрой и ревматизмом, а желчный пузырь у нее и вовсе вырезан. Ходил также слух, что она знает все: только вот думы в ней много, а ничего не скажет. Однако совершенно достоверен был тот факт, что однажды к ней за консультацией обращался сам предиктор ван Леннеп, и ему Баба Леля сделала исключение, ответила. Она сказала: “Да кто же его знает, милоч”, – и ван Леннеп был ответом совершенно удовлетворен. Еще было известно, что происходит она из каких-то дремучих старообрядцев-забайкальцев, и это в глазах членов ложи придавало ей колорит еще большей таинственности – эдакий таежный.

Когда все восемь членов ложи опустили в положенные им кресла, Горобец расправил полы своего просторного белого балахона, ритуально похлопал по два раза под каждым ухом, что повторили за ним все присутствующие, кроме Бабы Лели, которая по причине подагры вот уже лет двадцать как не похлопывала. Горобец чуть привстал и простер перед собой руки.

– Порадеем? – спросил он.

– Порадеем! – ответила часть голосов. Одно место за столом пустовало, Баба Леля, ясное дело, молчала, а хранитель печати был к членораздельной речи сегодня не расположен.

– Что содеем?

– Все содеем!

– Ча-ча-ча да чи-чи-чи! На печи сидят врачи! Долбят носом кирпичи! Ты, Лидуха, не молчи, паразитов проучи! Лидия! Лидия!

– Буду в лучшем виде я! – по долгу, низким голосом ответила Елена, хоть и

неприятно ей было изображать Лидию Тимашук.

– Лидия отличная!

– Справлю дело лично я!

Председатель снова похлопал, и вступительная часть кончилась. Заговорил Хамфри Иванов: длиннобородый, угрюмый, искренне улыбающийся при этом, вечно сексуально напряженный, – это было слышно даже Елене, на что уж она себя застрахованной от мужских чар считала, а ее тоже задевали волны половой энергии, исходившие от хранителя печати.

– Ла-ла-ла-ла! – понижая и повышая тон, начал он, – ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!

– Брат вредитель, вы правы, – нимало не смущенный, ответил Горобец, – но это не все на сегодняшний день. Есть и более сильные слоги.

– На-на-на! – радостно-утвердительно закивал Хамфри, – на-на-на-на-на!

– Вот хотя бы, – миролюбиво согласился Горобец, – но и это не все на сегодняшний день. Есть и более сильные слоги. На-на – очень сильный слог, согласен. Но не самый сильный.

– На-на-на-на-на-на-на-на-на! – багровея, возразил Хамфри, сильно повышая тон, но его оборвала Баба Леля:

– Ой, чего ты так кричишь! Чего так кричишь! Сперва пусть поедят, потом поговоришь... Дай поесть людям, венерик!

Венерабль, ничуть не смущенный обращением “венерик”, согласно кивнул. Баба Леля вынула из-под стола привезенный ею традиционный торт в форме кирпича, и толкнула его через стол Горобцу.

– Беру и помню, – тихо, но отчетливо произнес Горобец.

– Уж и кила ирисок-то жалко, – неодобрительно буркнула Баба Леля. Этот диалог повторялся каждый раз, лишь очень давно, когда Елена сюда еще доступа не имела, рассказывали, приключился такой конфуз, что Горобец, приняв торт, никакого “Беру и помню” не сказал. Тогда Баба Леля громогласно и торжествующе провозгласила: “Бери и помни – гони ириски!” Горобец извлек из складок балахона кулек, Баба Леля его приняла, сказала “Беру и помню”, поглядела в кулек и добавила уже неодобрительно: “Мог бы и сливочные”. На следующий день сняли Булганина.

Горобец взял серую тяжелую лопаточку из благородного металла и быстро принялся нарезать торт: славен был венерабль-вредитель своим бесподобным искусством нарезать торт на неравное от случая к случаю число кусков, притом разного размера, согласно званию присутствующих, не оставляя при этом ничего лишнего. Полученный кусок полагалось съесть дочиста, что представляло собой символ неутечки информации из ложи. Лишь Баба Леля имела право свой кусок до конца не съесть, обычно она его только надкусывала – все-таки желчный пузырь вырезан! – и заворачивала в газетку, чтоб увезти с собой для неведомых домашних надобностей. Ходили слухи, что младшая ее внучка, личность бесцветная, на этих пирогах выросла. Баба Леля с самого основания ложи пекла торт сама, для чего брат казнохранитель каждый раз выдавал ей один рубль пятьдесят две копейки: сырьевая цена торта была установлена раз и навсегда, девальвации и понижения цен на ней не



сказывались. Больше тридцати лет Баба Леля брала эти рубль пятьдесят две и твердо говорила: “Беру и помню”.

Елена нехотя доела свой кусок, он нарушал ей диету, но открыто идти против правил ложи из-за какого-то торта определенно не стоило. Хорошо еще, что торт был крестьянский, без крема, больше напоминал коврижку, проложенную слоем какой-то бедной ягоды, кажется, черемухи. Хамфри свой кусок тоже доел и начал с новой силой:

– Ла-ла-ла-ла-ла...

– На-на-на! – одернул его Горобец с помощью более сильного слога, и бородач пристыженно замолчал, пробормотав только что-то вроде “тала-бара-ката-маза-гада...” – Так вот, братья вредители. Пустует среди нас пост великого попрошай! Пустует, и милостынька приходит в нашу казну ох как неудовлетворительно!

“Черта с два, – подумала Елена, – это в мою казну неудовлетворительно, а в твою, сволочь, все в сроки сдаю”.

– И предстоит нам, братья, порадеть о новом члене! – Хамфри собрался снова залопотать, но на него цыкнула Баба Леля. – Брат Ужаса, прошу вас.

Бибисара Майрикеева, знаменитая московская целительница, скульпторша и певица, служившая в ложе “приуготовителем-вредителем”, или же “сестробратом Ужаса”, откликнулась немедленно:

– Увы, увы, увы! Кандидат Всеволод, коему мы доверчиво протянули нашу дружескую руку, отверг ее! Ответил, что не знает, чем даже очень чистые душой масоны могут помочь великому делу истребления милиционеров.

– Недостоин. Пусть, – твердо сказал Горобец. – Второй кооптированный? Глаза Бибисары сверкнули:

– Готов принять свет истины!

Елене сразу стало скучно. Это означало, что сейчас начнется обряд посвящения в члены ложи, а это затянет агапу на лишний час. Тем временем в далеком Свиблове отец, видать, давно уже смотрит на часы, но судьба ему нынче сидеть и ждать с зоопарковскими друзьями, выпивать по наперсточку, курить, вспоминать прошлое и сидеть, и сидеть, и сидеть. Но никуда не денешься. Без масонства нынче ни до порога.

Рекомендации у “профана” были внушительные, как доложила Бибисара. “Одна индийская махатма” за него очень и очень просила, притом когда еще была живая, потом ее сепаратисты ужасно сепарировали. Да и сам “профан” был человеком довольно известным, он был поэтом, хотя и твердил на каждом углу, что он “всего только старая скважина”, и писал он не стихи, а мутации. Самая его знаменитая мутация “Ты должен быть, вбывать и выбывать, и вновь вбывать, и выбывать, вбывая!” как-то раз на заседании ложи “Лидия Тимашук” послужила долгим предметом предагапного собеседования. Елена Эдуардовна вообще-то в гробу видала все мутации и все правила поведения для тех моментов, когда на тебя никто не смотрит, но чарующе-глупое “быва-быва-быва” даже ей запомнилось.

Погас, как обычно, свет, прозвучало несколько аккордов знаменитого хита “Молчи ты, Сольвейг” в исполнении ансамбля “Гага”. Потом вспыхнул мощный прожектор и высветил за спиной впавшего в прострацию Хамфри Иванова

белую дверь, которая нарочито медленно уползла в сторону. На пороге стоял одутловатый человек лет пятидесяти, босой, в белой полотняной рубахе и таких же портках. Елена брезгливым и зорким взглядом сразу заметила на них метки прачечной. “Профан” держал в руке зажженную свечу, в луче прожектора довольно бесполезную, однако сильно чадающую. В другой руке, как того требовали правила приема в ложу, он держал пачку денег зеленого цвета. Меж бровей человека ясно виднелось плохо отмытое пятно; обычно Сидор Валовой ходил по Москве с намалеванным тилаком, но Бибисара знала твердо, что подобных игривостей венерабль не одобряет, индусский символ пришлось отмыть.

“Молчи ты, Сольвейг” затихло, натужно хряснули изношенные долгим профанированием рычаги, из-под потолка опустилась огромная деревянная нога, разрисованная – согласно легенде – красками с палитры если не самого знаменитого Никанора, то уж точно с палитры знаменитого его индийского сына Блудислава. Поскольку ложа “Лидия Тимашук” всегда состояла на две трети из женщин, условно именуемых здесь сестро-братьями, к ноге был привинчен железный каблук-шпилька, вонзившийся в пол за спиной “профана”; носок ноги опустился прямо на его голову и заставил присесть на корточки – впрочем, Горобец держал руку на рычаге и следил, чтобы посвящаемый сохранял остатки соображения и чтоб ветхое бельишко на нем тоже не лопнуло, – как-никак престиж будущего великого попрошай-вредителя тоже особо не должен был страдать раньше времени.

– Имя твое? – прогремел из-под потолка многократно усиленный голос Горобца.

– Сидор... Маркипанович Валовой...

– Ложь!

– И... Исидор...

– Ложь!

– Правда, Исидор... Член союза... В билет посмотрите... Правда, Исидор... Потомственный долбороб...

– Кончай брехню, долбороб! Прошу – Глас Истины! – Горобец возвел взоры к динамику, откуда послушно зазвучал загробный, очень низкий, специально подобранный в радиокомитете голос:

– Дуппиус Исидор Маркипанович. Отец: Дуппиус Маркипан Маркович, сотрудник омоторга СССР до тысяча девятьсот сорок седьмого года, по национальности – метис. Скончался в одна тысяча...

Бедный поэт, придавленный деревянной ногой и гнетом собственной лжи, корчился на полу, члены ложи зевали одними ноздрями, кроме Хамфри, который все лопотал какой-то беззвучный слог. Фамилию Валовой носил материнскую, мать его была жива и до сих пор торговала театральными билетами в киоске у Павелецкого вокзала. Дальше зазвучали ужасные подробности происхождения бабушек и дедушек Сидора, но Елену Эдуардовну заинтересовать чьей-то липовой биографией было невозможно, она даже как-то удивлялась, что ее собственная биография содержит так мало липы, верней, тому, что ей о себе самой так много известно. Бархатный призрак из

радиокомитета дочитал родословную Сидора. Сидор заскулил.

– Вступая в Ложу Девяти, помни, гнусный, о кандидатском стаже! – Горобец перешел ко второй части посвящения. – Помни, ничтожный, что таланта у тебя шиш! Даже ни шиша!

Каждому новопринимаемому Горобец наносил наибольшее возможное оскорбление, как принято обычно при коронации вора в законе. Помнится, принимая Бибисару, он объявил ей, что, сколько она не \*\*\*\*ствуй и не колдуй, все равно останется она на всю жизнь наивной невинной девушкой. Про свой прием Елена Эдуардовна ничего не помнила, она умела все неприятное сразу забывать. Она подремывала, нашаривая под зубопротезными мостами кусочки торта Бабы Лели. Бибисара и еще два сестробрата, тоже из электросенсов, или как их там, все же как-то следили за процедурой “умаления профана”. Прочие были в отключке, очень уж все надоело. Наконец, канонический поток помоев иссяк, Горобец встал и сделал шаг к Сидору.

– Несчастный! – взвыл он уже сам по себе, без всякого усилителя. – Червь! Жидовская морда! – Не по годам лихо Горобец врезал Сидору в левое ухо. Тот упал бы, если б мог. Следом трижды включился и выключился мощный вентилятор: в Сидора вдувался “масонский дух”. Горобец отошел к столу и щелкнул рычагом, деревянная нога с отчаянным скрипом уехала под потолок. Сидора подхватили служки в белых балахонах. Из темноты возникла большая кадка, от которой сильно разило аммиаком. Теоретически считалось, что там смешана сперма дракона с кровью льва, на деле, видимо, в обычную водопроводную воду вливали нашатырный спирт и досыпали марганцовку. Кадка опрокинулась на голову Сидора с тем, однако, чтобы ни свечу не затушить, ни деньги не замочить.

– Добрый молодец! Ты больше не жид! Ты еси гой! – обрадованно объявил Горобец. – Радуйся! Внеси вступительный взнос!

Сидор безропотно протянул пачку зеленых бумажек расторопному сестробрату-казнохранителю, высокой, несколько усатой женщине. Та мигом обменяла доллары на рубли по курсу Центрального Императорского Банка, отсчитала рубль пятьдесят две и протянула их сладко похрапывающей Бабе Леле.

– Беру и помню! – очень бодрым голосом объявила та, взяла деньги и захрапела снова. Служки подвели сильно воняющего Сидора и усадили в пустое кресло. Отныне он стал великим попрошаем-вредителем ложи “Лидия Тимашук”. “Все же с какой швалью возимся”, – подумала Елена. Была ведь в Москве еще и третья ложа, но в ту никто из Шелковниковых пока проникнуть не мог. Состояла она из трех человек, а место ее заседаний никогда засечь не удавалось, – может быть, она и не заседала вовсе. Возглавлял ее, понятное дело, Горобец, еще входил туда какой-то неведомый священнослужитель с Брянщины, известный лишь своим пристрастием к игре на некоем музыкальном инструменте, не то на баяне, не то на саратовской гармонике. Москву он то ли посещал наездами, то ли не посещал вовсе, то ли вообще был лицом вымышленным. Третье место, кажется, пустовало, его Елена Эдуардовна была бы не прочь занять сама, но загадочная Верховная Ложа кооптировала туда

какую-то другую женщину: то ли Донну, то ли Донью, узнать о ней пока что удалось лишь то, что она наполовину француженка, вроде бы хороша собою и молода. Сфера влияния этой третьей ложки была совершенно непонятна. Возможно, что ложка эта вообще ни на что не влияла, только устрашала всех прочих масонов своим возможным существованием.

– Но помни, брат, о кандидатском стаже! – уже довольно спокойно сказал венерабль. – Не выдержишь – пришьем!

– Шейте! – восхищенно отвечивал Сидор.

– Итак, братья-вредители, вопрос второй. Теперь мы в полном кворуме, поэтому наши решения становятся еще более законными, как и держава наша тоже очень и очень узаконивается согласно принятым нами мерам по ее модернизации, повышается качеством своей законности, легитимнеет буквально на глазах. Призванный нами монарх уже почти утвердился на своем родовом престоле, и, как только последует намеченная на второй четверг кончина... известного лица, во второй четверг ноября состоится коронация нашего государя. Поэтому полагаю необходимым одного из наших братьев заслать на коронацию, чтобы тот был нашими глазами, ушами, носом, языком и кожей, высматривал бы, прислушивался бы, вынюхивал бы, пробовал бы, осязал бы. Полагаю, что сестробрат наместный мастер-вредитель сможет сослужить нам эту службу.

Елена кивнула. Хотела бы она видеть любого другого из здешних гавриков на коронации в Успенском соборе и на трапезе в Грановитой палате. Впрочем, не удивилась бы она, увидев на коронации самого Горобца, не удивилась бы появлению его ни в какой роли, – разве что неприятно было бы увидеть его в роли коронуемого. Уж не он ли сам придумал идею возобновления монархии в России, обуявшись комплексом незаконности своей масонской власти? Горобец продолжал.

– Итак, братья-вредители, вопрос третий. Напоминаю, что один из кандидатов наше предложение о вступлении в ложу отверг. Можем ли мы не покарать его за подобное небрежение?

– Не можем! – возвысила грудной голос Бибисара.

– Прошу не забываться, – оборвала ее Елена официальным тоном, – действительный тайный советник Глущенко неофициальным приказом его будущего императорского величества назначен на пост министра внутренних дел Российской Империи. Можем и не карать.

– Себе дорожке, – подтвердил Горобец, – можем и не карать. Тогда четвертый вопрос. Сегодня в нашей ложе гость.

Прожектор осветил дверь за спиной Бибисары. Она распахнулась, на пороге стоял высокий, очень смуглый креол с прямыми чертами лица, с длинным носом и ровными волосами, почти достигающими до плеч. Креол кивнул и пошел к столу, где служки поставили ему кресло рядом с Бабой Лелей.

– Ла-ла-ла-ла-ла-ла... – опять заговорил Хамфри Иванов, явно обращаясь к пришедшему. Тот с вниманием слушал долгое и богато модулированное лалаканье, но Горобец вмешался.

– Воистину, брат хранитель-вредитель, воистину! Однако ведь это не все!

Гость, полагаю, может поведать нам еще многое и помимо этого драгоценного слога.

Хамфри замолк, а гость кивнул. На миг повисло молчание. Горобец продолжил. – Наш гость прибыл в Москву с целью участия в коронации. Будучи изолированным руководителем изолированной ложи, с которой мы уже двадцать лет как заключили конкордат, наш гость сам скажет нам все, что посчитает нужным сказать.

– Ла-ла-ла... – снова начал Хамфри, гость резко его прервал и обратился сразу к нему:

– Ма-ма-ма-ма-ма! Мама! Мамамамамамамамамама!

Хамфри побелел, откинулся на спинку кресла и стал медленно сползать на пол. Гость удовлетворенно цокнул языком. Горобец кивнул и продолжил:

– На-на-на-на-на-на! Я же говорил вам, брат-вредитель.

Хамфри закинул голову и, видимо, потерял сознание; возникшие из темноты служки быстро подхватили кресло Сидора вместе с ним самим и сунули воняющего нашатырем попрошая прямо под нос хранителя печати. Тот с трудом разлепил глаза. Сидора убрали. Креол молчал. Видимо, он вообще не считал нужным говорить что-либо сверх уже изложенного.

– А-а-а-а! – четко и раздельно, как говорят детям, сидящим на горшке, вдруг проговорила Баба Леля. Хамфри от ужаса рухнул в новый обморок. Елена перевела глаза на креола и увидела, как его оливковое лицо сереет, как судорожно вцепляются его тонкие пальцы с обведенными темной каймой ногтями в подлокотники кресла. Видимо, и он не ожидал услышать подобное.

– А-а-а! – яростно вращая глазами, в гробовой тишине закончила Баба Леля. Возразить было нечего.

1982–1984